Библиотека
всемирной литературы

Серия третья ✲ ✲ ✲

Литература XX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бэкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. П.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота Н. З.

ПОЭЗИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ЕВРОПЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1976

Вступительная статья
Б. Слуцкого

И
П 67

Составление и примечания
Б. Шуплецова

© Издательство «Художественная литература», 1976 г.

П $\frac{70404\text{-}187}{028\,(01)\text{-}76}$ подписное

ПОЭЗИЯ БРАТСКИХ НАРОДОВ

Содержание этого тома «Библиотеки всемирной литературы» определено его названием. В том включена поэзия восьми стран Европы — Албании, Болгарии, Венгрии, Германской Демократической Республики, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии. Национальных поэзий больше, чем стран. В Чехословакии — два народа, два языка, две поэзии: чешская и словацкая. В Югославии, где федерацию составляют шесть республик, соответственно выделены поэзии Сербии, Хорватии, Черногории и Боснии-Герцеговины, где пишут на сербскохорватском языке, а также поэзии Словении и Македонии.

Таким образом, география тома представляет собой целый мир: четырнадцать поэзий.

Что касается хронологии тома, то ее рамки менее определенны. У всех этих стран — общая историческая судьба. Их народы испытали гнет фашистских режимов, приняли участие во второй мировой войне и подверглись всем ее бедствиям, были освобождены Советской Армией и национальными освободительными движениями, вступили — с середины сороковых годов — на путь социализма.

Исторические события первой половины века подтолкнули, ускорили преобразования, но революция и социализм вызревали в этих странах задолго до войны и до Освобождения. Социалистическая культура, в частности, социалистическая поэзия выдвинули немало больших мастеров, успешно работавших еще до Освобождения. Поэтому в том включены стихи предшественников и зачинателей социалистической поэзии.

Все страны, о которых идет речь,— европейские страны, расположенные в центре и на юге континента. Их культура — часть европейской культуры.

На протяжении тысячелетий их народы жили в непосредственном соседстве.

Они заключали союзы и воевали друг с другом. Подвергались нашествиям кочевников. Входили в Турецкую, Австрийскую, Германскую и Рос-

сийскую империи. Основывали независимые государства. Они в разное время приняли христианство или мусульманство. Они прошли через рабство, феодализм, капитализм.

И все они вступили на путь социализма. Именно это и есть определяющий факт их новейшего исторического бытия.

Перед нами поэзия социалистических стран Европы.

В стихотворении венгра Дюлы Ийеша писатели его страны приезжают в Болгарию. Они слышат пение какой-то птицы: «...почти небесный щебет, щелк и пересвист. Летело в синеву невидимое «а», и «и», и «у»...» Переводчица пытается объяснить венграм, что это за птица, называет ее болгарским словом «чучулига́». Однако оказывается, что это просто жаворонок.

В нашей книге точно так же чрезвычайно отчетливы национальные особенности поэзии. Однако сквозь них мощно пробивается социалистическое общее.

Остановимся подробнее на том, кто же непосредственно создавал и создает поэзию стран социализма.

Героическое время формирует героические характеры. В истории поэзии трудно найти эпоху, когда судьбы поэтов так тесно и так трагически переплетались бы с судьбами народов.

Может быть, трогательнее всего это высказано в маленьком стихотворении болгарина Николы Вапцарова:

Борьба так беспощадна и жестока.
Борьба, как говорят еще, эпична.
Я пал. Другой меня сменил, и... только —
исчезла лишь какая-то там личность.

Расстрел, а вслед расстрелу — черви,—
и все это так просто и логично...
Но знай, народ, с тобой в отрядах первых
пойдем вперед мы в буре необычной!

(Перевод Н. Тихонова)

Вторая и последняя строфа этого стихотворения были написаны 23 июля 1942 года. За несколько часов до казни. Поэт погиб тридцати трех лет от роду, издав одну книгу стихов. По своей допоэтической профессии Вапцаров был рабочим-металлистом. Одно из его стихотворений названо «Кочегароинтеллигентское». И в самом деле, в нем было много и от кочегара и от интеллигента. Работавший в коммунистическом подполье, Вапцаров был схвачен и казнен.

Его биография для многих авторов настоящего тома — типическая. По одному процессу с Вапцаровым судился поэт Младен Исаев. Поэт Веселин Андреев в это же время был комиссаром партизанской бригады «Чавдар». Его первая книга стихов так и называется «Партизанские песни». В рядах болгарской армии, воевавшей в 1944—1945 годах против гитлеровцев, были поэты Ламар и Валерий Петров.

В Югославии с партизанами или с подпольем были связаны едва ли не все писавшие в то время поэты. Даже женщины. Книга стихов Миры Алечкович была издана на гектографе. Пали в бою хорват Иван Горан-Ковачич, словен Карел Дестовник-Каюх, македонец Кочо Рацин. Престарелый Владимир Назор ушел в партизаны и позднее стал одним из основателей новой государственности страны.

Бойцы, командиры, политработники, подпольщики или укрыватели подпольщиков, узники концлагерей создали одну из самых доблестных поэзий мира.

Даже внешне партизанские поэтические книги, изданные где-нибудь в захваченном на несколько недель городке, в типографии, вроде той, которую создал поэт Кочо Рацин, выглядят удивительно. Грубая бумага, стертые литеры, наспех вырезанные гравюры. В «Песне о порабощенном хлебе» Десанка Максимович пишет: «Стучит украдкой жернов, шуршит мука по ситам. Зерно тихонько мелют во тьме, во мраке черном по деревням несытым. Тот хлеб посеян в рабстве, в безвыходной печали, и убран тоже в рабстве — глубокими ночами. Хоть печи жаром пышут, но хлеб тоскою дышит... Большущими кусками тот рабский хлеб кусают — покуда не забрали, пока никто не знает, что под полночным небом сидит крестьянин с хлебом».

Таким же хлебом была для народов оккупированных стран поэзия.

Поэты Польши прошли через самую длительную из оккупаций, затянувшуюся на пять с лишним лет, через долгую эмиграцию, как Тувим или Броневский, через концлагери, как Галчинский или погибший в Освенциме Шиманский, через борьбу в подполье, как Ружевич или павший с оружием в руках в дни Варшавского восстания Бачинский. Они получали аттестаты зрелости в подпольных школах, как Тадеуш Боровский, они публиковались в подпольных издательствах, как Юлиан Пшибось, несколько лет работавший как сельскохозяйственный рабочий. Бачинского, который погиб двадцати трех лет, не опубликовав ни единой строки, называли «легендой поколения». То же самое может быть сказано обо всей польской поэзии.

Однако и в тех странах, откуда вышли оккупанты, были поэты, защищавшие правое дело.

Два крупнейших мастера новой немецкой поэзии — Брехт и Бехер (каждому из них посвящен особый том «Библиотеки всемирной литературы») отвергли фашизм, встали на путь борьбы с ним.

В середине тридцатых годов в Германии распространялся «Практический справочник для оказания первой помощи». Под маскировочной обложкой скрывалась статья Брехта «Пять трудностей пишущего правду». В ней, между прочим, было сказано: «Пишущий правду отвергает любую ложь. Он не склоняет голову перед сильными и не обманывает слабых... Для этого нужно обладать мужеством. Во времена жесточайшего гнета больше всего говорят о высоких материях. Нужно обладать мужеством, чтобы в такие времена под неумолчные крикливые призывы к самопожертвованию... говорить о таких мелочах, как хлеб насущный и жилище труженика».

И сам Бертольт Брехт, и другие немецкие поэты-антифашисты этим мужеством обладали. Они создали агитационную поэзию, сравнимую с агитками Демьяна Бедного и «Окнами РОСТа» Маяковского. Московское радио и подпольные гектографы в самой Германии популяризировали эти стихи.

Эрих Вайнерт сражался под Сталинградом в рядах Советских войск. Через фашистские концлагери прошли Хермлин, Винс, Фюрнберг, оставшийся глухим после пыток. Мюзам был замучен в тюрьме. Существуют два небольших стихотворения о воробье, видимом из окна тюремной камеры. Оба они помечены тюрьмой Моабит и написаны примерно в одно и то же время. Одно — немецким поэтом-антифашистом. Другое — нашим Мусой Джалилем. Эти стихи потрясают родством душ своих авторов.

К поэзии социализма приходили и совсем другими путями.

Франц Фюман и Иоганнес Бобровский служили в немецкой армии, Гюнтер Дейке даже командовал немецкой подводной лодкой. Они прошли через плен. К социалистической поэзии они пришли убежденные социалистической действительностью.

Рассмотрим подробнее путь поляка Владислава Броневского. Выходец из шляхетской семьи с традициями национально-освободительной борьбы с царизмом, он гимназистом-недоучкой вступает в легионы Пилсудского, участвует в походе на Украину. Присутствие на допросе пленного красноармейца, молодого рабочего, державшегося стойко и убежденно, а также чтение найденных среди трофейной литературы книг Ленина вытолкнули офицера белопольской армии из шовинистической идеологии. Броневский рвет со своим классом, сближается с пролетарским подпольем, становится его любимым поэтом. В тюремной камере, узнав о пуске домны в Магнитогорске, он пишет об этом незабываемое стихотворение. Одновременно с политической Броневский проходит и литературную школу. Шестьдесят томов русской прозы и стихов, от Гоголя до Есенина, образцово переведенных Броневским, делают его верным другом нашей культуры. Когда Броневский уже встал в ряды борцов, Маяковский, встречавший его в Варшаве, с уважением обыгрывая фамилию польского мастера, говорил о ней: «Надежная фамилия».

К социализму от национально-патриотической тематики пришли болгарка Багряна и сербиянка Максимович. К социализму от анархизма — немец Мюзам, к социализму от народничества — венгр Ийеш, к социализму от католической поэзии — словак Мигалик.

Не было мук идейных и физических, через которые не прошли бы поэты этих стран. Однако они разделили судьбы своих народов, выстрадали вместе с ними и победу над гитлеризмом, и коренное преобразование общества.

Это привело к полному перевооружению поэзии — политическому, этическому, эстетическому. Однако с чего же начинала поэзия?

Алфавит и хронология, их несложные законы, привели к тому, что книга открывается стихотворением албанского поэта Андона Зако Чаюпи «Отец Томори». Первые строки книги звучат так:

Наш Томори, ты — престол небесный,
Храм албанский с крышею отвесной! —
Шел народ к тебе на поклоненье,
Чтоб узнать господне повеленье.
Ты читаешь помыслы людские,
Так ответь мне: кто же мы такие?

(Перевод Д. Самойлова)

Адресуем этот вопрос, прозвучавший в книге, опубликованной еще в 1902 году, и обращенный к горной вершине Албании, к героям и к авторам нашего тома. В самом деле: «Кто же мы такие?»

С чего начиналась поэзия этих стран?

У албанца Андона Зако Чаюпи главное, всепоглощающее чувство — любовь к родине, к родному народу. Ближайшей задачей албанского народа было в ту пору освобождение от турецкого ига. Чаюпи звал своих земляков к борьбе против турок. Однако Албания в начале века была самой отсталой страной региона. В других странах, других поэзиях дело обстояло по-иному. Они уже обрели национальную независимость. На исторической повестке дня стоял вопрос социального освобождения и социального переустройства.

Одно из стихотворений тома — «Судно, которое продается» — венгра Ади. Вчитаемся в него повнимательней:

Продается судно!
Расшаталась мачта, перегнили снасти,
Словом — сколько хочешь всякого несчастья.

Продается судно!
Починить не трудно — корпус все же прочен;
Хозяин измучен — надоело очень!

Продается судно!
Было это судно доброе, как видно;
Снова выйти в море на таком не стыдно!

Продается судно!
Сотни раз то судно море штурмовало,
В тысяче Вселенных судно побывало!

Продается судно!
Видно, в путь отважный хочет оно снова,
Нового желает рулевого!..

(Перевод Л. Мартынова)

Автор, великий поэт своего народа,— выученик символистов. Мысль он выражает непрямо и непросто. Однако мысль эта — знаменательна: «Расшаталась мачта, перегнили снасти, словом — сколько хочешь всякого несчастья». Иными словами, родина Ади, Венгрия, в таком упадке, что без революции не обойдешься.

В дни Октября Блок требовал «переделать все». В «Интернационале» пелось о том, что для того, чтобы построить новый мир, надо разрушить до основания старый. Того же самого требовал Ади.

Мысль, выраженная Ади символически, зачастую выражалась в простой и прямой форме. Вот стихотворение «Майская ода». Его автор Дюла Юхас, поэт венгерской Коммуны: «О люди, жизнь прожить, как поле перейти: кладбищенский покой кивнет в конце пути. Но было б хорошо установить: каков в конце концов удел несчастных бедняков? От имени творца тираны там и тут, кичась, вершили над людьми неправый суд. Но было б хорошо хотя бы раз еще в державность прав людских поверить горячо!.. и чтобы, разгромив казарму и тюрьму, летели грезами мы к небу самому... О будущее, стяг свой алый подымай и всем нам подари цветущий, вольный май».

Так поэт разгромленной революции мечтал о революции победоносной.

Горе, беда, угнетение были предметом изображения лучших поэтов того времени.

Молча идут на работу усталые, невыспавшиеся рабочие в стихотворении чеха Библа «Утро».

Крестьянский парень из «Песни о человеке» болгарина Ващарова только в тюрьме, только перед казнью узнает от товарищей по заключению правду о социальном устройстве общества.

Убитого на фронте солдата первой мировой войны — из стихотворения Брехта «Баллада о неизвестном солдате» — вырывают из могилы и вновь отправляют на фронт, потому что кайзер нуждается в резервах.

Целая улица в польском городе — улица Милая из одноименного стихотворения Броневского «вовсе не милая», потому что на ней живут только бедняки, только несчастливцы.

Манеры, методы, стили многообразны, а смысл один: жизнь невыносима, ее нужно переделать.

Революция — необходима.

Несть числа школам и направлениям в поэзии стран региона в предсоциалистические времена. От польского «Скамандра», куда в числе других входили Тувим и Ивашкевич, направления сравнительно умеренного, не порывавшего с традицией, до пражского поэтизма, возглавлявшегося Незвалом, течения, решительно с традицией рвавшего.

Поэты, которых мы бы назвали реалистами, тем более социалистическими реалистами,— в меньшинстве. Преобладают поэты литературного авангарда, иногда, как в Польше, прямо себя так и называющие, иногда берущие себе иное, более или менее замысловатое имя.

Почитаемы учителя: французы — Аполлинер и сюрреалисты Арагон, Элюар, Бретон. Влиятельная школа белградских поэтов до сих пор исходит из традиций сюрреализма.

Другое мощное влияние — русское.

Маяковский, поездки которого в Европу произвели огромное впечатление,— о них написано множество стихов. Но также Блок и символисты, особенно в Польше и Болгарии. Есенин — во всех славянских странах.

Чех Незвал, в написанной в пятидесятых годах автобиографии, объясняет это пристрастие к авангарду:

«Политические убеждения не могли тогда стать для нас предметом дискуссии... Советский Союз был для нас святыней, это была страна наших мечтаний, и в Советском искусстве мы приветствовали авангард международного социалистического фронта. Там поэзия разделывалась с заплесневелым символизмом, с академизмом и унылым жанризмом. Мы познакомились с великолепной поэзией Маяковского и его соратников... вместо поучительного тона, изуродовавшего своей нестерпимой назидательностью многие произведения нашей литературы в прошлом, мы искали необычную форму выражения, которая обескуражила бы противника и положила его на обе лопатки».

В той же книге Незвала сказано:

«Наше искусство было скорее родственно мастерству жонглеров, цирковых наездниц и воздушных гимнастов, чем магическим заклинаниям жрецов. Наши искания шли в ногу с веком и отвечали вкусам простого народа из предместий. Если употребить выражение, которого мы тогда еще не знали, наше искусство хотело быть большим и роскошным парком культуры и отдыха в царстве поэзии...»

И еще:

«Новая поэзия ощупывала сама себя, как слепец, но глаза ее были широко раскрыты. Мы не могли заблудиться, потому что путь нам освещал маяк будущего бесклассового общества, к которому мы стремились идти плечом к плечу с рабочим классом».

Для нас существенно важно, что многие блестящие поэты, связанные с авангардом, прошли долгий и успешный путь от усложненности — к простоте, от эксперимента, от поисков — к находкам, от ориентации на элитарные интеллигентские кружки — к общенародному читателю, иными словами, от авангарда формотворческого — к авангарду общественному.

Что же направило их на этот путь? Сама история, сам ход общественного развития, борьба с фашизмом, война, становление социализма.

В написанном в конце тридцатых годов стихотворении «Скверное время для лирики» Брехт писал: «В моей песне рифма показалась бы мне щегольством. Во мне вступили в борьбу восторг от цветущих яблонь и ужас от речей маляра, но только второе властно усаживает меня за стол». Маляром Брехт, как известно, именовал Гитлера.

Когда пишешь для народа, нужно писать по-народному. Это поняли лучшие поэты авангарда. Так начинала социалистическая поэзия.

К чему же она пришла?

Мир новых, социалистических отношений создавал новые, социалистические чувства. Они-то и стали предметом изображения поэтов. Прежде всего чувство радостного приятия жизни, решительно вытеснившее былое горестное неприятие.

«Я понял роковую неизбежность счастья... Я тот, кто ощутил бесповоротность счастья»,— писал Незвал, давая, как это ему часто удавалось, краткую формулу сложных и многообразных процессов.

Счастье, неизбежное, бесповоротное, как рок,— такой казалась социалистическая перспектива жизни. Осуществляться она стала уже в годы послевоенной бедности и разрухи.

В маленькой поэме чеха Библа «В трамвае» «ребята едут из лесхозов, шумят в трамвае на площадке». Эти новые рабочие, привыкшие «сдирать кору с больной осины», совсем другой народ, чем воспетые тем же Библом рабы капиталистической фабрики, молча и мрачно бредущие на работу.

В поэзию приходят люди с рабочими биографиями. И как герои, и как авторы.

Болгарин Пеньо Пенев десять лет трудился на строительстве нового города Димитровграда, болгарского Комсомольска, и писал стихи в перерывах и после работы. Шахтером был немец Фолькер Браун, низовыми газетчиками, учителями, пропагандистами — многие другие.

Человек труда становится героем стихов уже в новом обличье — не раба, а хозяина жизни. Вот как пишет о шахтерах чех Вилем Завада:

«Словно охотники в каменном лесу, они прислушиваются там, внизу, к шороху каменных глыб над собой и к тому, как поскрипывает забой, отгороженные сплошною стеной этих глыб, придавленных тишиной. Они слышат отчетливо самые разные звуки, и пульсацию угольных жил ощущают их руки, эти камни отстреливая отбойными молотками. А потом эти камни превращаются в пламя и сияют, как радуга над лугами... Мы тоже начали добывать наконец в глубоких шахтах и в скрытых карьерах наших душ и наших сердец. Как засветится и засверкает наша земля, когда приоткроются залежи наших сердец...»

Здесь все конкретно, все определенно. Завада — поэт реалистической складки.

Совсем иначе написал о рабочем румын Николае Лабиш, стремившийся к символическому обобщению:

Я видел сверкающий танец
Над кровлей завода, в глуши.
Опасный, диковинный танец
Под небом, где нет ни души.

Я видел, как там пролетали
Шары голубого огня,
И ветер багровое знамя
Сорвал на глазах у меня.

Я видел, по кровле железной
Прошел человек не спеша,—
И молнии вдруг надломились
И вниз полетели, шурша.

Враждебные посвисты ветра,
Дождя перекрестный допрос,
Но шел человек в поднебесье
И знамя за пазухой нес.

Он был не волшебник, я знаю,
А был он из наших парней,
Поэтому красное знамя
В руке его стало красней.

И там, в поднебесье дождливом,
Где ропот, и рокот, и треск,
Упал на лицо человека
Сияния алого блеск.

Враждебные посвисты ветра
И молнии выпад крутой,—
Но знамя над нами, как пламя.
Принес его парень простой.

(Перевод Юнны Мориц)

Так в разных странах и в разной манере поэты показали величие человека труда.

Немец Гюнтер Кунерт писал о своей стране: «Караваи у нас не падают с неба. Зато и бомбы не падают тоже. Самобранки-скатерти нет в моей стране. Но еды и питья хватает на всех. Стол накрыт под быстрой волной облаков, под листвою зеленой».

Таким человек, таким рабочий может быть в обществе, где, как озаглавил свое стихотворение немец Маурер, «Все наше».

Эта книга начинается со стихов, исполненных патриотизма, законнейшего, исконного человеческого чувства. В наше время патриотизм пронизывается интернационализмом, становится социалистическим патриотизмом.

То, что в былое время было достоянием авангарда,— любовь к советскому народу, участие в борьбе Испанской республики, неприятие нацистского расизма,— теперь становится массовым всенародным чувством.

Особенно ярко это проявляется в отношении к нашей стране. Из этого тома можно выделить немалую книгу, составленную из стихов об Октябре и Ленине, Магнитке и Советской Армии, о солдатских котлах, из которых в 1945 году наши солдаты кормили голодных детей.

Брехт пересказывал стихами популярную брошюру о Волго-Доне, понимая, что Волго-Дон — поэзия не только для советских людей, но и для немцев. Это было уже после войны, когда Волго-Дон строился, но и в годы войны чех Франтишек Грубин записывал стихами разбудивший его звон слов «Волга» и «Дон».

Бехер записал однажды:

«Некогда это была Эллада, древняя Греция в блеске солнца Гомера, «желанная страна», в которую «душой» стремились многие художники и поэты, не видевшие в окружающей их действительности никакой возможности осуществить мечту о царстве человека. Но ни одна страна земного шара не притягивала к себе с такой неодолимой силой художников и ученых, как новая Россия, Советский Союз... Учиться у Советского Союза — значит

стать хозяином своей судьбы, хозяином жизни. Учиться у Советского Союза — значит вооружить властью знания, правду, мир...

«Страна наших желаний», страна, которую мы искали всю жизнь нашу, и, воплощенная, она намного превосходит все то, о чем мы только отваживались мечтать...»

Немало немецких поэтов славили Советский Союз в песнях и стихах, в эпосе и кантатах. Они благодарят советских людей, ибо чувствуют всей душой: «все хорошее, что было написано на немецком языке в течение трех последних десятилетий, могло быть написано лишь благодаря героям Великой Октябрьской социалистической революции и благодаря героизму советских людей в Великой Отечественной войне».

Так писал Бехер, поэт-мыслитель, крупнейший организатор культуры в своей стране, много работавший, чтобы лозунг «Учиться у Советского Союза» осуществился в практике школы, университета, газеты, поэзии.

А словак Янко Есенский вторил ему:

А сколько славы — Волга, Эльба, Дрин!
От Дона к Одеру и от Днепра до Шпрее,
и Сталинград, и Вена, и Берлин...
Вы спите здесь, в тиши, вблизи аллеи.

Вы мать-отчизну возвратили нам,
и мы, склонившись у могилы братской,
«Покойтесь с миром»,— произносим вам,
вам, павшим, вам, живым в земле словацкой.

(Перевод Д. Самойлова)

Читатель не должен думать, что гражданская лирика вытеснила из культурного оборота так называемые вечные темы. Правильнее было бы сказать: потеснила. Иначе и быть не могло в эпоху, когда история и политика столь властно и определяюще вторгались в судьбы отдельных людей.

Это сказалось в изменении соотношения жанров. Приобрела права гражданства газетная поэзия, ранее культивировавшаяся главным образом левой прессой.

Песня перестала быть безымянным текстом при знаменитой мелодии. Ею занимаются большие поэты. Фестивали песен, проводящиеся последние годы и собирающие десятки тысяч слушателей, помогли привлечь внимание поэтов к этому жанру.

Внедрение в быт радио и телевидения обеспечили поэтов массовой аудиторией. Полвека назад Маяковский говорил, что счастье небольшого кружка ценителей, слушавших Пушкина, привалило всем. По-настоящему это счастье привалило только сейчас.

Подлинную революцию испытали поэтические издания. Удешевление книг и увеличение тиражей, подчас десятикратное, приблизили книгу стихов к народу.

Во всех этих процессах гражданская поэзия обгоняла иные жанры, но не вытесняла их.

И сегодня, как и на протяжении веков, поэты братских стран пишут о любви, о материнстве, о старости и молодости, о болезни и смерти, об искусстве, о природе.

И в нашей книге вечные темы занимают огромное место. Посмотрим, как обстоит дело с лирикой любви.

Сразу же после Освобождения, в период восстановительных работ, интимная лирика действительно кое-где оставалась в тени. Интересно, что в Чехословакии ее возрождение было прямо связано с огромным успехом переводной книги — «Строк любви» С. Щипачева.

Сейчас почти никто и почти нигде не сомневается в необходимости своих строк любви в каждой поэзии.

В стихотворении «Очищение» поляк Ружевич пишет: «Не стыдитесь слез, не стыдитесь слез, молодые поэты. Восторгайтесь луной, лунной ночью, соловьиным пеньем и чистой любовью. Не бойтесь забраться на небо, тянитесь к звездам, со звездами сравнивайте глаза... Наивные, поверите вы в красоту, взволнованные, поверите в человека». В этом томе множество стихов о любви. Словак Ян Костра пишет в стихотворении «Метафора»:

Лес пахнет новизной,
Как и любовь, весной.
Влюбленный ветер нежен,
И слышен треск валежин.

Как облетают листья,
Так и любовь уйдет —
Виденьем золотистым,
Подобно этим листьям.

Исчезнет, словно ворон
Над оголенным бором,
Потом бумагой, белой
Как снег, предстанет взору.

Как пахнут перемены,
Так пахнет и любовь —
Привычная, родная
Морщинка, прядка, кровь.

(Перевод Д. Самойлова)

Никаких наглядных примет времени здесь нет — ни в теме, ни в словаре, ни в изобразительных средствах. Стихотворение — о вечном и написано с классической простотой. Примета времени — только в самом главном, в том, что социалистическая поэзия естественно и благодарно включает в себя такое стихотворение, на такую тему, более того, немыслима без него.

Немыслима она и без стихотворения венгра Габора Гараи: «Не вижу ничего,— средь бела дня! — прозрею, если взглянешь на меня... О, чудо чувств! Как выдержать его без доброго участья твоего? Ты укрощаешь, как

любовь велит, все, что во мне безудержно бурлит. И потому опять тебе шепчу: будь тайной, я разгадки не хочу!»

Эти поэты — Ружевич, Костра, Гараи — были свидетелями и участниками трагической истории своих народов. Дети своего времени, они написали вечные стихи на вечные темы, уместные в любой хрестоматии, в любой антологии.

В нашей книге есть замечательные стихи и о розе, и о лилии, и о жаворонке, и о маслине, и о ласточках, и о земляничке в траве, и о грустном утреннем трамвае, и о липах, и о снегопаде, и о краюхе хлеба, и о бабьем лете, и об осени, и о многом другом.

Возьмем еще одну вечную тему — старости.

В наше время поэты довольно часто доживают до преклонного возраста, стариковство становится обычным их состоянием и естественной темой творчества.

Нищета и разочарование в жизни, толкнувшие тридцатидвухлетнего Аттилу Йожефа под колеса дачного поезда, жизненные обстоятельства, вызвавшие столько самоубийств, столько ранних смертей, отходят в прошлое. Однако старость, вечная тема старости, сохраняется в поэзии.

Читатель найдет в книге прекрасные стихи о старости и о символизирующих ее осени и зиме венгра Беньямина, словака Новомеского, поляка Тувима.

Процитирую несколько строк Ярослава Ивашкевича: «Побудь со мною, песенка, в старости, усталости. Разгладь мои морщины легчайшими перстами... Всю ночь звезда высокая мне не дает покою. То не звезда мешает — мешают грусть с тоскою о жизни промелькнувшей, о юности спаленной, и о пахучем сене, и о луне зеленой. В старости, в усталости, бессонной ночью долгою, с косой своей певучею идет косарь под окнами. До самого рассвета поет и повторяет, а на рассвете травы косою ударяет. Побудь со мною, песенка, в пустыне еженощной, пока меня не скосит косарь рукою мощной».

Печаль этих стихов, если применить пушкинские слова, светла. Поэту грустно и легко.

Так входят вечные темы в современную поэзию.

Чтение книги вызовет определенные трудности привыкания к многообразию традиций и манер.

Как же иначе может быть, если речь идет о четырнадцати национальных поэзиях, у каждой из которых своя судьба.

У нас нет возможности вдаваться в подробные характеристики. Укажу на черты сравнительно нечастые в русской поэзии.

Бросается в глаза изобилие нерифмованных стихов — белых и вольных. В нашей поэзии такого изобилия нет. Не было его и в классической поэзии поляков, немцев, чехов, болгар.

Объясняется это по-разному. И мощным влиянием Уитмена, Аполлинера, Арагона, Хикмета. И огромной ролью, которую играли взгляды Брехта, считавшего необходимым максимально приблизить стих к прозаической,

даже к деловой речи, отбросить все, что может затемнить смысл поэзии.

Однако прежде всего это объясняется особенностями некоторых языков, истощением запаса рифм.

Иные поэты, вслед за Аполлинером и тем же Хикметом, отказываются не только от рифмы, но и от пунктуации. Отказ этот внешний, потому что сама графика поэзии, членение ее на строки и строфы выполняет функции пунктуации.

Иногда стихи недостаточно ясны, перегружены метафорами или реалиями исторического и литературного рядов.

Однако подавляющее большинство включенных в книгу стихов просты, ясны, демократичны. Тенденция к простоте и ясности со временем все усиливается. Всенародный читатель влияет на поэзию, переделывая ее по своему образу и подобию.

Нечего и говорить, что переводчики соблюдали особенности оригинала — метр, строфику, систему рифмовки. Подтягивание переводимых стихов к нашему восприятию не допускалось.

Зато в отборе стихов предпочтение часто отдавалось тем, которые интереснее для советского читателя.

Эта книга написана сотнями поэтов и переведена сотнями поэтов. Едва ли не все крупные русские поэты, занимавшиеся переводом, представлены в ней. Скажем, польская поэзия, перевод которой был блистательно начат Пушкиным и Лермонтовым, привлекала внимание Ахматовой, Цветаевой, Сельвинского, Светлова, Пастернака, Тихонова, Суркова, Мартынова, Самойлова.

Немецкая поэзия, классические баллады которой перевел еще Жуковский, в наше время переводилась Сельвинским, Луговским, Винокуровым, Левиком и Гинзбургом.

Румын переводили Ахматова, Зенкевич, Алигер, Инбер, Ковальджи, Левитанский, Юнна Мориц.

Венгров — едва ли не все наши поэты, среди них Кедрин, Исаковский, Чухонцев, Сухарев.

Образовались длительные содружества поэтов. Долголетняя дружба с Гидашем сделала пропагандистами венгерской поэзии Заболоцкого и Мартынова. Алигер, много лет переводящая Десанку Максимович, опубликовала русский перевод знаменитой книги «Прошу помилования». Самойлову принадлежит заслуга перевода албанской поэзии — от эпических песен до послевоенных поэтов.

У нас существуют целые школы молодых поэтов — полонистов и германистов.

Эппель, Гелескул, посвятившие себя переводу новейшей польской поэзии, знают язык, литературу, страну, самих поэтов.

Массированный, целенаправленный, сосредоточенный в крупнейших издательствах перевод поэзии уже привел к тому, что на русском языке из-

даны главные вещи классики братских народов и многое, написанное поэтами-современниками.

Это — явление новое, присущее советской культуре, а еще точнее — последнему послевоенному тридцатилетию.

Большие антологии, составленные и отредактированные крупными учеными, переведенные лучшими поэтами, изданные огромными тиражами,— все это нимало не напоминает былую кустарщину, когда Гербель издавал антологию славянских литератур, составленную зачастую из поспешных пересказов, имевших скорее информационную, чем художественную ценность.

Наши поэты были солдатами и офицерами Советской Армии во время ее освободительного похода в Европу. Симонов и Незвал подружились в Праге, в освобождении которой советский поэт участвовал. Тихонов слышал рассказы о Вапцарове в Софии уже в сентябре 1944 года. Самойлов и Наровчатов участвовали в освобождении Польши, один — в качестве старшины-разведчика, другой — в качестве армейского журналиста. Левитанский начал переводить стихи венгров и словаков еще во время освободительных боев.

Брехт, Фучик, братья Чапеки, Вапцаров, Броневский и многие, многие другие воспеты советскими поэтами.

Немало сделал для сплочения поэтов и Московский Литературный институт, где одновременно учились болгары Димитрова, Стефанова, Джагаров, Методиев и русские поэты Сергей Орлов и Солоухин, а позднее румын Майореску и Ахмадулина, Евтушенко, Рождественский. И сейчас иные из самых молодых поэтов братских стран учатся в том же Доме Герцена на Тверском бульваре.

Итак, этот том «Библиотеки всемирной литературы» — итог огромного труда русских поэтов, знамение их дружбы и сотрудничества с поэтами братских стран.

БОРИС СЛУЦКИЙ

ПОЭЗИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ЕВРОПЫ

ИЗ АЛБАНСКОЙ ПОЭЗИИ

АНДОН ЗАКО ЧАЮПИ

ОТЕЦ ТОМОРИ

Наш Томори, ты — престол небесный,
Храм албанский с крышею отвесной! —
Шел народ к тебе на поклоненье,
Чтоб узнать господне повеленье.
Ты читаешь помыслы людские,
Так ответь мне: кто же мы такие?
Были прежде храбрыми людьми мы,
Были мы в бою непобедимы
И отважны были без примера.
Нас одна объединяла вера;
Мы меча из рук не выпускали,
Трусов и предателей не знали,
И никто тогда в стране албанской
Не боялся сабли оттоманской;
Воины с врагами воевали,
Девушки свободу воспевали.
Мой народ! А как теперь живет он?
Погибает под султанским гнетом.
Как скоты, албанцы прозябают,
С голодухи села вымирают.
Нет албанцев! Где они, албанцы?
Нас разъединили чужестранцы —
Грек и турок нас разъединили,
Поп с муллою веру поделили,
Обманули в церкви и мечети.
Трудно стало жить на белом свете!..

Ты, гора, наш храм, отец Томори,
Все ты знаешь сам про наше горе.
То, что было, каждый не забудет,
Расскажи нам лучше то, что будет.
Неужели в том веленье бога,
Чтобы нас наказывали строго?
Так ответь нам, в чем мы провинились?
Ведь от турок все освободились —
Греки, и болгары, и валахи,
Лишь албанцы прозябают в страхе.
Бог, свободу давший этим странам,—
Что ж он нас оставил под султаном?
Нас губили, били, разрушали,
Нашу кровь безвинную сосали,
Жили мы в невзгодах и в позоре!..
Вытер слезы и сказал Томори:

«Люди, познавшие горе,
Слушайте деда Томори!
Споря о вере и боге,
Сбились албанцы с дороги.
Распри Писанья с Кораном
Нынче покончить пора нам!
Бросьте ненужные споры,
Хватит на небо ссылаться:
Небо само без опоры,
Что ж на него опираться!
Связаны кровью одною,
Вскормлены почвой родною,
Вы не татары, не греки —
Все вы албанцы навеки!
Грозно, албанцы, вставайте,
Смело оковы срывайте,
Спуска врагам не давайте!
Дайте отчизне присягу
Вспомнить любовь и отвагу.
Не уступайте ни шагу!
Следуйте за Кастриотом!
Воинам и патриотам
Пусть будет вера оплотом!
Турции не опасайтесь,
Не доверяйте Морее,
В бой за отчизну бросайтесь
С гордой отвагой своею.
В битву, албанцы, идите.

Родина вас призывает!
Радуйтесь — или умрите —
Так, как мужам подобает!»

АЛБАНЕЦ

В край албанский вторглись турки,
Жгут дотла!
Встань, бери оружье в руки,
Сын орла!

Ты довольно потрудился
На господ!
Вспомни край, где ты родился
В дни невзгод.

Создал нас господь для дела.
Мы — орлы!
Иль таскать не надоело
Кандалы!

День пришел, пора для мести
Нам вставать
И свободу всем нам вместе
Добывать.

Надоело быть рабами,
Как вчера.
За отчизну в бой с врагами
Нам пора.

Жили полтысячелетья,
Как в тюрьме,
Мы, истерзанные плетью,
В злом ярме.

Мусульмане и христьяне,
Встаньте в ряд!
Будет биться в нашем стане
Стар и млад.

Встань на подвиг благородный,
Меч бери!
Или сделай жизнь свободной —
Иль умри!

О Албания родная,
Край огня,
Я тебя несчастной знаю,
Ты — меня.

Ты скорбишь под вражьей властью,
Край родной,
Ибо нет у нас согласья
Меж собой.

Я о юношах скорбею,
Что вдали
За султана и Морею
Полегли.

Сбрось, отчизна, турков подлых.
Близок бой!
Встань же, родина, на подвиг —
Мы с тобой!

ИЮЛЬ

Пришел июль, стоит жара,
Уже хлеба косить пора.
Пришел июль — хороший знак.
Его приветствует бедняк.
Пришел июль, и потому
Не будет голодно в дому.
Июль, умеющий гореть,
Как можжевеловая ветвь,
Июль, весь в травах и цветах,
Со смуглым жаром на щеках,
С тяжелой ношею плодов,
Которые раздать готов!
Июль на плечи нагрузил
Урюк, и груши, и кизил,
Чтоб сладок был осенний пир.
Уж начал вызревать инжир.
Из всех других плодов — его
Пусть будет более всего:
Когда инжир в корзинах есть,
Любой тебе окажет честь...

Страдай, трудись — июль придет
И хлеба даст на целый год.
В июле каждое гумно
Снопами желтыми полно,
Плодами перегружен сад,
И труженик июлю рад.
Идет июль! Бери серпы,
Вяжи тяжелые снопы.
Кто мог посеять и вспахать,
Тому не время отдыхать!
Шумят колосья, как волна,
И каждый колос — из зерна.
Ведь было малое зерно,
Но стало колосом оно.
Колосья спелые! Взгляни,
Как в руки просятся они,
Они играют и шумят,
Как стадо маленьких ягнят.
Взгляни — блестит, как золотой,
На поле колос налитой.
Кругом волнуются поля,
И морем кажется земля.

О вы, поля моей страны,
Слезами вы орошены,
Вас пропитал бедняцкий пот
В дни трудных полевых работ.
Увы, напрасен тяжкий труд —
Всё чужеземцы заберут.
Албанец, молодость губя,
Работает не для себя.
Напрасны все его труды,
Другие жнут его плоды.
Июль! Отважные сердца
Недаром чтят в тебе бойца!
Во Франции восстал народ
Во имя права и свобод:
В июле битва началась
И кровь святая пролилась
. . . . . .
. . . . . .

Июль! горячностью своей
Разжег ты пламя мятежей.

И то, что ты зажег, июль,
Не погасить потоком пуль.
Ведь солнце пламенное есть
В крови у тех, кто любит честь,
Свобода в бой зовет борца,
И загораются сердца,—
Зовет, а ты, албанец, что ж
Молчишь, на подвиг не встаешь!
Огонь июльский разожги,
Чтоб пали все твои враги!

РОДИНА

Родиной тот край зову,
Где родился, где живу,
Где бродил я не однажды,
Где знаком мне камень каждый,
Где учился понимать,
Где любил отца и мать,
Где когда-то предки жили,
Где лежат они в могиле,
Где к невзгодам я привык,
Где звучит родной язык,
Где с друзьями я встречался,
Где рыдал я, где смеялся,
Где люблю на мир смотреть,
Где хотел бы умереть.

* * *

Кто от милой и друзей
На чужбину удалился
Ради денег, тот, ей-ей,
Навсегда ума лишился.
Что ж, ступайте вы, глупцы,
Мир открыт во все концы.
Мне ж оставьте дом счастливый,
Счастье мирное любви.
Виноградники и нивы —
Это радости мои.
Здесь, на родине моей,
Жить хочу среди полей,

Без богатства, с милой рядом,
Сеять хлеб, ходить за стадом;
Чтоб могла у нас родиться
Кукуруза и пшеница,
Чтобы гроздья винограда
Наши красили пиры,
Чтоб паслось большое стадо
У подножия горы.
Чтоб блеяли овцы тонко,
Чтоб звенели бубенцы,
Чтобы мог я ткнуть козленка
В материнские сосцы.
Нет, не брошу быт крестьянский,
От любви не убегу.
Дом родимый, край албанский
Я покинуть не могу!
Пусть достатка не узнаю,
Здесь и старость не страшна,
Пусть я лучше здесь страдаю,
На миру и смерть красна.
А умру — пусть мать и сестры
Совершат простой обряд:
Зарыдав, распустят косы,
Как обычаи велят.
И придет моя родная
Провожать меня, рыдая.

* * *

Когда мы дичками незрелыми были,
Как нежно с тобой мы друг друга любили!
Мы целыми днями с тобой целовались,
Бродили, играли и не расставались.
Любил я. И ты меня тоже любила.
Припомни, что ты мне тогда говорила!
Но ты стала взрослой, я тоже стал взрослым.
Так что ж ты забыла о прежнем, о прошлом?
Ах, яблочко нынче налилось, созрело,
Сияет оно, да меня не согрело.
Но ласточка-птица, летя на зимовье,
Вовек не забудет родное гнездовье.
И сердце, как птица, летящая с юга,
Отыщет, быть может, давнишнего друга.

* * *

Красота твоя! Солнца светлее чело,
Твои косы до пят, как воронье крыло,
На щеках твоих белых румянец плода.
Стан твой тонок, походка легка и горда,
Твои груди — гранат, и миндалины — зубы,
Твои очи — каштан, лепестки — твои губы,
Твои руки — как снег, твое слово — как мед,
Я люблю твое тело, и руки, и рот.
Красота твоя жжет горячее огня,
Только сердце твое — как скала для меня.

НДРЕ МЬЕДА

ПЛАЧ СОЛОВЬЯ

IV

О соловей мой! Ненастье минет,
И наши души печаль покинет,
Зима умчится с ее метелью.
Воспой веселье!

Настанет время весны погожей,
Ведь дни не вечно друг с другом схожи,
За невезеньем придет везенье.
Воспой веселье!

Под гнетом горя бедняк томится,
Беда повсюду за ним влачится,
Но труд для сердца — благое зелье.
Воспой веселье!

Когда ребенок скончался в доме,
Нет края горю, конца — истоме.
Но время лечит от потрясенья.
Воспой веселье!

Томится узник в глухой темнице.
Очаг родимый бедняге снится.
И лишь надежда — его спасенье.
Воспой веселье!

Темницу вражью разрушат годы,
Вернется узник — дитя свободы —
В родные горы, поля, ущелья.
Воспой веселье!

И пленной птице весной чудесной
Откроют двери из клетки тесной.
И прянет птица с беспечной трелью.
Воспой веселье!

Птенцов свободных увидят птицы.
Твое спасенье из стен темницы
Им станет в жизни высокой целью.
Воспой веселье!

Недаром время меняет лики,
Восстанет малый, падет великий,
За днем ненастным придет весенний.
Воспой веселье!

Падут державы, иные встанут,
Людей мильоны душой воспрянут,
Придет век новый сквозь тьму неверья!
Воспой веселье!

Текуче время, но вечна младость,
Минуют беды, вернется радость,
Исчезнут горе, обман, безделье.
Воспой веселье!

Уже недолго тебе томиться,
И скоро сердце преобразится
В объятьях счастья, под светлой сенью.
Воспой веселье!

Когда свободный взлетишь ты выше,
Присядь, о птица, на нашей крыше.
И мы разделим без опасенья
Твое веселье!

МУСТАФА-ПАША В БАБУНЕ

От шумной пляски не гудят ущелья,
И эхо выстрелов не катится в долины,
Народу нашему не до веселья,
И в бой ушли мужчины.

Паекали Одисе (Албания)
Памятник народному бойцу в Корче (фрагмент)
Скульптура. 1942 г.

Кругом желтеют брошенные нивы,
Пасутся буйволы, порой вздыхая тяжко,
И в ожидании страды бредут лениво,
Но без упряжки.

А упряжь вся повешена на колья,
И без работы плуг ржавеет у забора,
И мелкий скот пасется на приволье
Без всякого надзора.

Дрожит в загоне скот, когда снаружи
Скребет когтями волк и роется в соломе:
Ведь нет защитника — теперь без мужа
Одна хозяйка в доме.

О горные орлы, за вами следом
Мужчины-воины летят неудержимо,
Спешат они иль к смерти, иль к победам
В борьбе за край родимый!

Под градом пуль сражаются жестоко,
Из ружей метко бьют, стреляют неустанно,
Они неудержимы, как потоки,
Они храбры, как заны.

А ты, грабитель, тешишься бесстыдно
Цыганской пляскою, беспечным звоном бубна,
Перед врагом юлишь, как пес, и, видно,
Забыл призыв наш трубный.

Позор тебе и стыд, исчадье ада!
Смеются над тобой средь пляски штойзовалы,
В их пении, паша, тебе в награду
Песнь смерти прозвучала.

Изменник подлый ты! Албанца слово
Нарушено тобой. И те, кто бились с честью,—
Герои павшие,— восстанут снова,
Дыша суровой местью!

Они придут в твой дом, чтоб мстить жестоко,
Махмета Бегу прах во тьме зовет кого-то,
И голос слышится его далекий:
— Пора свести нам счеты!

Я годы ждал тебя. Так пусть в печали
Утешится жена, сраженная ударом.
Хочу я, чтоб албанцы все узнали,
Что я погиб недаром...

На нивах и лугах везде волненье —
С оружьем встал народ, который ты ограбил.
И ты расплатишься за преступленья
Своей душонки рабьей!

Беги скорей, палач трусливый, лютый,
Албания тебя с презреньем отшвырнула!
Ищи себе в стране рабов приюта,
За стенами Стамбула!

МИДЬЕНИ

НЕСПЕТЫЕ ПЕСНИ

Спят неспетые песни во мне, в глубине, в тишине,
Не проснулись еще ни от радости, ни от печали.
Спят неспетые песни, и ждут, и мечтают о дне,
Чтоб очнулись их строки без страха и вслух зазвучали.

Спят во мне мои песни, как залежь недобытых руд,
Я до времени жду, я подобен немому вулкану.
День придет, я из недр свои дивные песни достану,
Засверкают они, запоют и уже не умрут.

Но придет ли тот день, чтобы песни проснуться могли?
Или снова над нами века посмеются?
Нет! Уже расцветает свобода вдали!
Вижу — Солнце встает, чтобы теплым лучом нас коснуться!

О неспетые песни! Алмазная россыпь души!
Вас не знает никто, я один увлечен вашей силой!
Как дитя, беззаботно я трогаю струны в тиши.
Чем я буду для вас — колыбелью, а может, могилой?

ГОРОДСКАЯ БАЛЛАДА

Ночью
Видели звезды воочью,
Пробиваясь лучами сквозь темь,
Тень.., нет! Не тень!

Там, на улице длинной, пустынной,
Как мученье, бледна,
Грудь украшена раной,
Рот искривлен улыбкою странной,
Чуть прикрыта одеждою рваной,
Совершенно одна
Посредине ночного квартала
Призрак голода —
Женщина, тень,
Напевая, во тьме танцевала.

Шаг вперед, шаг назад, шаг вперед —
В такт босыми ногами,
В такт больными губами.
И опять — влево шаг, вправо шаг.
Изболелась душа,
В сердце холод и мрак.
А тогда,
Как была молода
И горда,
Как любили ее господа
В те года!
А теперь отблистала!
Жизнь погасла, и сердце устало.
Ей достались суровые дни,
И на танец безумный похожи они
Посредине ночного квартала.

БЕЗНАДЕЖНАЯ МУЗЫКА

Безнадежная музыка. Льются слезы из глаз
В тихом плаче...
Все ее неудачи,
Все мечты и желания,
Первые, ранние,—
Все убитые чувства
В этой музыке грустной.

В тихом плаче качаются плечи слепящие,
Эти белые плечи...
Все, что стало далече,
Все, что ныне утрачено,

Что слезами оплачено,—
Все звучит безыскусно
В этой музыке грустной.

Щеки спрятав в ладони, уткнувшись в колени,
Плачет женщина,
Чья душа изувечена.
Плачет вместе со старой,
Разбитой гитарой
Над строкой недопетой —
Из-за музыки этой.

И молчит человек возле женщины, плачущей
О себе, о позоре,
Он проник в ее горе,
Он над нею склоняется,
И ресницы смыкаются...
Меркнет свет над планетой
Из-за музыки этой.

Но приходит другой... Кровь бурлит,
Тяжко дышится...
А в мелодии слышится,
Что душа уже отдана,
Что любовь уже продана,
Стала стертой монетой
Вместе с музыкой этой.

МОТИВЫ

Есть в музыке стиха мотив воспоминанья.
Не в детстве ли исток поэзии моей,
Когда влекли меня надежды, и желанья,
И светлые мечты моих невинных дней?

А может, памятью о юности недавней
Рождаются стихи о счастье и любви —
Со звонкой рифмою, со страстью своенравной,
С безумной радостью, бушующей в крови?

Но в лицах женщин тех, угрюмых, несчастливых,
Торгующих собой с протянутой рукой,—
В морщинах их застыл мотив стихов тоскливых,
И стонут небеса от музыки такой.

В чахоточном углу безумец смотрит тупо,
Сидит его семья, от холода дрожа.
О нищая семья, о горькая халупа!
Здесь копится в глуши начало мятежа.

В угрюмых тайниках, где страх и боль гнездится,
Где давит тишина и где не брезжит свет,
Там рядом с нищетой мелодия родится,
Там первую строку находишь ты, поэт!

Мотивы всех родов звучат передо мною,
То гаснут, то волной летят со всех сторон.
Но вот приходит он, со смертной белизною,
Трагический мотив — и колокола звон.

БЕССОННАЯ НОЧЬ

Немного света! Света, света, брат и друг!
Молю о свете, чтоб распалась тьма ночная,
Когда томит меня неведомый недуг
И ненавижу, сам кого не зная.

О муж! Хоть каплю света здесь пролей!
Герой, который создает и рушит,
Не оставляй без света, пожалей,
Не то ночная мгла меня задушит.

Хочу, чтоб факел грозный полыхал,
Чтоб от набата эта тьма дрожала,
Чтоб ты, измученный, однажды увидал,
Что пляшем мы на острие кинжала.

Но нету факела, разделены друзья,
Во мраке ночи не смыкают вежды.
Кричу напрасно, надрываюсь я...
Так замолчи, душа, и твердой будь, как прежде.

Поет петух, поет — близка заря.
Петух, ты лжешь иль нет? Ответь мне без обмана!
Все говорят, что ты поешь не зря!
Но больше верить я людским словам не стану.

Уймитесь, думы! И кошмары — прочь!
Подушку обнимаю, как спасенье.
О, дай мне сна! О, дай мне в эту ночь
Слова надежды, дружбы, утешенья!

НЕРАЗГАДАННАЯ ПЕСНЯ

Посвящается народным напевам

Украдена песня из сердца народа
И сделалась плачем о горе народном,
О дочери нищей, о сыне голодном,
О тяжкой судьбине, разбитой грозою,—
Была она песней, а стала горючей слезою.

Ты плач или песня? Ответствуй мне, сердце народа!
Ответствуй мне, сердце, которое вечно страдает,—
Ты плач или песня? И кто мне тебя разгадает?
Звучит ли проклятье в тебе против силы неправой,
Которая дни напоила горчайшей отравой?

О да! Ты суровой судьбы выраженье,
Той жизни, что гибнет, и чахнет, и, может,
Замолкнет в бессилье и в изнеможенье!

ВСТУПЛЕНИЕ К ВСТУПЛЕНИЯМ

Каждый день умирают боги,
Каждый день разрушаются идолы,
Пропадая во мраке времен.
Неизвестно теперь, кто сильней — человек или бог?
Бог в разодранном рубище пред человеком предстал,
Сам себя по щекам он хлестал,
Бил себя со слезой покаянной
И кричал о судьбе окаянной:
«О, кого я на свет породил!»
И не знает теперь человек:
Он ли бога придумал
Или сам он — создание божье?
И в раздумье стоит человек у подножья
Неподвижного идола,
Что не в силах ответить ему,

Перепуталось все — кто мы, люди иль боги?
Несмотря на смешенье язы́ков,
Хорошо понимать мы умеем друг друга,
Вавилонскую башню могли бы построить мы ныне,
Чтоб, взойдя на нее, чтобы, стоя на самой вершине,
Человек огляделся
И крикнул во всю свою мощь:
— Эй ты, господи! Где ты?

ШЕФТЕТ МУСАРАЙ

ИСТОРИЯ «БАЛЫ КОМБЕТАР»

Фрагменты из поэмы

*

Разбилась шаланда —
На дно, федералы!
Спасайся, кто может,
Ребята из «Балы»!

Фашизму конец!
Иная эпоха.
Спасайся, кто может,
Чтоб не было плохо!

Где римская слава?
И где Муссолини?
Ах, сгинуло всё
По известной причине!

Сбежал Париан
Из пышных палаццо,
Исчезли Бибан
С синьором Далмацо...

Так надо втереться
В доверье народа —
Раз ветер другой,
Другая погода.

Пальнуть пару раз
Нетрудное дело,
Захватим поместья —
И аддио, белло!

Иначе мужик,
Пожалуй, с нас спросит —
Никто головы
Из наших не сносит!

Крестьянин придет
С дубиной своею
И скажет он так
Помещику-бею:

«А как, господин,
Служил ты народу,
Когда я с ружьем
Стоял за свободу?»

Того и гляди,
Сведет с нами счеты.
Пойдешь на тот свет
Без всякой охоты.

Скорей же бочком
Подлезем к народу —
Из наших, мол, рук
Добыл он свободу.

А в прежних друзей
Пальнем из ружьишка,
Не то вместе с ними
И нам будет крышка.

...Издох жеребец,
Копыта остались —
Подковы снимать
Балысты примчались.

Вопит Али-бей:
— Вперед, за отчизну!
Мол, родина ждет
От нас героизма!

— Небось ведь и мы
По крови албанцы!
Терзают небось
И нас чужестранцы.

Фашисты и нас,
Бедняг, попирали,
Убили одних,
Других обобрали.

Ударим, братва,
По прежнему другу,
Припишем себе
Чужую заслугу!

Глядите, идут
Ребята из «Балы».
Не ружья несут —
Бутыли, бокалы.

Манишки на них,
Перчатки и фраки,
Пижамы, зонты,
Платки и чувяки.

— Пошли воевать!
— Да, да, повоюем!
Как счастлив народ,
Что мы существуем.

Тут пир на весь мир,
Закуски и тосты,
Вино потекло —
Гуляют прохвосты:

— Лакайте до дна!
Гуляй без рассудка!
Мы пьем за народ,
Ведь это не шутка!

Как двинемся в бой,
Гора сотрясется!..
Над их похвальбой
Деревня смеется.

Дивится народ:
— Что это за чудо?
Какой пароход
Привез их, откуда?

— Что скажешь о них
Ты, дядюшка Цени?
— Как буйвол, балыст
Пошел искать тени.

Знать, в пекло попал
Наш новый приятель,
Гляди, как вопит:
«Да сгинет предатель!»

— Да кто же они?
— Предатели сами.
Гляди, как кричат:
«Крестьяне, мы с вами!»

А тут же тайком
Готовы к измене.
Нет, власть не для них! —
Разгневался Цени.

— Служили они
Различным султанам,
Садились они
На шею крестьянам,

А нынче пришли
Побитыми псами,
Чтоб головы с нас
Обрить с волосами.

Вот так говорит
Наш дядюшка Цени:
— К чертям этот сброд!
Мы знаем им цену!

*

Здесь кровь пролита,
Здесь голод и раны.
Воюют в горах
Сыны-партизаны.

Народную честь
Они не роняют,
Империю в гроб
Прикладом вгоняют.

Без пищи, питья,
Под ливнем и в стужу
Сурово они
Сжимают оружье.

Их крепость в горах,
Им храбрость сродни,
С улыбкой и песней
Воюют они...

— Постойте, друзья!
А там что за люд?
Нестройной толпой
Зачем к нам идут?

Зачем так спешат,
Карабкаясь в гору?
Видать, опоздать
Боятся к разбору?

— Так это ж балысты!
А мы их не ждали!
Зачем же балысты
К нам в горы примчали?

Сам Люмо пришел
(Прозванье Митата),
На нем воротник
И фрак дипломата:

— Великие дни
Пришли для албанцев.
Не можем терпеть
Мы гнет итальянцев.

Страдали и мы
От разной квестуры,
От квислингов и
От их агентуры.

Я сам пострадал,
Их гибели жажду:
Ведь мой магазин
Закрыт был однажды.

— И я потерпел,—
Тут Дости вмешался,—
Министром служить
Я не соглашался.

Файк Тюку вопит:
— В Милотском сраженье
Я пленных семьсот
Забрал, без сомненья.

Из них только семь
Меня дожидались,
А прочие все,
Они... разбежались...

— И мы,— говорят
Предатели с жаром,—
Мы тоже свой хлеб
Жевали недаром!..

Владельцы, дельцы —
Вся жалкая свора
Кричит, вопиет:
— Мы жертвы террора!..

В герои они
Гурьбой затесались,
Как сдох жеребец,
Копыта остались.

Мол, мы за борьбу,
Пора, мол, за дело,
Пришельцев и нам
Терпеть надоело.

И требуем мы,
Чтоб все признавали,
Что тоже и мы
В горах воевали.

На битых врагов
Поднимемся смело,
Народ поведем
На общее дело...

А Цени-старик
Смеется над «Балы»:
— Не ваш урожай,
Раз вы не пахали.

И мы для того ль
Пошли в партизаны,
Чтоб вам из огня
Достались каштаны!

КЕМАЛЬ СТАФА

ПОГИБШЕМУ БРАТУ

Родился ты
В тот год, когда война
Вошла без стука в наши двери,
Когда людские племена
Вцепились друг в друга,
Словно звери.
И стлался над землей сражений дым.
И у твоей убогой колыбели
Нужда и нищета сидели,
А голод был наставником твоим.

Но подлый век,
Но низкий старый мир
Тебя лишь закалил,
А не сломил.
И ты отверг, смеясь,
Их лживый блеск,
Их золотую грязь.

Да, наша молодость была тяжка,
Но клятву принесли мы с братом
Хранить навеки гордость бедняка
И ненависть к богатым.

Нам говорили:
«Ложный путь
Избрало ваше поколенье.

Вам надо бы развлечься, отдохнуть...»
Те, кто всю жизнь стояли на коленях,
И нам хотели головы пригнуть,
Но, все преграды преодолевая,
Мы с боем
Шли вперед.
И думал я,
Что брат со мной придет
К твоей победе,
О земля родная!
Как о твоей свободе он мечтал —
И не дождался,
Не дошел.
Упал...
Прощай, товарищ!
Милый брат, прощай!
Я возвращаюсь в партизанский край,
В орлиное гнездо народа,
Под знамя то, что вышивала мать,
Не уставая слезы вытирать,—
Под знамя
Нашей правды и свободы!

ПЕСНЬ КОЛОКОЛЬНИ

Как холодно голодным по утрам!
Качая головой седою,
В построенный недавно пышный храм
Старик заходит, сгорбленный нуждою.

Голодного не насыщает сон.
Усталый после отдыха ночного,
Дверь колокольни отпирает он,
И частый звон
Провозглашает: день начался новый.

Светает. Отступает мгла.
На колокольне нищий, сирый, робкий,
Худой старик, повисший на веревке,
Звонит в колокола.

Всем кажется: серебряной волной
Омыло город, утренний и сонный,—
А в колокольне робкий, оглушенный,

Худой старик, несчастный и больной,
Со лба стирает теплый пот,
И кашляет, и вновь звонить идет,
И виснет на веревках снова.
И снова заглушает этот звон
Детей голодных стон
И кашель старика больного.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

ХРИСТО СМИРНЕНСКИЙ

КРАСНЫЕ ЭСКАДРОНЫ

Утром самой светлой эры с факелами новой веры
красным вихрем эскадроны по моей планете мчат.
Словно вороны, над ними в черных тучах, в черном дыме
без конца кружат снаряды, стаей черною кружат.

Пена с губ коня упала, и кого-то смерть достала —
храбрый воин распластался бездыханным на земле...
Конь застыл недоуменно, но тотчас за эскадроном
он опять помчался следом с ветром, бьющимся в седле.

Развевает ветер гривы, не сдержать коней порывы,
и летит до облаков,
постепенно оседая, вековая пыль седая
из-под бешеных подков.

Мчат бойцы без остановки, но коварные винтовки
преграждают смелым путь —
с ними смерть играет в прятки, кратки и кровавы схватки:
пуля с пулей, с грудью грудь.

Ах, летите, эскадроны! Обожженный, обновленный
с вами мир сегодня весь.
Ах, летите, эскадроны! Вместе с вами миллионы,
миллионы — их не счесть.

Свергнув рабские законы, вы летите, эскадроны,
обгоняя старый век.
Вы летите вихрем красным в завтра, где под солнцем ясным
будет счастлив человек.

Ах, летите, эскадроны! Угнетенных смолкнут стоны —
вы предвестники весны.
Сквозь последние заслоны вы летите, эскадроны,
словно молнии, грозны.

И когда в былое камнем рабство и насилье канут,
станут углями в золе,
вы тогда с коней сойдете и губами припадете
к отвоеванной земле.

МОСКВА

Москва! Москва!
Глаза твои бездонны.
Мне так близка
заря твоей зари.
Москва! Москва! Ты сердце на ладони
теперь навек проснувшейся Земли.
Москва! Москва!
Живой накал металла.
Ты все смогла,
ты горе отмела.
Москва! Москва! Сбылось, о чем мечтала
ты, мать моя, ты, сверстница моя.

Москва! Москва!
Высоты и глубины.
И вдоль виска
шершавый шрам войны...
Москва! Москва! Горят твои рубины,
сердца пятиконечные твои.
Москва! Москва!
С тобой не разминуться.
Врагов войска
мертвы перед тобой.
Москва! Москва! Ты символ революций,
ты хлеб и мир, ты самый главный бой.

Москва! Москва!
Пример тобою подан.
Звучат слова
о счастье всех людей —
и слушают Париж, Берлин и Лондон,
Москва, твое воззвание к народам
с твоих еще горячих площадей.
Москва! Москва!
Пусть нам живется всяко.
Ты, как трубач, походный марш пропой,
Москва,— моя повестка и присяга
на бой святой, на — до победы! — бой!

ДА БУДЕТ ДЕНЬ!

Ночь чернотой своей пугает;
ночь холодна, как лед, как смерть.
Растерзана земная твердь
и кровью жаркой истекает.

Среди руин, в огне и дыме,
безглазым демоном войны
знамена хищно взнесены;
звенит мечами он своими.

Во мраке ночи непроглядной
с земли зловеще поднята
громада страшного креста;
к нему толпою безотрадной

идут гонимые бичами
кумира золота и зла,
и все мрачней, все гуще мгла,
и двигать нет уж сил ногами.

Почуять воздух жаждут груди,
хоть искры света ждут глаза.
Мечта одна лишь, как гроза,
горит, растет и души будит.

Сквозь жуткую ночную тень,
сквозь слезы и кровавый гнет
мятежный крик кругом встает:
— Да будет день! Да будет день!

ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ

ГУСЛЯРСКАЯ

Едва лишь сел я вином упиться,
вином упиться — друзьям на здравье,
друзьям на здравье, врагам на гибель —
над ровным полем взвилися птицы,
что было грезой — то стало явью,
от страшной яви — волосья дыбом.

Глашатай кличет по Будим-Граду,
по Будим-Граду, Демир-Капии,
по всем-то стогнам, путям и селам
его я слышу, и горше яда
вино, и думы, что тучи злые,
застлали мраком мой пир веселый.

Соленой влагой полны колодцы,
рыдают нивы, рыдают хаты,
всему народу — лихая туча!
— С торгов Афон-гора продается!
Мчат богатеи в Солунь треклятый,
не повторится счастливый случай!

Гора, где каждый-то камень — подвиг!
Здоровье хворых, свобода пленных,
защита сирых, опора слабых!
На райских пастбищах овцы бродят,

в святых обителях белостепных
монахи черные бога славят.

Меня в колыске качало Худо,
качало Худо у мерзлой печки,
за мною Худо ходило тенью.
Как не скучать мне в ночи без свечки,
коль ничего мне и ниоткуда,
ни в будний день мне, ни в воскресенье!

Каб богатеем глядел на солнце,
все откупил бы долины-горы,
златые нивы, златые руды...
Эх, потекли бы мои червонцы
на радость здравым, на здравье хворым,
на сласть и радость простому люду...

РУССКОМУ НАРОДУ

Словно Балкан, что суровым гайдуком
нашей земли стережет небосвод,
в страшные годы доблестным другом
в помощь нам — русский великий народ.
Помнят отцы наши Шипку и Плевну.
Русская кровь пламенела, как мак.
«Едут!» — будили девчата деревню,
в розах тонул за казаком казак.
На площадях о Столетове, Гурко
старцы поют до сегодняшних дней.
Прялки молодок, жужжащие гулко,
с песней о русских кружатся дружней.
Рабство и мрак ты, как рыцарь, пронзаешь,
жизнь возвращаешь и счастья оплот,
правды источник из скал высекаешь
людям земель всех, о русский народ!
В мужестве, в доблести — кто тебе равен?
В верности — с кем бы тебя я сравнил?
Я бы упал, задыхаясь, бесправен,
если б тебя не узнал, не любил.
Нет величавее русского слова,
нет русской речи звучней и мудрей.
Все, что высоко, правдиво и ново,
слышимо всюду, рожденное в ней.

Разве из пропасти черной вторично
к свету смогли б мы подняться опять?
Разве нам стало бы снова привычно
песни свободы в рядах распевать,—
если б не братья, что шли неуклонно
в помощь нам, старый и молодой,
молот и серп укрепив на знамена,
в шлемах под пятиконечной звездой?
Шли на подмогу и все нам простили,
братская к нам протянулась рука;
русская ярость — безудержной силы,
русского чувства бездонна река.
Честность, товарищество, сердечность
не потускнеют во все времена,
русская правда есть всечеловечность,
в рост и меня поднимает она.
Словно Балкан, что суровым гайдуком
нашей земли стережет небосвод,
в страшные годы доблестным другом
в помощь нам — русский великий народ.

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Этот день, он пришел к нам с безлюдьем полей,
с тишиною лугов, отзвеневших косою,
с позолотою персиков и с синевою
над садами и рощами, с плачем детей.

Этот день, молчаливый, пропахнувший мятой,
и пустующим стойлом, и потом рабов,
вдруг расцвел по дорогам над нивою сжатой:
загорелись знамена над морем голов.

Тишину колокольный трезвон разорвал,
словно из дому вышел веселый гуляка.
Прогремели замки,— из тюремного мрака
люди хлынули, песнями дом зазвучал.

И на площади, прежде безлюдием страшной,
пред телами казненных столпился народ.
Благодарность и вечная слава отважным,
тем, чье мужество к светлой нас жизни ведет!

Пролетает по улицам и площадям
ветер радости, буйно шумящий в знаменах,—
из лесов и оврагов на крыльях зеленых
долгожданная весть прилетела сюда.

Партизанские шапки заломлены браво,
на винтовках — султаны зеленых ветвей,
поминается Ботев, гайдуцкая слава
разливается песней, огня горячей.

Говорит командир, и звучна его речь,
и летит его слово крылатою бурей,
что не будет ни виселиц больше, ни тюрем,
что свободу должны мы, как око, беречь.

А «катюши» идут, и проходят солдаты,
и вокруг ликование, смех и молва.
«Красной Армии слава!» — и ярки плакаты,
и горят, и сияют над аркой слова.

Этот день, он взошел небывалой зарей,
развернувшейся в небе, как алое знамя,
и над миром зажег благодатное пламя,
и рассеялись тучи над нашей землей!

От Дуная до Странджи — кипенье народа.
Над землей небывалые грозы прошли.
Держит власть сам народ над страною свободной,
он сегодня — хозяин счастливой земли!

ЭЛИСАВЕТА БАГРЯНА

ЗОВ

Здесь я замкнута, крепки засовы,
и в окне решетки черной прутья,
ни запеть не в силах, ни вздохнуть я,
ни в родной простор умчаться снова.

Как томятся в тесной клетке птицы,
зов весенний слышу сердцем ясно,
но огонь мой гаснет здесь напрасно
в душном сумраке глухой темницы.

Так разбей замки — пора настала
прочь уйти по темным коридорам.
Много раз по солнечным просторам
я веселой птицей улетала.

Унесет меня поток певучий,
что из сердца трепетного льется,
если до тебя он донесется...
— Слышишь из темницы зов мой жгучий?

ПРАВНУЧКА

Нет ни прародительских портретов,
ни фамильных книг в моем роду.
Я не знаю песен, ими петых,
и не их дорогами иду.

Но стучит в моих висках лихая,
темная повстанческая кровь.
То она меня толкает к краю
пропасти, которая — любовь.

Юная прабабка жаркой масти,
в шелковом тюрбане ниже глаз,
с чужеземцем, тающим от страсти,
не бежала ли в полночный час?

Молнию-коня, чернее врана,
помнят придунайские сады!
И обоих спас от ятагана
ветер, заметающий следы...

Потому, быть может, и люблю я
над полями лебединый клич,
голубую даль береговую,
конский бег под хлопающий бич...

Пропаду ли, нет — сама не знаю!
Только знаю, что и мертвой я
восхвалю тебя, моя родная,
древняя болгарская земля.

ЗАБЫТЬЕ

Говори, говори, говори —
опускаю ресницы и внемлю:
гор дымятся внизу алтари,
вижу смутные море и землю...

Там закат багровеет, горя,
здесь пожарища, дым и тревога,—
где нас встретит сегодня заря
и куда эта вьется дорога?

О, туда ль, где мы, полные сил,
можем, словно два пламени, слиться
и в ночи средь небесных светил
как двойная звезда засветиться?

— Я конца не предвижу пути,
позови — я согласна идти.

БЕЗУМИЕ

Могучий вихрь — тревоги грозный знак.
Какие эта ночь таит виденья,—
и тополя зачем взметнулись так!..
О, что за крики, вопли и моленья!
Умолкнет и опять застонет мрак.
Не рвется ль чья-нибудь душа из мира?
Зачем нам лес грозит, как злобный враг,
и Орион сверкает, как секира?

Такая ночь — для заговора, друг,
страшны пожаров огненные лица,
самоубийцу манит смертный круг,
о боже мой, на что глядит возница!
Не третий ли уже петух пропел?
Свистя, играет ветер проводами,
раздался крик — и конь осатанел,
как будто кто-то гонится за нами.

Но не принцесса я, ты не король,
мы не хотим ни скипетра, ни трона,
не сеем мы страдания и боль,
мы грамоты не прячем потаенной,
нам не нужна ничья на свете кровь.
На мир глядим мы влажными очами,
чтобы поймать хоть тень твою, любовь!
Мы твой мираж хотим увидеть сами.

МОЯ ПЕСНЯ

Возьми меня, лодочник, в легкую лодку свою!
Волну рассекая, скользит она бездной раздольной
и будто бы в небо ведет дорожку-струю,
летит наперегонки она с чайкою вольной.

В открытое море выйдем, покинув залив,
на губы нам брызнут волны солью целебной,
и с южным ветром, парус тугой развив,
помчится, белея, ладья дорогой волшебной.

И в море, лодочник, песню я запою
неслыханную — о малой родине нашей,
чье имя тучкой сникает на душу мою,
чья песня — мед и вино, всех песен краше!

Где каждая девушка, хлеб убирая, поет,
а парни вторят и вечером ждут у калиток;
на свадьбах поют, и зимой, всю ночь напролет,
где в песне мать изливает печалей избыток.

О, песня у нас зловеща и скорбно-глуха,
такой ты не слышал, такой не услышим нигде мы:
ведь нет народа, чья доля, как наша, лиха,
чьи муки так тяжки, а люди безропотно-немы.

У нас на горах и летом не тают снега,
и море у нас зовется «Черное море»,
и Черной горы вершина мрачна и строга,
слезами поит нашу землю черную горе.

Возьми меня, лодочник, в легкую лодку свою!
О нет, не страшат ее гребни пучины раздольной.
И пусть в бесконечность ведет дорожку-струю,—
мы неба достигнем, сдружимся с чайкою вольной.

ТРЕВОЖНАЯ ВЕСНА

Ты, новая весна, приходишь, все сильнее
тревожа неизвестностью своей.
Чем ярче солнце, тем она сложнее —
загадка этих непевучих дней.

Деревья развернут сверкающие кроны,
разбуженные ульи зажужжат,
и каждый цвет созреет, опыленный,
и лепестки на пашню облетят.

На этом пире, в этом ликованье,
где каждое зерно идет тотчас же в рост,
где жадно любит каждое созданье,
каким он будет, наш заздравный тост?

Ужель навек, с тех пор как солнце светит,
с тех пор как день на свете занялся,
войне греметь и бушевать на свете,
жестоким вихрем корчевать леса?..

Но мыслей моих нынешних не станет,
они, как одуванчик, облетят,
когда ударит гром, и буря грянет,
и за снарядом засвистит снаряд.

Расплата грозная за все, что было ложью.
Сражение за жизнь — и я в бою.
Земля моя, дрожу твоею дрожью,
дыхание тебе на благо отдаю.

МОСТ

В минувшее ведущие мосты
обрушились, и нет путей назад.
Над миром свод свинцовой высоты.
Огонь бушует. Города горят.

Земля до глубины потрясена.
Зияет пропасть, глубже, что ни час.
И грянувшая буря так сильна,
что, может статься, унесет и нас.

И вереница тех, кто обречен,
идет вперед, и некуда свернуть.
На лбу клеймо. Их тыщи, миллион...
Пронзенными телами устлан путь.

Он бесконечен, страшен и кровав —
но есть ему конец над ревом вод,
что гибельнее раскаленных лав,—
там в будущее новый мост растет.

И столько тысяч судеб, душ и тел
навеки в основание легло,
чтоб он над потрясеньями летел,
чтобы его ничто разрушить не могло.

Данаил Дечев (Болгария)
Копривщица. 1957 г.

Затем что нет в минувшее пути,
все рухнуло, и не о чем жалеть,
и новым людям в новый день идти
на новый берег и о новом петь.

ПОЭЗИЯ

Если б в моем взгляде не жила ты —
я бы в темноте
была слепою
и не мог бы взгляд мой
стать крылатым
и парить свободно
над землею.
В стебельках застенчивых и слабых
я плодов не видела бы грозди,
приземлиться взглядом
не могла бы
никогда я
на далеких звездах.
Вот чего б глаза мои лишились,
если б в мире не было тебя.

Если б ты мой слух не заострила,
чтобы и в молчании мне слышать
слово,
возвращающее силу,
слово,
что волнуется и дышит,
чтобы слышать голос —
близкий, дальний,
с вечных звезд
и с улицы соседней,
что летит ко мне с своей печалью,—
ах, какой глухой была б и бедной
жизнь моя,
когда бы не было тебя.

Если б моим сердцем
не владела
с юности и до мгновений этих,
если б сердце
песней ты не грела —

чтоб жилось полнее мне на свете,
чтоб во всех разлуках и печалях
делать грусть надеждой легкокрылой,
радость — песней,
горькое — случайным,—
где бы я взяла на это силы,
если б в сердце
не было тебя?

НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ

БАЛЛАДА О ТРЕХ СЕСТРАХ

Осень. Ветры воют грозно.
Отчего ж не спят так поздно
и рассветной ждут поры
три невесты — три сестры?

Ночь пришла
в селенье Крын.
Мрак в селенье Крын
и мгла...

Мрак кромешный, час разбоя,
все вокруг полно покоя.

Вот Верти-веретено
молвит глухо и темно:
— Не вернется в край родимый,
на чужбине спит любимый!

Ночь пришла
в селенье Крын.
Мрак в селенье Крын
и мгла...

Хоть спешит — едва мотает,
коченеет, замерзает.

Тотчас Полотно-соткú
застонала от тоски:
— Твой любимый и мой милый
рядом выбрали могилы!

Ночь пришла
в селенье Крын.
Мрак в селенье Крын
и мгла...

Ткет она — и все напрасно,
жжет ей грудь недуг ужасный.

Третья — Расчеши-кудель —
шепчет: — Где ты кончил день,
мой любимый, что с тобою?—
и качает головою.

Ночь пришла
в селенье Крын.
Мрак в селенье Крын
и мгла...

Чешет, руки вдруг уронит,
там, за дверью, никого нет.

Осень. Ветры воют грозно.
Но не спят, хотя уж поздно,
и рассветной ждут поры
три невесты — три сестры.

Ночь пришла
в селенье Крын.
Мрак в селенье Крын
и мгла...

Мрак кромешный, час разбоя —
взрыв! — в помине нет покоя.

ЛАМАР

ГАЙДУКИ

Мои братья
юнаки,
белогривым Балканам
волю подвигом бранным
дайте,
дайте,
юнаки!

Свободой душа не согрета,
живем и поем мы невесело,
в печаль неизбывную эту
вплетая старинные песни.

Роща, ты,
сестра родная,
зашуми листвою
буковой.
Ворон каркает, вещая
нашим вдовам скорбь и муку.

Мои братья
юнаки,
белогривым Балканам
волю подвигом бранным
дайте,
дайте,
юнаки!

Взволновала Дунай
эта буря.
Бунт —
как вьюга
на зимней дороге.
То, гайдуки,
огненный бунт
против царя,
против бога!

Горы седы и суровы,
и в слезах сироты-дети.
Иго сбросить, сбить оковы
мы выходим на рассвете.
Хлеб лежит неубран в поле,
некому взмахнуть косою.
И скорбит бедняк в неволе
над иссохшей полосою.

Роща, ты,
сестра родная,
зашуми листвою
буковой.
Ворон каркает, вещая
нашим вдовам скорбь и муку.

ДЯТЕЛ

На морщинистом клене сухом
пестрый дятел упорно хлопочет —
знает, старый, кто дерево точит!

А потом, оглядевшись кругом,
меж ветвей прошумит он, как пламя,
и взлетит высоко над ветвями.

Вот таким же упорным трудом
всех червей доконать бы и слизней,
все, что гибельно дереву жизни!

СТАРАЯ ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

Мукомольня стоит за деревней,
вся обросшая мхом и мукой.
Вот он — дедовский замок наш древний
под навесом ветвей над рекой.

Здесь недавно еще мукомолы
до рассвета мололи зерно.
И под грохот и говор веселый
в добрых кружках кипело вино.

А теперь, словно в сказке старинной,
дремлет мельница, скрыта листвой,
В ней души не найдется живой...

Где же люди со старой плотины?
Там, где стук раздается машинный
новой мельницы — паровой.

ОКНО

В час утренний ко мне легко заря влетела.
Нет занавеси на окне моем.
Пусть гость любой в мой дом приходит так же смело
и видит, как порой бывает тихо в нем.
Быть может, я к нему навстречу грустным выйду —
то давнюю печаль припомнила душа.
Пусть он простит меня. Пусть не таит обиду.
В своей судьбе и я ошибки совершал.
Но здесь, перед окном, открытым в сад зеленый,
я добрых жду друзей. Они придут ко мне,
а с ними радости их жизни обновленной.
Пусть все печали их дотла сгорят в огне!
И лишь одна любовь пусть нас ведет, как прежде,
к тем сокровенным дням, к их свету, к их надежде!

ГОРА

Я на горе стою, где море света,
где столько рек берет свое начало!
А по земле идет хмельное лето,
травой зеленой покрывая скалы.

И звезды тихо падают в озера.
Лес напевает песенку простую.
А я пришел в задумчивые горы,
чтоб встретить свою осень золотую.

Я вековую мудрость в песне слышу,
я чувствую в ней свежесть и прохладу.
...Зовет гора меня все выше, выше,
вселяя в сердце дерзость и отвагу.

Стоит гора в величье молчаливом
и утопает в сини беспредельной.
А там, внизу, поля неторопливо
сплетают золотое ожерелье.

И вот оттуда, сверху, из вселенной,
гора седые реки шлет на землю,
чтоб напоить своей водою пенной
леса и долы, что под солнцем дремлют.

Я остаюсь наедине с природой
и не могу на горы наглядеться.
Я думаю: «Великая свобода
дана здесь человеческому сердцу!»

Болгария моя шумит лесами.
И слушают задумчивые горы,
как реки озорными голосами
поют,
и звезды падают в озера.

НИКОЛА ФУРНАДЖИЕВ

ВСАДНИКИ

Всадники, всадники... Кровь лишь сочится болгарская,
отчие долы и отчее небо в огне.
Где наш народ, где земля наша вечно бунтарская,
скорбное, ровное поле, ответишь ли мне?

Сук над повешенным ветры качают со скрипами,
пусты равнины, чадит пепелищами тьма;
всадники мчат, мать-земля провожает их всхлипами,
словно поет и рыдает там гибель сама.

Брошено дерзко копье над полями и стогнами,
кровью обрызгано, светит в полуденный час;
мечено небо огромными красными окнами,
словно и небо разгневалось, глядя на нас.

Всадники, всадники,— бездной дорогу обрезало —
отчие долы и небо огнем замело!
Ветер гудит... Мне и страшно, о мама, и весело,
с песнею гибнет просторное поле мое!

ДОЖДЬ

Александру Жендову

Ты, родная земля, моя плоть, моя мать и жена!
Звонкой глиной прельщен, зноем этих пустынь околдован,
темный дождь налетел, заголил твое лоно косматое,
и всю ночь переспит он с тобою на выжженных пашнях.

Чешуя его блещет, зеленые очи сверкают,
залучился, запенился в брызгах коричневый дьявол.
Так раскрой свою грудь, отзовись протяженными гулами,
моя радость — земля, моя плоть, и душа, и жена!

Что за страсть полыхает, какая зеленая влага
размывает и мнет твою черную глину во мгле,—
о, каким мятежом дождевая душа переполнена,—
он поет, и целует, и пляшет, и плачет, и блещет!

О родная земля, моя плоть, и душа, и жена,
обними его жарко, забейся под тяжестью ливня.
Как самец-жеребец, распалился он, вздыбился бешено.
А земля веселится, и пляшут деревья и камни.

ПОТОК

Горная, за завитком завиток
тропка бежит то подъемом, то спадом.
Утро. Я слышу: струится поток
за можжевельником, ельником, рядом,
стонет и гневается, попадет
в плен к бурелому, в завал каменистый —
выйдет на волю и дальше поет,
дерзкий и радостный, быстрый и чистый.

В водовороте, бушуя, кипит.
Прыгает. И неожиданно круто,
вспенившись, в темную бездну летит.
Греется на солнцепеке с минуту.
Мох похищает у скал и, летя,
ловит листву, унося безвозвратно,
что-то лопочет свое, как дитя,
что-то лопочет, но все мне понятно.

Я понимал его раньше вполне,
мне и теперь он понятен, когда я
вижу, как движется он в тишине,
каждый изгиб берегов повторяя,
мерно струится — полезен, спокоен,
там, где не знают, как в юности зол
был он порою и как непокорен,
сколько он бился и сколько он шел.

ОКТЯБРЬ

Мне не забыть вовек об этом.
Как страшен мрак перед рассветом!
Я шел на ощупь, как слепой...
Но вдруг твои поднялись крылья,
и, вмиг прозрев, глаза раскрыл я
и взглядом встретился с тобой.
И ввысь волнующе знакомо
взметнулись красные знамена,
и отступил столетний страх.
Твоим приходом осчастливлен,
пульсирует мой тихий Сливен —
бунт! Женщины на площадях.
Стрельба и кровь... Но город светел,
и даль прямая, как стрела,
и молода, и весела,
и ветер, всюду майский ветер.
Я нищим был и был солдатом
в угоду сытым и богатым,
но верила моя душа,
что есть борьба, борьба святая.
И с ней меня заря связала,
на севере она взошла!
Ты стал для нас зарею этой,
ты каждый бой венчал победой,
не сосчитать твоих побед.
И мы с тобой непобедимы,
и навсегда для нас едины:
рассвет — Октябрь,
Октябрь — рассвет.

ХРИСТО РАДЕВСКИЙ

ПИСЬМО

Дождь за окном, ветра гудят, бушуя,
любимая, все ближе осень. Да,
она идет. Но не о ней пишу я.
Неотвратимо
осень, как всегда,
с земли приметы жизни убирает.
Но у природы есть неписаный закон,
которому ход жизни подчинен,—
родится все, цветет и умирает.
Опять придет весна.
И, сердце веселя,
жизнь сменит смерть.
Под синим небосклоном
веселая заговорит земля,
и семя стеблем прорастет зеленым.
Созреет, свесится тяжелый плод,
и радоваться солнцу будут люди,
и птицы петь.
Но в день прекрасный тот
меня, быть может, на земле не будет.
Любой из нас свою заплатит дань,
когда пора нагрянет грозовая.
Час близится зловещий, и тогда
ты о моем земном услышишь крае.
Весть беспощадная промчится над страной:
«Ворвался враг. Два наших самолета

подбиты, и погибли два пилота.
Пал рядовой...»
(Я — этот рядовой.)
И долго будешь плакать ты,
и станут
бездонными озерами глаза.
Здесь жизнь свела нас по причуде странной
на срок — пока не загремит гроза.
Не жизнь,
а бой за хлеб, страдания без меры.
Не жизнь,
а жажда выйти на простор.
За шар земной вступили в бой две эры,
и мы в погибельный вступаем спор.
Но в этом споре,
сквозь огонь и пепел,
сквозь голод, холод и сквозь кровь пройдя,
день голубой во всем великолепье
нам виден, как сквозь пелену дождя:
идет он сильный и ширококрылый,
несет он электричество, металл.
Встречай его,
отдай ему все силы
и знай, что я всегда о нем мечтал.

КОРЕНЬ

Что ты значишь, земля, для меня
с этим именем милым — Болгария?
Словно дождь твой, иду я, шумя,
словно день твой июльский, сгораю я.

Я на глине и камнях взрастал,
обжигаемый воздухом знойным.
И прямым, как дубы твои, стал,
как твои родники — беспокойным.

Надо мной твои ветры гудят,
дух лесов и полей в их ладонях.
Мне глаза твои в душу глядят
из глубин твоих древних, бездонных.

Много ль есть у тебя уголков,
не истоптанных вражьей стопою?

Где могу я найти земляков,
не пронзенных мечом иль стрелою?

Каждый твой земледелец играл
роль в большой исторической драме.
Шел за плугом иль спал-почивал —
он оружье имел под руками.

Так в крови к рубежам наших дней
шла твоя грозовая история.
Я всю жизнь ею болен,— ведь в ней
мой живучий, болгарский мой корень.

* * *

Нам яблоня плоды приносит каждый год.
Ручей, из родника рожденный на вершине,
внизу течет рекой, копя избыток вод.
Зерно, в сырой земле сокрытое, взойдет,
и вот, вобрав в себя всю благодать теплыни,
многозернистый злак красуется в долине.
Не забывай и ты, что должен в свой черед
вернуть сторицей все, что жизнь тебе дает,
в чем должником себя ты чувствуешь доныне.

НАКАЗАННАЯ ЛИСА

Птицеферма была у Медведя —
разводил он домашнюю птицу,
и его убедили соседи
взять на службу плутовку Лисицу.

Говорили ему, будто Лиска —
знаменитая специалистка
по куриным,
утиным
вопросам —
птицу издали чует носом.

В птицеводстве она пригодится,
будет нянькой заботливой курам!
И бежит, усмехаясь, Лисица
за хозяином темно-бурым.

Только солнце подняться успело,
всех породистых кур она съела,
оправдала медвежье доверье —
сосчитала куриные перья.

Хоть Лиса за свои прегрешенья
лишена и поста и оклада,
но впоследствии вышло решенье:
поручить ей гусиное стадо.

Я подобные случаи знаю.
Провинится особа иная —
и дают ей за то в наказание
должность новую — выше, чем ранее.

ЛИСА И ЕЖ

Лисица молвила Ежу:
«Послушай, кум, что я скажу:
с тобой по-дружески, без тайны
я разговор хочу вести.
Когда встречаюсь я случайно
с тобою где-нибудь в пути,
ты, несмотря на вид мой кроткий,
не улыбаешься, земляк,
а весь сжимаешься в кулак,
покрытый иглами, как щеткой.
Ах, неужели
в самом деле
мы жить в ладу бы не могли
под солнечным отцовским оком,
на лоне теплом и широком
родимой матери-земли?
Зачем ты носишь панцирь колкий?
Стряхни противные иголки,
тогда мы сможем — ты и я —
обняться нежно, как друзья!»
Ответил Еж на Лисьи толки:
«Ты много доброго сулишь,
но я стряхну свои иголки,
когда свои ты зубы удалишь!»

АТАНАС ДАЛЧЕВ

НАДПИСЬ

Кто за ближних голову сложил,
нам он — кто бы ни был, где б ни жил —
брат по крови, вытекшей из жил.

ВСТРЕЧА НА СТАНЦИИ

Ал. Муратову

Сойдя на станции безвестной,
другого поезда я ждал,
и мрак ночной в глуши окрестной
ко мне вплотную подступал.

Как тихо было! Ветер слабый
ко мне из темноты донес,
как там перекликались жабы
и чуть поскрипывал насос.

Во мраке думалось о многом.
Я не был с вечностью знаком,—
она на пустыре убогом
предстала мне, объяв кругом,

явилась на глухом разъезде,
и в бездны дымной темноты
швыряла гроздьями созвездья
своей могучей красоты.

Весь блеск ее рвался наружу,
но кровью в миг кратчайший тот
впервые ощутил я стужу
межзвездных мертвенных пустот

и прошептал я, задыхаясь:
«О вечность, как ты мне чужда!
Я в пустоте твоей измаюсь,
я с ней не свыкнусь никогда.

В тебе, от века не согретой,
я истоскуюсь о тепле;
все, что мое,— лишь здесь на этой
на грешной маленькой Земле.

Лишь здесь грустят, меня не видя.
Из-за меня и в этот час
лишь здесь не спят, под лампой сидя,
пусть в окнах всех огонь погас.

Прости, созвездий край суровый,
я их постигнул красоту,
но огонек окна родного
я всем светилам предпочту».

МОЛЧАНИЕ

Дим. Светлину

С опустошенной головою
молчал я годы напролет.
Сегодня в бытие живое
вхожу, стряхнув могильный гнет.

Еще грозит в тупом усердье,
витая над душой моей,
неотличимое от смерти
молчание ночей и дней.

Оцепеневшая от страха —
хоть вольная на этот раз —
не может мысль моя, как птаха,
из клетки вырваться тотчас.

Мой стих, как после долгой хвори,
идет-бредет едва-едва,
но гнев бессильный, ярость горя
вдохнули жизнь в мои слова.

Пусть краток путь их вдохновенный,—
огонь бесстрашья их согрел,
как те, что на стене тюремной
писал идущий на расстрел.

К РОДИНЕ

Я не избрал тебя, но в летний зной когда-то
здесь родился на свет, увидел утро жизни,
и ты мне дорога не тем, что ты богата,
но тем, что на земле — лишь ты моя отчизна.

Я сын твой оттого ль, что впрямь подобны чуду
и подвиги твои, и слава бранной силы?
Нет, только оттого, что я не позабуду
об ослепленных встарь солдатах Самуила.

Пусть ищет кто другой путей к преуспеянью
и к почестям идет дорогою любою,—
меня всего сильней роднит с тобой страданье
и то, что твой удел моею стал судьбою.

МЛАДЕН ИСАЕВ

БАЛЛАДА

На смертный рубеж, как велел им приказ,
пришли они трое в полуночный час.

Сумели бесшумно к врагу заглянуть,
бесшумно в обратный отправились путь.

Над Дравой большая мерцала звезда.
Свинцово и тихо лежала вода.

Их лодка по Драве во мраке несла —
бесшумно взлетали два крепких весла.

Но свистнула пуля, пронзившая мрак,—
сразил одного притаившийся враг...

Как долго их нет... Воротиться пора б...
И двое идут с донесением в штаб...

Над ширью венгерской свобода и мир.
Там спит под холмом молодой командир.

ДОРОГИЕ ГОСТИ

Дай нам, солнце, сок небесный,
Виноград взрастим чудесный,
Да наполним чаши новым

Молодым вином медовым,
Да заздравным грянем тостом
Мы от моря до Огосты!

В эту осень на Балканах
Встретим мы гостей желанных,
Долгим маршем утомленных,
Жарким солнцем опаленных.
Дорогим гостям мы рады,
Что идут от Сталинграда!

Нам несут они свободу,
В их сердцах — любовь к народу,
А звезда с пятью лучами
Ярко блещет над очами.
Уж четвертый год герои
Жизнь ведут от боя к бою.

Не одним вином пьянящим —
Напоим гостей мы счастьем!
Честь и слава за победу
Храбрым внукам храбрых дедов!
Освежи их, вольный ветер,
Расскажи, как мы их встретим!

Дай нам, солнце, сок небесный,
Виноград взрастим чудесный,
Да наполним чаши новым
Молодым вином медовым,
Да заздравным грянем тостом
Мы от моря до Огосты!

ГОРЕНИЕ

От ласки солнца и дыханья ветра
земля вновь молода.
Любой цветок
в росистой чаше копит
свой аромат,
свой мед и сок.
Прижмись лицом к земле,
и ты оттуда
услышишь пламя, запах теплоты.

Животворящее большое чудо
свершаешь, солнце, ты!

Жизнь — это непрерывное горение,
ему ни смерти,
ни покоя нет.
Прошла зима — опять цветение,
и снова дышит
молодостью ветвь.

Земля! Когда в объятиях руками
меня сожмешь
и смолкнет все во мне,
я все же буду жадными глотками
пить воздух леса
и в последнем сне.

Мне чудится, что даже в том безмолвии
твоей груди
тепло услышу я,
услышу твои реки переполненные,
и смерть не будет
смертью для меня!

БОГАТСТВО

Тот человек, что, персики сажая,
их, как детей, шершавою ладонью
поглаживает ласково при том;
тот человек, который садит розы
и, как детей, уснувших в колыбели,
от стужи укрывает их потом;
тот человек, что раннею весною
самозабвенно делает скворечник,
как будто для детей он строит дом,—

он властен вьюгу взваливать на плечи,
прозрачные отыскивать ключи,
и леса понимать простые речи,
и со звездой беседовать в ночи.
Его богатства подлинно несметны,
хотя порой скудна его еда.
Они неисчислимы. И бессмертны.
И цену не теряют никогда.

ЧЕЛОВЕК

Воет ветер протяжно и дико —
пригибается долу трава.
В тучах молния блещет, как пика.
Но идет человек против бури,
не покрыта его голова.
Где-то рядом,
то справа, то слева,
синей молнией подожжено,
наземь падает старое древо,
и горит еще долго оно.
Словно гром этот в небе — от века
и никак не устанет греметь...
Но спокойно лицо человека,
а в движеньях —
тяжелая медь.
Мне близка эта страсть к непокою —
вот и мне не уйти от нее...
О безумец,
я каждой строкою
прославляю безумство твое.

* * *

Люблю это небо, где синему цвету
сиять над иными цветами дано,
и землю мятежную, добрую эту,
где спят мои предки давно.

Люблю над лугами дыханье озона,
и запахи вишен, дождя и смолы,
и эти вершины, парящие сонно
в тумане, как будто орлы.

Мне до́роги старые эти дороги,
где медные гильзы ржавеют в пыли.
Над ними деревья торжественно строги,
и реки рокочут вдали...

Земля моя, жизнь моя, первооснова
всего, что еще мне достигнуть велишь.
И матери голос мне слышится снова,
когда ты со мной говоришь.

НИКОЛА ВАПЦАРОВ

ВЕРА

Вот я живу —
и тружусь,
и дышу.
Эти стихи
(как умею)
пишу.
Жизни в глаза
исподлобья
гляжу я.
Сколько есть сил,
ей не уступлю я.

Как бы со мною
жизнь ни была зла,
я не питаю
нисколько к ней зла.
Наоборот, наоборот!
Жизнь, что нас в лапы
грубо берет,
как ни тяжка эта лапа стальная,
и умирая,
буду любить!
Буду любить!

Скажем, накинут
мне петлю на шею,
спросят:

«Хочешь прожить хоть полдня?»
Я заору:
«Снимайте, злодеи,
рвите скорее
веревку
с меня!»

Все бы я сделал
для Жизни — вот этой,—
с опытной, пробной
взлетел бы ракетой,
сам бы
в мотор
обреченный
полез —
новые звезды
искать меж небес.

Было бы мне
хорошо на душе —
видел кругом бы
небес синеву я.
Было бы мне
хорошо на душе,
хоть от того,
что покуда
живу я
и существую!

Но отнимите
зерно, не более,
зерно пшеничное
от моей веры!
Я бы тогда
заревел от боли,
как в сердце раненная
пантера.

Если враги
разлучат меня с нею,
веру отнимут —
прикончат меня.
Можно сказать

и прямее,
яснее:
мне без нее
не прожить и полдня.

Может, хотите
сразить мою веру
в счастье грядущее
и мою веру
в то, что завтра
жизнь станет лучше,
станет умнее?

А как вы сразите ее, скажите?
Пулями?
Нет! Бесполезно!
Осадой? Не выйдет!
Вера в груди моей

сталью покрыта,
и для нее
бронебойные средства
еще не открыты!
Еще не открыты!

ПИСЬМО

Ты помнишь ли
то море, и машины,
и трюмы,
что наполнил
липкий мрак?
И дикую тоску
по Филиппинам,
по звездам, что горят
над Фамагустой?
Ты помнишь, был ли хоть один моряк,
который бы не бросил взора
туда, где в голубых просторах
дыханье тропиков ты чувствовал?
Ты помнишь ли, как нас
мало-помалу
обуревали смутные сомненья,

как постепенно
вера
исчезала
в добро, в людей,
в романтику,
в стремленья?
Ты помнишь? Жизнь
так быстро и так просто
поймала нас...
И, зубы сжав от боли,
опомнились мы.
Поздно!
Мы связаны, и мы в неволе.

Как у зверей, сидящих в тесной клетке,
глаза
блестели жадно,
блестели,
умоляя о пощаде.
Как молоды, как молоды мы были!

И после... после...
зло и беспощадно
в больное сердце ненависть впивалась;
как черная гангрена,
как проказа,
она росла
и душу растравляла.
Та ненависть сетями оплела нас,
сетями пустоты
и мрака,
она сжигала кровь
и угрожала.
Но было рано, было слишком рано...

А там,
высоко в небе,
в час
заката
опять дрожали крылья
белых чаек,
и небо было светом вновь объято,
и голубела даль морская...

Опять на горизонте
вечерами
терялись паруса
в белесом дыме,
и мачты колыхались над волнами,
ты помнишь ли? Но были мы слепыми!
Все это позади.
Но мы, как братья,
с тобой тюфяк соломенный делили.
И вот тебе хотел бы рассказать я,
как верю я и как я полон силы!

И это Новое теперь мне помогает
покончить
с тьмою
прошлых заблуждений
и злобу мне
в груди
переплавляет
в священный
гнев
сегодняшних
сражений.
Оно вернет мечту о Филиппинах,
и звезды, что горят
над Фамагустой,
и радость ту,
что вытеснило горе,
и нашу прежнюю любовь к машинам,
и эту синюю безбрежность моря,
где ветер тропиков лелеял наши чувства.

Глухая ночь.
Спокойно и ритмично
стучит машина,
пробуждая веру...
О, если бы ты знал, как жизнь люблю я!
Как ненавижу
праздные
химеры!
И верю я:
сквозь мрак и ночь пройдем мы,
ломая льды могучими руками,

и солнце вновь на горизонте
темном
заблещет
животворными
лучами.
И пусть, как мотыльку, лучи, сияя,
сожгут мне крылья.
Их не прокляну я,
не буду сетовать,—
ведь я же знаю,
что срок придет —
и мертвый упаду я.
Но умереть в тот час,
когда смывает
с себя земля
столетний яд и плесень,
когда мильоны
к жизни воскресают,
да, это будет
лучшая из песен!

ПЕСНЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

Я спорю
с дамой
на тему:
«Человек в новое время».
А дама ругается,
сердится —
обидно, по-видимому,
даме.
То схватится вдруг
за сердце,
то снова
сыплет словами,
то бровки вздернет повыше,
то ручки
заломит сердито:
— Человек!
Я его ненавижу.
Не стоит он вашей защиты!
Помню! В газете! Не вымысел!
Брат расправился с братом.

Зарубил
и в бане вымылся.
И вовсе
из памяти выбросил,
как будто не виноват он!—
Ее передернуло. Смотрит со злобою.
Надо бы спорить,
но слаб я в теории.
Все-таки
пересказать попробую
попросту,
по-человечески эту историю.
Это случилось в селе Могила —
отец поссорился с сыном.
Он спрятал деньги. Сын взял их силой,
ударил
и — слишком сильно...
Через месяц
иль через неделю
власти все раскрыли.
На то, что молод,
не поглядели:
к смерти его присудили.
В тюрьму уводят злодея,
нравственного калеку,
но в тюрьме
встречает людей он
и становится — ч е л о в е к о м.
В камере
было тесно.
В камере
было грязно,
но там он услышал такую песню,
что все ему стало ясно.
«Я понимаю,
что я свихнулся.
Убил отца.
Теперь казнят.
Но я ведь с голоду пошатнулся.
Нужда
одела в тюремный халат.
Живешь,
как быки
у ворот скотобоен,

кроме
обуха,
не ждешь ничего.
Эх, плохо,
эх, плохо
мир устроен!
А можно ведь переделать его...»
И он тихонько
запел свою песню,
И жизнь
показалась ему красивой,
и жизнь
показалась ему чудесной,
и он заснул, улыбаясь счастливо.
Но в коридоре
слышны разговоры.
А после — секунда молчанья.
И люди в камеру из коридора
входят, гремя ключами.
Испуганно, глухо
кто-то из группы
сказал ему: «За тобой! Пришли!»
Люди смотрели бессмысленно, тупо
на грязный пол,
на стены в пыли.
А тот, что на койке лежал скорченный,
вскочил, вытирая пот со лба.
И понял:
жизнь — кончена.
Такая судьба!
Но понемножку
человек очнулся.
Страх бесполезен.
Все помрем.
И светлой улыбкой
он улыбнулся.
— Идти? —
сказал он.—
Хорошо! Пойдем!
И он широко шагнул из дверей.—
И слышно стало (солдату — солдат)
— Пошли!
Пошли!
Кончать бы скорей:

Здорово ты влопался,
брат! —
Тихий разговор,
долгий коридор.
Коридору —
ни конца ни краю нет.
Покуда дошли,
спустились во двор,
видят — уже рассвет.
Человек поглядел, как в зорьке веселой
плескалась звезда на радость себе,
и подумал о горькой своей,
о тяжелой,
о жестокой,
о безглавой
человечьей
судьбе.
— Со мною — кончено...
Сейчас повесят.
Но неужели после меня
не будет жизни
прекрасней песни,
прекрасней весеннего дня?..—
Он вспомнил песню
эту вот самую
(в глазах у него огонек заблестел).
Улыбнулся — светло и упрямо
и откачнулся, а потом — запел.
Что же, по-вашему,
песня, улыбка —
это истерика? Это отчаяние?
Думайте, думайте!
Ваша ошибка.
Сами вы за нее
отвечаете.
Молча смотрела
трусливая злоба,
ужаса не скрывая,
как твердо построилась —
слово к слову —
песня его
боевая.
Стены тюрьмы
задрожали постыдно,

мрака ночного
бежала орава,
а звездам
все это слышно и видно,
кричат:
«Человеку — браво!»
Дальше было все
как положено:
петлею захлестнута голова,
но вдруг
из губ,
искаженных,
скукоженных,
вырвались песни слова.
Дама выслушала,
руки воздела,
заплакала и закричала:
— Ведь это
совсем другое дело,
да что же вы
не сказали сначала!
Вы так говорите,
как будто бы сами
слышали пение. Это — ужасно!
— Какой же здесь ужас?! —
ответил я даме.
Он пел человека!
Это — прекрасно!

ПРОЩАЛЬНОЕ

Моей жене

К тебе, как гость нежданный и далекий,
я иногда во сне являться буду.
Не оставляй меня ты на дороге —
дверей не запирай ни на минуту!

Войду чуть слышно, в темноту ночную
взгляд устремлю, чтобы тебя увидеть,
присяду кротко, нежно поцелую
и, наглядевшись, незаметно выйду.

Апрель 1942

Борис Иванов (Болгария)
Манифестация. 1949 г.

* * *

Борьба так беспощадна и жестока.
Борьба, как говорят еще, эпична.
Я пал. Другой меня сменил, и... только —
исчезла лишь какая-то там личность.

Расстрел, а вслед расстрелу — черви,—
и все это так просто и логично...
Но знай, народ, с тобой в отрядах первых
пойдем вперед мы в буре необычной!

14 ч.— 23. VII. 1942

ВЕСЕЛИН АНДРЕЕВ

ГАЙДУЦКИЕ НОЧИ

Сегодня ночью веселы Балканы —
не спят, гайдуцкой удали дивясь.
Опять поют в землянках партизаны,
пускай воронкой вьюга завилась.

Суровый ветер посылает Вежен.
Вот налетел, завыл и снова смолк,
и все сильней порывы бури снежной,
и, вторя ей, голодный воет волк.

Дрожит от песни тесная землянка
(эх, вольное гайдуцкое житье!) —
бойцы поют о чести партизанской,
о смерти за отечество свое.

И эта песнь перекрывает бурю,
и волка вой, и леса гулкий треск.
Они поют и строго брови хмурят,
и в их глазах все ярче гнева блеск.

Они поют, спокойно улыбаясь,—
что может их на свете напугать?
В боях бесчисленных с врагом сражаясь,
им, смелым, не впервые смерть встречать.

В такую ночь люблю я быть в дозоре,
в ущельях горных слушать ветра вой
и в ночь глядеть, огромную, как море,
любуясь этой дикой красотой.

РАЗДУМЬЕ

Любовь взрывчаткой в тебе залегла
и камень могла бы испепелить!
Но ты ведь жаждешь только творить...
С детьми о сказках говорить...

Но нет у тебя на это прав.
Дети расстреляны. Сёла в дыму.
Ты ждешь в засаде, чтоб вышел враг,—
надо сполна воздать ему.

Это юности нашей дым:
ненависть испепелила.
...А как же иначе мы защитим
то, что сердцу мило?

БАЛЛАДА О КОММУНИСТЕ

Памяти моего товарища партизана Стефана Минева — Антона

Сколько его терзали? Ни один не вырвался стон...
Сами губы сказали, выдали имя: Антон.

Выдал им свое имя, неделю молчал потом,
с язвами кровяными тело горело огнем.

«Где же твои партизаны?» Он видел любимый отряд,
глаза как будто в тумане, но тверд его смелый взгляд.

Агент, фашист озверелый, выстрелил, злобно кляня.
Фашисту сказал он смело: «Убийца, стреляй в меня!»

Насыпали в раны соли, как жар горящих углей,
он стиснул зубы от боли, не выдал муки своей.

Фашисты в ярости дикой терзали, били его,
он корчился в муке великой и не открыл ничего.

Вздохнуть он мог еле-еле и вытянулся, недвижим,
враги на него смотрели — и мертвый он страшен им!

«Не человек, а железо!» — буркнул агент-фашист.
И мертвый тихо отрезал: «Нет, коммунист!»

ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ

ЛЕНИН

Он должен был возникнуть среди нас.

В такое время должен был возникнуть
и такой:
обыкновенный, как вода и хлеб,
что каждого насытит,
всем пьедесталам мраморным чужой,
глядящий далеко,
в такую даль, что звезды близко;
от быстрого движения истерто
пальто,
пола взметнулась, как крыло.
Неумолим и весел он, как пламя,
что жжет богатые дворцы.
Его чело,
как облако, за коим блещут мысли,
как молнии...
Под чуткими руками
взрастают и поэмы, и бойцы,
и деревца восходят, и эпохи.

Он должен был возникнуть среди нас.

Так ждут леса, черны перед восходом,
с воздетыми руками,
чтоб солнце взять;

созревшее в ночи
зерно в измученной земле
так набухает
во имя жатвы;
так, если даже мать и умирает,
плод боли
появляется на свет
в определенный час.

Он должен был возникнуть среди нас.

Он должен был возникнуть,
чтобы правда
повсюду водворилась, как закон,
чтоб в молот переплавилась верига,
в струну — патрон,
чтоб горсти превратились в гнезда дружбы,
чтоб были нашими пути,
дождь перламутровый,
уста,
склоненные для поцелуя,
и травы сочные, и свет, и тень,
чтоб ты явилась, милая свобода,
и нам сказала:
«Люди, добрый день!»

Он должен был возникнуть среди нас.

О, должен был!
И если б не возник,
его бы сами создали тогда,
ему бы дали имена,
нежнейшие на свете:
Звезда,
Надежда,
Воля
иль Возмездье.
Его б мы сами создали тогда,
чтоб разделить
между собою
счастье —
в груди своей носить его,
как сердце.

УРОК БЕССТРАШИЯ

(Хороший ученик)

Он, ученик хороший,
считался лучшим в классе.

Сидел на первой парте
он слева у окошка;
был малорослым,
был с волосами
прямыми, красными,
как пламя,
а на щеках его горели
веснушек целые созвездья.

Он ученик был самый лучший.
Всегда прекрасно знал уроки;
он точно отвечал и ясно,
он не молчал,
когда учитель
в класс с кафедры
бросал вопросы:
— А во втором болгарском царстве
цари какие нам известны?
— Что мы получим, если к натрию
прибавим три молекулы серебра?

Он, ученик хороший,
считался лучшим в классе,
но вот совсем нежданно
в класс офицер явился
и, указав на парту,
что у окошка слева,
сказал:
— Ты, с первой парты,
иди к доске и живо
ответ на все вопросы
давай толково, ясно.

То был урок мученья.

Со стен,
как бы из черных
тюремных казематов,

смотрели Ботев, Левский,
а с опустевшей парты
страх подсказать старался:

— Кто те,
к кому ты шел на явку?
— Где та квартира,
в которой с ними ты встречался?
— Что получил?
— Кому отнес ты?

И это был урок бесстрашья.

Так, ученик прилежный
и самый лучший в классе,
к доске он вышел,
и будто солнце на рассвете,
так волосы его сияли
на черном небе
доски вот этой
над облаками меловыми.
Лицо его
в златых веснушках
спокойно было, было ясно.

Он был школяр прилежный.
Был самый лучший в классе.

Но тут
на все вопросы
ответил он молчаньем.
Молчал,
когда из класса был выведен,
молчал он,
когда поставлен к стенке
был где-то на задворках,
когда звонком последним
винтовки прогремели.

Учеником отличным
он был. И промолчал он.
И сдал он на отлично
бессмертия экзамен.

БАЛЛАДА О ЧЕЛОВЕКЕ

Один пробирался он в снежном лесу
две ночи во мгле и в тумане.

Сказал ему лес: «Я тебя не спасу.
Пойми же, ты гибнешь, ты ранен.
Далеко отряд. Ни жилья, ни пути.
Отсюда уйти и не пробуй».

Был глух человек, продолжая ползти
в снегу, от сугроба к сугробу.

И лес говорил: «Покорился бы ты.
Не тратил бы даром усилья.
Взгляни, даже голубь упал с высоты.
И птичьи осилил я крылья.
Смирись же. Ведь рана твоя глубока.
Взгляни на озябшую птаху».

Но со снегу взял человек голубка
и спрятал его под рубаху.

Он кровью горячей его отогрел.
Тот ожил, воспрянул, встряхнулся,
крылами взмахнул и туда полетел,
куда человек не вернулся.

НЕ ДОЛЖНО!

Нет, не смеет кончиться до срока
то, что и не начинало жить.
Мысли, что оборваны жестоко,—
вас должны другие подхватить.
Корабли должны к земле добраться
издали, из глубины морей.
Не должны дороги прерываться
линией окопов и траншей.

Нет, не должен дом стоять без крыши,
жалуясь напрасно небесам.
Письма, что кому-то кто-то пишет,—
вы должны дойти по адресам.

Должен день окончиться закатом,
должен в очагах пылать огонь,
хлеб не должен сохнуть непочатым
и завянуть — девичья ладонь.
Дайте людям дописать страницы,
кончить книгу, виноград убрать.

Не успевшее еще родиться
не должно до срока умирать.

АЛЕКСАНДР ГЕРОВ

ДЕНЬ

Тобою полон день, твоею сутью,
и этот день так долог, так велик,
что время все, с его бескрайней жутью,
теперь ничтожно для меня, как миг.

Сверкающие звезды в отдаленье
на небе вышивают плащ ночной.
Благодарю, о вечное мгновенье,
за день, когда она была со мной.

ГОЛОС

Все небо звездами изгрызло.
В безмерности своих пустот
оно над головой повисло,
зияло, скалилось, как рот.

Ревело яростное море
под мутно-белой пеленой
и разбивалось, скалы моя,
мертворожденною волной.

Сады приморские застыли,
дрожа без света и тепла,
и вся земля была пустыней,
вся жизнь — абсурдною была.

В тот миг — и грозный и суровый,
давивший, мне казалось, всех,
чистосердечный и здоровый
раздался
двух влюбленных
смех.

И я, легко смиряя нервность,
пошел дорогою ночной
домой, в родную ежедневность,
в родную будничность — домой.

И ничего я не боялся
и все на свете мог, умел —
лишь потому, что смех раздался,
девичий голос прозвенел.

ВЕРА

Человеку верить надо
в то, что буднично и просто.
Не в словесные тирады!
И не в хитрые вопросы!

Нужно верить в мать, и в сына,
и в любимых верить надо,
в песню, что во мраке синем
льется над цветущим садом...

И когда над миром грозно
загрохочут барабаны,
засверкают в небе грозы
и засвищут ураганы —

мы сурово и спокойно
преградим дорогу бедам
и вернемся с поля боя,
озаренные победой.

ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВ

ПОДПОЛЬЩИК

Он разносил боевые призывы,
верно и точно указывал цели,
и после каждого нового взрыва
знали — участвовал он в этом деле.

То торопился, а то, выжидая,
медлил; и если давал себе слово,
ночью не раз убирал негодяя,
сам умереть, если нужно, готовый.

Тайну работы суровой и тяжкой
не выдавало обличье простое:
галстук в горошину, или фуражка,
или пальто — как обычно — чужое.

Если ж порой полицейский пытался,
в карцер толкнув его, выведать что-то,
неузнаваемым он оставался.
— Нет! — отвечал он и в первый, и в сотый...

Ныне ж, когда над страной горделиво
высится знамя, которое свято,
ныне, когда из подполья призывы
вышли на свет, перешли на плакаты,—

он все такой же, и если, бывает,
спросят: — Что делал ты раньше? — при этом
рта не раскроет — привычка такая! —
иль удивительно медлит с ответом.

СМЕНА САПЕРОВ

Та надпись по путям военным
вела нас, возникая вдруг:
«Проверено» — мелком по стенам,
«Проверено. Сержант Бунчук».

Мы с нежностью на знак глядели
и думали в который раз:
«Как он спешит дойти до цели!
Не подождет, не встретит нас».

И вот он нас однажды встретил —
вблизи от знака, молодой,
веселый. Только на портрете,
на пирамидке со звездой.

Шиповник цвел, благоухая,
в обломках рухнувшей стены,
и, черт возьми,— судьба какая —
шли дни последние войны!

Мы посидели, покурили,
следя за дымом, а потом
машины, серые от пыли,
помчали тем же нас путем.

И снова по путям военным
нас вел тот знак сквозь гарь и дым:
«Проверено» — мелком по стенам,
и лишь подписано другим.

* * *

Мелкий след под ветками
убегает в лес.
Две лисички петлями
пробегали здесь.

Две лисички алые
сгинули вдали,
две мелькнули малые
зимние зари.

Вот ведет, как меточки,
след на бережок,
вот стряхнули с веточки
голубой снежок.

Здесь лисички замерли,
видно, неспроста,
снег хвостами замели —
виден след хвоста.

Зайца за угорьями
думали настичь
или же поспорили,
где богаче дичь.

Желтенький оставили
след на берегу,
а потом растаяли
в голубом снегу.

И исчезли малые
лисоньки вдали,
сгинули две алые
зимние зари.

* * *

И снова небосвод похож
на тусклый лист стального цвета.
И снова льет осенний дождь
там, где вчера лишь было лето.

А синева, недавний фон
для нашей солнечной террасы,—
сегодня черный рев и стон
непобедимой водной массы.

Густой чернильною волной
накрыло замершие пляжи.
Куда девался наш покой?
И где же беззаботность наша?

И мысли, и слова, и сны —
все тонет в этом адском хоре!
И лишь теперь постигли мы,
что рядом с нами было море.

ГОРЯЧАЯ ПРОСЬБА

Вот и листья шуршат, облетая,—
мол, не век тебе быть молодым.
Что ж, смешайся, листва золотая,
с этим солнечным днем золотым.

Я еще продолжаю движенье.
Я пером еще твердо вожу.
Но уже на свое окруженье
с затаенной печалью гляжу.

Вы, чей день еще только в зените,
на исходе осеннего дня
руку помощи мне протяните,
если силы оставят меня.

Дескать, хватит, окончены сроки —
уж не те твои строки, не те...
Что ж, судите меня, будьте строги.
Убедите в своей правоте.

Докажите свое пониманье.
Обоснуйте мне свой приговор.
Я его не приму во вниманье,
ну, да это другой разговор.

БЛАГА ДИМИТРОВА

РОДИНА

Невелика моя родина —
горсть небольших пространств:
пестрые кромки пашен,
горных пород клубки.

Но развернуть их попробуй,
бережно их распутать —
горную нить за нитью,
за бороздой борозду,

за вершиной вершину, за морщиной морщину,
рану за раной, за цветком цветок,
боль за болью, стон за стоном,
песню за песней, за мечтой мечту.

И тогда ты увидишь,
как велика, бескрайна
родина моя милая,
родина моя милая —
горсть небольших пространств.

ПЕРЕД ВЕСНОЙ

Обещает весна почерневшему саду
белый тюль, серебристый наряд.
Бархат — голым холмам, за терпенье в награду.
Неподвижным кустам — аромат.

Обещает весна даль, прямую на диво,
голубому проему окна.
Старой роще — весеннего ветра порывы,
пробудившего землю от сна.

Как щедра ты, весна! Но услышать хочу я,
что ж ты мне обещаешь? Ответь.
Новый путь? Или новую встречу большую?
Песни новые выучишь петь?

А в душе пробуждается то же волненье,
с той же грустью в былое глядишь.
Неужели меня ты, пора обновленья,
старой скорбью опять одаришь?

СКОРОСТЬ

Так я мчусь,
что километр становится мгновеньем,
дерево — зеленым ветром,
ветер — ударом в висок,
придорожные маки — искрами.
Скорость.
Желанье становится
взмахом руки,
взмах руки —
приближеньем пространства,
заря — румяным яблоком перед глазами.

Скорость.
Тяга к любви
раздувается в острую боль.
О, скорее к тебе!
Только скорее!
Так мгновенно
сбегаются и разбегаются
ветви дорог,
что становится встреча разлукой,
улыбка — слезой,
мечтанье — воспоминаньем.

Скорость.
Те же самые дороги,

что меня заставляли рыдать,
во мне превращаются
в звучные песни.

Скорость.
Я мчусь сквозь пространство,
изъята из тяжести,
превращенная в луч,
чтоб достигнуть земли
и ее обогреть —
лишь на миг,
в одной только точке,
и испепелиться.

ВЬЕТ-НАМ

Разделена земля.
Трепещущее сердце
Бревенчатый порог,
и дедов и отцов,
Семейный снимок
по самому лицу
Бамбука ствол
Растерзана река.
Разбита пополам
Распоротое небо

Разрублены деревья.
рассечено кинжалом.
что выстроган шагами
распилен пополам.
разорван посредине,
погибшей матери.
расколот гулким громом.
Разорены поля.
скупая горстка риса.
всю ночь горит огнем.

Стекает в землю пролитая кровь.

БОЛГАРСКАЯ КРОВЬ

Из стихов о Вьетнаме

Кровь консервированная, кровь притихшая,
в банки закупоренная и запечатанная,
отправляется в дальний путь.
Она проснется от сна летаргического,
она заклокочет в слабеющих венах
и запульсирует горячо.
Гайдуцкий костер, затянувшийся пеплом,
в ней разгорится
и ринется в бой.
А в пыльных депо,
в канцеляриях,

в ульях цехов
бледные доноры вахту несут.
И внезапно услышится им —
далеко-далеко
их вольная кровь
идет воевать за свободу.

ДИМИТР МЕТОДИЕВ

ХЛЕБА

Ваш тихий разговор я слушаю, хлеба́,
в раздумье
голову склоняя.
Что дал я миру, в чем моя борьба
в дни, полные труда во имя урожая?
А вы —
пробившись сквозь покров земной,
вы зрели и готовили нам жатву,
готовили
великую отплату
и солнцу, и дождю, и туче грозовой,
и труженикам — тем, кто сеял вас;
вы не погибли в тот суровый час,
когда на ваши слабые ростки
легли снега,
накрыв вас ледяным пластом,
и ветры, не заботясь о живом,
освистывали вас
и с ног сбивали...
Хлеба,
я преклоняюсь перед вами,
пред вашим молчаливым торжеством!

РУССКИЕ ГЛАЗА

Синеют дали неба над Россией,
их вымыла весенняя гроза,
и, кажется, в росе вдруг отразились
не небеса, а русские глаза.

Так празднично лучами ты одета,
простор твой так велик и светел, Русь,
что снова я шепчу слова обета,
тебе в любви и верности клянусь.

Быть может, это лишь порыв мгновенный,
навеянный сияющей весной?
Нет, ты и край родной, благословенный
в одну любовь слились во мне давно.

В молчанье я шагаю по равнинам.
Молчит земля. Сияют небеса.
С них смотрят на меня гостеприимно
приветливые русские глаза.

БОЖИДАР БОЖИЛОВ

ИНТИМНОЕ

У Ботева стихотворений мало.
И том стихов его так прост и неказист.
В последний путь не слава провожала
поэта, а ночного ветра свист.

Но бьется жизнь в том томе, колобродит,
шумит Балкан, трубит олень в лесу,
на смерть мужчины гордые уходят
и держат свои ружья на весу.

Что стоит слава полки многотомной,
уютных дней земная череда
пред этой смертью, как Балкан, огромной
и яростной, как ранняя звезда?

О счастье помышляю я пристрастно,
и, если мне погибель суждена,
была бы смерть моя, как та, прекрасна,
была бы песнь моя, как та, нужна.

Что в шумной славе мне, костру подобной?
Что долгий век? Что крепа черный дым?
Мне будет тяжко под плитой надгробной,
под мраморным признанием моим.

Когда я стану влажною землею
и надо мною поле зацветет,
пусть шепот мой смешается с травою:
«Любимая... тебя люблю... с тобою...
Да здравствуют свобода и народ!»

ИСКУССТВО

В камеру строфы ты заключишь,
рамою картины ограничишь,
чувство то, которым ты горишь,
воздух горный — тот, которым дышишь.
Надышись же бурей напоследок!
Ураганы грудью всей вдохни
и гляди, как выглядят они
в статуях, балладах и балетах.

Удивляйся, что стихотворенье
в небе счастья, боли и мученья
медленно восходит, как звезда,
что оно летит из нетерпенья,
словно птица из гнезда.

Вот и разбазарил ты печали.
Радости — растратил ты.
Приутихли чувства, замолчали
от усталой этой пустоты.
День пройдет, и ты — опять поэт,
ты опять ликуешь и страдаешь,
и опять все это заключаешь
в статую,
балладу
и балет.

ЖАЖДА

Стихи. Они мои. Мои они.
Но ты не верь, что это просто строки.
В них ночи перемешаны и дни,
в них атом жив, в них бродит луч жестокий,
который призван создавать миры
придуманные.
Это не куплеты,
не жалкое подобие игры...

А были ли когда-нибудь поэты,
которых осмеяли за любовь?
Которых презирали, били в кровь?
Не знаю. И зачем мне знать про это?
Ладонями прикрою я глаза
и помолчу один...
Нет, с теми вместе,
что шли со мной в бои любви и чести...
Я вечные их слышу голоса.

Стихи. Мои стихи. Мои они.
За них идти готов хоть на галеры —
все потому, что в них — и тьма, и дни,
покой и боль моей земной карьеры.
Я жизнью надышался не сполна.
Хочу стихи придумывать, в которых
прольется дождь, крылом взмахнет весна
и явственней проступит тишина
сквозь прорастающий пшеницы шорох.

ПОКОЛЕНИЕ

Ал. Герову

Как мы горели!
Мы были горение,
стихотворения — наше парение,
мы были движение
и сомнение...
Мы были бунтом, бурей и гневом,
самой эпохой названным «левым»,
без дипломов и без наград...
Вместо славы — голод, голод...
Пороховой
окружал нас ад...
Но были мы счастливы,
и каждый был молод...
И я был молод...
И ты был молод...

Теперь все это где-то позади.
Имеем мы тома стихотворений,
есть горстка пепла от былых горений,

есть горстка перьев от былых парений,
и нету в нас уже былых сомнений,
мы не бунтуем,
не ломаем дров.
И каждый рад, что он пока здоров,
что премии ему идут и слава...

Но нынче молоды другие, право.

ПАВЕЛ МАТЕВ

МАТЬ КОММУНИСТА

Резцом и кистью обессмерть, художник,
мать у тюремных замкнутых ворот.
Она стоит. Шумит осенний дождик.
Она стоит. Нещадно солнце жжет.

Она стоит, согбенная, в молчанье,
в потертом платье, выцветшем платке...
Я принял бы ее за изваянье,
когда б не эти слезы на щеке.

ОГОНЬ

А разве бывает любовь без огня?
Борьба без самозабвенья?
Огонь —
в тревогах каждого дня,
в сердечных моих откровеньях.
Мы по-солдатски строго живем
у волшебства на грани
и очищаем себя
огнем
раскаяний
и признаний.
Вот — огненной лавы следы во льду,
вот — драма на форуме веры:

то сердце было с умом не в ладу,
то чувства не знали меры...
Пристрастья прежние истребя,
мы вечным огнем согреты
и зорко вглядываемся в себя —
в смешенье теней и света.
Тревожны и радостны
в вышине
огни костров легендарных.
Мы — сами огонь —
рождены в огне
и веку за то благодарны,
что в бесконечности новых лет
всегда будет реять над нами
бушующее, как пламя,
как высшей правды,
как совести свет,
великое наше знамя.

РОДОСЛОВНАЯ

Стихи рождаются так же, как люди.

Кем были мои стихи рождены?
Быть может, ЮНОСТЬЮ звали ее.
Быть может, ЛЮБОВЬЮ.
Была хороша она, словно цветущая рожь.
Она согревала, как майское солнце.
Была непреклонна, как мрамор.
Погибнуть готова была, чтобы только рабыней не стать.

Кем были мои стихи рождены?
Быть может, СТРАДАНИЕМ звали ее.
Тяжелой и темной была она, словно сырая земля.
Была угрозою, не находившей врага.
Слезой, ослеплявшей своей чистотой прозрачной.
Была она небом, в котором нет солнца и звезд.

Кем были мои стихи рождены?
Быть может, ВЕРОЮ звали ее.
Фонарь деревенский несла она темною ночью.
Была печальной звездою, чей свет красотою сиял,
и, когда умирала она,
от нее все равно исходило сиянье.

Кем были мои стихи рождены?
Быть может, ПОБЕДОЮ звали ее.
Кровавые раны ее прикрывали знамена.
Была она в красном, когда полагалось быть в черном.
Веселой была, когда траур склонялся
над справедливостью братских могил.
Победоносная!
Святы одежды твои.

Кем были мои стихи рождены?
Быть может, ТРЕВОГОЮ звали ее.
Была опасна она, как обманутая надежда,
как чрезмерная преданность,
как запоздалое, но роковое сомненье.
Немилосердной она была, как приговор
и как тайный концлагерь для тех, кто мне дорог...
Грозной была она,
а сомневаться нельзя было в верности строгой ее,
потому что всегда
выступала она в одеянии красном.

Но упали зимние звезды, жестокие звезды,
и доброе лето глаза осветило твои.
И кровь справедливости сердце твое наполняет,
и воды признаний руки твои омывают,
и те, что обижены были,
к тебе возвращаются
не для хулы,
а для ласки...

Добрый день, о великая,
вечная Мать!

УТРО

Невидимых ветров прикосновенье
меня разбудит раннею порой,
чтоб тысячи таинственных волнений
сегодня снова встретились со мной.

Ночь августа — темна и безмятежна —
ушла, дождями звездными звеня.
И темнота в моей квартире тесной
сменяется холодным светом дня.

Что ждет меня?
Не суетное слово,
не вереница медленных минут.
Я на планете взрывы слышу снова.
Горит земля.
И люди в бой идут.

Вьетнам.
Там умирает в джунглях воин.
В его глазах моя мечта горит.
...Пусть облака над Шипкою спокойны —
в своей душе я слышу марша ритм.

И раненый мой брат в сраженье жарком
услышит песню —
ту, что я пою.
Пускай она ему, как санитарка,
кровь перельет горячую мою.

О, верю я, что все это возможно,
что многое зависит от меня.
...На жизнь мою —
холодный и тревожный —
нахлынул свет стремительного дня.

ГЕОРГИЙ ДЖАГАРОВ

БОЛГАРИЯ

Земля моя с ладонь... Но для меня
ты хороша, и больше мне не нужно.
Горжусь тобой, твоею кровью южной
и тем, что горы наши из кремня.

Порою выли волки и шакалы
в твоих лесах, в ущельях этих гор —
ты с теми, кто с тобой всегда был добр,
была добра, но злых ты покарала.

Земля моя с ладонь, невелика...
Но все ж в ладони этой в дни лихие
сломалась чаша с ядом Византии,
согнулась сталь турецкого клинка.

Торговцы кровью — с грузом табака
тебя, земля родная, продавали,
но все, тобой раздавленные, пали —
ты тяжела, хоть и не велика.

Свершилось чудо: смертью смерть поправ,
заулыбались окна и балконы,
заколыхались яркие знамена,
и путь открылся, прям и величав.

Цвети, земля! Болгарин пролил пот,
и вот уж чернозем твой набухает,
и розами твой лик благоухает,
и ветер песню новую поет.

Земля моя с ладонь... Но мне она
могла бы заменить все мирозданье —
я меряю ее не расстояньем,
а той любовью, что пьяней вина!

ТРЕВОГА

Мне день и ночь покоя не дает
Мой черный человек...

А. Пушкин

Как мне петь и возможно ли это?..
Человек — черной ночи чернее —
над душою моею, над нею.
Я засну — он во сне до рассвета.
Десять раз я его убиваю,
с ним сражаюсь, упорно, бессменно.
Но когда я глаза открываю,
исчезает мой враг неизменно.
Где он?
В пламени вечного ада?
Где он?
Кто он?
Чего ему надо?
Может, сгинул? А может, не сгинул?
Невидимкой прикинулся грубо,
не оставил меня, не покинул,
стал рукою ближайшего друга.
Может быть, за моею спиною
он идет, ожидая мгновенья
заползти в мою душу змеею,
отравить ее ядом безверья?
Я не знаю о том.
Я не знаю.
Но дыханье его ощущаю.
Революция! Ты моя доля.
Ты — волненье мое молодое.
Как во время войны, как в сраженье,

Бенчо Обрешков (Болгария)
Первый день рождения. 1962 г.

помоги
не попасть в окруженье!
Научи меня зоркости боя!
Видишь — снова стою пред тобою.
Научи, как когда-то учила,
видеть черную злую личину!

Где он?
Кто он?
С глазами какими?
Чей он адрес присвоил?
Чье имя?
Может, этот — излишне усердный
и всегда доверительно липкий?
Или тот — с неподдельной улыбкой
и кусочками льда вместо сердца?
Или тот — подшивающий чинно
все застолья мои и сомненья?
Он?
Не медли! Скорее скажи мне!
Помоги в постижении жизни!

Человек — черной ночи чернее —
над душою моею, над нею.
Я засну — он во сне до рассвета...
Кто он?
Я ожидаю ответа.
Пусть для песен душа распахнется!
Сердце
пусть опять улыбнется!

ОСЕННИЙ ОПТИМИЗМ

И этот ветер без пощады,
и этот дождь, и эта грязь,
и этот шелест листопада,
и эта давняя боязнь.
Перед осенним мокрым тленьем,
перед приходом холодов,
перед умолкшим птичьим пеньем —
не потрясение основ,
а лишь трехмесячная встряска
и — не оправдана опаска.

А мы свой добрый опыт спросим,
и он нам даст ответ прямой,
что, мол, зима прогонит осень,
весна расправится с зимой.
И снова буйное кипенье
начнется всюду по земле,
в крови, в речах, в воображенье,
броженье соков в пряной мгле.
В ветрах надежных устремлений
падут кипучею весной
обломки старых представлений
перед зеленой новизной.
Бесценной влагой жизнь струится,
людской кипит водоворот,
и ветка каждая стремится
нам подарить желанный плод.

ПЕНЬО ПЕНЕВ

* * *

Если б был я энергией,
верой,
если б ветром меня
не гнуло,
ты бы, Родина,
отдохнула
от труда и заботы вечной.
Я
огромной работой жил бы,
рушил горы,
не зная праздности.
Я бы двигал
одною радостью
все станки твои и машины!
Я б гордился
своею долей,
дал бы воду полям иссохшим.
И светила бы вера,
как солнце,
в каждой лампочке,
в каждом доме.

* * *

Родина, Родина — матушка милая,
дым от родного огня!
Не разделить
никакою силою,

не оторвать
тебя от меня.
Родина, Родина —
имя высокое.
Мирная,
радостная страна.
Сердцем
любовь моя проголосована,
разумом-штабом
утверждена.
Кончатся реки,
высохнет море,
солнце
укатится в небытиё.
Будет сиять
справедливо и мощно
имя
сверкающее
твое!
Просто любить тебя —
малая малость!
Надо еще,
чтоб любила и ты!
Вот почему я
мучаюсь, маюсь.
Вот почему я страшусь
суеты.
Вот почему я
ни часа не медлю —
долг мой великий
покрыть
не могу!
Я отдаю тебе все,
что имею,
и все равно
остаюсь
в долгу!

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ

ВЫРУБКА ЛЕСА

Сквозь ясени, прекрасные и в старости,
словно в сраженье
лесорубы шли,
и ноздри раздувалися от ярости.
Был голод.
Не хватало им земли.

Кричали и сверкали топорами
и вырубали просеки свои.
Телеги, нагруженные стволами,
в земле прокладывали колеи.

Стволы?
Валы из трупов!
Ведь беда
по дереву бьет, как по человеку,
и замолкают гнезда навсегда,
и птицы здесь не запоют вовеки.

Великий лес
неспешно отступал...
Пила пилила, выжигало пламя,
и землю оголял великий пал,
и пепел пал над новыми полями.

А плуг меж пней попер вперед упорно,
на просеке
свой оставляя след,
и густо падали живые зерна
с мечтой про хлеб,
про хлеб,
про хлеб!
Лишь ясени, без малого столетние,
оставленные кое-где,
вздымали сучья, словно бы в молении,
величественные и в беде.

Стальной топор
железную их плоть
не смог рассечь,
прогрызть и побороть.
Их древнегреческая колоннада
вещала,
аргументы все поправ,
что красоты голодному — не надо
и что голодный —
даже в этом —
прав!

* * *

Я шумный мир опротестую —
от суеты до слухов,— весь.
Люблю случайную, простую,
неподготовленную вещь.

Случайный тост в углу случайном
с едва знакомым на пути.
Вздох, после странного молчанья
вдруг вырвавшийся из груди.

Случайный путь, случайный поезд —
ночной, неведомо куда,
который движется, как повесть,
не завершаясь никогда.
Случайно брошенное слово,
вино в прохладной глубине,—
все это, преломляясь, снова
поет во мне, живет во мне...

Внезапные простые вещи!
А я им радуюсь, ценя.
Они как гости,
в час зловещий
вдруг посетившие меня.

И как мне их не славить, если
я рядом с ними молодел,
в них находил слова для песни
и силу в самый трудный день!

Пойду — небрежный и печальный,—
вздохну легко,
взмахну рукой —
не преходящий,
не случайный.

Случайны вещи.
Я —
другой!

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ

К Р Ы Ш И

Б. Райнову

Был дедовский дом старинный
крыт крышей из плит тяжелых.
И я даже помню — на крыше
росла какая-то травка...

— Где,—
вопрошаю,—
дедовский дом старинный?
Мне отвечают:
разрушился сам собою.

— Смотри,—
говорят,—
из плит этой крыши
отличнейший получается тротуар!

...О да, конечно, плиты — они те же,
Но я не верю, будто сам собою
тот дом разрушился,—
нет, я не верю!

То был добротный дом —
простой,
удобный,
напоминавший чем-то человека.
Однако он страдал дефектом тем же,

что и весь прочий дедов мир старинный,—
тяжелая, из плит тяжелых, крыша,
да только нет фундамента в основе!

Итак, выходит, дом разрушен не был,
а просто тихо он ушел под землю,
по крышу самую он в землю опустился.
По этим плитам я хожу сейчас, как кошка.
И дым самшитовый над трубами витает...
А там, внизу,—
в той древней Атлантиде,—
осталось все таким же, как когда-то.

Очаг пылает.
Булькают бобы.
И мой отец —
он мал еще —
улегся
на бабушкины теплые колени,
а та его укачивает:
— Спи,
ты слышишь, там упырь по крыше ходит!..

И слушает испуганно отец.
Он слышит.
(То мои шаги по крыше.)
И вздрагивает он.
И засыпает...

А я все топаю себе по тротуару.

Чертовски трудно создавать такие крыши,
что мог бы выдержать затем фундамент века.
Надстройка
(как сказал бы Маркс) —
надстройка базис раздавить не может!
И мы,—
мы, те, кто пишем,—
мы должны
придумать что-то верное весьма
и чтобы в нем правдиво все
и прочно...

Мне кажется, уже по нашей крыше
проходит кто-то легкою походкой.

И прорастают молнии, подобно
могучим крыльям
за его спиной.

БАЛЛАДА ОБ УСТАЛЫХ ЖЕНЩИНАХ

Вот усталые женщины
на остановке
возле завода,
словно любовника,
опаздывающего на свиданье,
поджидают автобус.

Холодные сумерки.
Неоновое известье
вспыхивает в определенной точке.
От столба к столбу сообщается:
Дорога будет серебряной.
Дорога будет серебряной.
Дорога будет серебряной.
До конца маршрута.

И вот серебряные усталые женщины.
Настолько усталые,
что нет даже силы,
чтобы быть красивыми.
Потому что сеяли квадратным ситом.
Потому что месили хлеб из бетона.
(Пыль серебрится в их волосах.)
А затем...
Потому что они начистили небо.
Потому что они накормили солнце
и уложили спать...

Подходит автобус
и уносит их
в душных своих объятьях.
Они засыпают стоя.
Покачиваются.
Улыбаются...

Матери нового дома,
матери всей Вселенной,
я целую ваш сон,
которого вы не вспомните.

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

ЭНДРЕ АДИ

СУДНО, КОТОРОЕ ПРОДАЕТСЯ

Продается судно!
Расшаталась мачта, перегнили снасти,
Словом — сколько хочешь всякого несчастья.

Продается судно!
Починить не трудно — корпус все же прочен;
Хозяин измучен — надоело очень!

Продается судно!
Было это судно доброе, как видно;
Снова выйти в море на таком не стыдно!

Продается судно!
Сотни раз то судно море штурмовало,
В тысяче Вселенных судно побывало!

Продается судно!
Кто грехов прекрасных хочет безрассудно,
Тот, завороженный, и взойдет на судно!

Продается судно!
Видно, в путь отважный хочет оно снова,
Нового желает рулевого!

Продается судно!
Это судно годно в чудный путь до ада.
Продается судно хоть дороговато, а купить бы надо!

НЕСЕМСЯ В РЕВОЛЮЦИЮ

Жандармы-псы на нашу шею
В последний раз сейчас насели,
Все решено! Ликует сила,
Она сегодня в каждом теле.
Эх, дружно вспахан, обработан
Он, полный рабством, кровью, потом,
Простор венгерский, бедный, скорбный...
Не медлите с переворотом!

Здесь, чтоб весна не наступила,
Бросали смерть, во время сева;
И все же нынче на Дунае
Всего буйнее всходы гнева.
У нас на гибельном рассвете
Сильней, чем где-нибудь на свете,—
Как узник, рвущийся к свободе,—
Провидцы жизни, всходы эти!

Куда ни взглянешь — видишь взрыва
Божественное состоянье.
Кто жив, тот мечется в тревоге,
А умирает — в ликованье.
Горим мы грешным древним жаром;
И всюду над порядком старым
Мы видим: новое восстало,
И ореол его — пожары.
Все сбудется! Судьбу любите
И поджигателя любите —
Безумца гестского, который
Дрянь как мадьяр и как правитель.
И он знак времени! Над кучей
Господской Гуннии вонючей
Он встал и, чтоб ее обуглить,
Струит в нее состав горючий.

Вонь Вены, спесь аристократов,
И униженье, и жандармы...
Смирить нас? Нет такого бога!
Жар в жилах превратим в пожар мы.

Кой-кто еще неузнаваем,
Друг друга мы в лицо не знаем
И путаем. Но пламень мщенья
И очищенья раздуваем!

Еще течет вечерний рокот
И свежие рассветы веют
Там, на проспектах Будапешта...
А в сельских недрах гневы зреют.
Земля осядет при ударе;
Услышим все, что не слыхали,—
Мадьяров лютое проклятье
И в летнем зное, и в пожаре!
Вот он идет в пустыню нашу,
Святой посланец бога, дьявол!
У Революции на ложе,
Геройском, брачном и кровавом,
Мы были девственны... Очнемся!
Проснулась кровь. Кипит огнем все!
Молчание. Никто не дрогнет.
Мы в Революцию несемся!

ПЕСНЯ ЛЕТОПИСЦА 1918 ГОДА

Страшные годы на мир надвигаются,—
Снова народы вооружаются,
Злобный грозится, а добрый печалится,
Веры людские колеблются, валятся.

Кровли не чинятся, скоро обрушатся,
Разума пламень старательно тушится...
Вы, чьим сердцам еще гаснуть не хочется,
Все же задумайтесь: чем это кончится.

Ой, как людские мечтанья калечатся,
В жестком ярме наши выи увечатся,
Нет вдохновенья, но кто же поручится,
Что за свои прегрешенья он мучится.

Кровь в берегах не вмещается, плещется,
Ужас грядущий лишь смутно мерещится,
Древняя ненависть в землю внедряется...
Ой, что готовится, что надвигается.

А музыканты не унимаются,
У балаганов толпа собирается,
Лица разбойничьи озаряются.
Добрые люди укрыться стараются.

Ой, что готовится! Что-то получится?
Светлые головы сумраком полнятся,
Ясная молодость старчески горбится,
Кладбищ земля от покойников пучится.

Скорбные матери родами маются,
Мальчики-с-пальчики в смерть погружаются.
Старый очаг остывает, и губится
Милая девственность, выйдя на улицу.

Но человечество не отвращается,
Даже и радо порой. Забывается
Всякая скверна. И вновь проливается
Кровь, и убийство опять затевается.

Лишь бы убить — все на этом покоится.
Люди лишь разве во сне успокоятся,
А поутру вновь гневятся, кусаются,
Грешные гномы, на гибель бросаются.

Многих казнят... Так в петлях и качаются.
Вороны стаей на падаль бросаются,
И улетают, и возвращаются.
А человечество не пресыщается.

ДЮЛА ЮХАС

БАЛАЛАЙКА

Русским братьям

Тихо пела о беде
балалайка в Сегеде.

Тихо лился лунный свет,
словно из дому привет.

Луч сиял в глубинах глаз,
как слеза или алмаз.

Песня, музыки полет,
так о мире ночь поет.

Эта песнь во мне звучит,
это сердце в такт стучит.

Эта песня — мне родня,
с колыбели ждет меня.

Я в ней скорбь услышал сам
по нездешним небесам.

С музыкантом мы друзья,
он такой же, как и я,

он, как жухлый лист, со мной
рос на веточке одной.

Мы — цветы одной земли,
с ним росли и с ним цвели.

Той же веры сыновья,
мы тоскуем — он и я.

МАЙСКАЯ ОДА

О люди, жизнь прожить, как поле перейти:
кладбищенский покой кивнет в конце пути.

Но было б хорошо установить: каков
в конце концов удел несчастных бедняков?

От имени творца тираны там и тут,
кичась, вершили над людьми неправый суд.

Но было б хорошо хотя бы раз еще
в державность прав людских поверить горячо!

Чтоб вместо выстрелов, штыков, колоколов
сверкала бы любозь, звенела бы любовь;

чтоб вместо всех границ был безграничный мир,
и только он один был дорог нам и мил;

и чтобы, разгромив казарму и тюрьму,
летели грезами мы к небу самому,

на крыльях музыки и пламенных стихов
мы возносились бы превыше облаков.

О будущее, стяг свой алый подымай
и всем нам подари цветущий, вольный май.

Надеюсь, человек, что ты всю жизнь свою
в маевку превратишь,— об этом я пою!

Надеюсь я на май, весенний день хвалю.
О брат мой, человек, как я тебя люблю!

БЕДНЫЙ СОЛДАТ

В четырнадцатом осенью лежал
в кровавой глине, грязный и голодный,
мок под дождем, под стужею дрожал
бедняк безродный.

В пятнадцатом под осень из траншей
отправлен в тыл и, воевать не годный,
кормил на госпитальной койке вшей
солдат безродный.

В шестнадцатом под осень — снова бой
и дух кладбищенский земли холодной.
И воронье кружится над тобой,
бедняк безродный.

В семнадцатом попал под осень в плен,
брел по чужим полям в колонне взводной.
И жил, не ожидая перемен,
бедняк безродный.

Под осень в восемнадцатом — домой
его нес дух восстанья всенародный,
и он тогда почувствовал впервой —
я не безродный.

Под осень в девятнадцатом — в тюрьме.
А в мире ветер бушевал морозный,
и приговор звучал ему во тьме,
что он — безродный.

РАБОТА

Я славлю лишь ее. Работу, жизни мать,
которая, ведя нас в будущие годы,
меж траурных руин способна указать
нам самый верный путь, победный путь свободы.

Гудки фабричные спешат ей честь воздать,
хвалу на струнах рельс поет ей поезд скорый.
Она — прогресс, и мир, и истина, которой
все молнии небес удастся обуздать.

В столицах и в полях, просторных бесконечно,
пока все идолы не рухнут, будет вечно
ее напев торжественный звучать.

Я славлю лишь ее. Работу, жизни мать.
И двух ее сестер — Свободу с Красотою,
чьи зори алые покончат с темнотою.

АТТИЛА ЙОЖЕФ

ПОСЛЕДНИЙ БОЕЦ

Какой-то душной ночью был объят
фабричным дымом вялый запах глин,
и величайший дух вошел в меня:
я сын земли, и улицы я сын.

Отныне сердце — мощный алый цвет,
его цветеньем шар земной объят,
подобьем электромагнитных волн
его распространился аромат.

Отныне ни казарма, ни тюрьма,
ни церковь с гор не сбросят слов моих,
и все глаголы реют надо мной,
и нету смысла в замыслах других.

Когда я плачу — каплет мира кровь,
когда бранюсь — трепещет трон любой,
когда смеюсь я — радуется бог
и зимы вдруг сменяются весной.

В судьбу я верю; сердце, наш господь,
ждет бесчудесных он чудес во всей красе;
лавины страсти, с наших лиц лиясь,
разрушат тюрьмы и казармы все.

И все огни грядущие — во мне,
чтоб я бойцом последним стал. Мой стяг —

прикосновенье ласковое. Все
в путь двинется, коль сделаю я шаг.

И шапку ликованья в небеса
согбенный день взметнет, коль я один
и буду зеркалом у вас в сердцах,
я сын земли, и улицы я сын.

* * *

В чем вера и расчет небесных тел,
в орбите огнедышащего круга,
какая сила и какой прицел
им позволяет миновать друг друга?

Казалось, только бы закрыть глаза,
и — вдребезги! Пожар блогословенный!
Какие золотые тормоза
хранят благополучие Вселенной?

Я бы решил, что это — власть причуд
любви между планетой и планетой,
но так многозначителен прищур,
мигающий над бездной этой.

И мотыльки ночные над огнем
теряют пыль, столкнувшись при круженье.
И странен мир. И странно пуст мой дом.
И нет тебя. И все вокруг в движенье.

ARS POETICA[1]

Поэт я, но какое дело
мне до поэзии самой?
Нелепо, если б вдруг взлетела
в зенит звезда с реки ночной.

Пусть время тянется уныло,
забыл я сказок молоко,—
я пью глоток земного мира
с небесной пеной облаков.

[1] Поэтическое искусство *(лат.)*.

Ручей прекрасен — лезь купаться!
Покой и трепетность твоя
обнимутся и растворятся
в разумном лепете ручья.

Поэты? Что мне все поэты?
Их пачкотню я не люблю,
где вымышленные предметы
они рисуют во хмелю.

Дойду до разума и выше
сквозь будней грязную корчму!..
Плести слова лакейских виршей
негоже вольному уму.

Ешь, спи, целуйся, обнимайся!
Но с вечностью равняйся сам.
И не служи, не поддавайся
уродующим нас властям.

А если счастье компромиссно —
плати краснухою лица,
и лихорадкой ненавистной,
и панибратством подлеца.

Я рот не затыкаю в споре.
Ищу совета у наук.
И помнит обо мне на поле
крестьянин, опершись на плуг.

И чувствует меня рабочий
всем телом, что напряжено;
и ждет парнишка, озабочен,
возле вечернего кино.

Где подлых недругов ватаги
на стих мой лезут не добром,
там танки братские в атаки
идут под рифм победный гром.

Да, человек велик не очень,
но неуемен и крылат.
За ним родительские очи
любви и разума следят.

ЛАЙОШ КАШШАК

МАСТЕРОВЫЕ

Мы не профессора, и не томные златоусты-попы,
и не герои, под общие вздохи идущие в бой,
те, что сейчас повсюду в беспамятстве вповалку лежат —
на исхлестанных молниями полях, на затопленных солнцем горах,
на дне морском,
повсюду, во всем мире.
Под синевой небосвода полощется время в бесцельной крови.
Но мы — вдали от всего.
Мы внизу, в казарменной темени доходных домов,
безмолвные, вечные, заполняющие всё и вся, словно сама
материя.
Вчера мы рыдали, но завтра, быть может, век удивится нашим
делам.
Да! Потому что из наших короткопалых уродливых рук
изливается свежая сила,
и завтра она прольется на новые стены!
Завтра обрушим на развалины жизнь — громады из асбеста,
железа, гранита.
Прочь бутафорию государства!
Прочь лунный свет и кабаре!
Воздвигнем небоскребы, а игрушками будут модели Эйфелевой
башни.
Мосты — на быках из базальта.
Стальные знаменья на площадях.
Столкнем на дохлые рельсы воющие, огнедышащие паровозы!
Чтобы они метеорами мчались по своим орбитам.

Чтобы сверкали.
Мы смешаем невиданные краски. Протянем по дну океана новые кабели.
Очаруем прекраснейших женщин, чтобы земля вынянчила новый род,
чтобы новые поэты, ликуя, воспели новый облик времени
В РИМЕ, ПАРИЖЕ, МОСКВЕ, БЕРЛИНЕ, ЛОНДОНЕ И БУДАПЕШТЕ.

ПОД СИНИМИ ПРОСТЫНЯМИ...

Под синими простынями лежат сегодня мои умершие.
О братья, затянутые в омут беды и водоворотом боев
выброшенные на берег, вы проходите вереницей,
и в каждом, словно свеча, горит мечта
и таится воля, подобная сжатой стальной пружине.
Моя память сплела из вас венок, и тяжелый запах вялых цветов
течет над печальными городами.
Матери и дети понуро сидят за пустыми столами, и их собственные тени
падают со стен и пригибают к земле их плечи.
Может быть, и мы мертвецы, мы — убитые волки, прикованные цепью
к ребрам нашей грудной клетки.
И только моя песня, восходящая мерцающим дымом из печи страданий,
устало плывет над вами, вбирая горький дым
мастерских и заводов, паровозов и пароходов.
О братья, захлебнувшиеся на тонущих улицах,
убитые на алых площадях, похожих на скотобойню!
Я думаю о ваших руках, рвавшихся к творчеству,
о неспокойном свете ваших темных глаз.
Я — с вами, я живой узел на нити вашей судьбы.
О взорванные столпы моей жизни,
воздавая хвалу даже звуку ваших имен
под гром цепей и оружия,
я колочу кулаками в запертые двери.

КРИК ПО ВЕСНЕ

С кем перемолвлюсь словом, кому отдам половину своего хлеба?
С кем поделюсь верным своим инструментом,
что закалял и оттачивал долгие годы?

Горечь в этих вопросах, горечь и тревожная боль,
и еще не встретил я брата, кто бы ответил на них
словами простыми и мудрыми.

Мы сражаемся, мы в бою, слышу вокруг,— но увы! —
только мертвых вижу везде, в долинах, на склонах холмов.
Здесь неведом открытый взгляд, неведом радостный крик.

Однажды вечером я сел в лодку, чтоб забросить рыбацкую сеть,
рыбу ловил я — и трупы вытаскивал из воды:
юную девушку с нерожденным ребенком во чреве и юношу,
у которого в сердце ржавел кухонный нож.
Вот оно, новое поколение, думал я, и пытался отогреть их
у себя на руках,
но они безмолвно спали под безоблачным звездным небом.

Время надругалось над нами, пространство ускользнуло
из-под наших шагов.
Но я возглашаю: если нет матерьяла, который мы бы могли
обработать своим инструментом,
подымем ввысь мускулистые руки, как орудия справедливости!
За нашу жизнь. За жизнь наших страждущих братьев.

У тех, кого бьют кнутом, кости должны быть из стали,
кого хоронят живьем, те должны воскреснуть даже из мертвых.
Братья, пора подняться со дна на поверхность,
из глубины шахт, из-под руин закрытых заводов.
Пора послужить себе в эти горькие дни,
когда хлеб наш черств, как камень, и ночи наши бессонны.

ПЕРЕВЕРНУТАЯ СКРИЖАЛЬ

Не я был первым, не я — последним,
кто вскочил на коня, чтоб скакать навстречу свободе —
надо мной проносились воспоминания юности,
знамена яростных битв, поцелуи, что ранили сердце.

И вот мои сумы наполнены свежей добычей,
я раздам ее тем, кто был менее ловок и счастлив,
кто выбыл из битвы, прежде чем наступил вечер,
прежде чем вспыхнули яркие костры надежды.

В этой битве братья обрели подлинных братьев,
мы горели и крепли в одной купели,
где-то билось за нас много чистых сердец,
в них сквозь боль и страданья зрели победы.

И однажды нежданно, как смерть,
мы двинулись к городу, непроницаемо замкнутому в тернии,
мы принесли с собой сокрушительный ключ,
что запирает и отпирает любые ворота.

Свобода, весть о твоем приходе сияла так ярко,
что все, кто не верил в тебя, были ввергнуты в гибель.
Мирно ходят ныне стада на пастбищах наших,
и с улыбкой в постелях своих пробуждаются дети.

ВНУТРИ КРУГА

И вот мне семьдесят два года.
Нет, вы только представьте:
паренек из захолустного городишка
вот так взял и отправился в мир,
чтобы найти и понять гармонию
видимых и невидимых явлений,
потому что все ему было не то и не так.

Пешком, на телеге, на поезде
стремился я к цели,
которая мне самому была неизвестна.
Первые испытания для наивной души.
Все, с чем встречался,
я складывал в заплечный мешок —
небо и землю, шорох ветра,
строки стихов, голодные обмороки,
сиянье глаз женщин, любимых мною.

И вот мне семьдесят два года.
Но я и нынче все тот же,
что раньше.
Ничто меня не удовлетворяет,
все мне не то и не так.
Видно, испытания мои еще не закончились,
но я уже не мечусь то туда, то сюда,
высунув от усердия язык.

Сижу за закрытым окном,
чувствуя себя немного уставшим.
Много курю
и вспоминаю о девочке из моего детства,
что сидела под дикой сливой
и вышивала синие цветы
на белой полотняной скатерти.

ВВОДНЫЕ СТРОКИ К ОДНОЙ КНИГЕ

I

Если б я родился музыкантом
я бы стремился
перебороть шумы мира
с помощью стройных звуков.

Если б я родился архитектором
я бы строил людям
не квартиры а домашние очаги.
Я одарил бы их
светом цветом и тишиной.

Но поскольку я поэт
я хотел бы так же четко и ясно
говорить на языке слов
как математики
говорят на языке чисел.

II

Во мне
суровом и упрямом человеке
(как меня обычно характеризуют)
живет еще и маленький боязливый мальчик.

Этот мой тайный двойник
слыша как другие
читают вслух мои стихи
горестно вздыхает:
О вот значит какой я несчастный
какой печальный и беззащитный
один-одинешенек в целом свете.

III

Не плачь не грусти малыш
я твой панцирь и твое оружие
когда я умру
ты останешься жить в моей поэзии.

ЙОЖЕФ ФОДОР

ОТВЕТ ВЕТЕРАНУ

По случаю 45-й годовщины создания Венгерской Красной Армии

I

Пишет мне Гарна: дивизия тает,
тает наш лагерь! Наш полк исчезает!
Те, что под Сатмаром бились, и те,
шедшие в бой по колено в воде,
те, кто форсировал быстрые реки,
те, кто участвовал в смелом набеге,
брал бронепоезд с винтовкой в руках,
те, кто в словацких сражался снегах,
оборонявшие Тису герои,
войско безумное! Ты — на покое?
Насмерть стоявшие в стужу и зной,
мост прикрывавшие в битве — собой,
Вышло на отдых? О, время! О, память!
Трудно поверить и трудно представить.
Знавшее столько дорог и смертей,
тает и тает, теряет людей.
Где теперь старых товарищей сыщешь?
Ты призадумался, Гарна, дружище.
«Тает дивизия»,— пишешь ты мне,
пенсионер, в стороне, в тишине.
Стал ты легендой, слабеешь, скучаешь,

однополчан раз в году окликаешь.
Полк двадцать первый! Всего человек
Восемь осталось. Растаял как снег.
Так что вместит небольшая квартира,
Шесть рядовых нас да два командира.

II

Эй, старина, собери нас всех вместе,
не восьмерых, а весь полк, честь по чести,
всех, кто проделал тот трудный поход,
шумный и юный, прекрасный народ.
Кликни свое незабвенное войско,
полное пыла и веры геройской,
шедшее с ходу в любые дела
(Новая Венгрия с нами была!),
всех их, бессмертных героев Токая,
что за бесстрашная юность такая!
С верой, как с первой любовью, не раз
рвавшихся в бой,— объяви им приказ.
Как по тревоге, вели им *явиться*,
сердцу вели их по-прежнему биться
(О, как немного осталось от нас!),
сбор объяви нам, последний приказ.

III

Однополчане, порадуйтесь встрече.
Да не прельстят вас награды и речи,
слава и прочее. Ведь все равно
высказать все никому не дано.
Что-то останется... Полк легендарный,
те, что тебе на земле благодарны,
что-то забудут, не всем воздадут.
Пусть нам на смену другие придут.
Все же недаром мы первыми были,
в славное время боролись и жили,
молоды были, не знали преград.
Денег не надо! Не надо наград!
Мы и печалиться вроде не вправе.
Вознагражденье — в борьбе, а не в славе!

ЖИВАЯ СТАТУЯ

К статуе Ленина
работы скульптора Патцаи

Должно быть, он тому назад мгновенье
неотразимый в споре аргумент
привел и вот, совсем не монумент,
а вождь, сплошной порыв и нетерпенье,

идет туда, где говор, и движенье,
и блеск знамен и пулеметных лент.
Он кепку в правой сжал руке.
«Момент
серьезен. Позу брось и украшенья!» —
так говорит он тем, кто в этот час
пришел на площадь. Ради этих масс
он жил, деля страданья вместе с ними.

И потому они пошли за ним,
срывая цепи, мудрым и простым
словам верны, считая их своими.

БЕСПОКОЙСТВО

Большое дерево в окне
шумит листвою влажной,
и странен шум его протяжный
в безветрии.
Так человек во сне
кричит.
Прислушайся, услышишь: в лихорадке
мир корчится.
Курчавые моря
взъерошены.
Жизнь бьется, как в припадке,
и ждет добра, надеждою горя.
Забыт покой.
Зло подается туго.
На Африку взгляни —
ее судьба меняется.

Иоганн Касса (Венгрия)
Семья.

От севера до юга —
везде — борьба.
И небо взбудоражено над нами,
расколотое грозными громами.

Недешево
нам обойдется свет
проложенных с трудом
грядущих лет.
Мой грустный спор
с самим собою длится:
зло иль добро на свете победит?
Не спится.
И время ночью медленно летит.
Свобода — вот что светит нам за тьмой.
Свобода — это слово
дарит счастье.
Лесные звери так, сжимая в пасти,
детенышей своих несут домой.
Твердим и снова
пробуем на вкус.
Свобода! О, какой прекрасный груз!

В дыму и пламени планета,
в переплетенье тьмы и света,
в крови и муках до поры.
Новорожденные миры
встают и расправляют плечи
вдали, в глуши.
Смотри же вглубь, верь в разум человечий
и с выводами не спеши.
Еще так много впереди
забот, и горя, и надрыва.
Еще все дико, косо, криво,
еще не раз в твоей груди
забьется сердце, сострадая
и горячась...

Настанет срок,
и вся земля,
от края и до края,
вздохнет легко, избавясь от тревог.
И трубный глас сражениям и войнам
конец объявит, радость торопя.

И человек воистину достойным
предстанет мира, жизни и себя.
Раздоры прекратятся. Но пока
бушуют страсти! Жизнь недорога.
И белый свет
кровавых зорь красней.
О, сколько бед,
и боли, и смертей!

АНТАЛ ГИДАШ

ВЕТВИ ГУДЕЛИ

Помнишь, тогда эти ветви гудели,
головы в плечи деревья втянули,
и трепетали они, и боялись
черного, бурю таящего неба.

Ветви гудели,
капли дождя били, будто бы пули.
Листья рыдали,
как из земли эти молнии были.
Метлы мели побледневшую землю,
и устремились в дорогу желанья,
вечные наши стремления к цели.
Листья дрожали, они трепетали.
Ветви гудели.

НЕБО НАД МОСКВОЮ

Голубые реки
над тобой, столица!
Вижу: над бульваром облако лучится,
куда оно мчится, румяная птица?
Яйцо золотое, где-то у крыла там,
блещет, налитое солнечным закатом.

Небо голубое
льется над столицей,
будущее наше, голубые реки.

Небо над Москвою,
я всегда с тобою,
мы одной мечтою
связаны
навеки!

В ОДНУ ИЗ ТЕМНЕЙШИХ НОЧЕЙ ВОЙНЫ

Поезд твой оторвался от сумерек станционных, и вдруг стемнело.
Меж деревьев залегшее горе этот миг уловило,
черной массой осело на души и на кроны деревьев.
Но до Кунцева уж докатился поезд твой, отчаянья полный
(там Багрицкий смотрел когда-то на созвездья,
и, задыхаясь, все пытался понять он что-то).
И похоже, что в бездне небесной никаких уж и звезд не осталось,
а до нас долетает одно лишь сиянье былое —
извивающиеся обрывки нитей с прялки, давно
казненной.
И печально существование за вагонными окнами,
будто уж не поезд идет, а струится река, так и бакены
меркнут.
Ночь везде — впереди и сзади.
На сгустившемся небе томятся только несколько звезд забытых,
мгла течет безутешным потоком и безмолвно ширится морем.
Я сажусь на рельсовый берег: надо мною застыло время.
Ты сейчас открываешь двери нашей квартиры,
и в руке твоей ключ короткий и другой, подлиннее.
Успокойся! И я успокоюсь. Мне страх опостылел.
Плохо быть одному во мраке затемненного этого мира.
Мы не можем жить друг без друга.

* * *

Зачем же люди плачут по домам,
не выходя на улицу, не собираясь
на площадях, открытых всем ветрам?
Зачем они, от боли содрогаясь,
прижав к глазам измученным платок,
рыдают немощно? Из этих слез соленых
такой бы ринулся по городу поток
бушующий, от этих горьких стонов
такой бы смерч пронесся по жилью

и грозное перо такие б обвиненья
вписало в книгу, Венгрия, твою,—
что даже мертвые во всем твоем краю
восстали б, требуя отмщенья!

* * *

Черные руки вздымают мосты.
Мертвые люди вздымают персты.
Мать моя, руку вздымаешь и ты.

Черною тенью скользят облака.
С визгом и воплем несется река.
Давит ее человечья тоска.

Нет ей покоя от мертвых гостей.
Русло от боли сжимается в ней.
Волны — и те человечней людей.

Вихри — и те человечней врага.
В ужасе гонят они облака.
Полная слез, негодует река.

РАЗДУМЬЕ

Буря прошла,
отгремела гроза, улетая.
Всхлипнув от слез,
засыпает в кроватке дитя.
Падая наземь,
струится вода дождевая,
тихо лепечут
последние капли дождя.

Мать моя смотрит
сквозь окна души моей снова.
В сердце мне льется
сияние светлых очей.
Плачет душа,
но отчаянья нет уж былого.
Только слеза моя
все горячей...

* * *

На плечах — полсотни годов.
В голове — полтыщи стихов.
Нарастает горечь во мне...
Не до шуток, не до пустяков.

С этой горечью, с этой старостью,
с этой бренностью и усталостью,
словно крыша в день буревой,
смерть трещит над моей головой.

На дворе весны новоселье
соком жизненным орошено.
Мне бодливое это веселье
Ни к чему,
Только мучит оно.

Вслед легенде, я повторяю:
«Для чего ты оставил меня?»
И кричу я, в огне полыхая,
что во мне уже мало огня.

* * *

Я половину хлеба съел,
и стал я тем, чем стать успел.
И над моею головой
не веет грозный рок.
Но об одном печаль моя:
из дел земного бытия
лишь половину сделал я
того, что сделать мог.

* * *

Утро весеннее, тополь седой,
красный закат над листвой молодой,
тихая ночь с одинокой звездой —
первыми вы
научили любить
мальчика, бывшего некогда мной.

Было моим только то, что любил.
Животворящей весною я был.
Не был бы я весной настоящей,
если не стал бы листвою шумящей,
если б закат и звезду позабыл.

* * *

Отчий дом порочить никогда не дам
вам, чей светлый праздник в каждом горе нашем.
Если загорится — мне тушить, не вам.
Мы без вас потушим и без вас отпляшем
так, что тошно будет каблукам!

* * *

Спрашивал закаты,
спрашивал рассветы —
нужно было, надо
затевать все это?
У души, у разума
и у шрамов спрашивал,
что ношу на теле:
нужно ль в самом деле?
Сорок лет, как вихри,
мчат меня по свету.

Если б можно было —
снова б начал это.

НАВСТРЕЧУ

Остывает стих. Поэт ко сну отходит,
становясь мудрей.
Он устал. Не тронь его — не надо шума
у его дверей.

Завтра сам он рано встанет по тревоге:
«В наш последний бой!»
И стихи, не сбившиеся с ритма, он подымет
боевой трубой.

А покуда будет он стоять колонной,
думать и грустить,
чтобы пеплом всех развалин убеленным
в новый мир вступить.

СНЕГИРЕК

Снегирек ко мне уселся на окно
и запел: «Не хмурься, Гидаш,—
все равно!

Не горюй, что созревает уж давно,
а созреть не может вишня,—
все равно!

Горы издали не круты, но дано
или нет достичь вершины —
все равно!

Глянь: за окнами сосулек уж полно,
насладись весной, а дальше —
все равно.

Год-другой, и в путь дорожку суждено,
ведь пойми ж, не отвертеться —
все равно.

Волновать тебя все это не должно,
и твою горячность видеть
мне смешно».

Я вскипел: как видно, все вы заодно!
Но одумался: не стоит.
Все равно.

Препираться с ним мне стыдно и грешно,—
так подумал я. Вот то-то
и оно!

Как я жил, так жить я буду! «Что ж, вольно
жить как хочешь! — он ответил.—
Все равно!»

И взялся я за работу. Он взмахнул
дерзко крыльями и, свистнув,
упорхнул.

И гадал я: почему же — разбери! —
и в тебе заговорили
снегири!

СТАРЫЕ СТРОКИ ИЗ ПОЖЕЛТЕВШЕЙ ТЕТРАДИ

XVII

Солнечный
осенний луч,
глянь, пробившись между туч,
мне в лицо еще живое.
Это время буревое
ухватил бы я, могуч,
за бодливый рог рукою!
— За бодливый рог рукой?
Прок какой ловить мгновенье?
Ну, так, значит, успокой смертное мое смятенье
и бессмертья мощью мнимой — иль не мнимой —
озари мой
бунтовской, неукротимый
облик, что живуч средь туч,
как и ты,
осенний луч.

ДЮЛА ИЙЕШ

КРЫЛЬЯ

Птицы, птицы, птицы, птицы,
все, что во мне больше, чем тело, вся моя душа —
ваше щебетанье!

Светает. С песнями возвращаемся по лугам.
Нынче ночью все было крылатым —
слово, глоток, тиканье часов.
Руки любимой были словно крылья.

Песни были крылья, дверные ручки — крылья,
мне было радостно лежать меж крыльев простынь.
Я уже засыпал, когда под окном,
по трубному зову майского солнца

деревья вытряхнули своих птиц!
Шумное утреннее жертвоприношение.
Звучали арии и птичьи перья;
взлетел к небу цветной ворох мыслей.

Трепет знамен, фейерверк ангелов, сумасшедшая канонада,
первый громыхающий поцелуй — после него
с влюбленных слетают полыхающие рубашки.

Это роение было таким сверкающим и победоносным,
что мое высвобождающееся веселье
порхнуло к нему, смешалось с ним, словно аромат
с ароматом.

К чему же оплакивать уходящую юность?
Ведь она уходит на сверкающие небесные поля, рассеивается по ним,
как шелковистый дым жертвоприношения.

ПРАВА

Права, права... На все ты вправе,
пока одет ты этой явью,
наследьем, властью, как и тою
пылающею нищетою,
что в лоб тебе удары сыплет,
венчая огненной короной,
и тычет в руки твои скипетр,
пожаром гнева раскаленный.

Гордись! От сердца эти знаки
предназначенья. Ты не всякий,
а избранный. Бороться будешь
ты с тиранией древних чудищ.
Готовься! Серый плащ накинув,
крадись, никем не обнаружен
в одежде простолюдинов
и сказочном всеоружье.

Змеиный жир и конский волос,
коварство, предков вещий голос —
все в ход! Любой отпущен будет
грех! Победителей не судят!
Хитри! Громада добра люда
ждет чуда от тебя, ждет чуда,
а иначе палач подымет
меч на тебя — и кончишь худо!

О, гордо-сладостное право
презреть всех богачей, их славу,
их спесь, весь облик их блестящий,
всю сласть их милости пьянящей,
как презирали они сами
и вопль, и вонь народа в рабстве,
который в сердце твоем знамя
вздымает и зовет сражаться.

Куда б ни вознесенный,
с одеждой этой и с короной
не расставайся. Пусть ничто
вовеки не подавит тот
мятеж, который доведет
когда-нибудь тебя до смерти
и сунет в мертвый твой оскал
упрямо-твердые вопросы,
чтоб смертию ты смерть попрал.

ВОПРОШАЮЩИЙ

«Чьи, чьи?» — откуда этот свист,
что там за маленький артист?
Не знаю сам, ищу и тут
и там — и все напрасный труд.

«Чьи, чьи?» — качается вослед
пустая ветвь, а птахи нет.
Порхает пыль — уж нет ли там?
Там нет. Искать ли по кустам?

«Чьи, чьи?» — пытает не шутя,
как любопытное дитя.
И хоть он спрашивать горазд,
других вопросов не задаст.

На миг притихнет — вот он где:
там, на копне, там, на скирде.
«Чьи, чьи?» — не устает кричать.
Никто не хочет отвечать.

«А это чьи? А это чье?» —
опять берется за свое.
Повсюду слышен этот звон.
А где певун, а где же он?

Наверно, думает певун,
ведь птичий ум незрел и юн,
что всей землей владеет тот,
кто отдает свой труд и пот.

Ты, удивленная сверх мер,—
поэзии прямой пример,
надежда, дай же нам ответ...
А он летит, как беглый свет.

ТОЛЬКО НЕ СМЕРТЬ!

Ты стать согласен кем попало —
лишь только б смерть не наступала.
Пойти в поденщики? Охотно!
А где работать? Где угодно!
Ты граф? Ах, ты родился им?
Так стал бы конюхом своим
и днем, одевшись поскромней,
скребницей чистил бы коней.
А ты, сановник, взяв лопату,
трудиться стал бы до упаду.
Епископ стал бы кузнецом
охотнее, чем мертвецом.
С привычными простясь делами,
ты скромно шел бы за волами.
Чтоб сто и боле жить годов,
ты живодером стать готов,
стать маклаком и стать шутом,
отнюдь беды не видя в том.
Ты рад бы стать и печником,
и печника учеником,
таскать мешки или горшки
и мыть, как нищенка, кишки,
да и в старухи бы подался.
Ты стать бы карликом пытался,
ты б дал себя ума лишить —
лишь только жить, лишь только жить!
Ты отдал бы свое обличье
и принял бы обличье птичье —
сороки, галки, перепелки.
Пошел бы в тигры или волки,
хоть червяком или кустом,
травой на пустыре пустом,
хоть тем, на чем они растут,—
сырой землей остаться тут.

ТЫ БУДЕШЬ ЖИТЬ

Еще грома не отзвучали
твои, гроза!
Любой беде, любой печали
смотрю в глаза.
Хоть кожу пламенем задело —
в мой век прямой,
пусть мыслит все-таки не тело,
а разум мой.

Чтоб, глядя вдаль, где плотно сбиты
годов ряды,
стать выше собственной обиды,
своей беды,
и все, чем мы с тобой страдали
вчера, мой друг,—
как бы из той далекой дали
увидеть вдруг.

Мне век предоставляет слово —
да, я в долгу.
Но, им обученный сурово,
ему не лгу.
Ведь хорошо в нем или плохо
устроен я —
но он мой век, моя эпоха
и жизнь моя.

Еще темна его вершина,
но будь что будь! —
я снова, ржавая машина,
пускаюсь в путь.
И я кладу спокойно руку
на тормоза:
давай, История, друг другу
глядеть в глаза!

Тебя трясло, тебя ломало —
то ров, то яр.
Но в жизни видывал немало
и ты, мадьяр.

И ты гляди не до порога —
гляди в века:
не коротка твоя дорога,
а далека.

Ты голод знал, ты помнишь беды
лихих годин.
Но от беды и до победы —
лишь миг один.
И все светлее кромка неба —
там жар течет,
как будто солнце горы хлеба
тебе печет!

ПЛУГ ИДЕТ...

Плуг идет, и борозды —
друг за другом,
словно книга пишется
этим плугом.
Пишет книгу радости
на просторе
тот, кому встречалося
только горе.

Плуг идет — и новые
встали строки.
Я смотрю — читатель их
одинокий.
Вижу — руки честные,
трудовые
на себя работают
здесь впервые.

Плуг идет, врезается,
и шагают
две коровы в упряжи —
помогают,
танки обгоревшие
плуг обходят —
пусть они рисунками
в книгу входят.

Плуг идет у пахаря
под рукою,
и строка выводится
за строкою.
Пашня в дымке утренней —
словно дышит...
Так свою историю
венгры пишут.

БУДА, МАЙ 1945 ГОДА

Вот я опять в углу своем,
повсюду мусор, прах кирпичный.
Разбит наполовину дом,
но жизнь идет чредой обычной.
Я в комнату свою иду,
где дыры в потолке пробиты.
Я не боюсь могил в саду,
я сам копал их для убитых.

Навалено все на полу —
бумаги, вещи, книги с полки.
На письменном столе к стеклу
примешаны от бомб осколки.
А я сижу в своей норе,
пишу стихи и слышу лепет
моей дочурки на дворе
и беззаботный птичий щебет.

Мне кажется,— и это так! —
сижу я средь развалин края.
Но вот уже светлеет мрак,
как грусть и горесть исчезая.
Над миром прошлого парю
я мыслью вольной на рассвете,
и песней встречу я зарю,
как птицы певчие и дети!

ЧУЧУЛИГА

По Рыле едем через перевал.
Две тыщи метров, а потом — привал.
Ну что ж! Лужайка ждет, трава свежа.

Прилечь, пожалуй?.. Словно из ковша,
лились лучи. А небеса — как шелк,
и в них почти небесный щебет, щелк
и пересвист. Летело в синеву
невидимое «а», и «и», и «у»...
Конечно,— птица.
— Что там за певун? —
спросил я. Спутница сказала: — Une...
Чучулига́,—пытаясь подыскать
французское названье. И опять,
как бы в ответ на мой вопрос, вдали
пролепетала птица «а», и «и»,
и снова «и», и «у», и «а»,
и «чи-чили-чили»! Она сама
представилась. Хотела научить,
как звать ее и как это звучит.

А может, голос птицы означал
не это. А названье тех начал,
которым слов людских не подыскать:
о том, что лето, что легко летать,
что вот гора, а птица над горой
летит все выше, выше, что порой
ей надо петь «чуличуча́», крича
о вере «чи» и о надежде «ча»,
о том, чего понять превыше сил.
...А впрочем, это жаворонок был.

ARS POETICA

Трудись, трудись. И знай — все трудовое,
все доброе свободно в жизнь войдет
и за свободу поведет нас к бою.
Не изменяй себе, твори такое,
чего и смерть вовеки не возьмет.

ВЕТЕР В КОНЦЕ ЗИМЫ

Во свистульки из сосульки
ветер свищет,
а весна, весна, весна
дорогу ищет.

Провода визжат вдали
на повороте,
как скрипичная струна
на верхней ноте.

Словно кто-то полоснул
смычком по струнам,
плачут, плачут провода
в сиянье лунном,
источают свой напев,
и редко-редко
контрабасною струной
отзовется ветка.

И звучат камин, труба,
конек на крыше,
этот ветер, как смычок,
струну колышет;
он — один, а струн под ним —
что снегу в поле,
он — быстрей, быстрей,
они — поют от боли.

Крик железа, скрип колодца,
бессердечно
тот единственный смычок
летает вечно,
посмеется, погрустит,
поозорует,—
скрипка вешняя
звенит, поет, горюет.

А смычок — сквозь окна, двери,
стены, щелки,
сквозь подвалы, новостройки
и поселки;
свист осоки, шорох волн
в потоке юном,
а смычок бежит по странам,
как по струнам.

И от берега до берега
морского
кто-то дергает смычок,

и слово в слово
эти песни учат все,
кому не спится,
мчится музыка,
по всей Европе мчится.
Что за праздник, что за пир
со скрипачами?
Ах, весна, весна, весна
идет ночами!
На спине лежу с открытыми
очами,
с неба наземь льется
музыка ручьями.

В этих песнях — голос твой,
твои печали.
Кто поет их, кто играет?
Не судьба ли?!
Пой как хочешь,
как умеешь, пой, погода:
в каждой скрипке всех племен
поет свобода!

Островам поет в далеком
океане,
и душе моей, мерцающей
в тумане,
и пускай одна струна —
чиста, как небо,
а другая — источает
рокот гнева.

ГОСТИ

Пишу. Вдруг запах рыбы от запруд
вошел. И сразу — в сердце, в ноздри, в поры!
— Меня послали,— говорит,— озера.
— Ну, как дела?
— Живу, как все живут.

Работа ждет на письменном столе.
Но не могу! Стучится гость незваный:
грибами пахнет. Это сквозь окно
вступает лес, растущий за поляной.

Потом вбегает тополь. Чуть живой,
косноязычный, до смерти влюбленный.
Ликует поле. Это по меже
везут навоз в телеге пароконной.

Потом — труба. Над нею дым лозой.
Мыча, идет соседская корова.
Потом — все кучевые облака
и все былинки луга заливного.

И так они по-братски говорят,
что жить легко, и нужно, и не сложно,
что невозможно не поверить им.
И тут — слеза. Сдержаться невозможно.

РУКОПОЖАТИЯ

Отцовская привычка: я с трудом
беру
протянутую мне ладонь.

А сколько было добрых, честных рук,
тех рук,
что крепче всех порук.

А сколько рук твердили мне: «Браток,
держись!»
И это был залог.

Я тот залог берег,
в себе копил —
надежду, преданность, и пыл,
и доброту, и твердость.

Я в долгу,
ни спрятать, ни растратить не могу
то общее, священное добро —
ради него
я взялся за перо.

РУКОЯТИ

Задумывается рука
над смыслом рукоятий.
Блестит поверхность черенка
от всех рукопожатий.

Задумывается ладонь
над каждой рукояткой —
старинной, желтой, как латунь,
удобною и хваткой.

И, как лоснящихся коней,
я глажу их, усталых.
Что может быть ловчей, складней?
Но кто же воспитал их?

Что было с ними? Вот лежат,
прокурены, как трубки.
Одни — к любому поспешат,
другие — однолюбки.

Кто их характер шлифовал,
помог сформироваться?
Я с ними бы потолковал
и мог бы столковаться.

Как их движения умны,
как дельны и толковы!
И приспособлены они
для замысла людского.

ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ

Усаживаюсь молча на кровать.
На стол вещей вытряхиваю груду —
часы, бумагу, нож... Я горевать,
ложась в постель, теперь уже не буду,
что в дымке этих лет
твой затерялся след
и никакой надежды больше нет.

Старею, видно? Вижу мрак ночной,
что растворит в себе мои печали.
Потом — твои глаза передо мной,
глаза, что раньше мне обозначали
и дня неспешный ход,
и к ночи переход —
закат обозначали и восход.

Как темен мир! Отвыкнув от тебя,
себя к забвенью, что ли, приучаю?
Вздыхаю громко. Спешки не любя,
в себе вдруг суетливость примечаю,
и задыхаться стал,
как будто уже стар,
как будто в гору шел — и вот устал.

Была ты полем? Воздухом? Постой —
а может, просто ветром в чистом поле?
Цветенья запах, терпкий и густой,
настигнет вдруг — и вскрикну, как от боли.
И страх в моей груди:
скорее проходи —
опасна эта пропасть позади!

А полночь дышит, как уснувший чиж.
На камне звук шагов моих стихает.
И тропки в темноте не различишь —
она скользит и под гору стекает.
И я скольжу едва,
как явь, как синева,
на той земле, где ты еще жива.

П Т И Ц Ы

Детских лет наставники первые
(«Будь свободен!»), друзья мои верные,
горизонт мой собой заполнили —

этих линий абстрактных молнии,
сотни тысяч в полете — птицы,
вечно юные мои птицы —
научили дышать глубоко,
научили глядеть далеко.

Вашу скоропись я читаю.
Сейсмография мыслей и чувств.
Слов безмолвных молниеносность.

(Тем страшней слова, если свет
полыхает, а звука нет.)

Это все понимал я когда-то —
но сегодня еще в моих пальцах —
все живет в моих пальцах
желанье
написать на больших ваших вечных скрижалях,
как ответ мой последний и как завещанье,—
то, что стоит писать и сейчас —
то, чему научился у вас.

ЗОЛТАН ЗЕЛК

У МОГИЛЫ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА

Здесь, в Зу́гло, где таился ужас,
на площади, где стынут лужи
и разворочены дома,
над незалеченною раной
могильный этот холм багряный
встал, как Уверенность сама.

По-русски я не понимаю,
стою, молчу, смотрю, гадаю:
здесь погребенный где рожден?
Он правнук Лермонтова или
праправнук Пушкина? Могиле
я говорю: ответь, кто он?

Заводом, шахтой, — кем, не знаю,—
был послан он, чтоб на Дунае
бороться с варварской ордой,
которая хотела солнце
сорвать с небес и все колодцы
наполнить мертвою водой.

Кто он? И будто бы ответом
горит на памятнике этом
пятиконечная звезда.

Смотри! Пятерка пальцев звездных
к востоку, в мир полей колхозных,
указывает нам туда!

Какой простор! Поля, заводы,
фабричных дымов хороводы...
Стучат станки, поют ремни,
комбайны и автомобили...
О, не об этой ли могиле
кричат они, поют они!

О нем, о нем поют стихии,
и через все поля земные
всем небесам несется весть
про воина, про человека...
Он — слава молодого века.
Победа — это он и есть!

ДИАЛОГ

— А будет новая война?
— Отчизну строй. Растет она.
Крепи отечество свое.
Лелей цветы, сметай гнилье.
Смотри, земля детьми полна!
— А будет новая война?
— Их смех ты слышишь? Так ручья
звенит струя. Так бьет волна!
— А будет новая война?
— Иди с детьми и песни пой!
Пойдем веселою тропой
к вершине. Вот она. Видна!
— А будет новая война?
— Смотри, зовет издалека
тропиночка! Она узка,
едва заметна, а ведет
до самых голубых высот.
К вершинам гор ведет она.
— А будет новая война?
— Смотри, козленок проскакал
там, у подножья горных скал.
Плывут по небу облака.

И женщины доят коров
средь зеленеющих лугов.
Ты слышишь: струи молока
звенят о донышко ведра
чистейшим звоном серебра!
И вот летит издалека
ночь в облике нетопыря,
чтоб утром новая заря
взошла на небо, весела,
с небес прогнала и смела
мрак нетопырева крыла.
Ты видишь дней веселый бег
через цветы и через снег!
Прекрасны года времена!
— А будет новая война?
— Строй родину, растет она!
Родимый край
оберегай,
свой разум, руки укрепи —
удержишь зверя на цепи!

КТО ЖДЕТ МЕНЯ НА СТАНЦИИ

Обрывками веревки завязаны узлы.
Осиным роем искры летают среди мглы.
Резвится жеребенок. На дереве — орлан.
И местность опаленная. И снежно по полям.

На рельсах и на стрелках былых годов и дней
мой малый мир качается под светом фонарей.
Село со ртом разинутым, то, что считал своим,
глазеющие горы, а не Париж и Рим.

Куда нас пропустили, вы, семафоры лет?
В какие дали, юность, купила ты билет?
Какими крутизнами ты мчишься вдоль реки?
В какие воды сброшены корзины и тюки?

Где искры те летают, в какой шипят воде?
Столбы где телеграфные, где зимы, весны где?
Где жеребенок носится и где орлан парит?
И на какой планете гармошка говорит?

Качавшиеся с нами где наши поезда?
Кто ждет меня на станции? Доеду я когда?
И если только в памяти мой сад и дом родной,
то все равно не в прошлое уйду я, а домой!

МИКЛОШ РАДНОТИ

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Дождик моросил *вчера*, и из куста,
словно на колени павшего перед нами,
вылезли на луг влюбленные и шли
с распустившимися, как цветы, губами.

А *сегодня* к нам ползут с откоса
пушки, липкие вертя колеса,
шлемами солдат прикрыты лбы.
Густо запахи летят за ними —
стяги тяжкие мужской судьбы.

(Детство русое, тебя давно уж нет!
Старость снежная, ты не придешь, седая!
До колен в крови стоит поэт,
песню каждую последней называя.)

ФЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

За то, что был Испанией любим
и все влюбленные тебя твердили,
они, когда пришли,— что делать *им*? —
ты был поэтом — и тебя убили.
Народ один теперь воюет — погляди-ка,
эй, Федерико!

ВТОРАЯ ЭКЛОГА

Летчик

Всю ночь бомбили мы. Я хохотал от злобы.
Нас истребители атаковали, чтобы
свой город защитить. Они огонь вели,
но мы упорно шли, мы прямо к цели шли.
А сбили б — ты б меня не увидал живого.
Но жив я! От меня Европа завтра снова
залезет в погреба, и вновь пойдет игра...
Ну, хватит... Как ты жил? Опять писал вчера?

Поэт

А что осталось мне? Поэты сочиняют,
мяукают коты, собаки завывают,
и рыбка мечет в пруд икру. А я пишу —
чтоб знал ты в небесах, что я еще дышу,
когда меж дикими, разбитыми дворцами
шатается луна с кровавыми рубцами
и площади встают от страха на дыбы,
захватывает дух, и небеса тошнит,
и самолеты вновь — властители судьбы —
над ними кружатся, уходят и приходят,
хрипят в безумии и смерть с собой приводят.
Как быть писателям? Писать? Опасен стих,
порой капризен он, порою слишком лих.
Тут нужно мужество... Поэты сочиняют,
коты мяукают, собаки завывают,
и рыбка... Ну, а ты? Скажи, чем занят ты?
Внимаешь, как мотор гудит средь пустоты?
Мотор — твой друг теперь, сроднился ты с мотором.
О чем ты думаешь, летая по просторам?

Летчик

О, смейся надо мной. Мне страшно в вышине,
хочу домой, в постель, хочу домой, к жене,
средь взрывов и смертей, среди огня и дыма
сквозь зубы я пою о милой, о любимой.
Вверху стремлюсь я вниз, внизу стремлюсь я ввысь,
нет места мне нигде, куда ни оглянись.
Люблю свой самолет, летящий по раздолью,—
ведь боль у нас одна, и мы сроднились болью...

Меж небом и землей мотаюсь я, бездомный,
когда-то — человек, теперь — убийца темный...
Напишешь о тщете страданья моего?

Поэт

Да, если буду жив. И будет для кого.

ПОДНЕВОЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ

Безумен, кто, упав, встает и вновь шагает,
кто двигаться свои колени заставляет.
Его канава ждет, его канава манит,
а он, смиряя боль кочующую, встанет.
А спросишь: для чего? Ответит, цепенея,
что ждет его жена, ждет гибель поумнее.
А ведь какой дурак: давно уж над домами
лишь дикий вихрь шумит спаленными крылами;
и слива сломана, и кровля взрывом смята,
и ночь отечества от ужаса косматa.
О, если бы я мог надеждой обмануться,
что уцелел мой дом и я могу вернуться!
О, если бы опять в моем дому с гуденьем
кружилась бы пчела над сливовым вареньем,
и лето позднее в саду на солнце грелось,
и тихо яблоко во тьму ветвей смотрелось,
и Фанни русая ждала бы в нетерпенье,
и утро медленно свои чертило тени...—
А вдруг все сбудется? Луна так светит странно...
Приятель, обругай, вели мне встать! Я встану!

ЛАСЛО БЕНЬЯМИН

ВЕСНА В ВЕНГРИИ

Дождь перед ночью хлынул вдруг,
все улицы он растревожил,
и на деревьях каждый сук
листвой младенческою ожил.
Весну вещая, дождь несется.
Но ночь прошла, и вот в садах
плодом рассветным виснет солнце
на тяжелеющих ветвях.

В горах — рассвета торжество,
и со ступени на ступень я
иду к вершинам своего
приподнятого настроенья;
легко шагая, достигаю
недосягаемых высот;
я это солнце взять желаю,
как самый ранний зрелый плод.

В тумане, будто навсегда,
исчезли беды невозвратно.
Леса, поля и города
в цветные превратились пятна.
И, вся в лучах переливаясь,
страна раскрылась с горных круч —
как будто в небо поднимаюсь
я, авиатор, выше туч.

Все, что я видел в глубине —
поля, леса, людские лица,—
вдруг оказалось здесь, во мне,
сумело в сердце уместиться
и билось там на месте сердца,
и жило там в крови моей.
Я так в страну сумел вглядеться,
что воедино слился с ней.

Снег стаял — ожила страна.
Руда из недр стремится горных.
Край погибал, но вот со дна
встают ростки надежд упорных.
Мы видим их рассвет лучистый.
Так из подпольных недр на свет
недавно вышли коммунисты —
старатели грядущих лет!

Надеясь подыскать жилье,
лиса-Былое бродит в поле,
но выследят, пронзят ее
крестьяне, взявши в руки колья.
Крестьяне плугом начертали
закон и мощь своих имен
здесь, на земле. От звонкой стали
отскочит град лихих времен.

Так дышит Венгрия. Жива,
она бушует и клокочет,
рождает силу и права,
помочь своим рабочим хочет,
которые у горнов встали,
ворочая судьбы сырье,—
они чеканят на металле
мощь и веселие свое!

Свободна Венгрия моя!
Я к солнцу очи подымаю.
Кто в эту высь вознес меня?
Она, страна моя родная!
Страну мою и все, что есть в ней,
все то, что в сердце я храню,
отдам я разве с жизнью вместе!
Нет, не отдам. Обороню!

VÖRÖS KATONÁK ELÖRE!

Бела Уитц (Венгрия)
Плакат «Красные солдаты, вперед!».

...Мой сын родился в этот день,
и, свет увидев в наше время,
он городов и деревень
богатствами владеет всеми.
И Венгрия плоды и ткани
спешит малютке-сыну дать.
Ему стихи! В соревнованье
я тоже не хочу отстать!

Здесь в творчестве моем зажглись
твои, сынок, большие годы.
Борюсь за них. И ты борись,
будь покорителем природы.
Чтоб солнце ярче нам светило,
мы нынче продолжаем бой.
И все, что смертью нам грозило,
пусть будет мальчикам игрой.

ОСТАНОВИВШИЕСЯ ЧАСЫ

На стене, уцелевшей случайно в разрушенном городе,
над развалинами, над погребенными заживо,
рядом с какой-то картиной в старинной раме,
недоступно далекие, на высоте этажа четвертого,
висели часы.

Война давно уже кончилась,
город живых стоял в стороне от города мертвых,
и часы аккуратно стучали повсюду,
поспевая за временем
и хозяевам напоминая
о начале работы,
о часе прогулки и сна.

А в разрушенном городе,
на высоте этажа четвертого,
недоступно далекие, онемевшие, неподвижные,
распятые на кресте прошедшего времени,
висели часы,
повторяя себя неизменно
в круговороте дней и ночей и лет,
показывая неизменно все тот же час
и ту же минуту.

И все же
в любое время дня или года
местные жители, проходящие мимо,
а также туристы
могли узнать по ним время —
время ужаса, время кошмара,
разрушенья и смерти.

СВЕРХУ

Между голых деревьев гуляя порой осенней,
в кругу своих самых интимных воспоминаний,
в городской толчее, или в зале библиотеки,
или сидя в своей редакции раз в неделю —
всегда и повсюду, дружище, всегда и повсюду
я замкнут в свою биографию неизменно.

Впрочем, так ли? Издалека я смотрю и сверху
на свою историю, на это существованье,
на него, кого я терзаю давно и мучаю
и сужу, сужу ежедневно, сужу публично.
Но пора уже сбросить эти смешные маски
подсудимого и судьи в одинаковой мере.

Я уже не считаю его достойным презренья,
в нем тягу к добру и к прекрасному замечаю.
Он рано почувствовал сущность вещей, их пафос —
пафос моста, и молота, и ромашки,
сущность стакана воды и краюшки хлеба;
он знал поименно лишенья все и надежды.

А для бедных, для сирых, задавленных равнодушьем,
ни разу неба не видевших от рожденья,
влекомых магнитным полем булыжных улиц,
на огромном небе, затянутом едким дымом —
дымом пороха, серы, горящих тифозных бараков,—
сотворил одноцветную радугу он однажды.

Без красивых слов, ничего для себя не требуя,
он своею верой ближних своих одаривал.
Потому что это было его потребностью.

Он народ ощущал, как тело свое натруженное,
и всегда готов был, если это понадобится,
из открытых ран его вытечь капля за каплею.

Он до сей поры не писал ни прошений жалобных,
ни стихов не писал ни разу для личной выгоды.
И пускай не дано ему было ни смертью геройскою,
ни красивою жизнью примером служить кому-нибудь,
тем не мене стыдиться нечего ему нынче
ни наивных порывов своих, ни былых поражений.

Пусть одежда его в крови и в клочья изодрана,
он душою чист, и грязь к нему не пристанет.
В равной мере не по нему — ни фрак дипломата,
ни монаха-отшельника грубая власяница.
Нет причин ему от прошедшего отрекаться,
и в грядущий день он спокойно глядит и прямо.

Потому что его история не окончена.
Избегая трагедий, фарсов, а также скуки,
я опять вхожу в мою собственную биографию,
чтоб, пока хоть один человек меня в мире слушает,
помогать ему жить, как сердце само подсказывает,
избегая фальшивых жестов и слова лживого.

ИМРЕ ЧАНАДИ

МАРТ

О, как люблю я — боже мой! —
щель меж весною и зимой,
когда так тишина сладка
и все отсрочено слегка,
когда, пожухла и мертва,
не пробивается трава.
Иль то навек ее покой?
Иль просто кажется такой?
А облака как полотно.
И небо синевы полно.
И вербы все желтей желтка.
И кожа у берез тонка.
У горлицы на ветке вдруг
нежданно объявился друг.
И вот выходит наконец
из камыша фазан-самец.
Он величав, неукротим,
и самка следует за ним.
Рычит, как хищник молодой,
Дунай, наполненный водой.
Там, в глубине угрюмых вод,
безбрежность страшная живет!
Уж под водою острова
между дерев видны едва.
Простор воды холодной пуст,
торчит вдали последний куст.

Где фермы, средь крутых плешин,
как звери, скопище машин.
И все же не зима уже,
но не весна — на рубеже!
Еще событий робкий ход.
А все ж куда-то все идет.

МИХАЙ ВАЦИ

ЗАПАХ ИВОВЫХ ПРУТЬЕВ

Горький запах этот не забыт.
И в ночи не по следам копыт
и не по следам колес
к дому своему искал бы путь я,—
нет, меня бы вел, меня бы нес
запах ваш, о ивовые прутья!

Спят сараи, сенники, хлева.
Зелень сада, неба синева
тоже спят.
Лишь горчайший этот аромат
и в лицо, и в сердце льется, льется...
Задохнувшись, стал я у колодца,—
уж не повернуть ли мне назад?

Дворик. Стойло. Сбруя на стене.
И сдается мне,
что вот-вот, и жалобно, и звонко,
мое детство ржаньем жеребенка
расплеснется в грустной тишине —
и сквозь набежавшую слезу
станет видно: еду я, мальчонка,
в ивовой корзине на возу...

У повозки дряхлой обода
треснули, рассохлись. Никогда,
в ней покачиваясь, пыль глотая,
даже до подобья рая
я не доезжал!.. Но боль тех лет
замела уж свой тяжелый след.

Тень тех дней сонлива и тиха,
притупились гнева лемеха,
сталь серпов, засунутых в камыш,
стала просто ржавой и никчемной
рухлядью. И лишь
запах ивы, горький и бездомный,
все еще летит вдоль старых крыш!

Где бы ни был я застигнут им,
он мне сдавливает, словно дым,
горло, грудь — и как больного,
жаждущего астму превозмочь,
гонит от себя на волю, прочь.
И влечет к себе. И душит снова.

СЛОВНО ПРИТЧА

Я жизнь свою сочту удачей,
когда народный ум ходячий
хоть пару строк возьмет моих.

Чтоб люди к месту поминали,
чтоб словно притчу понимали
и при себе носили их.

Как часто мудрым поученьем,
живым, отточенным реченьем
вершит старик житейский суд!

Реченье крепче самосуда,
и людям дела нет, откуда
оно в их речь вошло, как чудо,—

откуда! Разве в этом суть?

ОТВЕТ НА КРИТИКУ

«...Его правда лишена сдержанности,
в его правде много преувеличения».

Да, я славлю преувеличенье —
выросших пропорций волшебство!..
Без него мы знали б лишь влеченье,
нам любви не знать бы без него.

Преувеличенье — страстность зова
к счастью сквозь беду, к лучам сквозь дым,
громкое пророческое слово,
ставшее оружием твоим.

Преувеличенье — дух героя,
гибель одного во имя всех,
революций сердце огневое,
трудовой невиданный успех,

крылья веры в наше назначенье
над трухой неверья и нытья...
Жизнь ведь тоже — преувеличенье,
радуга в тумане бытия.

Надо жить!.. И среди жалких, слабых
вряд ли есть такой, кто б не хотел
видеть в увеличенных масштабах
мелкий смысл и дней своих и дел.

Не преувеличено одно лишь:
стриженой обыденности гладь —
то, чем ты и разум не неволишь,
и душе не запретишь дремать.

Вот разросся плющ. Он тих, привычен.
В цепкости своей уверен, прост.
Рядом — тополь. Как преувеличен
и размах, и шум его, и рост!

Плющ ползет по стенам понемногу,
плющ юлит, затишье нам суля...
Но — издалека — в простор, в дорогу
нас зовут, качаясь, тополя.

МЕТРО

Под грохочущим городом, под ресторанами, под
современными зданьями, зáмками, виллами, под
театральными сценами, барами или соборами,
под парламентами, министерствами и конторами,
под витринами универмагов и под бульварами, под
фестивалями песен и демонстрацией мод,
под конгрессами, банками, биржами, под
переговорами и компромиссами, под
немудреными радостями и любовными вздохами,
под поцелуями и под ракетными базами, под
нестихающим гулом надземных работ
ты проходишь,
ПОДЗЕМКА.
Ты, прекрасная, ты, под сердцем моим грохочущая,
моей песне диктуя все ритмы свои,
в темноте вызревающая, как землетрясенье,
дальний гул, приближающийся ко мне,—
о, ты знаешь грядущего звонкую песню,
вся наполнена светом и тенью уплывающих вдаль
деревень,
до удушья заполненная тревогой усталых рабочих
Португалии, Индии, Корсики или Алжира,
обитателей пальмовых хижин и лачуг камышовых,
под сегодняшним днем и грядущим,
под Европой и Азией, под
современною цивилизацией, под
человеческой жизнью
ты проходишь,
ПОДЗЕМКА.
Так прорви оболочку непрочную прочного этого мира,
прорывайся сквозь слой асфальтированных тротуаров,
сквозь бетон автострады
и сквозь полосы взлетных площадок
и катись по нарядным бульварам,
вверх на землю,
ПОДЗЕМКА!

ЛАСЛО НАДЬ

ГИМН ДЛЯ ВСЕХ ЭПОХ

О ты, солнцем рожденная,
Пламеннолонная,
Сабля, алмазом точенная,
Помоги мне, радость моя!

Пасущая соловьев во тьме ночей,
В полдень играющая на арфе лучей,
Серебряная, как ручей,
Помоги мне, радость моя!

Пальма среди пустыни,
Тайна улыбки картины,
Золото купола в синей стыни,
Помоги мне, радость моя!

Лошадь, исхлестанная жокеем,
Звезда, под которой мы души греем,
Знамя бунта, что мы поднять посмеем,
Помоги мне, радость моя!

Раны на поле боя врачующая,
Брага медовая, в жилах кочующая,
Бездомность, в тепле ночующая,
Помоги мне, радость моя!

Затолканная в толчее рынка,
Нищеты балеринка,
Новогодней трубы рыки,
Помоги мне, радость моя!

В бета-лучах дрожащая,
Многоголовых щенящая,
В пене морской горящая,
Помоги мне, радость моя!

Во все времена — своевременная,
Всегда надеждой беременная,
В своей красоте уверенная,
Помоги мне, радость моя!

Поддерживающая меня своею рукой,
Склоняющаяся на подушку вместе со мной,
Убивающая воронье песней одной,
Помоги мне, радость моя!

Если я от злобы продрог,
Если подлость сбивает с ног,
Если сам себя одолеть не смог,
Помоги мне, радость моя!

Если право есть — оно мое,
Я — власть и подъемлю за нее
Свой меч и свое копье,
Помоги мне, радость моя!

Воссияет мой двор, что давно зачах,
Восславится кровь и пепел в печах,
Заворкуют голуби у меня на плечах,
Если ты мне поможешь, радость моя!

ОГОНЬ

Огонь,
мечи лучи,
копытами стучи
и паровоз до смерти загони,
но одиночеством его не бремени,
ты сила звезд,
огонь,
искр дуновенье

и мирозданья вдохновенье,
жги птицу, кровью истекающую,
чтоб прокричала нам судьбу она —
не тлеющая смерть ее нужна,
а слово бодрости;
огонь,
большое пламя,
победно радостное надо льдами,
не потерпи, чтоб мы остыли
и бороду в душе постыдно отпустили,
благоразумья не прости,
до трезвости не допусти,
одень в волшебно-красное,
брось в искони опаспое,
на красный бал над ледяной горой
своди нас, юности король,
огонь.

ЖЕМЧУЖНАЯ ЮБКА

Рано, друг, расхвастался, на улицу вышел.
Ведь ты еще и сок из винограда не выжал.
А солнце из темнеющей внезапно дали
глядит на тебя темной стороною медали.
Низко тучи стелются, сдвигаются тени.
Молнии меж тучами мечутся в смятеньи.
Гром погромыхивает — ближе, ближе...
Клонится пшеница все ниже, ниже.
Лошадь несется над травой луговою,
молнии — букетом у нее над головою.
Вспыхивают искорки на ней то и дело —
словно электричеством заряжено тело.
Через рожь бежит она с изорванной уздою
и падает пылающей синею звездою.
В страхе стадо мечется, кустарник ломая,
морды обезумевшие к небу подымая.
Мчатся, куда мчатся, не ведают сами
чудища нелепые с зелеными усами.
А гроза над ними все гремит, не стихает,
струйками из вымени молоко стекает.
А копытца цокают, а молния блещет —
словно бы кнутом их по спине она хлещет,
и хвосты трепещут, тяжелея от влаги,—

как капитуляции маленькие флаги.
Но пощады нет, и нету злобе предела.
Вон шляпа у отца с головы слетела.—
Кланяйтесь, кланяйтесь, ожидая сечу,
дикая, старинная, движется навстречу,
готовая обрушиться лавиною града,
как вражеские полчища от стен Цареграда.
Как в карете княжеской, жемчугом сверкая,
медленно покачивается, дурища такая.
Юбка жемчужная вся лентами обвита,
жемчугами-градинами туго набита.
В градинах-жемчужинах, в тяжелых льдинах
сколько перемелет она сил лошадиных!
А кони, обессилев от тоски и тревоги,
встали и мочатся посреди дороги.
А юбка зазвенела — вот-вот начнется,
пляска начнется, земля качнется.
Ураган ударит рукой озорною
в медные тарелки — в солнце с луною,
как по струнам грянет тяжелыми смычками —
скрипачи покажутся тихими сверчками.
Кружит юбка белая, музыка льется,
юбка жемчужная да по ветру вьется,
вьется, кружится белыми кругами,
сыплет на землю своими жемчугами,
сыплет, не жалеючи, тоннами града
на травы, на деревья, на кисти винограда,
на хлеба зеленые, на луг и на поле.
Никогда не кончится пляска ее, что ли?
По цветам, по травам, по камню плотины,
по сердцам, по окнам — тяжелые льдины.
В кучу муравьиную упавший холод —
словно бы разрушенный бомбою город.
Ну а человек, что он может? Очень мало.
Лишь глядеть бессильно, что градом сломало.
Увы, здесь бессильны руки человека,
даже руки человека атомного века.
И надежду даже, чтоб больней еще было,
как розу расцветающую, градом прибило.

Полевой сторож, словно бы в моленьи,
словно обезумел, стал на колени.
Языком ворочает снова и снова,
а вымолвить не может ни единого слова.

Дикой каруселью у него перед глазами
кружатся и кружатся пшеница с овсами.
Покуда этот лед истязает поле,
грудь его от боли сжимается все боле,
аж ребра похрустывают от этой муки.
Как плети, обессилев, повисли руки.
И даже увидеть уже сил не хватает,
как юбка жемчужная постепенно тает
и ширится полоска розоватого света
в небе ядовито-зеленого цвета.

Тихо, не шелохнется побитое поле.
Мертвые колосья не поднимутся боле.
Тишина безмолвия — что делать мне с тою
страшной, неподвижной, мертвой немотою?
Зимняя, студеная, нелепая сила
лампу, ее пламень золотой, погасила.
Ниву, что о будущих снопах тосковала,
стужа январская железом сковала.
Единственный мужчина среди мертвой округи
стоит, опустив обессилевшие руки.
Шагает он по полю под лучами косыми,
на льдины наступает ногами босыми,
один посреди этой печальной картины,
в глазах его печальных — льдины, льдины...
Сколько тут погибло всего и пропало!..
Вот дерево у самой дороги упало.
Вот сломанная ветка на мокрой тропинке.
Мертвый муравьишка лежит на спинке.
Поле кукурузы — как поле сраженья.
Зайчата оглушенные лежат без движенья.
Птицы перебитые крылья распластали —
льдины перебили их, как дробь, исхлестали.
Птичья кровь запекшаяся, черная, а рядом —
яйца куропаточьи, побитые градом.

И все это пшеницей было, хлебом, калачами,
урожаем будущим, бессонными ночами.
Так можно ли запросто повытоптать разом
все то, что вами создано, сердце и разум!
И человек прищурился, он все понимает —
он величаво голову опять подымает
и видит поле будущих боев перед собою,
и он уже готовится к новому бою.

КОГДА ЗЕМЛЯ ДРОЖИТ

Я знал, когда земля дрожит,
мать приближается ко мне,
в слиянье запахов сует —
акаций, меда, молока.
Ворот холщовых слышен скрип —
она их настежь распахнет,
и убаюкает меня,
и в Мирозданье усыпит.

Позднее я видал: мешок,
словно ребенка, волокла,
а ночи, чугуна темней,
прокатывались по бедру.
Из свеклы сахарной зимой
алмазный делала стожок.
В сорочке белой по полям
гуляла ночью под грозой.

В воображении моем
она — Чудеснейшая Мать.
И в дрожи радуги она.
И в кроне дерева она.
Напрасно целится в нее
стальных винтовок точный ряд —
бескровно пули сквозь нее
летят, как будто сквозь мираж.

Она ведь Лошадь Белая,
а я ее приемный сын.
Она приносит мне закон
в жемчужно-огнепных зубах
и, прирастив меня к спине,
мчит сквозь терновники небес,
так, чтоб терновники небес
лишь кудри мне чесать могли.

Европа, вот я пред тобой,
ты фокус страха моего.
Здесь больше блуда и ножей,
чем среди варварских равнин.
Нагой, я вздрагиваю здесь,
костей берцовых посреди.

Наматывает Корбюзье
на спицы жилушки мои.

Но музыка великая
за эшафотами гремит,
и стену вечной гибели
сметает грива матери,
и если задрожит земля,
мать, значит, приближается,
а если море заревет —
то Мироздания призыв.

ИШТВАН ШИМОН

МУШТ ПОЕТ

Пресс подкрутит туго
старый винодел,
проворчит: — А ну-ка,
начинай, пострел!

И пойдет потеха,
захрустит мезга.
Вот уж не до смеха,
если мнут бока.

В горловине душной
корочка скрипит.
Синий голос мушта
сумерки кропит.

Это сок в избытке
плачет в тишину,
как кузнечик прыткий,
отходя ко сну.

Всхлипнет — и повторно,
и еще — чок, чок,
как сверчок проворный
или родничок.

Льется голос чей-то
в деревянный слив.
Может, это флейта
тянет свой мотив.

Так свободно тянет,
так легко ведет,
как сирена манит
из туманных вод.

Эти повторенья,
этот звук сырой —
в хаосе творенья
ключик золотой.

Так за марлей в нише
чмокает дитя.
Так в сосульке дышит
первенец дождя.

Гулок сон подвала,
черный чан глубок.
Капнет — и сначала,
и опять — чок, чок.

И летит отвесно,
словно пот с лица.
Просто так и песня
не рож-да-ет-ся!

Надо жизнь оставить,
чтобы жить в других;
сепия и та ведь —
жертва мастерских —

жизнь свою не пишет.
Кто же в тишине
слышит песню? Крыша
да звезда в окне.

Так и запропала б,
плача в три ручья,
если б долгих жалоб
не расслышал я.

Как в раструб рыдает
хриплый граммофон,
как труба вздыхает
на печной заслон,

так хрипит недобро
и душа моя,
взятая под ребра
прессом бытия.

Рдеет кровь густая,
и весь мушт красно
бродит, вызревая
в доброе вино.

Пусть же ради слова —
свежего вина —
от винта резного
вся душа больна.

Есть и за мученья
свой отстой в крови:
песня — облегченье.
Так дави, дави!

НАПУТСТВИЕ СЫНУ

Мой сын, ты начал говорить,
а я за все слова в ответе.
Ты видишь, в слове должен быть
свой смысл, как и во всем на свете.

Ты постигаешь, мальчик мой,
что слово — суть и хлеб насущный:
попросишь — и перед тобой
и яблоко, и шар воздушный.

Потом обыденность сотрет,
как с запыленного ранета,
со слова золотой налет,—
но пусть попозже будет это!

Ты слову на слово не верь,
а то не избежишь ловушки.
Оно мне кажется теперь
мишенью на твоей макушке.

Вот я и вынужден смотреть
на слово с пристальностью Телля,
весь опыт в яблочко нацеля,
чтоб ты не промахнулся впредь.

ЦВЕТЫ НА ЛАВКЕ

Памяти бабушки

Что за присказка: в окошке
в ряд на лавочке стоят
чашки старые и плошки,
а над ними — целый сад!

Сколько лет они калились
в круглом пламени печном,
а худыми становились —
выставлялись под окном.

И не то чтоб было жалко
прогоревших чашек тех —
просто выкинуть на свалку
было совестно — и грех.

Потому любая лавка
привечала свой горшок:
там, где жарилась заправка,
перец тянет язычок.

Вон из медного кувшина
молоко бежит,— снимай!—
Всходят стебли розмарина
и стекают через край.

Что там? Масленица в дымке —
чад идет от сковород —
или блинные поминки? —
В крынке примула цветет.

Уж не саван ли белеет,
не жених ли мнет фату?
Это ветер смерти веет
над петуньями в цвету.

Так и кажется: вернулись
те, что жили — и ушли,
над кастрюлями согнулись,
пламя в плошках разожгли.

И сгорают без остатка
на невидимом огне,
и мерцают, как лампадка,
эти примулы в окне.

И на чистом пепелище —
под окном — цветет погост:
варят умершие пищу
на горячих углях звезд.

РЕШЕТО ЛЕТАЕТ

То не туча грохотала —
решето в руках летало,
так легко-легко, казалось,
что и рук-то не касалось,
висло коршуном кружащим
над потоком восходящим
в неподвижном небосклоне,
а проворные ладони
с яростью какой-то злой
били, били в бок оглохший,
и метался с криком коршун
между небом и землей.

Это жаркая работа —
очередь из пулемета,
а за нею ходко-ходко
барабанная трещотка,
а потом — пальба иная,
пыль на гумнах подымая,
всюду после обмолота
били в пыльные решета;

и, как все, с веселой злостью
мать моя на сквозняке
отвевала от охвостья
семена в сухом лубке.

Было радостно, не скрою,
все казалось мне игрою,
мне и дела было мало —
решето в руках летало;
может быть, от той свободы
завертелся ритм работы
и пошло иное дело,
музыка везде гремела,
бил тамтам, и там, вдали,
там, где веялась полова,
вздрогнув, я вписал два слова,
рифмы начертал в пыли.

И с тех пор, как бьют в решета,
я и сам стучусь во что-то,
в чьи-то руки и ладони,
и, как будто сам в загоне,
пленник, это я летаю,
мир сквозь сито пропускаю,
все делю наполовину —
на зерно и на мякину,
ощущая мимолетом,
что и я под обмолотом;
а во всех глазах испуг:
не отбился бы от рук.

Шутка ль, решето летает,
но пока его толкают,
бьют в бока и взашей гонят —
слава богу, не уронят;
а когда я долетаюсь,
с пылью белою смешаюсь
и к бокам примерзнет время,
вот тогда прощусь со всеми,
потому что и простится
и отплатится сполна
тем, кто дал охвостья птицам,
а посевам — семена.

ПОСЛЕ ТРИДЦАТИ

Дни. Недели. Месяцы. Годы.
Как сцепились десятилетья?
Как идущие вдаль вагоны?
Может быть. Не могу глядеть я.
А опомнись — и нет ни стука,
пробегающего по рельсам,
ни гудка за спиной, ни звука,
затихающего за лесом.

Пролетела дуга стальная,
обдала сквозняком дорога.
Юность, что ли, напоминая,
одуванчик летит высоко?
Тихо-тихо. Не тишь, а пытка.
Завилась на реке воронка.
Заплелась моей жизни нитка —
не распутывай! — тонко-тонко.

Где вы, долгие перегоны?
Где акации вдоль откоса?
Торопливо прошли вагоны.
Пробежали стремглав колеса.
Видно, молодость источилась,
иссучилась по нитке пряжа.
Почему же так покатилась
жизнь моя? И не знаю даже.

Что завязано как попало —
не распутаешь, не помешкав.
Так затягивались, бывало,
на ботинках шнурки при спешке.
Я распутывать не умею
жизни связанной. Только, медля,
озираюсь: а вдруг на шее
затянулась тугая петля?

ФЕРЕНЦ ЮХАС

КРЫЛАТЫЙ КОНЬ

...Мой Пегас, крылатый конь мой быстрый.
Ржет: «Я здесь! Садись!»
Мечет он из-под подков алмазных
брызги алых искр.

Вскакиваю. Бешеная скорость —
кругом голова!
Мы смеемся и летим, как звезды.
Бездна. Синева.

Вот так вихрь! И в гриву я вцепился —
не упасть бы вниз.
Вниз гляжу. Ликуй от счастья, сердце,
да не разорвись!

Как дитя, которое ласкают,
нежится земля.
Хлопок, гуще, чем ребячьи кудри,
увенчал поля.

Выросли мосты над голубыми
ленточками вод,
все поля железная дорога
в сети рельс берет!

И с небес слетел на землю
добрый мой Пегас.
На какую чудную планету
я попал сейчас?

Средь каких миров мы заблудились
в синеве небес?
Выдержит мое земное сердце
блеск таких чудес?

Я взглянул кругом. Был вечер близок.
В солнечной пыли
я заметил: бесконечным строем
тракторы пошли.

Все строенья в зелени тонули:
что ни дом, то — сад.
Я увидел школу. В ней собрались
тысячи ребят.

В домике качала мать ребенка,
юная сама.
В книжном шкафе Ленина и Маркса
видел я тома.

На меня взглянул с улыбкой мальчик,
и в глазах его
вдруг узнал я своего ребенка,
сына своего.

Это сын мой будущий! Я дома!
И услышал я
речь жены, знакомый милый голос:
— Спи! Встает заря!

И, как солнце, заалела радость.
Друг мой, знаешь ты —
станут после первой пятилетки
явью все мечты!

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Я люблю, наработавшись вдоволь, когда тяжелеют ладони
и легко на душе, позабывшей дневные тревоги,
постоять в тишине, рядом с синими флагами дыма,
и глядеть, как темнеют деревья у края дороги;

когда в мягком свечении раннего вечера я различаю —
эти листья, из меди отлитые, густо-багровы,
и звезда зажигается первая где-то за ними,
и, качаясь, несут свое вымя тугое коровы.

И какой-то вечерний жучок, пролетающий мимо,
об меня ударяется,— я, улыбаясь, беру его в руки
и пускаю жужжащего странника в сумрак вечерний,
и летит он куда-то на поиски милой подруги.

Так и я отправлялся искать тебя, тоже вслепую,
хоть и знал, что найду все равно, у любого предела.
Так всегда в темноте мирозданья друг друга находят
две далеких звезды, два взаимно влекущихся тела...

Я люблю это время, когда, наработавшись вдоволь,
я полней ощущаю, как трудна моя ноша мужская,
и стою неподвижно, и слушаю вечер, и слышу —
перелетные птицы в тумане кричат, не смолкая.

ПЫЛАЮЩАЯ ЛИЛИЯ В НОЧИ

Пылающая лилия в ночи,
не верю в песню соловья, молчи, молчи,
в недоброту людскую мудрую не верю,
не верю в то, что человек подобен зверю,
безумье скрыто в этом лете, хоть кричи,
пылающая лилия в ночи,
не верю в песню соловья, его величества,
седая бабочка в сиротстве электричества,
она звезда в улыбке бога, о, молчи,
пылающая лилия в ночи,
парализованных растений трепыханье,
растенья-зверя учащенное дыханье,
тоска ужей и змей среди песков,
волокна тишины, лоскутья лепестков,

кобылья похоть над листвой зеленой,
накрапы крови опьяняюще соленой
в соседстве с яростным и диким соловьем,
о, расскажи об одиночестве своем,
кричи о нем, рассказывай, шепчи,
пылающая лилия в ночи,
я верю в человека, в это званье,
таящее высокое призванье,
пылающая лилия в ночи,
в ветвях ореха свет луны, ее лучи,
пылающая лилия, комета
в венце из электрического света,
пылающая лилия, распутница
Земли-звезды, ее пылающая спутница,
мольба пространства, зов его старинный,
пылающая похоть, рык тигриный,
тяжелый хвост кометы, ярко блещущий,
тебя по черепу пылающему хлещущий,
до преисподней землю рассекает
своим мечом, и кровь с него стекает,
пылающая лилия в ночи,
безумье скрыто в этом лете, хоть кричи,
на сердце давит мне кометы шлейф дрожащий,
как мертвый кит, среди медуз на дне лежащий,
сжимает голову мою, как осьминог,
ее клубящийся пылающий венок,
в ночи какой-то дикий ангел плачет,
в иных мирах крылами огненными машет,
в слепом пространстве дьявол топает слепой
под пенье труб и барабанный бой,
и жеребец — производитель вод и суши —
копытом бьет и ржет надсадно богу в уши,
огонь карающий из глаз творца течет,
небесный свод меня огнем своим сечет,
бык Гильгамеша надрывается в дыму,
сегодня не на кого броситься ему,
разбухший шар земной клубится и сверкает,
помои огненные в космос извергает,
безумье скрыто в этом лете, хоть кричи,
пылающая лилия в ночи,
амеба-чудище дрожит, слюну пуская,
к луне дотянется вот-вот волна морская,
безумье скрыто в этом лете, хоть кричи,
пылающая лилия в ночи,

уже ореховому дереву невмочь,
пыланьем лилии охвачена вся ночь,
и снится дереву сколоченная грубо
Лаокоона каменная группа,
сплетенье мускулов, змеящиеся линии,
кровавая над ними язва лилии,
звезда-самец, кровавый цвет сырого мяса,
пурпурной гидры огнедышащая масса,
над тайной связью листьев и корней
рыдает кровь — прислушаемся к ней:
пылающая лилия в ночи,
не верю в песню соловья, молчи, молчи,
у нас тень листьев на руках, пучки теней,
они длинней ресниц дракона и темней,
не верю в песню соловья, молчи, молчи,
пылающая лилия в ночи,
она возникла в тишине, в ее оправе,
как пламя погребальное свечи.
О Человечество — оно сгореть не вправе,
как огненная лилия в ночи!

ГАБОР ГАРАИ

ХРОНИКА

Пока из ребенка я становился мужчиной,
в мире под целыми странами, под континентами
клокотали ключи свободы.
Если в Кении перекрывали источник
группою мертвых тел,
он пробивался в Конго.
И кровью моих многочисленных братьев —
желтотелых и краснокожих —
приобреталось право
отвергнуть рабство,
поверить в удачу.
Изучая сиянье,
пронзали космос плоды человеческих рук —
металлические ананасы земного лета.
Они улетали к луне, бороздили небо,
пока из ребенка я становился мужчиной.

Дымно и жирно грибы висели над миром,
они —
как пираты —
смеялись над нашей надеждой.
Но день ото дня плотней становилась сеть,
сплетенная из человеческих рук,
пока из ребенка я становился мужчиной.
Пока из ребенка я становился мужчиной,
моя горделивая нация

отвергла хмель превосходства.
И стала сильнее, чем прежде.
Она достойно несет Человечеству
то, чем богата:
мудрость народа,
его свершенья,
доброе слово и музыку радости.

* * *

Как мальчик из стакана — молоко,
спокойно, безмятежно и легко
я пью твою целебную любовь,
а с нею — ты в мою втекаешь кровь.
Я постепенно становлюсь тобой.
Твоя судьба слилась с моей судьбой.
Когда я говорю, то, значит, ты
мне подала сигнал из пустоты.
Когда иду, иду лишь потому,
что я иду по следу твоему.
Не вижу ничего,— средь бела дня! —
прозрею, если взглянешь на меня..
О, чудо чувств! Как выдержать его
без доброго участья твоего?
Ты укрощаешь, как любовь велит,
все, что во мне безудержно бурлит.
И потому опять тебе шепчу:
будь тайной, я разгадки не хочу!

ДОВЕРИЕ

Пускай сто раз я обманусь, сто раз
разочаруюсь в том, пред кем я сердце
свое раскрыл, как трепетный бутон.
Пусть тот меня предаст, кого я спас
ценою жизни, пусть же проклянет
меня мой сын,
пусть даже не за тридцать,
а за один сребреник меня
мои друзья спокойно продадут.
Пусть ни одна не сбудется надежда,
пусть неудачи бросят в грязь лицом,

пускай я пожалею, что рожден,
пусть вместо благодарности я встречу
лишь злобу,
пусть исколет клевета,
ты не услышишь слова: бесполезно!

Я все же не скажу, что бесполезно
любить людей, я все же не скажу,
что проживу один, что обойдусь
без посторонних, ибо жизнь — жестока.
Я тихо и задумчиво скажу:
распахнутая дверь — мое доверье,
не будет подозрение на ней
висеть замком.

Любой в нее войти
свободно, без предупрежденья сможет.
Не буду ради одного Иуды
мешать войти десятерым правдивым.

Кто слабым был,
кто оступился прежде,
прийти сегодня чистым снова может.
Кто прячет нож сегодня под полою,
раскроет завтра братские объятья.

Нет, нет — я не сторонник всепрощенья.
Ни оправдания для лжи хочу,
ни милости для зла,
ни снисхожденья
к слезливым причитаньям лицемера.
Я пагубную слабость ненавижу,
как себялюбие или жестокость.
Но верю я: пороки преходящи!
Как мамонты и ящеры, во тьме
стремительных и медленных веков
исчезнут ненависть и подозренье.
Исчезнет злоба.
Вечна лишь любовь.

Пороки смертны. Человек — бессмертен.
Бессмертен человек. И только он.
Среди своих бесчисленных терзаний

он из доверья строит прочный зáмок.
В мучительной борьбе с самим собой
он в доброте своей найдет опору.

РОЗА

Нет,
твое прозрение не поза:
будь фарфоровою эта роза,
копия бы не передавала
всех полутонов оригинала.
И взирал бы ты в недоуменье
на цветок в лубочном преломленье,
на росинки,— до чего красивы! —
на ворсинки — до чего фальшивы!

Можно сходство передать всецело,
но не в том, не в том, конечно, дело,
что у розы столько-то тычинок
(их нетрудно срисовать с картинок)
и что чашечка такой-то формы...
Нет, ценили в розе до сих пор мы
то, что розу розою считали
и на ней тычинки не считали.
Разумеется, фарфор не вянет,
а цветок увянет — и не станет
белой розы или розы красной...
Но ведь роза смерти неподвластна,
и на смену ей придет другая.
Не искусственная. Нет. Живая.
Не чета подделкам из нейлона.
Чуть иная, чем во время оно.

И ваятелю и ювелиру
так скажу:
не сам цветок копируй.
Жизнь цветка раскрой на всех этапах,
передай его нестойкий запах,
что сродни оброненному слову.
Тайну розы положи в основу
своего творенья, чтобы судьи
оценили верность высшей сути,
сравнивая розу с настоящей —
преходящей и непреходящей.

ИЗ ПОЭЗИИ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЭРИХ ВАЙНЕРТ

ГРОЗА НАД ЕВРОПОЙ

Дрогнули от бурь твои колонны,
Абендланд, отцветший и седой!
Пусть падут! С востока разъяренный
Юный ветер мчится над тобой.

Дверь закрой! Уже гроза настала!
Первый ливень у границ твоих,
И хребты Кавказа и Урала
Сотрясает поступь молодых.

Ты же спишь, как старец, на перине.
Ты бессилен, ты давно зачах.
Пусть тебе не грезится, что ныне
От тебя Европа на сносях!

Нет, Европа мужа ждет иного.
Гниль твоя чужда ей и мерзка.
Жаждет, замирая, молодого,
Путы разорвавшего быка.

Он сумел одним ударом рога
Давний гнет разрушить до конца.
От него, разгневанного бога,
Ждет она прекрасного юнца.

Старый мир! Союз ваш был непрочен!
Юный бог возьмет ее, а нет —
Снова, шелудив и худосочен,
Лишь ублюдок явится на свет!

БУДНИЧНАЯ БАЛЛАДА

Там, где Данцигерштрассе начало берет,
Где стоит на углу ресторан,
Густав Мите с женой и ребенком бредет
И тележку со скарбом толкает вперед,
А дождь заливает разбитый комод
И дырявый, облезлый диван.

И когда ребенок до нитки промок,
Густав Мите вдруг заорал:
«Живодеры! Вы гоните нас за порог!
Вы рабочих согнули в бараний рог!
Вам бы только урвать пожирней кусок,
Благодетели, черт бы вас драл!..»

А прохожие оставались стоять
И глядели несчастью в глаза.
Сперва было трое, потом стало пять,
Десять, двадцать — уже их нельзя сосчитать,
Сотни здесь собрались — и толпу не сдержать,
И в толпе назревала гроза.

Густав поднял ребенка... Но в этот миг
За углом залаял сигнал:
Из участка полицию вызвал шпик,
К тротуару, урча, подкатил грузовик,
Господин офицер прохрипел: «Что за крик?!
Кто посмел учинить скандал?»

Он спрыгнул на землю. А кругом,
Как на кладбище, мертвая тишь.
Дюжий шуцман диван отшвырнул пинком
И ударил Густава кулаком:
«Ты, я вижу, с полицией не знаком!..»
Но тут заплакал малыш.

Это был щемящий, отчаянный плач,
И недетской звучал он тоской.
Густав сына обнял, шепнул: «Не плачь!»
Офицер стоял, надутый, как мяч.
Но толпа закричала: «Подлец! Палач!
Полицейских долой! До-лой!»

Гнев народный, казалось, рвался на простор,
Лавы пламенней, шире реки.
И, мела белее, стоял майор.
«Прочь с дороги! Я буду стрелять в упор!»
Но не смолк голосов возмущенный хор,
И сжимала толпа кулаки.

Густав Мите шагнул из рядов вперед,
Но грянул тут выстрел вдруг.
Густав Мите упал. И отхлынул народ.
И толпа бежит. И сирена ревет.
И дубинками шуцманы машут. И вот
Пусто-пусто стало вокруг...

Там, на Данцигерштрассе, лежит у столба
Человек. Он навеки умолк.
Вытирает женщина кровь с его лба.
Мокрый ветер ревет и гудит, как труба.
Плачет мальчик... А впрочем, они — голытьба.
Ни к чему их рыданья, и тщетна мольба.
А время бежит, и слепа судьба...
Государство исполнило долг.

БЫК ПРОСИТ СЛОВА

Любезные слушатели, позвольте и мне
Обратиться к собранию с краткой речью.
Считаю бестактным я — в нашей стране
Подчеркивать классовые противоречья.

Я не приверженец новых мод
И новым не доверяю фразам.
Я — старогерманский рогатый скот
И сохранил свой нехитрый разум.

Вы проповедуете всерьез
Убою оказывать сопротивленье.
Мне кажется, надо смотреть на вопрос
Не с этой низменной точки зренья.

Ведь бык и мясник испокон веков
В содружестве жили, отчизне полезном.
Мясник существует, чтоб резать быков,
А бык существует, чтоб быть зарезанным.

И если мясник развернет свой стяг,
Должны мы, быки, умирать без страха,
Само провиденье решило так,
И надо спокойно идти на плаху.

А тот, кто кричит: «Убийство! Разбой!»
И речь мою считает обманом,
Тот, видно, забыл, что сегодня убой
Стал действительно очень гуманным.

У цивилизованных мясников
Теперь имеется «оглушитель».
Чего не делают для быков?
А мне говорят, что мясник — мучитель!

Нет, мы добровольно полезем на штык!
Меня не смутят ни смех ваш, ни злоба,
Затем что я старой закалки бык
И мясникам своим верен до гроба!

ИМПЕРСКИЙ ПОЭТ

В архив сдан Гете, не в почете Шиллер,
Лауреатства Манны лишены.
Зато вчера безвестный Ганс Душилер
Достиг невероятной вышины,
Назначенный «певцом родной страны».

В его стихах грохочет шаг парада.
Грамматикой он их не запятнал.
Ганс интеллектом сроду не страдал.
Как Вессель, он строчит бандитирады.
В них — кровь и пламя, в них звенит металл.

Не знает Ганс, что значат муки слова,—
Слова он в книге фюрера найдет.
К чему сидеть все ночи напролет?
Два пруссаизма вставлены толково —
И вот стихотворение готово.

Он пишет кровью. (Кровь, согласно штата,
От «государства» получает он.)
Гремит строка, взрываясь, как граната.
Он ловко достигает результата,
Сварив рагу из пушек и знамен.

В былые, трижды проклятые дни
Канальи, что в редакциях сидели,
Душилера печатать не хотели,
И возвращали гению они
Его проникновенные изделья.

А ну попробуй откажи теперь,
Когда особым фюрерским декретом
Имперским он провозглашен поэтом!
Его отныне новой мерой мерь!
И проникает он в любую дверь.

Ведь никому погибнуть неохота —
Печатают! Невиданный тираж!
И Ганс Душилер входит в дикий раж.
Пропахнув запахом мужского пота,
Его стихи шагают, как пехота.

Там, на Парнасе, прозябает лира.
Душилеру властями отдана,
Свой прежний тон утратила она.
Ах, будь ты первым стихотворцем мира —
Что толку в том? Перед тобой — стена.

Но Ганс Душилер — тот себе живет,
На холм священный взгромоздясь умело.

И лира, что когда-то пела,
Теперь в руках его ревет.
Сидит Душилер, струны рвет.
Душилер знает свое дело!

СОН НЕМЕЦКОГО СОЛДАТА

Я видел сон, страшней всех прежних снов,—
Я был убит на линии огня.
Не помню, как меня швырнули в ров,
Как трупы навалили на меня.

Земля сырая на лицо легла.
И тишина могильная за ней.
И умер я, но мысль моя была
Отчетливей, чем раньше, и ясней.

Так я лежал и думал много дней.
Но вдруг шаги услышал над собой,
Услышал песню, звонкий смех детей...
О, белый свет! О, полдень голубой!

И голос над собой услышал я:
«Вот здесь фашисты спят в сырой могиле.
Они несли смерть в дальние края
И полземли в пустыню превратили».

И кровь в лицо мне бросилась в тот миг.
И захотел я крикнуть людям в дали:
«Я невиновен, я боялся их.
Они меня вас убивать послали».

От ужаса вскочил я. День вставал.
Кивали мертвецы на смертной тризне.
Я от собачьей смерти в плен бежал,
Сюда — навстречу новой, честной жизни.

ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ

Третьему съезду немецких писателей

Вдумчиво вчитайтесь в слово это.
В нем загадок отвлеченных нет.
Мир и счастье строит стих поэта,
Если долг свой осознал поэт.

Если он, великой цели ради,
Сможет с пьедестала ложь столкнуть
И, в лицо бесстрашно правде глядя,
Озарит к победе трудный путь.

Он поэт! Он силой слова может
Заговор банкротов обличить —
Тех, кто сеет хаос, мир тревожит,
Чтоб в капкан народы залучить!

Это он — писатель — ныне призван
Труд воспеть, который мы ведем,
Всех подняв на стройку новой жизни
Жарким поэтическим огнем!

Это он — поэт, певец свободы,
Должен стать глашатаем страны,
Возвестить решение народа
Драться против смерти и войны!

Да! Молчанье было бы изменой!
Хочешь мира — бойню заклейми!
В этом — долг твой, высший и священный,
Перед всеми честными людьми!

ЛУИС ФЮРНБЕРГ

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Поэт, говори!
Великая битва настала.
В цветущую родину счастья
вломилась шальная орда!
Сегодня молчанье преступно!
Сквозь гул орудийного шквала
пусть слышится голос поэта,
как праведный голос суда!..

Запад раздавлен: пепел и дым.
Черная смерть прокружилась над ним.
Гордость столетий — столицы столиц
в щебень размолоты, рухнули ниц.
Взорваны храмы и замки старинные,
разорены галереи картинные,
втоптаны в землю созданья веков...

Хрип умирающих стариков,
мертвых детей искаженные лики
и матерей исступленные крики —
все это в сердце запечатлено;
сдавлено болью и горем оно.

Трупы на улицах... Беженки... Беженцы...
Бомбы... Бомбежки... Бомбоубежища...—
хищный, тысячеглавый дракон

здесь утвердил свой преступный закон
и подавил своей черною властью
жизнь и любовь, человечность и счастье...

Север ли, юг ли, пески иль фиорды —
всюду вершатся злодейство и мор:
тысячеглавый и тысячемордый
враг в нас стреляет, стреляет в упор.
Скорбные трупы и скорбные трубы,
пепел и щебень у нас на пути.
И посиневшие, мертвые губы
шепчут молитвы и молят спасти...

Сегодня пусть смолкнут флейты
перед звуками всемирного гимна!
Борцы и поэты,
пусть сталью гремит ваша песня!
Исполним свой долг!
Он безмерно высок!
В это горячее, в это горючее лето
в далекой России решаются судьбы планеты,
и, затаив дыханье,
мир смотрит туда: на Восток.

«ЧТО ДЕЛАТЬ?»

И во мглу эпохи ударил свет,
И разлился он, как река,
И на давний вопрос обрели ответ
И мечты, и дни, и века.

И людей, которых скрутило зло,
Тех, чьи души изгрызла тоска,
Слово Ленина подняло и повело
Сквозь мечты, сквозь дни, сквозь века.

И что делать — отныне узнал любой,
Стали явью мечта и сон,
Слово сделалось делом, а дело — борьбой,
И победой, и славой времен.

БРАТ БЕЗЫМЯННЫЙ

Отрывки из поэмы

*

Замерли, смолкли вдруг
шумные бури.
Вот уже лес и луг
тонут в лазури.

Сладко уйти, упасть
в глубь этой сини.
Жажда, мечта и страсть
дремлют отныне.

Вечность спешит помочь,
снять с тебя путы,
тает, уходит прочь
бренность минуты.

Бедной душе несет
сон исцеленье,
и для земли грядет
час избавленья.

Глушь... Синева... Туман...
Боль замирает.
Слышишь: на флейте Пан
где-то играет.

Птица, пчела и жук
тихо запели...
И нарастает звук
виолончели.

*

Но эта книга жгла сильней огня.
Еще рука ее раскрыть не смела,
а имя — Ленин — прямо на меня
с обложки строгой пристально смотрело.

Впервые имя Ленин встретил я,
одним искусством занятый всецело,
и долго ждал, пока душа моя
раскрыть мне книгу жизни повелела.

Так что за маг околдовал меня,
заполнив разом все мои пробелы?
О, эта книга жгла сильней огня.
Как сердце заглянуть в нее сумело?

Кем вдруг была расколота броня,
которую земное зло надело?
Как я в ночи увидел близость дня
и как завеса с глаз моих слетела?

Каким лучом мой разум осеня,
ко мне явилась радость без предела,
в тот самый миг, когда он спас меня,
земля в предзимней хмури опустела.

Но, зиму наступавшую гоня
и затопив вселенские пределы,
весна победно песнь свою запела
в тот самый день, когда он спас меня.

*

О, не страшись, когда бурь порыв,
безумствуя, бьет в набат
и виснут тучи, полнеба скрыв...
Ведь все, чем движим ты, все, чем жив,
сильнее их во сто крат!

Не бойся, когда в твой заглянет дом
эпохи кровавый лик,
все взроет, перевернет вверх дном!
Ты, распростившийся с долгим сном,
божественен и велик!

Ты злу неподвластен! Так не страшись!
Ты все одолел наконец.
Мечты и надежды твои сбылись,
солдат человечества и певец!
Не бойся же! Не страшись!

ЭРИХ АРЕНДТ

АЛЬБАТРОС

Занимались, угасали зори...
Шел корабль издалека домой.
Тучи плавно опускались в море.
Но везде и всюду надо мной
Крыльев свист я слышал на просторе.

Будто в небо надо мною врос
Друг моих скитаний — альбатрос.

Если море тихо, без усилья
Зеркалом серебряным течет,
Узкие расправленные крылья
К водам направляют свой полет —

Словно свет их парусность несет...

Если же затишье день принес —
Раздраженно кличет альбатрос.

В полдень над зеленым океаном
Круто подымается в зенит
И оттуда свистом ураганным
Мимо судна в волны прозвенит:
Метко бьет он клювищем багряным!

Опытный, бывалый, как матрос,
Рыбу добывает альбатрос.

А когда безумная вода,
Вздыбив океанскую равнину,
Пенит ночь и тучи и когда
Судно низвергается в пучину
И вот-вот исчезнет навсегда,—

В смехе молний, в громыханье гроз
Проскользнет стрелою альбатрос.

С громким криком пролетает птица.
Как горяч и светел этот клик!
Гневный, возмущенный — он велик,
Этот клик из сердца бури мчится,

Это клич восстания пронес
Брат по духу, гордый альбатрос.

В тропиках, в кипящем океане,
В час, когда темнеет все вокруг
И зари багровое пыланье
В черный мрак преобразится вдруг,—
Тень полета слышу в океане:

Пусть и звездам выйти не пришлось,
Но всегда над морем альбатрос.

Так текли медлительно недели.
И однажды показался риф:
В жарком солнце пальмы зеленели,
Рощицы над бухтою шумели...
Мы входили в голубой залив.

А вдали — за пальмы, за утес
Улетал навеки альбатрос.

Годы шли. И только в сновиденье
Изредка мелькнет его полет.
Но когда сгибаются колени
Оттого, что непосилен гнет,—
Гневный зов я слышу в озаренье:

Это кличет сквозь удары гроз
Надо мной, как встарь, мой альбатрос.

ЭЛЕГИЯ.
ПАМЯТИ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА

Мыслитель, прежде
Чем навсегда уйти,
Предупреждая, поднял
Руку... В ответ
Тревожно напряглось пространство.
И смолкло сердце, скрипка,
Искавшая для нас мотив, созвучный
С нерасторжимым миром.
Спадали, как следы прибоя
На берегу истерзанного болью моря,
Тени у рта его. И все же
Так много значил
В уловленном полете темных звезд
Его последний час. В его вселенской
Поэме чисел, таинственная для нас,
Вызревала
Ночь!
Над миром
Неподвижная рука.

Над гладями вселенной
Вихрь! Жизнь и смерть —
О боль! Вдали от сени бога
Развеянные,
Застывают мысли.

Но ты, летящий
Над бездной ночи, вдаль,
От белого виска твоей земли,
От детских недоумений, от деревьев,
От тихой, как трава, луны:
Ты, уходящий,
Среди отдаленных
Светил отыскиваешь
Всем сердцем власть вселенной: мысль.
Прислушайся: молчанье...
Сверхтихая, над миром
Мысль: гибкий напряженный
Мост!

И все же, быть может,
В твоих глубинах страшно, сумрак
Вокруг, ты постигаешь боль
На дряхлом рембрандтовском лике,
И память боли
В твоем зрачке под веком
Прочна, как корень, и темна, как тень?
Век человека — миг... И только брезжат,
Его переживая на дыханье,
Горы, и меркнет все,
Что было человеческим
В его глазах... Раздавлена уже
Его гордыня, как в бурю мотылек.
И только по течению мечты,
Почти как облака, скользят
Твои шаги, и вот
Уже расколота
Носившая тебя
Земная скорлупа.
Сочится кровь, о
Снова и снова кровь!

Скрой, с пепельно-холодным сердцем,
Скрой свои руки! Спрячь
Ко всему причастные,
Умевшие скрывать свои дела:
Руки, за картой карту бросавшие
В пустой игре на обагренный стол,
Чтобы не видеть: там
За ремеслом своим — убийца. Скрой свои руки—
От проклятий, сделай вид, будто ты хочешь спать, и
Смерть пусть скроет
Твое лицо.

И все же,
Где истина? Там
В Бухенвальде, где
Тот, великий любящий
Прислушивался к сердцу, там
Не билась ли надежда? И однажды
Не стала ли она словами? — Выкорчевана
Гора его сердца. О, пепел, стужа —
Не зарастают раны!
И под корой деревьев

Бродит беспалый страх.
О, ночь ночей!
О, тень
На наших сердцах!
Германия, слишком много
Знают твои деревья.

ПЕСНЬ ЛЮБВИ

Милая, знай: звезда
Женской твоей судьбе
Будет светить и тогда,
Когда стану чужим тебе.

И от былого вновь
Улыбки не расцветут.
Может уйти любовь —
А мы остаемся тут.

Ветер умчит мечты —
Все, чем полны сердца;
Смертны и я, и ты —
Коснись моего лица.

Приходит ночная тень,
Страшит понимание нас —
И стать я обязан тем,
Который молчит сейчас,

Которого скрыла мгла,
Чьи горести не видны;
Ты так далеко ушла,
Мы так разъединены!

В сумрачном свете ты
Мимо меня пройди —
Такими твои черты
Пребудут в моей груди.

Иначе в сердце своем
Этой тоски не снести:
С травами и зверьем
Сгину в конце пути.

КУБА

БУДУТ ГОВОРИТЬ ПРО НАШИ ДНИ ПОТОМКИ...

Будут говорить про наши дни потомки:
— Нелегко далось им
все отстроить вновь.
От былого им достались лишь обломки,
щебень городов
да черствый хлеб в котомке,
горечью была отравлена их кровь.

Жизнь их с рельс сошла,—
в раздумье внуки скажут,
поглядев с балконов
вдаль перед собой.
На мосты посмотрят,
на сады укажут
и у самых ног увидят город молодой.

И промолвят:
— Тем, кто заложил фундамент,
было нелегко:
ползли насмешки вслед,
голод их терзал,
но честными руками
строили они,
кладя за камнем камень,
двигались вперед и увидали свет.
Был войной у многих разум затуманен,
грызли их сомненья,
страх тянул их вниз.
Но потом пришла Эпоха Трудовых Соревнований
и эпоха эта означала
ж и з н ь!

ПОЙ НА ВЕТРУ!

Пой на ветру
чисто и звонко:
да оградит в колыбели ребенка
наша единая воля к добру!

Зло осуди!
Новое строя,
свежей, как жизнь, родниковой струею
мир, раскаленный от войн, остуди!

Цвесть? Вымирать?
Рваться ли к высям?
Знайте, во всем от себя мы зависим,
все нам сегодня самим выбирать!

Мрак или свет?
Хлеб или камень?
Затхлость ума или разума пламень?..
В каждом поступке таится ответ.

Слышишь во мраке
вопль Нагасаки,
вопль Хиросимы
невыносимый?
— Мы— пепелища,
наши жилища
сделались пищей
всесветного зла.
О, как позорно,
если повторно
гибель над миром раскинет крыла!

Благодаренье
ясности зренья!..
Ночью ли поздней
иль поутру
славь неослепший
разум окрепший,
силу и молодость!..
Пой на ветру!

ХЛЕБ И ВИНО

Вовеки да здравствуют
хлеб и вино!
Пусть каждому многое
будет дано,
чтоб спать безмятежно,
вставать без печали,
а днем — чтоб, работая,
не подкачали.

И страха народ
чтоб не знал никогда,
стеклянные строя себе
города.
Всем созданным вами
с е б я награждайте!
Построили город стеклянный?
Въезжайте!

Да. Все для себя:
и ученье, и стройка,
и хлебопеченье,
и варка, и кройка.
Одеться красиво
и досыта есть —
тут не пострадают
ни скромность, ни честь!

Оружье, чтоб мир защищать,
вручено!
Да здравствует мир!
Славьтесь, хлеб и вино!
Да здравствуют хлеб и вино!..

ИСКУССТВО — ЗЕРКАЛО

Искусство — зеркало,
и отразится в нем
все то,
что нынешним у нас зовется днем,
с его заботами,
исканьями,
трудами
и зреющими в нем
грядущими годами.

Мазок на полотне,
слова стихотворений,
волненье скульптора,
певучий взлет смычка —

так сохранят наш день
для сотен поколений
картина,
музыка
и точная строка.

КРЕСТЬЯНСКАЯ ПЕСНЯ

Колышется ветка,
качается сад...
Земля наша — в клетку,
наш край — полосат.
Все, клетчатое, полосатое,
как
матрац и рубаха, штаны и пиджак.
Четыреста лет мы носили такой
лоскутно-пятнистый наряд шутовской.
От плети помещичьей след полосат.
Железные прутья. Тюремный халат.
Жандармская метка горит на спине,
квадратная клетка — в тюремной стене.
Калечат
четыре столетья подряд.
Решетчато-клетчат
немецкий наряд.
Четыре столетья,
четыреста лет —
трехххвостою плетью
оставленный след.
Столетья молчанья печальных
могил...
Но вечный молчальник
вдруг заговорил!
Мир мерзости начисто
нами сметен.
Сказало батрачество
юнкерству: — Вон!
Пусть в полосах света,

сердца веселя,
осенняя эта
пестреет земля
и, как от азарта
качаясь, сады
в твой клетчатый фартук
роняют плоды!

СТЕФАН ХЕРМЛИН

«АВРОРА»

1

Мерзла в ноябрьской стуже
Надежда, но крепла молва,
Снилось солдатам все то же:
Младенец и три волхва.

И курился бальзам аравийский
Над грудами мертвых тел.
Кто не надеялся больше,
Жить этой верой хотел.

С миром придет искупитель.
— Когда же? И сколько лет
Ждать нам еще? —
Туманен
И уклончив ответ.

Грозно хмурились над полями
Тяжкие тучи войны.
Люди, чтобы мира добиться,
Перебить друг друга должны.

Кто-то один взбунтовался.
Его оттащили прочь
И на столбе телеграфном
Вздернули в ту же ночь.

Крестьяне кричали про землю,
Вобравшую пот вековой,
А рабочий в солдатской форме
Спросил: — Завод будет мой?

— Сначала в войне победите,—
Был им ответ.— И тогда...
— Нет! Не хотим, чтобы силу
Копили господа.

Ветер дохнул холодный,
Озарилась ракетами мгла.
Три волхва и младенец — сказка,
Но звезда и вправду взошла.

Они не хотели бойни.
Полки были сыты войной.
Голосовали ногами
И уходили домой.

Белели штыки и шашки
В серебристой лунной пыли.
Люди пели. И на их шапки
Красные звезды взошли.

2

В эту ночь подул иной ветер; все началось заново.
Окончилась чреда обычных дней и лет.
Ожили старые книги, вестники несказанного,
Тайное стало явным, на непонятное был дан ответ.

Большевики! Измученные и голодные твердили о них снова и снова,
Люди, выросшие в сполохах Севера и сожженные зноем круч!
Костры потухших селений шептали это слово,
Пастухи звезду славили звонко, как горный ключ.

Вспомнились несбывшиеся мечтания мертвых,
Заговорили губы сожженных на кострах,
Столетний кашель узников, на каменном полу простертых,
Очнулись годы, уносившие поражения и страх.

Вся музыка рождалась во имя этой ночи,
Во имя этой ночи возникала любая мысль.
И не было бездомных сердец. Всем покинутым сияли милые очи.
С этой ночью все прошлое обретало смысл.

Алфавит баррикад был отныне незабвенен,
Орудия «Авроры» диктовали новый строй.
Весь мир в ту ночь измерен был одним мерилом: «Ленин»,
«Власть Советам!» — писало Будущее громадною рукой.

Там, где владыкам мира их угрюмый быт был тесен,
Где тлела грустная покорность у холодного гнезда,
Сумерки пронизала волна решений и песен,
Под декретами Совнаркома пламенела звезда.

3

Дней железная поступь
Застыла, как монумент.
Крейсер, что звался «Зарею»,
Встал на страницы легенд.

Вела крестьян и рабочих
Победа юная в бой.
Волны войны разбивались
О красный берег крутой.

Расцвел сияющим маем
Жесткий кулак Ноября.
ПАРТИЕЙ был управляем
Корабль «МИРОВАЯ ЗАРЯ».

МАНИФЕСТ
К ШТУРМУЮЩИМ ГОРОД СТАЛИНГРАД

Над вами ночь, вас гложет боль тупая,
Вы, может, завтра превратитесь в прах.
Вот почему я в вашу смерть вступаю,
Чтоб рассказать, о чем молчит ваш страх.
Я стану вашим медленным прозреньем,
Я покажу вам знаки на стене.
И взглянете вы с диким изумленьем
На демонов, бушующих в стране.

Я побываю в каждой вашей думе,
Как эхо смутных стонов и молитв.
Сорвав завесу вашего безумья,
Я вам открою тайну этих битв.
Заставлю вас, вглядевшись в сумрак серый,
Забыть свой дом и песенки невест.
Отныне все измерит новой мерой
Снарядный шквал, грохочущий окрест.

На юный город подняли вы руку —
Вас обманули ваши лжевожди.
Вы мечетесь по огненному кругу.
Да, жребий брошен! Милости не жди!
Помчались смертоносные машины
На город братьев через снег и мглу,
Проламывали стены ваши мины
И обращали улицы в золу.

Горят дома, земли гноятся раны,
Леса и пашни выжжены дотла.
И ненавистью жарко дышат страны,
Где ваша банда черная прошла.
Но в снежном поле, трупами покрытом,
Тот город встал, стряхнув золу и дым,
Чтоб доказать свинцом и динамитом,
Что — все равно! — грядущее за ним.

Он выстоит, он выдержит удары,
А вы сгниете в глине и в снегу.
Вас изведут багровые кошмары
На этом неприступном берегу...
Я вас пугал. Теперь смотрите сами!
Бессильны стоны! Как тут ни кричи,
Под русскими седыми небесами
Немецкой кровью пенятся ручьи.

Всему конец!.. Но есть еще спасенье.
Еще вы братья мне. Найдется путь!
Спешите, искупая преступленье,
Штыки своих винтовок повернуть
На главного зачинщика разбоя,
Виновника бессчетных слез сирот,
Который в пропасть тянет за собою
Обманутый и проданный народ!

Еще вы братья мне! Одной страною
Мы рождены. И я пришел сюда,
Чтоб с вашею безмерною виною
Явиться к вашим судьям в день суда.
Пришел, сломив судьбы неумолимость...
Я жду, о братья! В муках и в крови
Родится ли великая решимость
Из горя, из страданья, из любви?

БАЛЛАДА О ДАМЕ НАДЕЖДЕ

Хозяйка сна, подруга эшафота,
Предсмертный хрип, веселая сестра
Голодных толп, наркоз, полудремота,
Сиделка возле смертного одра,
Последний хворост в пламени костра;
Когда сердца дрожат в ознобе страха
(Чадит заря, а на рассвете — плаха),
Тогда деревенеющий язык
Зовет тебя, магическая пряха,
Надежда — королева горемык.

В дремучем мире дьяволов и змей
Ты призрачна, светла и невесома.
Прислушалась ты к жалобе моей:
Двенадцать бьет... Полночная истома...
Я за тобой из города, из дома
В багровую безбрежность побреду.
Прости... Ты знаешь: я попал в беду,
Распят и колесован... В смертный миг
Приди, прильни ко мне... В жару, в бреду...
Надежда — королева горемык.

Ты в жажде — утоление желанья,
Ключ — пред тобой раскроется стена.
Святая смесь предчувствия и знанья.
Убита вера, правда казнена.
Ты ненавидишь, ты любви полна.
Ты, нищенка, гонимая жестоко,
Вдруг вспыхнешь красным заревом с востока,
И будит спящих петушиный крик.
То пропадешь, то вынырнешь до срока,
Надежда — королева горемык.

Посылка

Тебе мы служим верно, без упрека.
Ты — лед и пламень. Ты горишь высоко.
Ты — прошлое. Ты — будущего лик.
Ручей, в пустыне спрятанный глубоко.
Надежда — королева горемык.

СОВРЕМЕННОСТЬ

Слово поэта — о, терпкая горечь бузинного сока,
Голос дня, флейта ночи, ослепительный миг,
Стая загадочных птиц, кружащая в небе высоко,
Тишина и раскат, жажда и быстрый родник...

Ты затмило мне очи. В быстрых волнах токкаты
Я затерян; я гибну в плену неизбежном твоем.
Не разгадано мною, ты пробьешь мои латы,
Ты войдешь в мое сердце своим тяжелым копьем.

Гибну я, гибну, гибну. Вы простить ничего не хотели,
Жжет меня и казнит ваш непрощающий взгляд,
Имя мое твердят шипы в истерзанном теле,
Раны дальних народов, не утихая, горят.

Скрипки грядущего полнят мой слух. И, сумрачно грозен,
Плачет о мертвых гобой, кровь мою леденя.
Города белозданные, лебеди будущих весен!
Хоры убитых! О, сжальтесь, защитите меня!

ГЕОРГ МАУРЕР

ВСЕ НАШЕ

Космонавту вновь гиацинтовым видится море греков
и ракушкой мерцающей — мир, породивший Венеру.
Люди вечно рождают людей. И поток красоты,—
род людской стремится в перламутровый космос.
Да, с высот кровь погибших может казаться рубином,
мы целуем его и уносим на пальце,
как талисман на опасные звезды. Лететь нелегко.
Наш полет — это бремя Земли, и жертвенна радость,
и это предсказано в Слове.
Эта битва — битва Геракла со львом,
в круговороте грозы. Мы слышим битву и предкам хвалу
воздаем.
Ибо все это наше, все, что смысл дает временам,—
и мы превозносим ушедших, мы их постигаем, как наших,
тех, кто наше возделывал в муках во мраке былого.
И тогда восставший, видя поток и пылающий шар,
слышал больше, чем шум, различая больше, чем пламя,
полагая, что Бог говорит из него, он не был глупцом,
но поучающим нас, нас, искателей Слова,
чтобы выразить всю нашу суть, чтобы не просто
обитать, низвергнув господ, но и большее слышать,
чем рокот моторов, и чувствовать большее,
чем жар плавильных печей. Ибо все это бремя.
Но полет — вот творящее бремя Земли, в человеке
человека творящее, сына разбуженных масс.

МОЛОДОЙ ГЕТЕ

Ты, небо, и вы, цветы на лугах просторных,
друг другу свой блеск посылаете вы, но разве ваш блеск
не отсвет любви, горящей в груди у меня?
Вас, ночи, Вселенной вертящийся вихрь не затем ли родил,
чтобы нас — меня и ее — вы укрыли плащом?
А летящий со скал ручей,
вырастающий в реку на уютной равнине,—
разве не так обнимает он сад, где растут за оградой
простые цветы, как я обнимаю ее?
Кто запретит мне неистово повиноваться
закону различья — подобно тому как, вздымая вихри,
дышит в мерцающий зной ледяная гора?
Да, я един со стихией!
Я стужи ищу, как самум,
и тепла, как летящий на юг пассат.
Девушка! Я заставлю твою грудь всколыхнуться:
для этого есть у меня такие слова, каких не слыхала ты
в церкви.
Видишь: персик цветет, и вокруг него пчелы роятся;
чувствуешь: ветер весны залетает в твое окно,
покуда ты мечешься под одеялом.
Ты лежишь без сна,
ты на миг ощущаешь себя средоточьем Вселенной,
но напрасно: то боль, то радость тянут тебя —
как растенье вверх из земли — обратно в землю.
Грудь твоя рвется навстречу мне из-под платья,—
удержи, если можешь, огонь, когда рвется из кратера он!

* * *

Тебя Медведиц поступь золотая —
Ты чувствуешь — уводит в вышину.
Ты научился слышать тишину
И жить, как дуб, корнями в мир врастая.

Ты ощущаешь: ветер, налетая,
К тебе несет потоков пелену.
Ты зацветаешь, у весны в плену,
С ветвями вишен ветви рук сплетая.

Теперь твой срок пришел. Речным простором
Плыви, как лебедь, белым осиян.
Рождает розы каждый твой изъян.

В твоих ошибках вспыхивает свет.
И звездно-ярко, как слепой поэт,
Ты проникаешь в будущее взором.

* * *

Дай мне в тебя вглядеться. Подожди.
Как стая птиц, закончив перелет,
Спустились мысли с облачных высот —
Им нужно время, чтоб в себя прийти.

Вселенной было мало им в пути,
Все, кроме звезд и высоты,— не в счет.
Но явлен мне бровей твоих разлет —
И звезды остаются позади.

Ты — это ты. Могу тебя обнять,
И снова можем мы побыть вдвоем.
И мне легко и радостно опять.

Смеется все внутри, хоть губы сжаты.
Но вижу блики на лице твоем,
И с губ слетают хохота раскаты.

* * *

Ты и пространство слиты, нет границы.
И ум никак вопроса не решит,
Что́ мне, а что́ тебе принадлежит
В игре, которая меж нами длится.

Такая слитность к слову «мы» стремится.
Небесный блеск, из тонких нитей свит,
Звучаньем слившихся миров спешит
Излиться радостью на наши лица.

POKOJ PAZE
PAZE V REDE

Вальтер Вомацка (ГДР)
Фрагмент витража.

Когда мой взгляд сплетается с твоим,
Родник согласья неостановим,
И изумляет нас его биенье.

Такой любви не знать успокоенья.
Откуда силы мы берем, откуда
Переносить такой избыток чуда?

ИОГАННЕС БОБРОВСКИЙ

И.-С. БАХ

Городская свирель —
сей муж своенравный, со шпагой,
как с мелодией сентиментальной
(и представьте себе,
человек деловой,
знает цену
и себе и другим),
детской радости полный
там, где плещет волна, там, где время
как живая вода.
Оттого с ним и дружат
и нагой Иордан,
и беременный небом
Евфрат.

Нет, ему не забыть
биенье залива морского
и того, кто незримо
ступал за огнем уходящим,
окликая планеты,
задыхаясь в древней тоске.
И порой, то ли в Кётене,
где блещет придворная музыка,
то ли в Лейпциге
(роскошь бюргеров, великолепье) —

приближается звук,
возникает то самое — вновь.
Под конец
он не слышит уже
ликованья вешнего Троицы
в трубном пении меди
(до которой — 16 футов).

Только юные флейты
бегут перед ним, танцуя,
когда он, утомленный,
нотные бросив тетради,
покидает свой дом старомодный,
чуя ветер летучий, уже
не узнавая земли.

ПАМЯТНЫЙ ЛИСТОК

Годы
как паутина,
годы. Паучье время.
Цыгане брели с лошадьми
по глинистым тропам. Старый цыган
шел с кнутом; цыганки
останавливались у калиток,
гадали, держа в ладонях
полные пригоршни счастья.

Потом они исчезли.
За ними пришли душегубы
с каменным взглядом. Как-то раз
старуха, выйдя из тесной каморки,
удивилась — куда пропали цыгане.

Слушай, как дождь шумит
над косогором: идут
те, кто невидимы больше,—
по глинистой древней тропе,
залитой мутной
водой. Ветер в кронах чужбины
колышет пряди
черных волос.

ПУТНИК

Вечером
поет река,
тяжко дышат леса,
исчерчено небо
кричащими птицами. Над
берегом древней тьмы
мерцает звездное пламя.

Я жил, как люди живут.
Мне были открыты ворота
без числа. Если было закрыто,
я смело стучал.

Теперь открыто везде.
И руку тебе подает
зовущий. Входи и не бойся.
Скажи: леса поют,
в вечернем дыханье реки
мчатся рыбы, и небо
дрожит в пламени.

ДОН

Возникают деревни
из дыма. Над берегом
дали в огне. И в долине
загнан поток, выдыхает он
иней, темная тишь
в погоне за ним.

Бело над стремниной. Нависли
тьмой берега. И кони
восходят по склону. И склоны
над берегами
вдруг обнажают
вдали за полями
древние стены, под юной
лупою, под небесами.

Там
див кличет
на верху древа,
облака оглушает, птица,
вся из печали, кличет
над склонами брега,
слушать велит долинам:
«Холм,— говорит,— разверзнись:
выйди, павший, в своих доспехах,
воин, шлем свой надень».

ФРАНЦ ФЮМАН

НИБЕЛУНГИ

Уложены штабелем грубым,
что стал их последним ночлегом,
червивые, вшивые трупы
чернели, краснели под снегом.
Гниющая, темная масса,
обкарканная вороньем,
выклевывающим мясо
и снег, что тает на нем.

И где их родные дали?
Там, на краю земли.
Чего они здесь не видали?
Они за князем пошли.
Вожди им сладко пели,
что будет любой награжден,
на Рейне — их колыбели,
и вот их кладбище — Дон.

За ними мосты взорвали,
в полях ни былинки нет,
виселицы с развалинами
прочерчивают их след.
О верности, славе, чести
развеяны ветром слова,
и ничего, кроме мести,
не остается для вас.

Слова, словеса, витийство.
Иссякли запасы лжи.
А ваши дела — убийство,
мучительство, грабежи.
Верны кресту и Валгалле,
вы начинали резню,
а тех, кто с вами шагали,
вы предавали огню.

Огнем опалившие страны,
ныне жертвы воды.
О Нибелунги, тираны,
династия зла и беды!
Вырваны ваши главы
из мифов, преданий, книг.
Убийцы не знают славы.
Люди забудут о них.

Срастаются раны луга,
опять зеленеет лес,
сиренью пахнет округа,
а запах крови исчез.
Народы дышать начинают,
убийцы сгорели дотла,
и гром голосов проклинает
Нибелунгов дела.

ДОМА ИЗ СТАРИННЫХ СКАЗОК

Дома из старинных сказок...
Вот он — дом для голодных,
со стенами из булок
и крышей из пряников.
В окнах — окорока.
Приветливый голос
зовет подойти поближе,
приглашает наесться досыта.
Но что это?..
Жирный дым
выползает из брашен огромных.
Добела накалились колосники,
дверь заскрипела на петлях
только что отворенной клетки. И чей-то
отчаянный крик замирает.

Вот он — дом для невест.
Спешились женихи с горячих коней,
и сердца их бьются в могучем утесе груди,
и они клянутся в вечной любви.
Но что это?..
Женихи омывают
кровавые руки в ручье.
В тачках увозят
горы колец золотых
и роют ямы для бочек —
тяжелых бочек, набитых телами.

А вот он — дом красотой опьяненных.
В прекраснейшем замке земли
поэты хвалу воздают
прекраснейшей из королев,
чью красоту даже зеркало громко поет...
Но что это?..
Охотник приносит блюдо,
на нем горячее сердце дымится.
Он поведал о смерти
крестьянской девушки,
что превзошла красотой королеву.

Дома из старинных сказок.
Но что это?..

ДЕТИ НА ВЗМОРЬЕ

Взморье — простор для работы,
к работе рвется рука.
Можно строить без счета
из мокрого песка:
мосты, ворота, дороги,
замок, вал крепостной,
горы, холмы, отроги,
а рядом кипит прибой.

Хороша такая забава:
с водою смешать песок,
понастроить слева и справа
много мостов и дорог,
вот и озеро заблестело,

вот колодец, а вот дворец —
играя, ведет свое дело
ребячливый творец.

Но вскоре вода нахлынет,
прорывая дамбы заслон,
и громада горная сгинет,
и замок будет сметен,
с волной уплывает в море
все, что выстроил ты с трудом,
ни следа не останется вскоре
от шедевров на пляже пустом.

Но чудо свершается снова,
созиданию нет конца;
волны ушли — и готовы
трудиться руки творца,
замки, валы, бастионы
возводить с великим трудом,
вновь победит побежденный
на побережье морском.

И ты осознал уже что-то
неизбежное для души,
и снова строить охота,
и будут опять хороши
горы, мосты, ворота,
замок, вал крепостной,
ты зачарован работой,
а рядом кипит прибой.

ПАУЛЬ ВИНС

ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ

Над башнями бронеплатформ
веет ветер мечтаний.
Мечта — безветрие в шторм,
в штиль — зов штормовых скитаний.

Утонет в крови и опять
средь битвы вспорхнет беспечно.
Есть ли время мечтать?
Его нет.
И оно вечно.

МАЯКОВСКОМУ

Лилипутов-прохожих песнь, а не лесть —
тебе, великану московскому,
Владимиру Маяковскому.
Жизней тебе — тысяч десять!

Пусть мертвых на дне могилы
холод лижет и гложет —
голоса твоего революционная сила
холодом стать не может.

По рельсам подземным — огней поток;
новых морей на земле рожденье;
дожди; победа над притяженьем —
в ритме твоих строк.

Взора за горы отвага.
Семимильного сердца бой.
Слушай печатанье шага
миллионного за тобой.

И если юным планета
от полюса к полюсу кликнет зов,
раскатится эхом ответа
твое двадцатидвухлетнее: «Я готов!»

ГОЛОС ГОРОДА

Привет тебе, яростный, хриплый и радостный,
Привет тебе, города голос!

Славлю хлопанье двери и звон открываемых окон,
И песню трамвайного рельса, и речи колес,
И топот, и ропот шагов беспрестанных,
Быстрых, уверенных, четких, растерянных,
И тебя, шум листвы
В крохотном садике
Между двух серых зданий,—
Я славлю. Тебе мой привет!

Славлю смех ребятни, запускающей новый волчок,
Голоса усталых приезжих,
Голоса этих женщин (как они окликают друг
друга из о́кон!)
И негромкий голос врача.
Я слышу приказы, рассказы, случайные фразы,
Голоса твоих улиц и грозных цехов,
Эхо мощных заводов, эхо рыночных сводов...
И тебе,
Счастливый и тихий
В невидимой комнате
Голос влюбленных,—
Тебе мой привет!

Я славлю звон колокольный в час дымного вечера
И ветреным утром — гуденье сирены.
Приливы, отливы толпы и гром демонстраций,
Голоса беспокойные, злые, нестройные,—
И брань, и хвала, и рассказ про людские дела...
И тебе,
Безмолвный, но чистый
Голос младенца
У материнской груди,—
Тебе мой привет.

Привет тебе, яростный, хриплый и радостный,
Привет тебе, города голос!
Тебе, моя жизнь!

ОНИ НЕ СПЯТ

Посвящается посмертным маскам антифашистов в Альтоне
1956

Они не спят. Конец. Дыханья больше нет.
И молния их глаз ничей покой не тронет.
Ты не услышишь слово этих губ.
Лбов белизна. На ней играет свет.
Такой нездешний, словно их хоронят.
И знай, что облик их суров и скуп.
Он ничего не вымолвит в ответ.
Нужны ли мертвым в их посмертной доле
Твой запоздалый стыд и тяжесть поздней боли?

Их больше нет. Эдгар Андре убит.
Убиты Детмер, Шмидт. Убит товарищ Фите.
Альтона грозная вдали от них шумит.
Хлеб и вино, победа, воздух, свет,
Придите к ним на помощь, разбудите!
Уже нельзя. Обломано крыло.
Твое лишь сердце бьется тяжело
Или молчит. Лишь ты сегодня в силах
Тревожить души в каменных могилах.

Ты здесь один. Им слов не нужно стертых.
Ответь им: кто ты?
Как ты будешь жить?
Ты снова хочешь их похоронить
Или навеки воскресить из мертвых?

ЗАПЕВАЛА

Он был Гансвурст.
На скалах крутолобых
неистовые сальто исполнял,
бил в барабан,
ярился,
заклинал
и словно утопал в глухих чащобах.

Шли толпы через лес,
а трусы вслед кричали:
«Заблудитесь!» — и уходили прочь.
Другие шли вперед
и день и ночь.
И он им пел,
когда они молчали.

И спутники его прозвали
счастливым Гансом,
может, оттого... Прощанье
было горьким для него,
и он порою не скрывал печали.

ГЮНТЕР ДЕЙКЕ

КРАСНЫЕ ПАРУСА

Пляж — это близь, серебряной волной
и пеной нам слепящая глаза.
А там, под небосвода синевой,
на горизонте рдеют паруса.

И будут так гореть до самой тьмы.
Ведь солнце не зашло еще пока,
и в сны еще не погрузились мы,
и не сгустились в небе облака.

Пусть не страшит нас вязкая коса,
и ветры пусть нам будут нипочем.
На дальнем горизонте паруса
горят для нас спасительным огнем.

В ПУТИ

*

Вид из окна каждодневный —
утром, вечером, днем.
Родина — край задушевный?
Мир — что полузнаком?

Речка — твоя по праву
детства — еще твоя ль?
Твои ли поля и травы
и в дымке тумана даль?

Утренний выводок в луже
и петушиный крик —
это утренней стужей
день трудовой возник.

В нем, словно в рукопожатье,
пространства соединены —
единокровные братья,
части нашей страны.

Эти близи и дали,
деревья и сад за рекой —
мы этот мир создавали
по мерке нашей людской.

Вот он лежит, росистый,
весенней зарей облит —
открытый, цветущий, чистый,
словно девичий лик.

*

Холмы и леса под лазурью...
Прекрасен наш край родной.
Стоит глаза зажмурить,
чтоб чувствовать — он с тобой.

Он в наших сердцах с рожденья.
От них он неотделим.
И небо каникул весенних
блестит, голубое, над ним.

Но только для нас с тобою,
но только для нас двоих
поляна за нашей тропою
и тихо журчащий родник.

*

Вскоре примчатся птицы,
покинув на лето юг,
и к пашням своим возвратится,
от спячки очнувшись, плуг.

Но лето вслед за весною
в трудах и заботах летит.
Оно за труды с лихвою
нас отблагодарит.

А осень все злей, все упрямей
срывает листву с кустов.
Но наша родина с нами,
и с нами наша любовь.

УВЕ БЕРГЕР

ФАУСТ

Ты, жажда знаний, ты меня вела
из кабалы, из быта, где рабы.
А следом гул молвы и гром пальбы,
и горечь одиночества была

усладой мне. И вот забил родник —
природный свет из глубины души.
О, ты возник! Но жажду не туши —
пусть братья ждут — придет мой высший миг.

Меня качало, било и несло.
Нигде ко мне не приходил покой.
И спас меня природный свет людской,
и Дело из Познания росло.

Что выше Дела? Все сгорит дотла —
бессмертны только Знанья и Дела.

ГЕРТРУДА КОЛЬМАР

В саду вечернем видишь ты: скользнула
твоя мечта, как золотая змейка.
Гонг времени глуша своим дыханьем,
свирель в глубинах ночи пламенеет.

Взревела тьма. Ты, смертница, ты слышишь
и в этом одиночном заключенье,
когда ты загнана сама в себя,
свой шепот напоследок слышишь ты?
Ты слышишь: песнь твою восток запел,
когда Марат, Сен-Жюст и Робеспьер
в крови, в грязи встают, непобедимы,
и с ними ты лицо свое подъемлешь.

Так, попранное, выросло в ночи
все, что тебя сковало, заклеймив
тебя твоей кровопролитной смертью.
К запретному ты потянулась вновь.
Отстаивая грозное равéнство,
служанка, ты гостей грядущих кормишь.

В развалинах ты высишься, свирель,
Поникнешь — и тебя задушат когти.

ГЮНТЕР КУНЕРТ

НАС НАСЕЛЯЮЩИЕ

(Седьмой набросок)

Мне нужно новое имя,
ибо я нов.
Вчера со мной говоривший
сегодня меня не узнает.

С каждым днем старясь, я молодею.
Я встал со смертного ложа
иссохшим, разбитым и жалким,
и серые тени смерти
покрыли мое лицо
в ожиданье пайка.

Но аппетит приходит во время еды.
И жизнь начинается в миг, когда пора умирать.
Меня излечила работа.
По совету врача из России
я использовал то, что осталось:
лопату, кайло, мастерок,
остаток ума.

Так я воскрес из собственных развалин.
Причем так прочно, что люди,
по мне проливавшие слезы,
во мне не могут узнать
город, что все еще носит
имя: Берлин.

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

1

Придвинь ему скамью.

2

Этот гость молчаливый по праву
В горницу нашу вошел.
Это гость из сожженной Варшавы,
Он садится с нами за стол.

3

Дай ему вина.

4

Глаза у него неживые,
Обуты ноги кровавым тряпьем,
На груди следы ножевые
Рассказали всю правду о нем...

5

Что он скажет?

6

Он молчал, словно глубь океана,
Где не слышен яростный шквал.
Поднял голову: он из тумана
Имя свое услыхал.

7

Дверь ему открой.

8

Он ушел, незван и непрошен.
Он потух, как нежданный свет.
На столе давно стынет ужин,
Но охоты ужинать нет.

9

Угощайтесь.

10

И куски они с пеплом ели
И глядели на грубую скамью.
Ведь они еще не умели
Заговаривать совесть свою.

11

Теперь скамью отодвинь.

АНКЕТА

1

Где он, твой отчий дом?

Его разбомбили, сровняли с землей; он травою порос.
Там играют дети. У них
Незнакомые лица.

2

Где он, родимый твой край?

Под быстрой волной облаков. Под высокой
Зеленой листвой. Спеют яблоки в наших садах.
Род людской наконец поумнел,
И губители стран и чужих городов
Ошиблись в расчетах — впервые с тех пор,
Как разрушена Троя.

Караваи у нас
Не падают с неба. Зато
И бомбы не падают тоже.

Самобранки-скатерти нет
В моей стране. Но еды и питья
Хватает на всех. Стол накрыт
Под быстрой волной облаков, под листвою зеленой.

3

Ты откуда пришел?

Я пришел на короткий срок
Из утробы земли.
Но вернусь в нее снова.
Так всходит зерно
И зерном возвращается в землю.

ТОЛЬКО ТОГДА

Лишь когда ты,
Каменщик,
Скажешь:
Я этот дом построил,
Его не посмеют разрушить —
Только тогда
Ты завершил труд.

Лишь когда ты,
Токарь,
Скажешь:
Я выточил этот ствол,
Его на детей не посмеют направить —
Только тогда
Справедлив твой труд.

Лишь когда ты,
Гражданин,
Скажешь:
Я творец этой страны,
В ней не будет больше униженных и голодных —
Только тогда
Ты
Сделал свое дело.

ГЕЙНЦ КАЛАУ

СМЫСЛ БЫТИЯ

По существу бессмысленна природа:
ни снег, ни облака, ни Млечный Путь,
ни жизнь, ни смерть вам сами не откроют
загадку жизни, смысл ее и суть.

Не объяснят вам никакие боги
закон тот мудрый, что безмерно прост,
который неуклонно управляет
движеньем тайным атомов и звезд.

Суть бытия ищите в человеке!
Мысль человека создал человек —
творец всего, что украшает землю
и что на ней останется вовек.

Смысл бытия: стремясь к высокой цели,
прожить достойно на земной звезде,
не строя счастья на чужом несчастье,
не наживаясь на чужой беде.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Они узнали о страшных бесчинствах,
которые творятся
по ту сторону горы:

враг сжигает деревни,
насилует женщин,
убивает мужчин,
бросает в костер младенцев
и угоняет скот...

Вестник
внушал доверье.
Задолго до половодья,
бывало, он сообщал
об уровне воды
в весенних реках
и прочих капризах погоды.
Его принимали радушно,
выслушивали советы,
к тому же не забывали
одарить по заслугам.

Но в этот раз
жито стояло в полях,
погода благоприятствовала уборке.
Зачем вдруг
явился вестник?
Его внимательно выслушали
и наградили...
И все-таки
жито стояло в полях,
и погода была устойчивой,
и в домах готовились
к празднику урожая...

Так, в самый разгар уборки,
к ним ночью
вломился враг.

Лишь трое остались в живых:
те, кто, взяв в руки оружье,
вышли против врага.

САРА КИРШ

ЛЕГЕНДА О ЛИЛЕ

1

Была ли она хороша неизвестно так как
воспоминанья уцелевших узников
разноречивы уже цвет волос
называют по-разному в картотеке
не сохранилось фотографии она
по-видимому была родом из Польши

2

Летом ходила она босиком и зимой написала
семь писем

3

шесть скатанных в трубочку писем таились
под арестантской одеждой на плацу прилипали
к измученным телам вспоминались во сне доходили
до адресата оставшегося неизвестным он не может
быть свидетелем на процессе

4

седьмое выдали за пайку хлеба

5

Лиля на допросе Лиля в лагере Лиля в бункере
свист бича адресат кто он был говори
молчишь почему знойным летом ведь птицы
поют поперхнувшись дымом

6

некто в черном СС театрал кличка пса из классического
репертуара нашел что
глаза будут откровенней чем губы

7

узники выстроенные в две шеренги дорога
дикая аллея подпиленных деревьев здесь она
должна была пройти и одного выдать

8

в глазах теперь дело вели прикажи закажи
беззаботность
мускулам крови ты часто ходила здесь помнишь
каждый камень ты помнишь Лиля
Лиля каждый

9

ее лицо проходило мимо
рассказывали уцелевшие они
дрожали от страха Лиля шла как мертвая
и вот некто в черном чей пес по кличке Гамлет
рычал приказал довольно

10

с той минуты ее не видели

11

а другие рассказывали она улыбалась
пока шла причесывалась пальцами
была сразу же уведена в газовую камеру
и это было больше двадцати лет назад

12

о ней потом говорили долго

13

в шестьдесят пятом году судьи во Франкфурте
занесли в протокол Лиля
фигура мифическая этот
пункт следует из обвинения исключить

14

в письме говорили было написано мы
не выйдем отсюда мы
видели слишком многое

ФОЛЬКЕР БРАУН

ПРЕХОДЯЩЕЕ

Другие придут и скажут про нас: они были честны.
(А это кое-что значит в эпоху заборов и дверных запоров!)
В то время, когда стихи были еще прозой (поэтов мало, работы много!),
они писали ради гонорара и освобождения человечества.
Но как отделывали людей, чурбаны!
Грудную клетку хотели вскрыть гаечным ключом, о, пытка!
Косметика молотом фразы! Любовный шепот на телячье-немецком!
Революция с барабаном ландскнехта!
Разве они не знали о губах,
дрожащих, когда с них срывается новое слово?
Разве не приходилось им биться о новые берега прибоем ритмов?
Ах, вам куда проще: сердцебиение вы слышите просто ухом.
Вашими обычными словами будут городиться огороды стихов.
Ваша революция может быть радостной и планомерной, как общественная игра.
Наши луга покажутся вам лужайками,
а то, что мы зовем бурей,— ленивым ветерком.
Но мы оставляем это себе: быть забытыми завтра!
Потому что вы понесете в себе ветер революции и ветер противоречия:
чтобы из искры возгорелось пламя, ему нужен ветер.
И вы также будете писать ради освобождения человечества и ради вашей же муки:
поскольку она преходяща, и вы будете преходящими.

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН

КОНЬ

Конь мой сивый, неспесивый,
Добрый конь с лохматой гривой,
Я люблю твою потную мыльную сбрую
И пропахшую юшкою зелень парную.

Лоб костистый, зато крепкий,
Ноздри мягче грудей девки,
Ты взвали меня на спину, коль хватит силы,
Чтоб я чуял щекой напряженные жилы.

Конь печальный, аж до смерти,
Белый след шлеи на шерсти,
Подружись ты со мной, как с волом крутorогим,
И ко мне вечерять заходи-ка с дороги.

Дам водицы из кувшина,
Дам соломки из овина,
Дам и соли две жмени, и свежего хлеба
И в окошки пущу к тебе синее небо.

Бровь не хмурь, беду почуя,
Все сказать тебе хочу я!
А как ночка настанет, я двери прикрою,
И ко сну мы помолимся вместе с тобою.

ДЕДОВСКАЯ БАЛЛАДА

Шел, постукивал дедка деревянной погою,
Шел бедняк одноногий полевою тропою.

Шел, откуда незнамо, где искал себе отдых?
Стал он к лесу спиной при струящихся водах.

И натруженным оком он глядел на водицу,
Ой, да-дана, да-дана! — как там струйка струится.

Выплывала русалка, деревенская вила,
Деду брызнула в очи, аж его покривило.

И не знала, как мучить, и не знала, как нежить,
Как печалью печалить, как утехой утешить.

Взглядом глаз изумрудных его ворожила,
Обняла его ноги, нечистая сила.

Целовала стыдливо, и смешливо, и строго,
Ой, да-дана, да-дана! — деревянную ногу!

Прыскал смехом дедыга прямо нелюди в шею,
Приседал, словно в пляске, потешаясь над нею.

Аж тряслася бородка и кривилися губы,
Деревяшка стучала о жемчужные зубы!

Для чего ж ты целуешь одно лишь полено?
Почему обнимаешь не всего — до колена?

Знать, в тебе заиграло чародейное семя,
Водяная хвороба, русалочье племя!

В грех ввести порешила чурбак деревянный?
Ой, да-дана! — и смех же от тебя, окаянной!

Как волчок, закрутила деда чертова девка:
«Ты пойдем-ка со мною, дед, дедулечка, дедка!

Буду я тебя нянчить на запечье подводном
И откармливать буду песочком холодным.

Герберт Бергман (ГДР)
Берлинский пейзаж. 1968 г.

У меня во дворце насладишься бездельем,
Напою тебя с губ поцелуем смертельным!»

Ухватила его за суму, за бородку,
Потянула к прибрежному водовороту.

Не успел оглянуться — кто-то волны содвинул,
И не перекрестился, а уж со свету сгинул.

Заклубилися волны и пропали без следа,
И исчезли бородка и лысина деда.

И одна лишь подпорка — нога деревянна —
Не тонула победно — ой, да-дана, да-дана!

И ничья поплыла, куда ей поплывется,
И уж сраму ей нет, и уж нету уродства!

Себе ищучи путь, побрела мимо плесов,
Как обломок ладьи, потерявшей матросов!

Грела кости на солнце, играла с теченьем,
И плыла, и плыла над своим отраженьем!

И, резвясь на волнах, семенила все дале,
Ой, да-дана, да-дана! — в засветные дали!

ПРИЗНАНИЕ

Не рань презреньем девушку иную,
Она твоих не разрушает чар.
Во мне лишь ты, всего меня волнуя.
Она мне губы даст для поцелуя —
Кто оттолкнуть способен этот дар?

В том, что люблю ее,— тебе признался.
Она не знала, грезила, ждала.
Я шел к ней, словно в чащу углублялся,
И с каждым днем все ближе мне казался
Конец весны. Я жег весну дотла.

Ее улыбка, как волна морская.
Сияет ясный волос у виска,

Печальны взоры, а рука такая,
Что кажется, когда ее ласкаю,
В моей руке — опять твоя рука...

Ее заклятья значат слишком мало,
А поцелуй не разлучает нас.
Позволь уйти мне в этих уст кораллы,
Чтобы душа любила и рыдала
Еще хоть раз, один лишь только раз!

УСЛОВЛЕННОЙ НОЧЬЮ

Условленной ночью, когда мгла загустела,
Ко мне проскользнуло желанное тело.
Пришло ко мне тайно, в чудной беспечали,—
Прозывалось оно, как тебя прозывали.

Заглянув по пути в завтра и в зерцало,
В ледяную постель бесшумно упало —
Для меня упало, для моей услады,
Чтоб томил — истомил — и не знал пощады!

Оно льнуло ко мне — и пахло закланьем,
Бысстыдно-послушливо моим желаньям,
В мглах и радостях — на пороге рыданья
Замирало в восторге полуумиранья.

Что в нем было еще? Лишь прелесть и грешность,
Неведомый запах и эта поспешность,
А еще трепет крови, шумящей тревожно,
Без чего телу тела понять невозможно.

РОМАНС

Надо петь, раз певец,— и пою поневоле!..
Жили нищий и нищая — голь среди голи.

На задворках сошлись и слюбились случайно —
И во всем городке жальче не было тайны.

Майский вечер улегся и вызвездил села,
Сели вместе, бок о бок, на ступенях костела.

Подавали друг другу неловко и скупо
То засохший ломоть, то иссохшие губы.

И мечтали всю ночь и всю ночь без опаски
Лаской хлеб заедали, а хлебом — те ласки.

И под майской опекой, у двери церковной,
Стих и нищенский голод, и тот голод любовный...

Что, поэт,— так и надо бы жить до могилы?
Оба голода есть, но ни хлеба, ни милой...

ПРОХОЖИЙ

Лиловый сумрак, безлюдье поля —
И только эту явь —
Средь трав бескрайных молил я с болью:
«Спаси меня, избавь!»

И шел прохожий... Зачем — не знаю,
Мне подал знак рукой.
Быть может, думал — к нему взываю,
Его молю с тоской.

И было тихо, весь мир как сгинул,
Лишь солнце шло ко сну.
Сказал прохожий, когда окинул
Глазами тишину:

«И мне, скитаясь, взывать в печали,
Без хлеба, без жилья.
Я тот, чью гибель не увидали,
Тот самый — это я!

Мне смертью в ярах раскинут полог,
Жилище — недруг сжег.
Бьет час предсмертный, был сон недолог,
Его разрушит бог.

Но верю в сон, что еще приснится,
Обещанный судьбой.
Тот сон, когда в нем блеснет денница,
Я разделю с тобой».

Клянясь, что в скорби нам нет разлуки
Ни на единый час,
Прохожий тот протянул мне руки,
И спас меня он, спас!

СЕСТРЕ

Ты спала непробудно в гробу
В стороне от вседневности плоской.
Я смотрел на твою худобу,
Как на легкую куклу из воска.

Пред тобой простирался тот свет.
Для вступленья на эту чужбину
На тебе был навеки надет
Мешковатый наряд пестрядинный.

В доме каждая смерть говорит
Об еще не открытом злодействе.
Каждый из умиравших убит
Самой близкой рукою в семействе.

Я укрытья убийцам не дам.
Я их всех, я их всех обнаружу.
Я найду, я найду их. Но сам,
Сам я всех их, наверное, хуже.

Понапрасну судьбу мы виним,
Обходясь оговоркой окольной.
Лучше, боже, прости нам самим
Грех наш вольный и грех наш невольный.

То я грезил,— еще ты больна
И мне пишешь письмо из больницы,
То я слышал с могильного дна:
«Дай мне есть» — или: «Дай мне напиться».

Как ответить? Отвечу ли я?
Бог один пред тобою в ответе.
Нет на свете такого питья,
Нет и хлеба такого на свете.

Гроб качался на наших руках.
Вот уж он на крестьянской подводе.

О, какой охватил меня страх,
Когда тронул возница поводья!

Может, ты в летаргическом сне
И живою тебя закопают?
Но резонно ответили мне,
Что ошибок таких не бывает.

Молча брел я за возом в подъем.
Мир заметно мельчал предо мною,
Уменьшаясь в размере своем
На одно существо небольшое.

Я шел молча. «Увы, может быть,—
Думал я,— нет столь родственных нитей,
Без которых нельзя было б жить».
Это грустное было открытье.

Ночь у гроба длинна и пуста.
Тех уж нет, кто глядит из гробницы.
Истлевают их взгляд и уста.
Лица их — черепа, а не лица.

Знаю я, что и в тленье свой путь
Под землей ты проделаешь честно,
Но вовек не решусь заглянуть,
Как ты гнешься под ношею крестной.

Верно, смерть протрезвляет всю плоть
От желаний, и жажды, и хмеля.
Догадается ль только господь,
Что лежишь перед ним в подземелье?

Ты, парящий в далеких мирах,
Задержи перелет свой по тверди
И согрей на груди этот прах,
Что обманут твоим милосердьем.

ТОСКУЮЩАЯ ЛЮБОВЬ

Который час — которого рассвета?
Не время плакать. Вытри эти слезы...
Давно ли шел за рутой на покосы?
Весь мир — покос. Люби его за это!..

К чему все ждешь, не рухнет ли завеса,
И думаешь: «Той бездны не миную!»
Давно ли целовал кору лесную?
Нет ничего на свете, кроме леса!

«Пришел я в мир, опереженный болью,
И ухожу дорогой нелюдимой...»
А что же заберешь туда с собою?
Все тот же мир — единственный, единый!

Так не вверяй невидимой опеке
Своей души, тревожной от неверья,—
Кроме людей, и дерева, и зверя,
Ей ничего не полюбить вовеки!

ЛЕОПОЛЬД СТАФФ

ПОВОДЫРЬ

Иду с тобой в грозу, бреду средь мрачных скал,
Дрожу от холода, от страха и тревоги.
Как рад я, что тебя — бессильный и убогий —
На жизненном пути поводырем избрал.

Душа ли ты моя? Иль неизбежный рок?
Веди! Вдвоем пройдем опаснейшие тропы —
Предупредишь меня, где камень или пропасть,
Чтобы споткнуться я или упасть не мог.

Гляди! Вот мы стоим на мрачном перепутье...
Мне страшно здесь... Веди туда, где свет и тишь...
Нисходит ночи тень, и грозной веет жутью...

Шепни хоть слово мне! Чего же ты молчишь,
Ощупывая мрак, ни шагу не ступая?..
О, боже мой! Она — немая и слепая!!

ВАЯТЕЛЬ

В нем хаос ожил, моря величавей,
И выплеснул до самого зенита
Гранитный смерч, а в глыбе монолита —
Всю полноту, всю бурю сна и яви.

И юноша поднялся из гранита —
Учить отваге, гордости и славе!
Такая мощь была в любом суставе,
А в мускулах такая воля скрыта,

Что первый, кто взглянул,— у пьедестала
Пал ниц, шепча: «Сильнейших на колени
Повергнешь ты, божественная сила!..»

Ваятель отстранил его устало
И, хмурясь горько, гордое творенье
Разбил — чтобы холопов не плодило.

ТРУДОВОЙ ДЕНЬ

Благословен покой вечерних тех часов,
Когда натруженные руки отдыхают,
Колеса колеи по глине пролегают,
И чуть скрипят возы под тяжестью снопов;

И зубья бороны, и лемехи плугов
В покое до утра, и мельницы стихают,
От груза молока сосцы коров взбухают,
И бабы гонят скот в сонливый мрак хлевов.

И, воздаяние даруя за работу,
Земля благодарит за добрую заботу:
— Да будет награжден тот, кто возделал сад!

Тогда, отринув лень, душа к трудам стремится,
И вот уже в мечтах ей день дожинок мнится,
И мнится — плод трудов обилен и богат.

СОНЕТ О СВОБОДЕ

Кто в уста мне вложил твое имя, Свобода,
Дал мне крылья, которых уже никому
Не сковать, пусть замкнут меня даже в тюрьму,
Буду видеть я звезды небесного свода.

Руки к небу тяну, как слепая природа
Ветки к солнцу. Лишь голову я подыму,
Своевольные мысли ко лбу моему,
Словно птицы, слетаются в блеске восхода.

Хоть с землею я связан живыми корнями,
Но мечтою парить присягнул я с орлами!
Грез полна голова, будто звезд вышина!

И свободен я сердцем в свободной стихии,
Как свободны шумящие дебри лесные,
Как береза над берегом речки вольна!

НАУКА

Скажи мне, рубака — не парень, а порох,
Уж так ли ты весел, как солнце на шпорах?
С какою душой ты смеешься и пляшешь?
Ведь завтра на бой,— может, первым и ляжешь...

«Приучен я к смерти, как к чарке и трубке,—
Ведь можно и смерти учиться, как рубке».

Скажи мне, рыбак — из артельщиков рослых,
Уж так ли ты весел, как солнце на веслах?
Чему веселишься, не ведая жути?
Ты в море выходишь, а море — не шутит...

«Приучен я к смерти, как лошадь к оглобле,—
Ведь можно и смерти учиться, как ловле».

Рыбак беззаботный, солдат бесшабашный,
Бывает ли смертному смерти не страшно?
Учиться-то можно, а вам не впервые —
Да разве научатся смерти живые?

«Хоть бой разыграйся, хоть буря нависни,—
Учились мы смерти, как учатся жизни».

Учиться-то можно и выучить можно,
Да буря коварна, а пуля надежна.
Ты смерти, как танцу, сумел научиться,
Но буря догонит и пуля домчится.

«А мы вот живем себе, горя не зная,
Как будто иная судьба нам, иная».

О, сколько было фраз, какой стоял трезвон!
Лгала и Правда нам, забыв свою природу,
На радость ловкачу, мошеннику в угоду,
Святые лозунги бросались, как жетон.

На верхних этажах, с балконов, из окон
Знамена свесили, провозгласив свободу,
И вдруг забыли все и лили кровь, как воду,
Чтоб угасить огонь, лизавший дряхлый трон.

Но, возмущенная предательством их новым,
Лжецам История грозит перстом суровым,
И призрак прошлых дней встает из глубины,

И Янусом глядит восставшая свобода,
Лик Справедливости явив очам народа
И Мести грозный лик — предателям страны.

ТРУД И ОТДЫХ МОРЯ

У берега море взбивает степенно,
Как прачка в лохани, шипучую пену;
А то из глубин, из утробы придонной,
Пыхтит и вздыхает, как морж утомленный,
И мечется волн разъяренное стадо,
И берег долбит водяная громада —
От века в движенье, от века в заботе,
В старательном рвенье, в тяжелой работе...
А в дальней дали́, под безоблачьем синим
Оно стекленеет в тугой парусине,
Мерцает муаром в кисейном тумане,
Лениво пленяет, манит и дурманит,
И щурится рябью, и кроется зыбью,
Легко обретая чешуйчатость рыбью.

ОСЕННИЙ ЗАКАТ

Лето плутало в садах чародея,
Осень осталась в кистях винограда.
Грозди висят, пламенея и рдея,
Меж золоченых рогож листопада.

Вечер, густея, кудесит, как детство,
Мысли мешает в цветную причуду.
Ни сожалений, ни лицедейства —
Всё тут взаправду. И всё есть повсюду.

Сок распирает нутро винограду,
Терпким вином колобродит и рощет.
День удался. Полыхайте в награду,
Рыже-багровые к вечеру рощи.

ARS POETICA

Мне трепет сердца сокровенный
Велит: «Лови! Теряй покой!
Поторопись — ведь я мгновенный,
Прозрачный, зыбкий, никакой!»

И, тайное ловя смятенье
Не для пустых и броских строк,
Я воплотить хочу мгновенье
В чеканный слог на вечный срок.

И, полагаю, в том заслуга,
Когда — обретший лад и рост —
Стих ясен, словно очи друга,
И, как рукопожатье, прост.

НИКЕ САМОФРАКИЙСКАЯ

Реет музыка в складках одежды легчайшей.
Недоступен для птицы полет твой великий,
О богиня триумфа,— сквозь время все дальше
Ты уносишься, Самофракийская Нике!

Хлещешь крыльями воздух и в вихре полета
Лавры славы несешь. Не хочу их нимало.
Лишь тому я завидую, ради кого ты
Напрочь голову в дальних веках потеряла.

ЛАДОНИ РАЗЖИМАЮТСЯ УСТАЛО...

Ладони разжимаются устало,
Но бьется сердце, гонит кровь живую,
И горько мне, ведь я слыхал, бывало,
Хор голосов, пил воду ключевую.

Я вновь стою в отчаянье жестоком,
Проходят дни в тоске, в печали, в муке,
И, как пловец, стоящий над потоком,
К тебе, о боже, простираю руки.

Переплыву, быть может, беды, войны,
Пересеку печаль и разоренье,
И снова буду тихий и спокойный,
Как тот, кто вышел в горы со свирелью.

НА РАЗРУШЕНИЕ ПАМЯТНИКА ШОПЕНУ В ВАРШАВЕ

О нет, не бронзой ты был равнодушной,
Ты был как дыханье, как трепет воздушный,
В котором небесные дивные звуки
Сплелись, как божьих ангелов руки.
Уже отрешенный, в блаженном покое
Глядишь ты на подлое племя людское,
На мир, где изведал всю бездну мучений,
Каким обречен божественный гений.
Безмерна была твоя слава святая.
Лишь солнечный свет, лишь заря золотая
Дерзала к бронзе твоей прикасаться.
Но раздробил ее меч святотатца.
Бездушный палач, убийца кровавый,
В осколки твой образ разбил величавый.
Пред смертью ты молвил, от боли тоскуя:
«Пронзите мне сердце, когда умру я,
Чтоб я не проснулся, не ожил в могиле».
И волю твою мы святую свершили.
Теперь твоим сердцем вся родина стала.
Орда палачей твой край истерзала,
И весь он — кровавая страшная рана.
Но жив ты, бессмертный! Во мгле урагана,
Средь молний и грома, непогребенный,
На тучах играешь ты марш похоронный.

ПЕРВАЯ ПРОГУЛКА

Жене

Мы будем жить в родимом доме снова,
Опять войдем хозяевами в двери,
Никто о том еще не молвил слова,
Одни сады весенние пропели.

Не озирай руины грустным взглядом.
Утри слезу. Давай пройдемся вместе.
Глянь: живы мы, хоть смерть стояла рядом.
Пойдем, как прежде, в ближнее предместье.

Кругом безлюдно, не идут трамваи...
Стоит худая женщина в проломе,
Убогие баранки продавая.
Мы будем снова жить в родимом доме.

Пустуют магазины и жилища,
Как будто сотню лет, по крайней мере,
Торгует гребешками старый нищий...
Опять войдем хозяевами в двери.

Укутай плечи — ветер сыроватый.
Сидят калеки около больницы,
Без рук, без ног, одетые в халаты.
А дальше поле, города граница.

Повалены разбитые заборы,
Вон женщина несет сушить лохмотья.
Ребенок копошится в куче сора.
Петух запел крикливо на заплоте.

Два человека встретились в проулке.
Кот щурится лениво под стеною.
Вновь будут в лавке продаваться булки,
Заплещет утром молоко парное.

Минуют дни, забудем о разгроме,
Залечим раны, возместим потери,
Мы будем снова жить в родимом доме,
Опять войдем хозяевами в двери.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Как зарождается поэма огневая?
Не думай сдвинуть, бард, планеты с их путей,
Пегаса не гони в безумии страстей
Сквозь весь огромный мир, от края и до края.

Но, ребер клавиши рукой перебирая,
Как по земле цепом, по струнам сердца бей
И помни об одном: о том, чтоб всех людей
Ты мог от нового насытить урожая.

Как в медный колокол, бей в собственную грудь!
Но старых, грешных слов вовеки не забудь:
Тюрьма, неволя, гнет, насилье, тирания!

И с бледных губ твоих, горячие, как кровь,
Пусть мощной песнею звучат слова другие:
Мир человечеству! Свобода! Жизнь! Любовь!

СКАЗКА О МАКОВОМ ЗЕРНЫШКЕ

Была у него ручища,
Клешня пятипалая,
Весь свет он сграбастал, как семечко малое,
Как малое семя,
Как зернышко маково.
Терзал так и сяк его,
То зернышко маково,
И тискал, и мучил,
И мял.

Надоело зернышку
Жить не в чести,
Стало расти.
Выросло с горошину,
А после с яблоко,
А после с арбуз,
Стало оно как земной шар,
Переросло огромную руку,
А рука на шаре мельчала, мельчала,
Стала с кусточек, с листочек, с былинку,
Стала с пылинку.

И смел ту пылинку
Могучий ветер,
И зазвучала
Песня на свете,
Песня миллионов
Про мир и труд...

Вот и сказка кончается тут.

ЮЛИАН ТУВИМ

* * *

Жизнь!..
Плечи расправлю, восставши от сна,
Дуновением утра омоюсь,
Крикну, радостно крикну,
Небу светлому кланяясь в пояс:
— Это счастье, что кровь человека красна!

КРИТИКАМ

А в мае
Я кататься привык, господа,
На передней площадке трамвая!
Город меня прошивает насквозь!
А в голове что творится тогда:
Огни, огнива, беги, побеги.
И весело отчего-то,
Особенно у поворота.
На поворотах
Расправляю плечи самозабвенно,
А деревья шумят вдохновенно,
И пахнет весной
Шалеющий сад,
И ликует вода,
А улицы напропалую звенят:

В мае! В мае! —
Вот так и катаюсь на передней площадке
трамвая,
Многоуважаемые господа.

ЛОДЗЬ

Когда моей славы придут года,
Безмерных хвалений эра,
И станут из-за меня города
Спорить, как из-за Гомера,

Когда в Польше, как после дождя — опят,
Будет статуй моих и бюстов
И в каждом городе завопят:
«Здесь родина Златоуста!» —

Пускай потомки забудут рознь
И спор о «Тувимовом деле».
Я сам скажу им: мой город — Лодзь,
Я здесь лежал в колыбели!

Пусть те восхвалят Сорренто, Крым,
Кто на красоты падок.
А я из Лодзи. И черный дым
Мне был отраден и сладок.

Здесь рос, штаны протирал наскрозь,
Рвал пуговицы с мясом,
Здесь старый педель, срывая злость,
Ругал меня лоботрясом.

Тут слышал я бури первый гром
И музы чуть слышный шорох.
(Доныне стоит знаменитый дом:
Андреевская, номер сорок.)

Здесь я лет десять в школу ходил,
Со скукой, сказать по чести;
Среди лентяев и заводил
Сидел на почетном месте.

И тут мое сердце забрал в полон
Некто тихий и золотистый,
И здесь семь лет, огромных, как сон,
Писал я стихи и письма.

Я признан был Лодзью с первого дня,
Без всяческой проволочки.
И некий Ксенжек печатал меня
По две копейки за строчку.

Люблю твой облик, прекрасный и злой,
Как мать недобрую — дети,
И вид твоих улиц под серою мглой,
Любимейший город на свете!

И говор проулков, и смех продавщиц,
Пылища и гомон базаров
Дороже мне шика и блеска столиц,
Милее парижских бульваров!

Доныне слезами мне застят взор
И окна твои, и отрепья,
И стареньких улиц базарный задор,
И жалкое великолепье,

И этот дурацки торчащий «Савой»,
Одетые с шиком торговки,
И вечная надпись: «Мужской портной,
Он же дамы и перелицовки».

ПЕРВОЕ МАЯ

Влажным багрянцем, трепещущей сенью
Всплески знамен из распахнутых окон,
В праздник червонный, в праздник весенний
Солнечный полдень бушует потоком.

Окна оправлены просинью зыбкой.
В залах снопы, золотые снаряды.
Блестки зеркал разыскрились улыбкой,
Солнцем расцвечены праздника ради.

В ливне лучей этажи отдыхают.
Крыш черепичных слепящее сверканье.
Праздник мильонами свеч полыхает,
В стеклах зеркальных преломлены зданья.

Ветер, скользящий по влаге и суше,
Мчит облака по небесному своду.
День этажи отраженьями рушит
В ясно-глубокую звонкую воду.

Залпы лучей Золотистого Ока,
Воду всколышьте колоколами!
Радость свободы моей высокой,
Взвейся, в лазурь ударяя крылами!

Взвейся над городом, ветру открытым,
В пурпур знамен шелестящих одета.
С ветра на площади, с Вислы к зениту,
Радостью ясной весеннего света
Лейся, сверкая, свобода поэта!

В синь зачарована, с пурпуром слита,
В высь этажей над знаменами взвита,
Буйствуй же, красная и голубая,
В праздник багрянца и сини зенита,
В праздник зеленого Первого мая.

БОРЬБА

Ничего, что я в модном пальто
И что в гетрах, при галстуке я,
Все равно по асфальту иду,
Как пророк и как судия.

Сокрушает мой гневный взгляд
Все, чем правит телец золотой,—
Всех дирекций, редакций ряд,
Всех театров, парламентов строй.

Ударами взгляда крушу
Витрин роскошных стекло,
По царству антихриста бьет
Мой крик упрямо и зло.

Испепеляет мой взор
Ваших долларов мильярд.
Серым пеплом рассыпался вдруг
Ваш тщеславный, глупый штандарт.

Вы возводите свой Вавилон,
А строительством руководит
Толстомясый Стиннес, болван,
Тысячепудовый бандит.

Фанатически вас кляня,
Чувством немощи распален,
Я сметаю с лица земли,
О слепцы, ваш Вавилон.

К ГЕНЕРАЛАМ

Рыкает, пугает, сверкает крестами
Каждый генералище с ожиревшей рожею.
— Хватит! Не притворяйтесь львами!
Знайте: здесь генералы мы сами,
Мы сами,
Задумчивые прохожие!

Тщеславие, помпа, блеск и шик,
Штабы, адъютантов гладкие лица.
Слово процедит — и тут же крик:
«Рады! стараться! ваш! сок! дит! ство!»

Смешно! Не станем таить греха!
Вот я, например, и тихий и скромный.
А знаете вы, господа,— ха-ха! —
У меня во владенье весь мир огромный.

Нет, вам не добиться ни службой, ни лестью
Моего свободного званья Поэта.
Господь не нацепит вон те созвездья
На ваши мундиры и эполеты.

Не сумеет узнать ни единый штаб
Наших сладких и страшных секретов,
На ваших картах не лезет в масштаб
Таинственная отчизна поэтов.

Вам — алые отвороты за свист свинца,
За смерть, за расправы карательной роты.
Мы — грудь разодрав, обнажаем сердца,
Вот наши пурпурные отвороты!

Бомбовержцы, какой вы оставите след,
Кроме дыма, пожаров, увечий!
Но огнями живыми
Через тысячу лет
Наших слов будут рваться картечи!

Так бросьте же притворяться львами,
Смешные люди, на львов не похожие!
Помните: здесь генералы мы сами,
Мы сами,
Задумчивые прохожие.

СЛОВОМ В КРОВЬ!

Ваши слова — как салонные моськи,
А мои — как взъяренные псы!
Бурлески и арабески бросьте,
Бейте словами, полными злости,
Оставьте все ухищрения ваши —
Бейте словами в лбы!
Все эти сонеты и тирлитриолеты
В клочья порвите
Вы!
Пускай поэзию возненавидят
Хилые, нежные
Дамы приличные.
Словом в кровь — как железным лезвием!
Слова мои, острые и золотые,
Слова могучие, хищные, зычные —
Как львы, как львы!

ШТИБЛЕТЫ

Как паршивых дворняг, оставляю штиблеты
У кровати моей сторожами ночными,
И безвольно рука свисает над ними,—
Засыпаю... Лицо — в шрамах лунного света.

Ночью ползают тени по низеньким стенам,
В одиноком жилье будто плач раздается,—
Это сон мой, бедняга, ноги волочит со стоном,
Он по мне, как по слякоти, еле-еле плетется.

Утром солнце затопит мои мокроступы.
Их позор очевидней в сиянии дня:
Деревянные гвозди, словно гнилые зубы,
Щерят пасти голодных штиблет на меня.

РОДНИК

Зачерпнешь родниковой алмазной водицы
Грубоватым зеленым кувшином —
Небо синее, там, в глубине, холодится,
Тонет облако белой холстиной.

Солнце плечи ласкает блаженной теплынью.
Руки стынут в прозрачных глубинах.
Жар течет золотой под небесною синью,
Растекается в свежих люпинах.

Из студеного грубого жбана
Ты железную воду глотаешь.
Дух идет от люпинов — нагретый, медвяный,
И лежишь, и молчишь, и вдыхаешь.

СТРОФЫ О ПОЗДНЕМ ЛЕТЕ

1

Сколько осени всюду!
Полно, как в бочке пива,
А ведь это только начало —
Она не наступила.

2

Назолотило листьев,
Хоть ведрами носи их,
А эта трава густая
Так и просит, чтобы скосили.

3

Лето разлито в бутылки,
Солодом бродит на полках.
Так и жди, что высадит пробки,
Не сможет выдержать долго.

4

А здесь желтолистый, чистый
Август — яблочный, винный.
Красноватый и травянистый
За толстым стеклом графина.

5

Вот ящерица вышла,
Сидит на камне нагретом,
Зелень змеиная медью
Струится под ярким светом.

6

Сено сухое над лугом
Ветром лежит медовым,
Вздохнет, ароматом повеет
И успокоится снова.

7

Облака в пруду неподвижны,
Лепестками упали в воду,
Плещу осторожно палкой —
Боюсь испортить погоду.

8

Солнце вошло глубоко
В воду, в меня и в землю,
Нам ветер глаза смежает,
Теплом пронизанный, дремлет.

9

А в кухне варят хвою,
Кипит душистая масса —
Отвар этот я придумал:
Бор с оливковым маслом.

10

И стихи эти я придумал,
Не знаю, может, помогут,
Пишу не спеша, с любовью,
С жалостью и тревогой.

11

И так же, мой читатель,
Ты не спеша читай их.
Великое лето уходит,
Великую осень встречая.

12

Я кварту осени выпью
И снова в пустынном парке
Пройду и брошусь на землю
Под месяц холодный и яркий.

ПОСРЕДИ ДНЯ

Ты не дивись моей тоске суровой.
Я, как в пустыне, среди дня стою,
В тревоге за любую мысль мою,
За миг любой,— для них найду ли слово!

Без отклика взывать все тяжелее.
Мой скорбный голос в пустоте затих.
Не слышит бог меня, как и других,—
Подобно им, судьбы не одолею.

Безумного от воплей без ответа,
На землю гневно он швырнет меня,
И хлынет столб небесного огня
На прах мой... Ну и что ж... хотя бы это...

COMMEDIA DIVINA[1]

О, как я ломал во Флоренции пальцы,
Молящий дантейские звезды о слове!
Не в эти ль созвездья остро и сурово
Глядели могучие очи страдальца?

И было мгновенье — душою единой
Два сердца ударили в эти планеты...
И вот звездопадом святые терцины
Осыпали голос чужого поэта.

РАБОТА

Сегодня снова — в строф квадраты
Предметы втискивать углами,
Тесать, сгибать, четыре грани,
Найти — и добиваться пятой!

Чтобы на ней, на утаенной
(Из тысяч ведомой немногим),
Суть ожила в звучанье строгом
Струны напевной, напряженной.

Переплавлять в глазах, как в горне,
Блеск крáсок в стройный звон металла,
Чтоб быль легендою предстала,
Чтоб слово обнажило корни.

И так в глухом единоборстве
Вторгаться строго и сурово
Словами в сердце, сердцем в слово —
Существовать в упорстве!

ТЕМНАЯ НОЧЬ

Человек, согбенный ношей,
Сядь со мною.
Помолчим в ночи, объятой
Тишиною.

[1] Божественная комедия *(итал.)*.

Скинь с плеча
Сундук дубовый,
Сядем рядом,
Глянем в ночь по-человечьи
Долгим взглядом.

Груз тяжел. И хлеб — что камень.
Дышим трудно.

Помолчим давай. Два камня
В тьме безлюдной.

ПРОСТОМУ ЧЕЛОВЕКУ

Когда опять листки, плакаты
Расклеят по столбам заборным,
И слово: «Граждане, солдаты!» —
В глаза ударит шрифтом черным
И вновь щенок придурковатый
Поверит их призывам вздорным,
Что нужно вновь идти и биться,
Жечь, грабить, рушить, навалиться:
Когда по старому шаблону
Писаки взвоют истерически,
Когда оглохнут все от звона
О «вечном праве историческом»,
О славе, рубежах и датах,
О полководцах и солдатах,
О пращурах и о знаменах;
Когда прелаты и раввины
Опять восславят карабины,
Веля во имя божьей славы
Карать врагов своей державы;
Когда наглеющие хамы
Газетные заполнят строчки
И побегут стадами дамы
Дарить «солдатикам» цветочки,—
Знай, мой дружище неученый.
Знай, почему попал в солдаты:
Забили в колокол стозвонный
Цари и толстые магнаты!
Знай, если эта вражья сила
На бой зовет в порыве яром,

То, значит,— где-то нефть забила,
Запахло где-нибудь долла́ром,
В каких-то кассах дело плохо,
В каких-то банках пахнет крахом
Или какой-нибудь пройдоха
Сырье забрал единым махом!
За их дела не стоит биться!
Эй, в землю штык — и будь таков!
И от столицы до столицы
Кричи, что крови не пролиться!
Паны! Ищите дураков!

МЕЩАНЕ

Страшны дома их, страшны квартиры,
Страшна их жизнь. Страшны мещане.
Здесь страх по стенам ползет, как сырость,
На всем здесь смерти лежит дыханье.

Встают, бормочут, ворчат с досадой,
Что дождь, что голод, да то, да это.
Потом походят, потом присядут,
Как привидения, как скелеты.

Поправят галстук, возьмут бумажник,
Часы дотошно они проверят.
С высот на землю походкой важной
Они нисходят, захлопнув двери.

Идут, шагают, спешат бесцельно,
Направо взглянут, потом — налево.
Все существует для них раздельно:
Вот дом... вот лошадь... вот Стах... вот Ева...

Берут газету, как сандвич, в руки,
Жуют, глотают, чего-то ищут.
Башку набивши бумажной пищей,
Зевают страшно от страшной скуки.

Потом судачат: Россия... Сити...
Театры... Чаплин... заем трехлетний...
Нагромождают на сплетни сплетни,
Блуждают тенью в лесах событий.

Домой вернувшись, спускают шторы.
Башка опухла, висит, как камень.
Под койки лезут и ищут вора,
В горшки ночные стучатся лбами.

Все вновь проверят, все вновь обшарят,
Сочтут заплаты на брюках мятых.
Им все досталось небось не даром,
А что досталось, да чтится свято!

Потом молитва: «Спаси нас, боже...
От смерти... глада... войны и мора...» —
И засыпают с блаженной рожей
Мещане злые в мещанских норах.

ВЕТКА

Вечно движется веточка эта.
Отчего? Попытайтесь — ответьте!
(Может быть, и движения ветра
Порождают лишь звуки вот эти?)

Вижу: веточка зарозовела,
За окном все упруже, все ближе,
Гибким прутом в стекло зазвенела:
«Я — цветущее слово. Впусти же!»

Окна настежь! Ударила светлым
Светом, цветом и в воздухе пишет...
Вслед ей ветер, и следом за ветром
Вдруг стихи! Век таких я не слышал!

Ни зеленого я понятья
О таких не имел. Но из окон —
Алость, радость, чтоб все мог попять я,
Здесь в покое цветя одиноком.

Влажность. Пышность. И вырос стократ он,
Этот розовый шепот могучий,
И вливается он ароматом
В руку, в ручку и в недра созвучий.

Дирижирует веточка эта
Звучным трепетом белого света,
Чтоб в стихи эту алость ронять ей
Свыше всяких зеленых понятий.

Я КРОХИ ЮНОСТИ СОБРАЛ

Я крохи юности собрал. Что ж, птицам их швырнуть?
Иль, может, их в слова вложив, пустить слова летать?
Слова и птицы улетят и, завершив свой путь,
Ко мне обратно — тут как тут, и снова будут ждать.

Что скажешь им? Что больше нет крох юности моей?
Поверят? Нет! Начнут кружить, как мертвая листва,
Крылами в стекла будут бить, и у моих дверей,
Оставшись верными, умрут и птицы и слова.

ОПЕЧАТКА

В жизнь поэта вкралась опечатка,
Путаница в тексте на виду —
Требуется авторская правка:
От рожденья на сороковом году,
На каком от смерти — неизвестно,
Автор просит все исправить вновь:
В тексте вместо слова «безнадежность»
Следует опять читать «любовь».

ВЗДОХ

Не все ль равно, что жизни смысл дарит —
Духовное иль плотское начало?
Всего одна мне вечность предстоит...
Как мало!

EXEGI MONUMENTUM[1]

Камнем сделалось горе мое.
Вопрошаю, торжественно-траурный:
Кто ж я есмь? Я лишь памятник мраморный,
Где начертано имя Твое.

[1] Я памятник воздвиг *(лат.)*.

МАТЬ

1

На еврейском кладбище в Лодзи,
Под сенью березы унылой,
Мамы моей еврейки
Польская могила.

Прах моей матери милой,
Еврейской, польской,
На берег фабричной Лудки
Я перенес из Отвоцка.

На этот могильный камень,
Что ее покой охраняет,
Только листочки лавра
Береза порой роняет.

Когда же солнечный ветер,
Играя, в них золотится,
Он в ордена и медали
Преображает листья.

2

Застрелили фашисты
Тосковавшую обо мне.
Застрелили фашисты
Обмиравшую обо мне.

Пуля тоску прострелила.
Стали сызнова заряжать,
Чтобы после... но после было
Не в кого разряжать.

Прострелили мир материнский —
Два ласковых слога моих губ.
На святую отвоцкую мостовую
Из окна бросили труп.

Доченька, ты запомни,
Чтоб внук будущий не забывал,—
Исполнилось слово: о мостовую
Разбился идеал.

С поля славы унес я мать,
Чтобы матери-земле предать,
Но трупу имени моего
Навек в Отвоцке лежать.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЯМБЫ

(Отрывок)

Вы говорите, сударь милый,
Политик из меня ни к черту?
Мол, я алхимик дивной силы,
Слова сбирающий в реторту,
Творец бальзамов чернокнижных,
Присяжный мастер дел мистичных,
Интуитивных, непостижных
И прочих штук аполитичных...

Признаюсь — колдовал немало,
Имею в том давнишний навык.
Я муку и тоску, бывало,
Лечил напитком слов лукавых;
Или порою — для романса,
Для музы, дамы симпатичной,
Для поэтического транса
Я жизнью жил аполитичной.

Колдуя над питьем словесным,
Как фармацевт провинциальный,
Я различал сквозь занавески
В пылу восторга отблеск дальний
Зари эфирной («мирной»... «лирной»...),
И с уст моих строфа срывалась...
А это был Пожар Всемирный —
Политика разбушевалась!

Разверзся ад, пришел в движенье
Весь свет, был путь открыт раздору.
Пустой банкрот — воображенье
Ко всем чертям пошло в ту пору.
И вздыбились людские толпы,
Пожар забушевал над светом.
И вылез из своей реторты
Я политическим поэтом.

Политика нашла мне дело,
Она (в ней — цельность, живость, сила!)
Меня, как нить в иголку, вдела
И к жизни накрепко пришила.
Она была кипящим соком,
И — напряженно, энергично —
Мне совесть пронизала током,
Она и вправду поэтична!

Я только с ней дошел до смысла
Высоких дней и серых будней —
И только в ней живу и мыслю
Я, сын эпохи многотрудной...
. . . . . .

ДОЧЕРИ — В ЗАКОПАНЕ

Кланяйся Татрам, дочурка, Татрам могучим,
Снегу, кипящему солнцем, зорям татранским,
Кланяйся синему небу, кланяйся тучам,
Кланяйся, дочка, высоким дням закопанским.

Кланяйся птицам и людям, рощам, полянкам,
Кланяйся близким созвездьям, утру и ночи,
Это — твое, моя дочка, ты ведь гражданка
Нашей Республики юной — Польши рабочей.

Здесь я скитался когда-то (если б ты знала!)
Темной тенью по снегу, ночью кромешной.
Черная свора металась, глухо рычала,
Грозной шеренгой вставала — бойся, нездешний!

Во́роны мрачно кричали, били крылами,
Вихри в проулках кружили, веяли в очи.
Нынче — и трудно и скудно, завтра — в тумане,
Завтра все то же, что прежде,— шпик и заводчик.

Кланяйся Татрам, дочурка, доброе слово
Молви трудящейся Лодзи с горного склона,
Кланяйся с гор и нагорий, с Ока Морского
Добрым силезским шахтерам низким поклоном.

Збигнев Рыхлицкий (Польша)
Татры, мои Татры.

Кланяйся горным вершинам, гордому чуду,
Крикни приветное слово ясным рассветам,
Кланяйся, дочка, особо скромному люду.
Скромные люди велики. Помни об этом.

Вспомни учительниц сельских, что спозаранку
В школу спешат по дороге снежной и мглистой.
И типографских рабочих вспомни, гражданка
Новой Республики Польской — светлой и чистой.

Гёвонт высок, моя дочка. Видишь с вершины —
Реки истории мчатся, бурные реки.
Там, на горах, моя дочка, помни долины,
Помни средь скал, моя дочка, о человеке.

Помни о тех, что шагают гордо и строго,
Помни строителей Польши, люд благородный.
Скромный цветок возложи ты возле порога,
Там, где жил Ленин когда-то, друг всенародный.

Кланяйся Татрам, дочурка, Татрам могучим,
Снегу, кипящему солнцем, зорям татранским,
Кланяйся синему небу, кланяйся тучам,
Кланяйся, дочка, высоким дням закопанским.

Смолоду был я в том крае, мед пил и пиво,
Слушал я страшные сказки, грохот цимбала,
Шлялся, шатался по тропам, возле обрыва,
Там, где увядшие лавры бездна скрывала.

Кланяйся юности, солнцу горного лета,
Правде, труду, благородству, небу, простору
И возвращайся в Варшаву, полную света,—
Светлой, как день, моя дочка, чистой, как горы.

О НАС, ВЛЮБЛЕННЫХ

Это будет последний...

Мы — со всеми винами зримыми,
И с грехами, и просто с огрехом,
Мы колючие, непримиримые,
С кулаками своими драчливыми —
Все ж остались мы светом, смехом,
Майским счастьем, поющим по стрехам,

Утра солнечными разливами,
Зорькой в хвойном, лесном покое,
Поцелуем и звонким эхом —
Вот что мы такое.

И таких вот нас — познавших все беды,
Ослепленных гневом Последнего Боя,
Знавших тяжесть вины и ошибок пометы,
Трудных, горьких, суровых, уставших от зноя,—
Вот такими нас вспомнят в дни вечной Победы,
В дни великого счастья труда и покоя —
И так нас вспомнят, как вспоминают
Майской земли счастливые вздохи,
Или сквозь листья просвет на востоке,
Или тот луг, где дивчина гуляет...
Или тот стих... как там было вначале?
Что-то сердечное, что-то простое:
«Вижу в тумане лицо дорогое,
Вижу сквозь дали...»
Вот что мы такое.

ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

* * *

Жене

Пою о травах и озерах,
чтоб ты могла из-за тумана
тот явственный расслышать шорох,
тот сокровенный vox humana! [1]

Тиха трава, недвижны воды,
незыблем сумрак полусонный.
Лишь иногда под эти своды
взметнется голос окрыленный.

Когда тревожно даль сверкает
и все хоры смолкают мира,
поэта голос не смолкает,
поет взволнованная лира.

Тот голос чистый и печальный
все так же трогать душу будет,
покуда мир сей изначальный
извечный холод не остудит.

И как ни слабы звуки эти,
и как бы робко ни звучали —
в них весть о солнце, о рассвете
большого дня, его начале.

[1] Глас человеческий *(лат.)*.

Ах, мука вечного стремленья,
как сердца ноющая рана:
поймать строкой стихотворенья
большое эхо — vox humana.

ИКВА И Я

Я:

Поток бурливый, непостоянный,
откуда мчишься, благоуханный?
С вербою сонной, низко склоненной.
играешь пенной волной зеленой.

Иква, ах, Иква, тихим рассветом
грудь твоя дышит вербовым цветом,
вьешься в долине лентою синей,
где же с ним снова встретишься ныне?

И к в а:

Нет, позабыл он ко мне дороги,
что ему речки лепет убогий?
Вал Океана ему грохочет,
но тороплюсь я, мчусь дни и ночи,
чтобы увидеть вещие очи.

Я:

Очи угасли, нет уже тела,
лишь череп голый остался целым,
прах подобрали, кудри сложили
и схоронили в дальней могиле.

И к в а:

Мчусь, тороплюсь я, лентою вьюсь я,
может, домчусь, ах, может, домчусь я!
Со Стыри на Припять, на Днепр и в море
домчусь и кинусь в ноги со взгорья.

Но кораблем он плывет летучим,
он с завещаньем уходит к тучам,
пока, тоскуя, лес обогну я,
пока с плеч ленты узлы сорву я,
не догоню я, не догоню я!

Не колыхать мне его печали,
как в детстве волны челн колыхали,
между осокой, повитой мраком,
метили в тьме русалочьим знаком.

Ах, колыхала я колыбельку,
ах, колыхала зыбку-постельку,
лик отражала с гордой печатью,
а ныне буду гроб колыхать я.

Рощей, осокой плыть мне далёко,
а он умчался в небо высоко,
пока спущусь я, освобожусь я,
ах, не домчусь я, нет, не домчусь я!

Я:

Нет, не догнать ни ветру, ни рекам,
что там осталось от человека?
Хрупкое тело испепелится,
дух воссияет, освободится.

Ему навстречу думал бежать я,
чтоб стал звездою во тьме сиять мне,
чтоб мне ответил песней надводной,
песней нескорбной, песней свободной.

Прежде чем встанет из глуби тесной,
Из круга света еще не вынут,
Как Люцифер он, как князь небесный,
Зыбкою тенью мелькнет, чтоб сгинуть.

Тщетно ты стоном тревожишь степи,
нет, не догнать нам ангела в небе,
нет, не догнать нам звезды за тучей,
наш путь зыбучий, его — летучий.

Корабль воздушный, плывет он в дали,
оставив землю, ее печали,
журчишь ты тщетно, зову я тщетно,
уж не успеть нам, нет, не успеть нам.

Уже летит он, ширококрылый,
уж облаков он раскрыл ветрило,
звездою бледной тает над нами
и исчезает за облаками.

* * *

Побудь со мною, песенка,
В старости, усталости.
Разгладь мои морщины
Легчайшими перстами.

Побудь со мною, слово,
Останься, звук мотива,
Чтоб в годы ожидания
Мне не было тоскливо.

Роса осядет каплями
На каменистом выступе,
А на лице мелодия
Вдвоем со словом выступят.

Давным-давно в Подгалье
Напевы те звучали.
Побудь со мною, песенка,
Чтоб не было печали.

Сперва споем немного,
Потом обсудим это.
Побудь со мною, песенка,
До самого рассвета.

Всю ночь звезда высокая
Мне не дает покою.
То не звезда мешает —
Мешают грусть с тоскою

О жизни промелькнувшей,
О юности спаленной,
И о пахучем сене,
И о луне зеленой.

В старости, в усталости,
Бессонной ночью долгою,
С косой своей певучею
Идет косарь под окнами.

До самого рассвета
Поет и повторяет,
А на рассвете травы
Косою ударяет.

Побудь со мною, песенка,
В пустыне еженощной,
Пока меня не скосит
Косарь рукою мощной.

МЕТЕЛЬ В ЛОДЗИ

Бывает так, когда сотрешь пастель,—
Весь город словно белый лист бумаги.
Он снегом стерт, и снежная метель
Заиндевелые колышет флаги.

Но молнии уж озаряют снег,
И, этим новым светом озаренный,
Приветствовать выходит человек
Над снежной Лодзью красные знамена.

МИР

Он не слетит, как голубица,
Небесную покинув ширь,
Он молнией не загорится —
Над миром мир.

С ростками роз он не пробьется,
Не явится на звуки лир,
Дождем весенним не прольется —
Над миром мир.

Из общей воли он родится,
Простых людей святой кумир.
Борьбою нашей утвердится —
Над миром мир.

Придет, когда, сомкнув колонны,
Сзывая всех на братский пир,
Провозгласят свой зов мильоны:
«Да будет мир!»

ИЗ ЦИКЛА «СВИТОК ОСЕНИ»

*

Вот и скрипки осени запели
и слились с дыханьем ветра чистым,
и шатер небес невыразимо
вторит скрипкам эхом золотистым.

Не скажу: в их музыке нет смысла,
как сирена, песня эта
рассыпает высохшие листья,
как в бетховенских квартетах.

Листья струны задевают,
сотрясают тихий воздух
и все падают с шуршаньем
в пруд, прикрытый тиной звездной.

Инструменты под водою,
глухо лопаются струны;
слушай, молодость, как осень
кружит листья над землею.

*

Рассвет сентябрьский, запах дыма,
За Вислой — отблеск позолоты,
И к солнцу мост несокрушимо
Вздымает новые пролеты.

Таится мгла в лощине дальней,
Шатер цыганский всплыл за нивой,
Кузнец стучит по наковальне,—
Чудесный день поры счастливой!

Дыханьем слив созревших тянет,
На рынок тащится телега.
Не верь, что вот зима нагрянет,
Мы отдохнем еще до снега!

*

Этим скрипочкам весело — они молоды,
эти скрипочки грустны — им весело,
а в стихах моих время запуталось —
куролесило, куролесило.

Этой песне грустно — утешится,
этим строчкам грустно — не минуется,
поздновато они сочиняются —
с молодыми время милуется.

Эта песня со скрипочкой стакнутся,
не расстанутся, не урезонятся,
а мои стихи запоздалые
не угонятся, не угонятся...

*

Да будет посвящен остаток дней моих
Тому, что станет вашим счастьем, внуки!
Лишь правде до конца всегда служи, мой стих,
Как тетива натянутая в луке.

Пусть стрелы слов моих, взлетая в небосклон
И грудь земли пронзая при паденье,
Расскажут ей, как я в нее влюблен,
Как я служил ей с самого рожденья.

О человек! Пусть каждая строка
Моей любви к тебе скалой взнесется,
И пусть над нею времени река
К материкам грядущего пробьется.

И пусть слова мои на стенах тех домов,
Что в дальнем будущем украсят всю планету,
Расскажут всем, что знанье мудрецов
Куда беспомощней предчувствия поэта!

*

До прихода весны
не уходят морозы,
и в лесной тишине

то ли хвоя сосны,
то ли ветви березы
шелестят что-то мне.

Словно скрипка поет
меж холодных дерев
этот тихий напев,
этот новый напев,
что неслышимо зрел
и услышан, созрев.

Зарываюсь
в сугробы листвы не спеша.
Сквозь осенние листья
узнает душа —
серый день надо мной
или сумрак ночной
в темноте, в тишине
бесконечной, лесной.

Руки я простираю
во сне.
Просыпаться не будем.
Знаю, что существую
в море нежности
к людям.
Ничего больше в мире
не надобно мне.

*

Что здесь останется? — Мой род,
немного слов, немного снов
да голод счастья — в свой черед
из них поэт родится вновь.

Останется пожатье рук,
улыбки свет, забытый взгляд,
воспоминанье давних мук,
и старый лес, и старый сад.

Останется мой старый дом,
весь в пене тополей забор,
кладбищенская яма, холм
да над могилой птичий хор,

да над верхушками осин
руно небес, да в тишине —
послушай... тише...— звук один,
что здесь известен только мне.

ТАКОГО ЖРЕБИЯ НЕ МИНУЕШЬ...

Такого жребия не минуешь,
Такой — отчаян и отраден,
Такой судьбы не перелицуешь —
Ты — Ганимед и орлом украден.

И должен ты лететь сквозь тучи,
И должен ты развернуть очи,
И должен ты не звездой падучей —
Звездою вечной светить из ночи.

И горлу тяжек воздух вышний,
И лёт нелегок, и сердцу трудно,
И на Олимпе слезы излишни:
В душах богов — безлюдно.

* * *

Колосья поникшие
Колосья стоящие гордо
наравне с облаками плывущими на горизонте
Колосья — как спины лыжников прыгающих
с трамплина
Колосья овса — как страусовые перья
Колосья — как толпы испуганных
сдающиеся доверчиво
Колосья смерти
Колосья жизни

Завтра будет жатва

* * *

Счастье — что видишь голубую кружку
счастье — что видишь красную зубную щетку
счастье — что видишь зеленую пасту
в тюбике белом

Дети в школу бегут
рыжие черные
русые
топочут по тротуарам
точно кролики точно ежи

Счастье — что знаешь как топочет кролик
счастье — что знаешь как еж топочет
счастье — что знаешь как топочут дети

твои
и дети твоих детей

В школе учительница говорила:
чистите зубы
А зубы сгнили и выпали
Это тоже счастье

ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР

Ночь. И вино. Меня почти что уже нет.
Лишь чувствую еще под кожей пульс часов,
что гонят кровь мою, как волны.
Слегка заржавев, чуть скрипит пружина.
О молодости думаю — проходит
или прошла, а я и не заметил?
И, напрягаясь из последней силы,
смотрю в бельмо оконного стекла...

Я отдал жизнь свою живущим ныне —
они меня дополнят и премножат.

Один сейчас в Париже — спит в холодной
убогой комнате гостиницы убогой,
во сне мотая черной головой:
ему все снится голая натура,
по памяти набросанная им
при свете тусклой лампочки высокой.
Его все жжет огонь, во мне угасший,
и плачет он, и мать зовет во сне.

Вот тот, который все создать сумеет,
чему придать я форму не с у м е л.

Второй — он здесь. Он спит тяжелым сном.
усталый, грязный, на руках мозоли,
и сон его ничто не потревожит,
лишь вздрагивает он порой едва.
Все думает он об одной девчонке,
которая живет через дорогу.
А завтра должен он вставать чуть свет,
когда холодной мглою мир укутан
и все еще от сна слипаются глаза.

Вот тот, который сделает все то,
чего по лености мне делать не х о т е л о с ь.

А третий — самый юный, самый младший,
он спит в своей ночной рубахе длинной
с другими вместе, в общей спальне их,
и никаких не видит сновидений,
а засыпая, думал о стихах,
о сабле, о коне и верном сердце,
готовом к подвигу, о бедных людях,
о людях вообще, которые ему
хотя и серой кажутся толпою,
но он на самом деле любит их.

Вот тот, который запросто осилит
все то, о чем и думать я не с м е л.

. . .

Ф Е В Р А Л Ь

Помнишь
нас пушистым снегом
засыпáло

и сказал я мама мама
что ж так мало

шоколад молочный был
еще — печенье
и цветов японских в блюдечке
цветенье

марки старые
журнальные картинки

и на рынке
украинские кринки

сердце билось сильно билось
и устало

все шепчу я
мама мама
что ж так мало

* * *

Поэт, не поддавайся боли.
Тропа печали — не твоя,
И золотую гриву поля
Не уничтожит спорынья.

Пускай плевелами могилы
Нам заметает и листвой —
Ведь приозерье сохранило
Наш след, горячий и живой.

Опустятся деревьев руки,
Межи на нивах зарастут,
Но нашей вечной песни звуки
Валы морские понесут.

СТАРЫЕ ЖЕНЩИНЫ

Три женщины старых
За столом накрытым
За скатертью белой
Ждут звезду Христову

Молодым не ждется
Водку поглотали
Сладку рыбу съели
Кости покидали

А одна из женщин
Над пустой тарелкой
Это — мол — для сына
Он сбежал от жизни

А вторая молвит
Мой за океаном
Платье вот прислал мне
Встала нынче поздно

Третья им на это
Я старая дева
Товар нынче редкий
Некогда привычный

И облатку делят
Над скатертью белой
Молодежь конечно
В уголку смеется

А женщины тянут
Волоконца сена
Гаданья гадают
Хоть чего и ждать-то

Все за деток наших
За детей взроптавших
Или нерожденных
Или смертью павших

Три женщины старых
За столом накрытым
Пьют вино густое
Ждут звезду Христову

ВЛАДИСЛАВ БРОНЕВСКИЙ

ПИОНЕРАМ

Сердце в груди не может вместиться —
грудь рассеки, коль она тесна!
Если мы крови будем страшиться,
придет ли победная наша весна?

Если песня не брызнет с кровью,
будет песней нам залпов свист.
Зубы стиснув и сдвинув брови,
в боевые ряды становись!

Топчут ногами, бьют прикладом?
Хлынула кровь, заливает рот?
Стену лбом прошибешь, если надо,
на Бастилию вспомнив поход.

Молотом в грудь? И грудь не треснет!
Для победы сил не жалей...
Будет радость, и будет песня,
будет жизнь веселей и светлей.

ЛИСТОПАДЫ

Всю-то жизнь срывался я и падал,—
ветер с привязи в груди моей рвется,
удержать меня лишь листопадам
в черных пальцах ветвей удается.

Я тревогою шумной упился,—
тайным ядом поила щедро,
оттого и петь я разучился
и кричу лишь криками ветра,

оттого по улицам черным
ввечеру брожу поневоле —
влажный тротуар ведет упорно
в сумрак влажный, что насытит болью.

Губы жжет ацетиленом слово,
лютой лихорадки не избуду,—
грозной летаргией околдован,
изгнанный тревогой отовсюду.

Нет исхода, нет исхода, нет исхода.
Дольше, дальше мне идти в вечерней хмури.
Я — кружащий ветер непогоды,
я — листок, что затерялся в буре.

Вижу лишь туман перед собою,
и глаза болят, и сердце бьется чаще.
Точно спирта пламя голубое,
ты горишь во мне, мое несчастье.

Дольше, дальше мне тащить страданье,
вечер в сумрак за волосы тянет,
и слова летят со мною вне сознанья,—
призраки мои туман вечерний манит.

Всю-то жизнь срывался я и падал,—
вихрь на привязи в грудной метался клетке,
а ноябрьский вечер счастье прятал
в нагие ветки.

Сквозь меня летит в круженье, в свисте
листопад минут — мое былое...

Это — лишь осенние листья.
Это — пахнет землею.

ТОВАРИЩУ ПО КАМЕРЕ

Дверь окована, заперта дверь,
и решетка в оконце под сводом...
Здесь надолго ты заперт теперь,
здесь пройдут твои лучшие годы.

Должен стиснуть зубы, и ждать,
и мужаться душой непокорной...
Что же ночью не можешь ты спать,
все шагаешь по камере черной?

Отчего твои пальцы впились
в эти прутья решетки железной?
За окном настоящая жизнь,
и ты рвешься на битву из бездны?

За решеткою — даль без конца,
так и тянет в нее окунуться!
Слышишь, слышишь посвист свинца,
слышишь, слышишь гул революций?

Будь же крепок, мой друг боевой,
не страшись окружающей ночи,
все восставшие братья с тобой,
вместе с партией нашей рабочей.

У врага еще есть динамит,
и штыков, и винтовок немало,
но мы знаем: он будет разбит,—
и низвергнем мы власть капитала.

День весенний настанет, поверь,
воцарятся и радость и счастье,
распахнется железная дверь,
распахнем ее сами — настежь!

14 АПРЕЛЯ

Памяти Владимира Маяковского

По ту сторону радости
ждут усталость и смерть.
Всею жизни громадой
их значенье измерь.

Но, из сумрака вышедши,
прогремит оратория,
в небо взвитая выше, чем
черный дым крематория.

Пусть нам слово, как радий,
прожигает сердца.
Слава павшим собратьям,
нам же — путь без конца!

ДРУЗЬЯМ-ПОЭТАМ

Наша сила —
в сплоченности,
ниспровергатели:
наша песня железна,
железны ряды.
Мы — взломщики совести,
мы — сердец поджигатели,
словом, рецидивисты
ярости, бунта, мечты.

Стих наш — как Прометей:
хоть к утесу прикован,
свет он в бездну безвременья
все-таки шлет.
День придет,
день придет,
и зажжем мы Вселенную словом,
пусть тюремщики кляпом
заткнули нам рот.

Стих наш, вооружись,—
и величье и славу
завоюет в боях
наших слов легион.
И тогда повсеместно
наш стих величаво
утвердится прочнее,
чем римское право,
и превыше, чем Вавель,
возвысится он.

ЧЕСТЬ И ГРАНАТА

Лезут фашисты. Прут марокканцы.
Грозно кулак вздымается сжатый:
небо Мадрида в кровавом багрянце.
Честь и граната! Честь и граната!

Честь и граната — доблесть, и сила,
и обновляющаяся отчизна...
Сжатый кулак, чтоб верней сокрушил он
черные батальоны фашизма.

Рвутся снаряды в небе Мадрида,
пахнут знамена кровью и гарью.
Честь и граната! Слава убитым!
Ружья солдатам! Arriba parias![1]

Вышли литейщики и рудокопы,
вышли кастильские хлебопашцы
в битву за фабрики и за копи,
в битву за землю, в битву за пашни.

Вышли на битву люди свободы,
вышли во славу земли испанской,
чтобы не быть ей, как в прежние годы,
вновь королевской, княжеской, панской.

Бьются мадридцы в кровавой пене,
и гвадаррамцы, и самосьеррцы...
Пролетарии не падут на колени,
стоя глядят они в очи смерти.

Республиканцы, разите вернее.
Братья испанцы, слушайте брата:
я вам бросаю за Пиренеи
сердце поэта — честь и граната!

МАГНИТОГОРСК, ИЛИ РАЗГОВОР С ЯНОМ

Сидим вместе с Яном в тюрьме, в Ратуше,
в тесной камере номер тринадцать.
Здесь нас держат три дня подряд уже.
До чего-то им надо дознаться.

[1] Поднимайтесь, рабы! *(исп.)*

Пол — подушка, на ужин — корочка...
Тут найти опору сумейте-ка!
Мчит ко мне поэзии облачко,
к Яну мчит сама диалектика.

Кто-то стонет. Кто-то похрапывает.
Вонь. И насекомые бегают...
На стене углем нацарапано:
«Да здравствует забастовка пекарей!»

Я-то что? Мне все это — шутка!
Хоть на целый месяц засяду.
А у Яна — катар желудка,
да к тому ж ему шесть десятков.

А какая там диалектика,
если болит живот...
Даже лучшего теоретика
со свету боль сживет!

Только Ян — из железа, истинно!
Хорошо, что вздремнул опять...
А над глобусом его лысины
начинает светлеть. Скоро пять.

Утро — серым комочком в горстке.
Ян вздыхает с улыбкой доброй.
«Знаешь, парень, в Магнитогорске
нынче в строй вступают две домны...»

Еле полз рассвет мутно-грязный,—
за улитой и то не угнаться! —
а я думал: «Как здесь прекрасно,
в гнусной камере номер тринадцать!»

И — где Рим, где Крым, а где Польша...
И пылают в тюрьме этой польской,
согревая душу все больше,
домны Магнитогорска.

ОРУЖЬЕ К БОЮ!

Когда придут поджечь твой дом,
ту Польшу, где родился,
когда железный грянет гром,
чтоб враг в ней утвердился,

когда под дверью ночью встанут
и колотить прикладом станут,
неужто не проснемся мы с тобою?
Нет, встанем у дверей.
Оружье к бою!
Крови — не жалей!

На родине — бичи и язвы,
и враг не зачеркнет их счет,
но в крови мы откажем разве?
Из сердца — с песней потечет.
Что из того, что мы не раз вкусили
тюремный хлеб, неправый суд?
Те, кто на Польшу руку заносили,
живыми не уйдут!

Поэт, сердца строкой толковой
воспламеняющий не раз,
сейчас поэзия — окоп стрелковый,
призыв, приказ:
«Оружье к бою!
Оружье к бою!»
Припомним, что сказал Камбронн,
и, если суждено судьбою,
то здесь, над Вислою, умрем.

WARUM?[1]

Нет больше слов. Ни одного...
А было их — не сосчитать.
Откуда ж радость? Отчего
так страшно за нее опять?

Опять, как много дней назад,
трепещет сердце ночь и день,
и слезы блещут и кипят,
как наша польская сирень!

И нежность вновь. И моря шум.
И молчаливый лунный свет.
На шумановское «Warum?»
«Люблю...» — чуть слышный твой ответ.

[1] Почему? *(нем.)*

И нужно ль было столько мук
и столько вспышек грозовых,
когда прикосновенье рук
так много значит для двоих?

КАЛИНЕ

Нет, я рыдал
не о тебе той ночью!
И ввысь бросал двустрочья,
чтоб стих, как месяц в небе, встал воочью.

Быть может,— слышишь ли меня, калина? —
над ним хоть кто-то погрустит немного!
А я, собрав все беды воедино,
пойду, ногами побреду босыми
куда глаза глядят... Пойду глухими
путями... Не твоей — другой дорогой.

Все отошло. И я об этом плачу.
Но что-то с нами навсегда... Иначе
стихи пишу, ночей не сплю совсем —
зачем?

АНОНИМ

Как рокот созвучий, как запах шальной
нависшей над Вислой сирени,
как счастье, плывущее сонной волной
сквозь день мазовецкий весенний.
Как то, чего нет еще, что — как намек
в порывах робко-тревожных
растет, как подснежники, как вьюнок
у ног берез придорожных,
как зелень ликующим майским днем,
как паводка буйный подвиг,
как ласточки, что бороздят окоем
по две...
Как вольный, широкий полет орла,
как светлая власть над Словом —
такой она в сердце моем жила
и грузом легла свинцовым.

СЧАСТЬЕ

Со встречи той вечерней
мне кажется все чаще,
что счастье мое, верно,—
зеленое, как чаща.

Пусть вьется эта зелень
ночей моих бессонных,
пьянит меня, как зелье
очей твоих зеленых.

Пусть я на дне пребуду,
где плавает в молчанье
чешуйчатое чудо
с зелеными очами,
зелеными до дрожи...
Где все на сон похоже.

Пред сном, хоть по ошибке,
прочти придумку эту...
Что — счастье?..
Дар улыбки
взамен на дар поэта.

МАРИЯ

Картофель делишь бережно и строго,
а ум уже другой заботой занят:
из лавки — счет, на обувь — хоть немного...
Нет, недостанет...

И снова к добрым ты идешь знакомым.
(Куда теперь их доброта девалась!)
— Вот — мыло... Что? Не нужно?..—
И пред домом
другим стоишь, преодолев усталость.

Вечерняя работа...— Кофе чашку? —
Ты подаешь... Минутка перерыва.
Стоишь и улыбаешься с натяжкой,
слеза из-под ресниц блестит пугливо.

А ночью, может быть, придет гестапо,
Заплачет дочка... Вскочишь ты мгновенно,
и будут шарить грязные их лапы
в моем столе... Во всем, что сокровенно.

Неужто все в тебе война убила?!
Я — далеко... Но слышишь ли, родная,
что я в порывах ветра с прежней силой
к тебе взываю?..

Я И СТИХИ

Думают, стихосложенье —
как солдатское «ать-два»,
маршируют отделенья,
строятся в ряды слова.

На стихи давно б я плюнул,
но не в силах перестать:
черт какой-то мне подсунул
надоевшую тетрадь.

И у черта план роскошный,
чтоб такое я загнул,
чтобы небу стало тошно
и чтоб лопнул Вельзевул.

Вот я и веду бессменно,
закрепляя каждый миг,
из скитаний по вселенной
свой космический дневник.

В прошлом — Лондона туманы,
недоснившиеся сны...
Как на эти все романы
поглядеть со стороны?

И другое есть в сознанье,
но охватывает страх
вплоть до сердца замиранья
думать о таких вещах!..

Есть мучительное право
знать, что мир зажат в тиски,
вспоминать дано Варшаву
до мучительной тоски.

Кровь и гибель в миг тоски я
словно вижу наяву.
Именем твоим, Мария,
я бессонницу зову...

. . . . . .

Думал я: в дыму стеная,
Старый город пал... И вот
плачу я... Прости, родная!..
А отчаянье растет...

Но, беспомощный, неловкий,
все в Леванте, у воды,
обучаю маршировке
стихотворные лады...

Это мне не нужно лично
и не нужно никому.
Родина ведь безгранична,
сердцу нужды нет в дому...

ПОКЛОН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Кланяюсь русской Революции
шапкой до земли, по-польски,
делу всенародному,
советскому, могучему,
пролетариям, крестьянам, войску!

Только шляпа в поклоне не вельможная:
над околышем нет перышка цапли!
Это ссыльная, польская, острожная,
шлиссельбуржца Варынского шапка.

В холопах мы жить не охочи,
к царям не ходили с поклоном.
И с плеткою царской кончено,
подняться время пришло нам.

Кланяюсь праху Рылеева,
кланяюсь праху Желябова,
кланяюсь праху павших
борцов за народное счастье.

Мавзолей Ленина прост, как мысль.
Мысль Ленина проста, как деяние.
Деяние Ленина просто и велико,
как Революция.

Кланяюсь могилам Сталинграда
и могилам до Берлина от Москвы,—
после лет осколочного града
в Завтра мы по ним мостим мосты.

И на русской и на польской почве,
кровью политой и так любимой нами,—
жизнь в цвету: уже раскрылись почки
у могил с родными именами.

ОБ ОТЦВЕТАНИИ

Отцветает все, отцветает
и — словно тает.

Вырастает все, перерастает
и — пропадает.

А я и вырос, и перерос,
и все, что нес с собою,— донес,
не слезы, что камней тяжелей,
нет! — совесть свою вместе с жизнью своей.

О ШУМЕ

Если б стихов я писать не умел,
может быть, лес еще краше шумел,
может быть, этот горный ручей
вдруг озарил меня блеском речей,
тайны раскрыл бы сердечные,
светлые, мрачные, вечные.
Но мне не слышен голос ничей —
сам я журчу, как ручей.

АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Принес я нынче с могилы Анки
анютины глазки.
И снова будет темно спозаранку
и день без краски.

Хотел я сказать вам, пани доктор,
что так мне легче,
а вы мне: скорее закройте окна,
прохладный вечер.

А там тепло ли, в гробу сосновом?
Дождь, непогода.
Больница. Болен. И снова, снова
жить неохота.

Сломаю градусник. Что в лекарстве?
Оно не лечит.
Но гляну вдруг: анютины глазки,
и словно легче.

Что ж, Анка, пока анютины глазки
еще белеют
веночком смерти, любви и сказки,—
я поболею.

* * *

Бумага белая лучше
стихотворения скверного,
плохого стиха ничто не улучшит,
и дело первое:

не пиши без уменья, не трать сил попусту;
а во-вторых — не пиши, если нет повода,
и не волнуешься, и несет тебя попросту
всяческих пустяков вода;

брошен в нее ты — и выплывай.
Длиннее писать у меня нет повода.
Бывай!

* * *

Стихи все короче,
все меньше дней впереди...
Мой ветер юный, дни и ночи
гуди!

Я вспыхну мгновенной искрой,
если нужен кому этот дар.
Вей, мой ветер, шалый и быстрый,
несущий пожар.

Стихи не угаснут вовеки,
сколько б ни кануло дней,
но ты, но ты, мой ветер,
вей!

ДУБ

Я иду, и на ходу меня шатает.
Жизнь с меня, как лист осенний, облетает.
Что за лист? Дубовый ли, кленовый?
Все равно не вырастает новый.

Что ж? Любви немного было,
Было и добро и зло,
Много гнева, нежности и пыла —
Все прошло.

Листья, листья рвутся, и на каждом —
Имя! Имя — на любом листке.
Назови торжественно и важно
Имена родные те.

Нет! Осенний ветер
Снова принимается качать
Цепкие, нагие ветви.
Больше мне счастливым не бывать.

Голый ствол один белеет,
А над ним — метели белый клуб.
Ну так что ж! Смелее!
Это я — тот дуб.

ЮЛИАН ПШИБОСЬ

ОТЪЕЗД

Ты вновь сомневалась и вновь доверяла.
(Каркали шлагбаумы — тревожные вратари...)
И вот
под конструкциями из стекла и металла
он вырос, состав,
эта явь,
что восстала превыше отчаянья нашего, в громе своих стопудовых колес.
Печаль расставанья
влачил паровоз.
В пределах вокзала вдруг раньше, чем надо, зажглись фонари,
в их свете, таком неглубоком, мир делался странным,
и он отстранился
и весь преломился в капели беззвучно разбившихся слез.
Твои очертанья меркли,
меж нами росло расстоянье.

И в это мгновение ласка прощанья, ладони моей отраженье — ладонь твоя — тенью, как в зеркале...

БЕГСТВО

Позади горизонты валились пластами, как пашня под плугом,
ввысь взлетали мосты наподобие огненных птиц,
и наш дом — для последнего разу — мне брызнул звездою.

Я над телом лежащим помедлил.
На широких равнинах — их пули со свистом сшивали тесней
и тесней,—
как восторгом, охваченный ужасом,
брат!
Я укрыл тебя ветвью.
Сжала жница тебя не серпом, не серпом тебя сжала, а саблей...
В землю торопится кровь.
В поле останется тело.
И погрузился я в ночь, у которой ни дна нет, ни сна нет.
И... необъятная,— вся —
стала земля мне одним
местом, запавшим
на объем человека.

ГЛАЗА УБИТЫХ

И все еще
до извести распоротое поле я вижу тут, где
длился бой за Реймс.
Еще железо кровоточит,
с разбитых танков ржавчина течет.
Белки земли глядят и там и здесь.

Засейтесь же, глаза земли, ресницами из
зелени засейтесь!
И тишина такая, точно
пишу травы первейшим стебельком.
Мертво пространство, и закрыты
его глаза, и даль глядит со страхом
на холмик свежий.
Над ним простор, в той битве уцелевший, в
отчаянье приподнял
единственное белое плечо —
березу.

ПОКА МЫ ЖИВЕМ

Орудия грохают, разъярясь,
небосвод оседает,
черный и отчужденный.
Безоружный, снарядами вдавленный в грязь,

молю о винтовке, как о милости осужденный,
и только кричу, объятый тоской,
из мертвых восстав над травою ржавой.
И тянутся, тянутся мои глаза
к мареву над Варшавой.

И вдруг врывается в мои уши
молчанье, подобное взрыву, и плач мужской.

В этот миг умирает мой брат.

С вами, убегающие,
с вами, к оружью бегущие,
прощаюсь в молчанье,
когда здесь, в убежище этом разрушенном,
из последнего вздоха еще живых
нашего гимна я воссоздал бы звучанье.

МАТЕРИК

Только глянул — пространство со взгляда, как с
якоря, сорвалося!
Эти вспышки зеленого дыма — зеленого пыла —
как помыслю листвою?
Вместо тени — дичайшая темень.

Ввысь скакнула земля.
Материк — в небосвод провожаю?
Так ударами сердца растрогать гранит этот дикий —
чтобы взмахом одним стал и плотью, и кровью, и жизнью.

...Будто гром его только что ранил.

Ничего — только волн начинающихся беговая кривая.

ГОРИЗОНТ

Может, туча из недр морских вынесет на горизонт
эту землю — как бурю, задержанную в полете.

Жду, покамест два вала ее двуединым ударом приблизят.

Здесь еще не ступала нога человека.
Эти лица — людей или глыб?
Ветер дует с начала творенья.

Юзеф Маркевич (Польша)
Первая любовь (бронзовая медаль).

Этот остров возьму под стопы и руками его повторю,
разрешу мирозданье по-новому,
сразу.
О, поднять бы, руками поднять ту воздушную линию гор,
чтобы стали они,
чтобы стали те горы двумя
запрокинутыми над головою руками.

РАБОТНИЦЕ

По цеху завода, руками взращенной аллее железа,
взнесенного к острому пику —
снаряду,
я шел и мечтания сваривал с силой,
решая, как слить их в единую форму
оружия.
Высчитывал:
пять молотов тяжких, как пять лет военных,
мне приговор времени
здесь произнесли,—
мое назначенье поэта отдали в руки рабочих, работниц.
Как ритмами тысячи рук, столь проворных,
я руку свою подниму?
Машины здесь в беге своем волю мою покорили.
Привет тебе, девушка — вставшая в искрах звезда!
Ты отняла руку от печи, мою от пера — ты пожала,
писал чтоб отныне я всеми пожатыми мною руками.

ОТЧЕТ ЗА ДЕНЬ

Когда думаешь ты: под небом высоким
на прозрачных воздушных страницах
он стихи пишет строчка за строчкой.—

Я блаженно земли увлажненной касаюсь,
словно эту клубнику сажаю в перегной вчерашних печалей,
свет на листьях трепещет, как хвост трясогузки...

Мой приятель, садовник босой, обернул
ноги первыми крупными листьями тыквы и свищет,
будто иволгу держит за хвост.

Только вот отдышусь — и распустится сразу сирень,
тонкий запах фиалок дозреет до вкуса клубники,
уже скоро смогу я нарвать молодого горошка...

Знаешь:
я каждый день
под небом высоким
пишу по стиху,
нет — сажаю цветы.

Ах, сирень под порывами ветра
кистями лиловых соцветий воздух, как краску, мешает.

МАЙСКАЯ НОЧЬ

Меня из сна взметнуло на поверхность яви,
как долгий вздох, огромный и ничей.
Звезда горела над руинами Варшавы,
как памятник, всех выше, всех нежней.

Дышали травы, воскрешенные печалью,
и звук едва-едва был слышен мне:
для нас, которые их смерть перемолчали,
пел соловей наперекор их тишине.

СЕСТРА

Доверил мир ту узость радуги, начальность чувства,
Безмерно расширяющим его
Кратчайшим формулам
Искусства,
Встающего во мне, помимо воли,
Подобно бунту
Пламени и боли.

(Оно буквально из того огня, который сжег
в пастушеском костре
мою двухлетнюю сестренку Юлию,
родившуюся ранее меня.)

Доверил мир не для того, чтобы поколебать,
Для разрушенья или для спасенья?

МЕЧИСЛАВ ЯСТРУН

ЛОДЗЬ

О весенней облаве крысиной
Объявляет плакат, грязен сток,
И лазури осколочек синий
Перебросил на запад восток.

Вдоль домов, как крысиная стая,
Пробегает тайком полумрак,
И нахмурились тучи, глотая
Лиловатый фабричный мышьяк.

Зелень чахлая серого сквера
И фонарь в переулке глухом.
За решеткой в саду, как пещера,
Неуютный под готику дом.

Колоннада дворца и бессильный
Взлет ступеней... Кулисы иль сон?
Фиолетовый отблеск красильни
В сточный ров, словно труп, погружен.

Здесь могла бы бесшумно спуститься
Леди Макбет. Кровь с рук не отмыть!
Стонет ветер, дым едкий кустится,
Мостовая — как пустошь средь тьмы.

Здесь бы мог пред толпой театральной
Доиграть свою роль до конца
Сам Шекспир и за стеклами спальни
Кануть очерком светлым лица.

Вот купцов именитых гробницы —
Словно вексель на жизнь и на смерть.
В нише нищая ночь приютится,
До зари ей дрожать и терпеть.

Все качаются тени бессильно
На заборе, а рядом с ним тут —
Словно древние парки в прядильне
Бесконечные нити прядут.

Каждый камень заплеван чахоткой,
Расползается дым, словно мор.
В трубах, в башнях, в громоздкости четкой
Очертания замков иль гор?

Здесь дрожат и машины и стены,
Напрягаются своды, как лук.
О пожаре завыли сирены,
Слышен грохот, и топот, и стук.

ПОЭЗИЯ И ПРАВДА

Поэзии должно, чтоб быть ей собою,
С правдой немолчный вести разговор.
А может, она неподдельной такою
Всегда и была с незапамятных пор?

Она не для тех, кто думать страшится,
Кто видит лишь солнце, без облаков.
Она фанфаронам не подчинится,
Она не пойдет на приманки льстецов.

О ты, что глядишь на меня, сожалея,
И судишь меня легковесно порой,
Знай — лживое слово гнетет тяжелее,
Стократ тяжелее плиты гробовой.

Увы, в неизменном твоем представленье
Я ниже всех тех, кто предшествовал мне.
Знай — каждое я подчиняю движенье
Несущей надежду бурливой волне.

Я знаю такую жестокую нежность,
Которой людская взаимность чужда,
И неукротимую знаю мятежность,
И песню, что отзвук находит всегда.

История счет свой ведет неуклонно,
Счет наших ошибок, деяний и слов,
И это не иней на рамах оконных
И не мимолетная тень облаков.

И скажет она: «Неотступно с тобою
Я все эти долгие годы была,
И я над твоей горевала судьбою,
И драму души твоей я поняла.

Я знаю, какие жестокие раны
Тебе нанесла эта злая война.
На смерть обреченный, ты снова воспрянул,
А мысль до конца оставалась вольна.

Твой голос сперва не был слышен, но вскоре
Пробился, прорвался и вышел из тьмы,
И хлынул, как воды, прорвавшие горы,
Будя и волнуя сердца и умы.

Порою блуждал ты, порой был виновен,
Но чистое слово звучало, как гром,
Проникнуто неистребимой любовью,
Горя Ифигении ярким костром».

ПОСВЯЩЕНИЕ

Если когда-нибудь способ открою
Словом сердца будоражить людские,
Прежде всего опишу вас, герои,
Чтобы все знали, вот вы какие:

Немногословные, скромные, честные,
Не было в мире проще людей.
Вас опишу, храбрецы неизвестные.
Вы ведь стесняетесь славы своей.

Это был год сорок третий, а стужа —
Жестче веревки, и суше, и туже.
Я и сегодня, глаза лишь закрою,
Тотчас вас вижу, зимы той герои.

Меж спекулянтов и трусов роенья,
Меж равнодушных, никчемных, безвольных,
Слышал я вашего сердца биенье,
Слышал я грохот свершений подпольных.

Взрывом гранаты и выстрела вспышкой
Вы из могилы на свет выносили
Город, который застыл, как ледышка,
И обучился законам насилья.

Новый закон краской на тротуарах
Вы написали тогда. Оттого-то
Слушала вас — вся в дыму и пожарах —
Польша сорок четвертого года.

То, что историк прославит томами,
То, что гранит монументов покроет,
Ночью глухой в предрассветном тумане
Вы написали надеждой и кровью.

На Свентоянской, в извилинах Фрета —
Где б ни сверкнуло восстания пламя,
Всюду летала смерти комета,
— Вам не воскреснуть! — смеялась над вами.

В каждом комке этой почвы кровавой,
В перекореженной этой панели,
Вы навсегда залегли под Варшавой,
Тысячи смелых навек онемели.

Я, не способный стоять на котурнах,
Произносить залихватские речи,
Без ухищрений литературных,
Павших за вольность — увековечу.

ЗАБОР

Весной трещал, грозой продраен,
Вдыхал туман под низким небом,
Глухой, угрюмый жар окраин
Наваливался ярым гневом.

В разгаре лето. Над забором
Бунтуют листья и побеги.
И вереницей едут в город
Углем груженные телеги.

Шли каменщики в клубах пыли,
Со сходки шли в тени ограды.
Впотьмах от спички прикурили,
Подставив спину звездопаду.

Шрифтом мостов, литым набором
Под гроздьями листвы нависшей
Ворчали буквы над забором
С дышащей мятежом афиши.

Ночь. Сад. Разнузданы планеты,
И теней сонные завалы.
Гляди! Безумец на штакете
Гвоздем скоблит инициалы.

Был день шестидесятилетья.
Черемуха цвела, как вьюга,
От пенья птиц дрожали ветви,
Пел дождь струной, звенящей туго.

Потом стреляли залпом. В раже
«Убит!» кричали из колонны.
И, пробивая стены вражьи,
Пейзаж пылал под небосклоном.

СКАЗКА

Младенцы, пареньки, приятели зверей,
Когда, чертя на тротуаре мелом,
Смеетесь, кто б посмел при вас шепнуть: резня!
Но уж стоит она, как ведьма над младенцем,

Иродиада с тазом крови, с полотенцем,
Провидя вашу смерть и сполохи огня
И слыша смертный крик в дыму осатанелом.

А там вас бросят в братскую могилу
Под барабанный бой комков земли,
Чтоб вы не встали и не испугали
Тех, что на стол, как пешек, вас бросали
И на восток в вагонах повезли.

И я штандартов шелест слышу снова,
Поет петух в распахнутую ночь,
В стеклянной зимней мгле поет, пророча.
Из далей, не заледеневших в слове.

ВО ВРЕМЕНИ

П о в е р и ш ь л и т ы м н е?
Так я писал на стеклах в белом инее,
который таял при моем дыхании.
Слились дыханья наши и ладони,
одни раскрыты нам цвета и линии.
Мы, как от пламени, белы с тобой от времени.
Тогда шел снег и были стекла в белом инее,
шел дождь, литье деревьев было синее,
была приказом власть твоя мне сонная.
А ты ресницами так прикрывала веки,
что под дождем, под низким этим небом
вдаль уходили вымокшие ветки
(в том парке, что сводил нас в тишине).
Я крался вдоль стены (был плющ на той стене),
как будто нес я некую скульптуру
(я нес умершую во мне).
Ты обняла меня холодными руками,
и все перевернулось вверх ногами,
и стал я подниматься над землею
(над темной от недавнего дождя).
И ты теперь несешь меня, который умер
для женщин тех, что не были тобою
и чьи глаза с упавшим этим небом
все вспоминают обо мне во мне.

ПЕНИЕ В САДУ

Однажды все уходит в равнодушные дали:
и то, что мы свершили, и то, что загадали,
первое прощенье, последнее прощанье,
дерево от тени, вода от стакана,
солнце от дерева, и лес от пола,
и та, что повинна, и та, что невинна —
грядущее (прошедшего другая половина),
как грошик, на ладони лежащий, слепя,
самим же собой и закрывает себя.

Так силой поверни его! Да будет свет!
Здесь птица, крылатое наречье свободы,
и та — лишь невольница грамматики пространств.
Из сада доносится ко мне ее пенье,
но сердце ее — это ветра дуновенье,
а ветер, превращающий в одно мгновенье
маслину в шелестящие страницы инкунабул,
он мог бы рассказать нам...
Но какую из фабул
выберет он, посланник пространств?

Свистящего рта его здесь не хватает,
и птицы, осмеявшей беспомощность речи,
холодного и жаркого дыханья земли.
В конце концов и атомы плотны не столь уж,
чтобы не вытекла из них, обреченно
скользя по листу,
слезинка вещей.

ЗИМА 1945

Все, кто молил об оружье в отчаянье,
Следя свою тень на стене каземата,
Все, кто молчал угрюмым молчаньем,
Безоружные, глядели в дула автоматов,

Все, кого долго руина давила,
В тоске, неразмыканной, как замок ржавеющий,
Сжимают винтовки, как руки товарищей,
Видят, как войско встает из могилы,

Или плачут от радости. А слезами такими,
Счастьем таким воскресить можно павших.
Но артиллерия крушит и пашет,
И высота постигается в дыме.

Там, где из-под синих снеговых полей
Смотрят могилы открытыми глазами —
Кончился бой. Зона без деревьев и знамений.
Вторжение в дым мотобатарей.

Все на Запад! Небо свободно дышит.
С каждым днем все шире просторы, а ночью
Танковые армии грохочут.
Тот, кто верит в землю, тот историю пишет.

КОНСТАНТЫ ИЛЬДЕФОНС ГАЛЧИНСКИЙ

ПРИВЕТ, МАДОННА

Пускай иные книжки пишут. Право,
пусть слава их гремит, как колокол стозвонный,
я книжек не пишу, и ни к чему мне слава,
привет, Мадонна.

Не для меня спокойных книг свеченье,
и солнце, и весна, и луг благовонный,
для меня — дождливая ночь, и ветер, и опьяненье,
привет, Мадонна.

Одни были до меня, другие придут позже,
ведь жизнь бесконечна, а смерть бездонна.
И все это со сном безумца схоже,
привет, Мадонна.

Это ты вся в калужницах желтых, святая,
в цветах моего детства — тиха и бессонна,
я веночек сплетаю, грязь росою смываю,
привет, Мадонна.

Не презирай венок поэта — лоботряса, а может, и трус,
которого знают редакторы и слуги закона,
ведь ты моя мать, и возлюбленная, и муза,
привет, Мадонна.

ПЕСНЬ О СОЛДАТАХ С ВЕСТЕРПЛЯТТЕ

Когда пришли лихие дни
и сгинули солдаты,
на небо строем пошли они,
солдаты с Вестерплятте.

(А в том году было чудесное лето.)

И пели так: — Для нас пустяк,
что ранены сегодня,
зато легко, чеканя шаг,
идти в луга господни.

(А на земле в том году была уйма вереску
для букетов.)

Стояли в Гданьске мы стеной,
покуда не были смяты,
теперь восходим в мир иной,
солдаты с Вестерплятте.

И тот, кто взор и слух напряг,
услышит отдаленно
в высоких тучах мерный шаг
Морского батальона.

А мы поем: — Превыше туч
живем, на солнце греясь,
пойдем гулять средь райских кущ,
ломая райский вереск.

Но если будет в дни зимы
земля тоской объята,
опять придем в Варшаву мы,
солдаты с Вестерплятте.

ПИСЬМО ИЗ ПЛЕНА

Любимая, доброй ночи,
глаза твои сон смежает,
стена моей одиночки
тень твою вспоминает.

Единственная на свете,
ну как твое славить имя?
Была ты водою летней,
была рукавичкой зимней.

Была ты счастьем весенним,
летним, зимним, осенним —
скажи ты мне доброй ночи,
пока не ушла к сновиденьям.

За что мне досталось все это —
жил как в преддверье рая?..
Ты — свет моего света
и песнь моя путевая.

ДВЕ ГИТАРЫ

За стеной две гитары
заиграли, запели.
А одна — трень да трень,
а другая — дон-дон,
та запела про Вислу,
а другая — про Волгу,
и похожи гитары,
как ладонь на ладонь.

За стеной две гитары
разом заговорили,
эта славила Вавель,
та вела о Кремле,
та — о красном и белом,
а другая — о красном,
эта пела о Польше,
та — о русской земле.

Эх, распелись гитары,
потекли через breги
дисканта — про березу,
баритоны — про клен,
что Адам с Александром,
что «Фарис» и «Онегин»,
та же самая тайна,
тех же струн перезвон.

Говорили гитары,
а в углу, в колыбели,
спал ребенок, а в печке
огонек подпевал.
Двое в темной беседке
о колечке шептались.
Светлый месяц на небе
тихо носом клевал.

РЕКВИЕМ?

Заглавие это фальшиво —
мертвые к нам взывают:
«Мы не уснем спокойно,
доколе не кончатся войны.
Доколе не спим в тревоге —
нас Ахерон не примет,
ибо не кончились войны,
пройдено лишь полдороги.
Ночь нам всегда поможет.
Коль месяц ваш мозг затуманит,
из-под земли, как рыбы,
всплываем, ибо нас манит
в дома заплывать, в совесть,
в самую боль, в самый корень;
и смерть шумит высоко,
как лес, как ветер, как море.
Мы с вас одеяло стянем:
что же вы дома сидите!
В глаза вам, братья, плюнем,
если вы нас предадите.
Если вы нас недостойны
и страх допустили в души —
не будете жить спокойно,
мор ваших детей задушит.
Слушайте, европейцы,
слушайте голос Варшавы:
места нет колебаньям,
жизни нет для слабых.
Лавры — смелых венчают.
Битвы за мир — суровы.
Видите — землю качает!
Это — погибших зовы.

Мы, мертвецы,— с вами,
за вас, живые, и с вами
Сталинград и Варшава
светят, как звезды ночами.

Нам не нужно симфоний,
реквиема и кадила,
для этого нынче не время,—
живому отдайте силы.
Скоро весть о счастье
вспыхнет над вашей планетой.
Мертвым — Великий Реквием,
живым — Великий Отдых».

ДИФИРАМБ В ЧЕСТЬ МИРА

Ты солнце в лютню мою вдохнул,
и не тебе ли
обязан младенец, что тихо заснул
в своей колыбели.

Это в твоих животворных лучах
земля зеленеет,
молодожены мебель влачат,
и всюду теплеет.

Студенты благодаря тебе
зубрят науки,
и так уверены в судьбе
и дед и внуки.

Ты покровитель библиотек,
наук любитель,
но также и старушек всех
ты покровитель.

Ты то, чем каждый день живут,—
талант и труд.
Враги твоих олив листву —
не оборвут.

С тобою будем до конца
мы.
Тебе верны наши сердца,
МИР.

СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ НА УГЛУ НОВОВЕЙСКОЙ УЛИЦЫ

По случаю воскресенья
шло их десятка четыре.
Один вздохнул внезапно,
другие на месте застыли.

Их восхитило что-то.
Луна осветила небо.
И в небо уставились, точно
сорока уставилась в ребус.

Луна — ведь их стихия,
восходы, заходы, все это.
Поэты, они такие.

Эх, поэты, поэты.

ПАСХАЛЬНАЯ НОЧЬ ИОГАННА СЕБАСТЬЯНА БАХА

Все семейство выехало в Гаген.
Я один во всем огромном доме,
меряю шагами галереи.

Мне забавны — отблеск позолоты,
пеликаны те резной работы,
облака, что мчатся в эмпирей,

Как люблю я тучи! И хмурый свет в округе.
Словно крепости. Или мои большие фуги.
Хорошо, когда нас оставляют в покое,
когда мы с Музы́кою — двое.
Словно лес осенний горит в шандале злаченом.

Сегодня пасхальный вечер. Звон откликается звонам.

О, нынче весело сердцу!
В старых шкатулках старые письма,
листья, засушенные когда-то!
Как славно перебирать давнишние думы.
О, праздничный час, серебристые шумы!
Золотые столпы вдохновенья! Кантаты!

В бархат зеленый одет,
шатаюсь по этим залам,
шагами лестницы беспокою.

О, еще до вечера времени пропасть,
чтобы мурлыкать, напевать, чтобы топать,
чтобы течь заколдованной рекою.

Темные, как ночь, портреты приветливы в залах,
посмотришь издали — они в тенях, как в покрывалах.
Забавно, что кто-то меня называет «мастер»,
говорят: в кантатах моих я небу диктую законы.
Как жаль, что с моим дроздом они совсем незнакомы,
ах, что это за дрозд — свистать он великий мастер!
Я многим обязан ему. И вам, облака и воды.
Тебе, теченье реки. Всем полным звукам Природы.

Гляньте на эти затейливые рисунки,
на эти кресла, где спинка резная,
на эти все золоченые штуки,
на клетки, где поющие попугаи,
на облака, летящие, как феллуки
под ветрами южного края.
Все здесь память, все напоминанье
обо мне, об Иоганне Себастьяне.

Говорят, что я стар. Как древние реки.
Что время из рук моих утекает навеки.
Да, много его утекло без пользы, я знаю.
Но, дьявол, пусть это так! Пускай велики утраты!
Еще, черт подери, существуют мои кантаты.
И не время меня — а я его доконаю!

Вот вернется семейство. Будет вечер пасхальный.
Отразятся дочери в глуби зеркальной.
И гости нагрянут — они у нас не редки.
Закусят они, выпьют степенно.
И ударит в струну пастушок с гобелена.
А потом будет ночь. Я скроюсь в беседке.

Ведь лучше всех скрипок моих,
на которых играл я в Веймáре,
и всех жемчугов, что хранил я в футляре,

чем фуги сынов моих, чем мечты и виденья,—
этот миг великого отдохновенья,

этот миг, когда видишь сквозь ветки и купы
небывалый, огромный, неистовый купол —
ВЕСЕННЕЕ ЗВЕЗДНОЕ НЕБО!

ЛИРИЧЕСКИЙ РАЗГОВОР

— Скажи, как меня ты любишь?
— Скажу сейчас...
— Ну?
— Люблю я тебя и на солнце. И при свечах.
Люблю, когда берет наденешь или шляпу. Или платок.
Люблю тебя и в концерте. И на перекрестке дорог.
В сирени. В малиннике. В кленах. В березовой чаще.
Люблю тебя спящей. Люблю работящей.
И когда ты яйцо разбиваешь так мило.
И даже когда ты ложечку уронила.
В такси. В лимузине. Вблизи. В дальней дали.
Люблю тебя и в конце улицы. И в начале.
И когда ты на карусели. И когда ты идешь пешком.
И когда ты расчесываешь волосы гребешком.
В море. В горах. В калошах. Босую.
Нынче. Вчера и завтра. И днем и ночью люблю я.
И когда ласточки прилетают весной.
— А летом как меня любишь?
— Как летний зной!
— А осенью, когда капризы, и всякие штучки, и тучки
на горизонте?
— Люблю, даже когда ты теряешь зонтик!
— А зимой, когда снег серебрист на оконной раме?
— О! Зимой я люблю тебя, как веселое пламя.
Быть у сердца люблю твоего. Близко. Рядом.
А за окнами — снег. И вороны под снегопадом.

ВАРШАВА

Кочевал я по странам,
по морям, океанам,
всех земель мне милее
по праву

та, что ночью приснится,
тихо тронет ресницы —
и, как в детстве, ты вскрикнешь:
Варшава!

Подмигнут нам, приятель,
звезды на Марьенштате,
лист в аллеях закружится
ржавый,

с Вислы ласковый ветер
пролетит — и навеки
ты пленен красотою
Варшавы.

Вот наш город,— взгляни ты,—
щит в бою не пробитый,
озаренный лучами
и славой.

К ней летят наши мысли,
сердце тянется к Висле,
сердце рвется к тебе —
Варшава!

ЭДВАРД ШИМАНСКИЙ

ГРЯДУЩЕЕ

Мы движемся, неудержимы, как завтрашний день,
нас тысячи тысяч, мы мир привлекаем к ответу.
Нам, славным, простым и разумным, неведома лень!
Мы движемся к свету!

Мы грудью раздвинем дома городских площадей,
не будет насилья, и самое слово забудут,
не будет на свете ни каст, ни границ, ни царей,
и строить кресты, и орудья, и плахи не будут.

Нам силу свою приходилось обидой кормить,
и солнце, взойдя, заходило кровавым пожаром.
Вот ясное утро — ну что ж, нам пора поспешить
и вышибить двери небес беспощадным ударом.

РАПОРТ

Изменив прежних лет многословью,
тишину и покой позабыв,
барабанной я выкрикнул дробью
речь пред воинством классовых битв.

Чтобы стал закаленней и старше
рядовых его новый отряд,
я играл лишь походные марши,
мелодичность в пути растеряв.

Не для славы и не для выгод
стих, прошедший сквозь сердце, — в крови:
прорывался он к вам, в нем был выход
моей ненависти
и любви.

КШИШТОФ КАМИЛ БАЧИНСКИЙ

ЭЛЕГИЯ О ПОЛЬСКОМ ПАРНЕ

Отняли тебя, сыночек, от мальчишечьего сна,
полили тебе, сыночек, очи кровью, что красна,
рисовали все пейзажи кистями пожаров,
вышивали море листьев виселиц кошмаром.

Землю выучить на память — так тебе сказали,
ты прокладывал тропинки тяжкими слезами.
Прятали тебя, кормили хлебом каменным тревог,
шел на ощупь ты, на ощупь вдоль стыдливейших дорог.

И с оружием, сыночек, выйти в ночь тебе пришлось,
и услышать, как таится в шепоте мгновений — зло.
Прежде, чем упасть, рукою землю ты перекрестил.
Пуля так тебя настигла, сердце ли разорвалось?

ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ

О Ч И Щ Е Н И Е

Не стыдитесь слез,
не стыдитесь слез, молодые поэты.

Восторгайтесь луной,
лунной ночью,
соловьиным пеньем
и чистой любовью.

Не бойтесь забраться на небо,
тянитесь к звездам,
со звездами сравнивайте глаза.

Восторгайтесь подснежником,
оранжевой бабочкой,
восходом солнца, закатом.

Сыпьте зерно голубям,
смотрите с улыбкой
на собак, цветы, носорогов и паровозы.

Спорьте об идеалах,
декламируйте «Оду к юности»,
доверяйтесь людям.

Наивные, поверите вы в красоту,
взволнованные, поверите в человека.

Не стыдитесь слез,
не стыдитесь слез, молодые поэты.

ЕСЛИ Б КТО УВИДЕЛ

Если б кто увидел мою мать —
в синем халате, в белой палате,
когда она дрожит,
когда она каменеет
с застывшей улыбкой,
с побелевшими деснами.

Она верила в бога лет пятьдесят,
а сейчас со слезами бормочет:
— Не знаю... не знаю...

Лицо ее — мутная большая слеза.
Ручки желтые складывает,
как перепуганный ребенок,
а губы у нее синие.

Если б кто увидел мою мать —
затравленного зверька
с выпученными глазами,—

тот...

Ах, если б я мог носить ее на сердце
и баловать сластями!

ПРИЗНАНИЕ

Вместо стольких голов
хотел им приделать
одну, но красивую, как башня собора.

Серой массе,
которая блестит
от обильного пота,
хотел я придать
единый облик.

Шел я, писал я,
чтоб заселить
белые пятна на карте
воображенья. И вот я столкнулся

с живыми людьми,
их глаза иногда наполнялись слезами,
а в груди
сжималось и разрывалось сердце,
лишь голова была немая
и обнаженная, как молот.

Общий язык мы не нашли.

Сейчас я учусь говорить
сначала.

ПРОВОЖАЮ ГЛАЗАМИ

Тучи ходят над домом,
где течет моя жизнь.

Черные, ворча, переваливаются
над землей,
светлые — ускользают
бесследно, беззвучно.

В жизнь врастаю корнями
все шире и глубже,
и, нестойкий, провожаю тучи
глазами,
и еще сильнее люблю эту землю,
истоптанную людскими подошвами.

СЛЕЗА

Посвящаю матери

Уходит день за днем,
и память избегает

годов тех, что прошли
так, как проходит вздох,

хоть брызнули из них
и кровь и ужас.

И только иногда
тень возвращается

и на глаза и грудь
падет ручьями слез.

И смоет повседневную
вину людскую.

И снова мы бежим
сквозь зону света.

День перед нами. День
взлетает шумной птицей.

День поглощает тьму
и светит, как звезда.

СВИДЕТЕЛЬ

Я здесь, ты знаешь,
но лучше ко мне
не заходи без стука,
не то увидишь, как я
сижу и молчу
над белой бумагой.

Разве могу я
писать о любви,
все еще слыша крики
поруганных и убитых?
И разве могу я
писать о смерти,
завороженный глазенками
детишек?

Лучше ко мне
не входи без стука,
чтоб не смутить безъязыкого
растерянного свидетеля
любви,
побеждающей смерть.

ОТЕЦ

Проходит сквозь сердце мое
старый отец.
Он расчетливым не был,
не складывал
зернышка к зернышку,
не купил себе домика
и часов золотых не купил,
ничего не скопил.

Жил, как птица,
поющая
день за днем,
но скажите,
разве скромный чиновник
так может прожить
много лет?

Он проходит сквозь сердце мое,
мой отец,
в старой шляпе,
и веселый мотивчик
насвистывает.
Он уверен,
что рай обеспечен ему.

КОРНИ

Светочувствительные
одноглазые
эстеты,
произнося Ван-Гог,
пишут солнце,
задевают банальную ветку
цветущего миндаля.

А я вижу его в ночи.

Вижу его.
В Боринаже,
под землею,
огонь

пожирает людей,
их глаза,
их бьющееся сердце,
их язык;
в замурованном штреке
он клубится.

Небо высоко.
Еще выше возносится
крот без единого ока —
Ван-Гог —
и притрагивается к свету.
Когда я гляжу на подсолнухи,
думаю о корнях.
Они погребены в земле,
стремятся к солнцу,
не зная сияния
его короны.

Когда в центре ночи
незнакомый человек
говорил мне
«добрый день»,

я предчувствовал его.

ВОСПОМИНАНИЕ СНА 1963 ГОДА

Снился мне
Лев Толстой

он лежал на кровати
огромный как солнце
в гриве
спутанных прядей

лев

видел я
его голову
лицо из волнистого золотого металла
по которому

беспрерывно
плыл свет

Вдруг погас
почернел
кожа рук и лица
стала жесткой
в трещинах
как кора дуба

я спросил
«что делать»

«ничего»
отвечал он

всеми чертами
морщинками
на меня поплыл свет
исполинская лучезарная улыбка
разгоралась

ДВА ПРИГОВОРА

Вижу улыбку
снятую с его белого лица
у стенки.
Вестник смерти Незнакомец
голову склонил
ниже.

Вижу
смешное изваянье боли —
в стоптанных туфлях
на кухне
маленькую
согнутую фигурку
матери окаменевшей.

СМЕХ

Клетка заперта была так долго
что завелась в ней птица

так долго молчала птица
что даже открылась клетка
заржавевшая в тишине

тишина тянулась так долго
что даже за прутьями черными
смех зазвучал.

Я СТРОЮ

Хожу по стеклу
по зеркалу
которое трескается

я хожу
по черепу Йорика
по этому хрупкому
миру

строю дом на песке
или замок
и уже все готово
к осаде

только я
безоружный
застигнут врасплох
снаружи.

ТАДЕУШ БОРОВСКИЙ

ДОПРОС

Били день, били третий. Не добились, чего хотели.
Били круглые сутки. В общем и целом — с неделю.
— Говори, говори! — кричали.— Нам и так известны
отлично

Имя твое, и фамилия, и подпольная кличка!
Головой его колотили по столешнице по дубовой.
— Хоть фразу скажи нам, падаль, хоть единое слово!
И паспорт, и визу на выезд выудили ищейки,
и шифрованные инструкции из чемоданной обклейки.
А когда Тумиган показали, он перестал молчать,
он сказал: — Уберите скатерть — сейчас я буду блевать.
До смерти били снова — не выбили больше ни слова.
И в Майданек за проволоку бросили полуживого.
Но удрал он из-за колючей от конвоя и пистолета...
Что же такое слава, если пройдет и эта?

* * *

Вернусь я, мама. Дров на растопку
тебе я с радостью нарублю,
суп из капусты, свеклы, морковки
мы сварим, знаешь, его люблю.

Вернусь я, мама. Пол подметешь ты,
дашь мне умыться и есть подашь.

Плести кошелки из ивы можно,
да не умею я, вот беда.

Вернусь я, мама. Двор уберем мы
и вставим стекла, вскопаем сад,
сумеют руки все делать дома —
ворочать камни, стихи писать.

ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ

АТЛАНТИДА

Были они или не были.
На острове — не на острове.
Море или не море
поглотило их либо нет.

Любил кто-либо кого-нибудь?
Боролся ли кто-то с кем-нибудь?
Было что-либо иль не было
там или вовсе не там.

Семь городов стояли.
Точно ли это?
Вечно стоять желали.
Как докажешь?

Не придумали пороху. Нет.
Порох придумали. Да.

Сомнительные. Не увековеченные.
Допускаемые.
Не добытые из воздуха,
из огня, из воды, из камня.
Не оставшиеся ни в почве,
ни в капельках рос.

Годиться в назидание
не могущие всерьез.

Паденье метеорита.
Нет, не падение.
Изверженье вулкана.
Не извержение.
Кто-то требовал что-то,
Никто ничего.

На этой плюс-минус Атлантиде.

БУФФОНАДА

Поначалу ми́нут страсти,
после — сто и двести лет.
после снова будем вместе:

лицедей и лицедейка —
театральные любимцы
нас изобразят на сцене.

Ходкий фарс, куплетик ловкий,
бойкий танец, много смеха,
точный штрих по части быта,
крики «браво».

Будешь ты смешон ужасно
в этом галстуке, ревнивый,
на подмостках.

Я — в короне, и кружится
голова,
и сердце тщится;
глупое, оно забылось,
и корона покатилась.

Мы начнем с тобой встречаться,
расставаться, зал — смеяться,
семь препон, семь преград
между тем нагромоздятся.

И как будто с нас не станет
настоящих мук и горя —
мы добьем себя словами.

А потом поклон со сцены —
кончен фарс обид и поз.
Зрители уходят спать,
позабавившись до слез.

Будут жить они прекрасно,
ублажить любовь сумеют,
тигра выкормят с ладони.

Мы ж — какие-то такие,
в колпаках и с бубенцами,
одурманенные напрочь
их бренчаньем.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ

В орешнике под росами
сердца их гулко бились,
былинки прошлогодние
в их волосы забились.

Ласточкино сердце,
смилуйся над ними.

Причесывались после
над прудом, тихим с вечера,
к ним рыбы подплывали,
мерцающе отсвечивая.

Ласточкино сердце,
смилуйся над ними.

Вода деревья смешивала
с остатками рассвета.
Ласточка, пускай они
навек запомнят это.

Касатка, черный росчерк,
якорь поднебесья,
Икар в обличье птичьем,
фрак, вознесенный в небо,

касатка, каллиграфия,
ранне-птичья готика,
стрелочка секундная,
неба косоглазие,

ласточка, мельканье,
неугомонный траур,
ореол влюбленных,
смилуйся над ними.

УРОК

Кто что царь Александр *кем чем* мечом
рассекает *кого что* гордиев узел.
Сие не пришло в голову *кому чему* никому.

Никто из ста философов не развязал узла,
теперь глядят с опаской из укромного угла.
Таскает солдатня их за бороды длинные,
всклокоченные, сивые, козлиные,
и раздается громкий *кто что* смех.

Довольно. Александр воззрился строго,
сел на коня, отправился в дорогу.
А за царем под звуки труб и звяканье подков
вся *кто что* армия из тысяч *кого чего* узелков
пошла *на кого что* на бой.

ГОЛОДНЫЙ ЛАГЕРЬ ПОД ЯСЛЕМ

Вот так напиши. На бумаге простой
простыми чернилами: есть не давали.
Все умерли с голоду. *Сколько их было*?
Вот поле. На каждого сколько травы
приходится? Так напиши: я не знаю.
История смерть до нолей округляет.
Ведь тысяча и один — это тыща;
того одного — будто не было вовсе;
придуманный плод; колыбель без ребенка;
букварь, для кого неизвестно открытый;
растущий, кричащий, смеющийся воздух;

крыльцо — для сбегающей в сад пустоты;
то место в ряду, что никто не займет.
Мы по полю бродим, где все стало явью,
а он как подкупленный смолкнул свидетель.
На солнце. Зеленый. Недальний лесок.
Еда — древесина, питье — под корой:
рассматривай это виденье хоть сутки,
пока не ослепнешь. Над кронами — птица,
и тень сытных крыльев ложилась на губы,
и челюсти медленно приоткрывались,
и зуб ударялся о зуб.
Ночами сверкал меж созвездьями серп,
приснившийся хлеб в тишине пожиная.
Рука с почерневшей иконы являлась,
сжимавшая чашу пустую в ладони.
На вертеле проволоки колючей
торчал человек.

С землей на устах пели *дивную песню,*
как цель поразила война прямо в сердце.
Какая тут тишь, напиши.
Да.

БАЛЛАДА

Вот баллада об убитой,
что внезапно встала с кресла.

Вот баллада правды ради,
что записана в тетради.

При окне без занавески
и при лампе все случилось,
каждый видеть это мог.

И когда, захлопнув двери,
с лестницы сбежал убийца,
встала, как еще живая,
пробудившись в тишине.

Встала, головой качнула
и глазами, как из перстня,
поглядела по углам.

Не по воздуху летала —
стала медленно ступать
по скрипучим половицам.

А потом следы убийства
в печке жгла она спокойно:
кипу старых фотографий
и шнурки от башмаков.

Не задушенная вовсе,
не застреленная даже,
смерть она пережила.

Может жить обычной жизнью,
плакать от любой безделки
и кричать, перепугавшись,
если мышь бежит. Так много
есть забавных мелочей,
и подделать их нетрудно.

И она встает и ходит,
как встают и ходят все.

ЗА ВИНОМ

Взглядом дал ты красоту мне,
как свою ее взяла я,
проглотила, как звезду.

И придуманным твореньем
стала я в глазах любимых.
Я танцую и порхаю,
сразу крылья обретя.

Стол как стол, вино — такое ж,
рюмкою осталась рюмка
на столе на настоящем.
Я же выдумана милым
вся, до самой сердцевины,
так что мне самой смешно.

С ним болтаю как попало
о влюбленных муравьишках
под созвездием гвоздики
и клянусь, что белой розе

петь приходится порой.
И смеюсь, склоняя шею,
так, как будто совершила
я открытье, и танцую,
вся светясь в обличье дивном,
в ослепительной мечте.
Ева — из ребра, Киприда —
из морской соленой пены,
и премудрая Минерва —
из главы отца богов —
были все меня реальней.

Но когда ты взор отводишь,
отраженье на стене я
вновь ищу и вижу только
гвоздь, где тот висел портрет.

ДВИЖЕНИЕ

Ты здесь плачешь, а там пляшут
В капельке твоей слезы.
Там смеются, веселятся.
Там не знают зол и бед.
Словно бы зеркал мерцанье.
Словно бы сиянье свеч.
Как бы залов переходы.
То ль манжеты, то ли жест.
Шутки франта водорода.
Вертопрахи натрий, хлор.
Ферт азот средь хороводов
И кружащих, и плывущих,
И под куполом парящих.
Плача ты играешь им.

Кто ты, миленькая маска?

ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ

Случиться могло.
Случиться должно было.
Случилось раньше. Позже.
Ближе. Дальше.
Случилось — да не с тобой.

Уцелел, ибо первый.
Уцелел, ибо последний.
Ибо сам. Ибо люди.
Ибо влево. Ибо вправо.
Ибо выпал дождь. Ибо упала тень.
Ибо солнечная была погода.

К счастью, вокруг лес.
К счастью, ни одного дерева.
К счастью, рельс, крюк, балка, тормоз,
фрамуга, поворот, миллиметр, секунда.
К счастью, соломинка плавала на воде.

В результате, поскольку, несмотря и однако.
Трудно сказать, если б рука, нога
на шаг, на волосок
от стечения обстоятельств.

Итак, существуешь? Пощаженный покамест
мгновеньем?
Сеть была одноячейной, и ты — в ту ячею?
Не могу надивиться, намолчаться этому.
Послушай,
как для меня
быстро бьется твое сердце.

СТАНИСЛАВ ГРОХОВЯК

БЕРНС

Идет толстый Бернс,
Гремит площадь в такт,
Летит Муза вкось
И тащит бурдюк.

Поет толстый Бернс,
Поет толстый Бернс,
Поет толстый Бернс,
Поет толстый так:

«У всех есть закут,
А в закуте печь,
И все ждут любовь
К себе в гости.

А я, толстый Бернс,
Угла не завел,
Зато есть мешок,
А в нем кости.

Одну сожрет пес,
Другую съест кот,
Третью спрячет черт
До срока.

Таков этот мир,
Что жалкая кость,
Что каждая кость
Одинока».

Идет толстый Бернс,
Гремит площадь в такт,
Летит Муза вкось
И тащит бурдюк.

Пляшет толстый Бернс,
Поет толстый Бернс,
Скачет толстый Бернс,
Как пьяный индюк.

ИЗ ДЕРЕВА ВЫТОЧЕНА ГРУДЬ КОРОЛЕВЫ

Руки королевы намазаны жиром
Уши королевы заткнуты ватой
У нее — вставная челюсть из гипса
Из дерева выточена грудь королевы

А у меня язык от вина жаркий
И горячая слюна во рту пенится
Но из дерева выточена грудь королевы

В доме королевы вянут желтые свечи
В постели королевы стынет старая грелка
Зеркала королевы затянуты брезентом
И шприц ржавеет в стакане королевы

А у меня живот молодой упругий
Зубы настроены как инструменты
Но из дерева выточена грудь королевы

Опадают листья волос королевы
Паутина из глаз королевы виснет
С тихим вздохом лопается сердце королевы
И дыхание на стекле оконном желтеет

А у меня голубь в этой корзине
И шаров золотых целая связка
Но листья волос королевы опадают

КРЫЖОВНИК

Меж черных кустарников
Колючих, как проволока,
С названьем железным и жестким: крыжовник —
Сиянье луны, как вода студеная, аж ломит зубы,
аж мозг становится круглым.

Посреди крыжовника,
Скользкого и колючего,
Что ловит луну в свои мелкие колкие сети,
Добела созревает поэт, словно покрылись известью его
нервы.

И вот я пошел.
Я отбросил тела,
Кричащие о любви и объятые слабостью —
Последние бунты остались в шкафах, в печке стенанья,
в постели надежды.

Зимний крыжовник,
Кусты поцелуев,
Растенья декабрьские ласк осторожных,
Свет луны пусть согреет благоразумье, ибо эта свеча
быстро тает на солнце.
Зимний крыжовник,
Изваянья согласья,
Вечные ловушки, ибо густы они в своем упорстве,
Длиться — пусть означает: распутывать пальцы, длинные
и многочисленные, как волосы у любовниц.

* * *

У влюбленных те же хлопоты, что и у мертвых,
Им требуются те же шесть досок,
Столько же приглушенного света.

Влюбленным — те же почести, что и мертвым,
Комнату любви окружайте страхом,
Запретите вход детям.

Для влюбленных — угрюмых в радости —
те же одежды.
Прежде чем захлопнут двери,
Прежде чем засыплют землею,
Тягчайшая парча спадет с их тел.

КАНОН

Дыханье поэзии — или снег или сажа
Если снег — кусты от него чернеют
Если сажа — пачкаются ладони
Палачей и влюбленных
Бледные равно

Голова поэзии — куст пылающий ночью
Так что лоб носорожий кажется гладким
А вороны — клюв в золотой оправе
А в коленях девушки
Контур сосуда

А отец поэзии — лесоруб и бог ее —
Тот больной человек с кривым позвоночником
С неподвижным лицом словно плеть рассекла его
Или тень от черта
Что мчал на облаке

ПАРИКМАХЕР

Еще совсем зеленый
Бессонный парикмахер
Стоит и бритву точит
И кисточку грызет.

Халат на нем обвисший,
Заношенный и грязный,
Стоит он, бритву точит,
Скрежещет все кругом.

Летят волос потоки,
Как дождь, как град, как ливень —
И стариков седины,
И бороды воров.

В гробы кладут клиентов,
Лежат они спокойны,
Причесаны, побриты,
С завивкой на века.

О нем твердят, что бог он,
А он лишь парикмахер.
Стоит и бритву точит
И кисточку грызет.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ЛЮБВИ

Будь полусонной. Теперь стань седой,
С лицом затененным, а после — сияющим,
А после — все тайны свои открывающим.
Как голубенок, стань молодой.
Будь предрассветной. Сбейся с дороги,
Серной петляй. Дымом стелись,
Мчись босиком, о стерню уколись,
Сбей на дороге голые ноги.

После — устань. После стань старой,
С крупными четками в тощей руке.
Или
Толстухою в парике,
В гневе, в очках, в хоре,
С гитарой.

В ржавой короне, вериги влача,
Я и сквозь сон дойду до тебя.

* * *

Все просится в стих она. Будто бы строки
Собою продлят ее сроки земные.
Но кто назовет поднебесье Лауры
И вспомнит о птице в ключице Марии?

Кому Беатриче приснится сегодня
С ногой ее левой, отличной от правой,
С рукой ее легкой и как бы прозрачной,
Чувствительной, в этой божественной спешке?

И все же — упрямая — просится все же
В стихи и, упрямо тряхнув волосами,
То вдаль убежит, то обратно вернется,
Косясь на ряды золоченых надгробий...

НЕЖНОСТЬ, ИЛИ ГУЛЛИВЕР

Княжна с золотой лейкой по мне ходила, и
снилось:
Она поливает мне пальцы,
Чтоб зацвели снова.

Была она Голубинкой. С серебряной вуалью.

Потом мне снились стражи,
Шагающие в глубь глотки
по языку — подъемному мосту.

Фонарь, поднятый капралом,
Озолотил гортань.

Наконец в раковинах моих ладоней
Возвели по церкви —

В левой шли похороны,
В правой бракосочетанье.

Я лежал в тревоге,
Как бы чего не вспугнуть
Влажным переплеском сердца.

АЛЕКСАНДРУ ТОМА

ПЕСНЯ ЖИЗНИ

В себя, как раковина в щель,
Вобрало сердце песен много:
Там сельская поет свирель,
Там бурной юности тревога
И зовы грозные войны,
Отваги голос, голос силы,
И там же иногда слышны
Стенанья около могилы.

И, как в волшебных гротах, там,
Где эхо вечное под сводом,
Я песню заново создам,
Давно забытую народом.
Все, что кипит в крови, звеня
(Любовь поет и гнев ярится),—
Лишь голос предков, что меня
Избрал, чтоб к правнукам пробиться.

Бурлит в моей груди весь мир,
Страдает, борется и стонет.
Там эллинских напевы лир.
Раб на трireме вью клонит.
Творит создателя рука,
Христы распятые вздыхают,
И на крылах из тростника
Икары к солнцу улетают.

К моей груди склонись, о друг,—
И слушай, сколько в ней напевов,
Ведь сердцем взрезывает плуг
Тугую землю для посевов.
Ведь сердцем тяжкий молот бьет
В руках невольников завода,
И гром подземный весть несет
О том, что близится свобода.

Бастилии берет оно,
Бросается на баррикады,
Пусть первой пулей сражено,—
Пасть смертью храбрых сердце радо.
И, воскресая каждый час,
«Вперед! — приказывает твердо.—
Ворота в синь руби для нас,
И ты в святыню вступишь гордо».

СКИТАЛЕЦ

Когда в твои шатры приходит гость,
Встречай добром: ему дай хлеба, соли,
На раны воду лей, цели от боли,
Но ты его расспрашивать не смей,
Куда идет, явился он отколе.

Зачем тебе о месте слышать том,
Что, верно, скрыли времени туманы,
Где он познал бесчестье и обманы...
Твоим словам не надо растравлять
Целимые твоей водою раны.

И для чего напоминать ему
О призраке какой-то страшной цели,
Он тащится и так уж еле-еле,
Пустыня за плечом, надежды нет
И силы нет в кровоточащем теле.

Так дай же гостю хлеба и воды,
Скиталец он, бездомный и гонимый.
Не спрашивай и лист, летящий мимо,
О ветке, на которой он блистал,
И о судьбе его неотвратимой.

Идеальное из реального

Прекрасное? Напрасно в вышину
За ним лететь, как за мечтою вздорной.
У лилии учись: из тины черной
Она свою взрастила белизну.

Хорошее или прекрасное?

Не утешайся тем, что ты хорош,
К прекрасному стремись со всею силой,
Как бабочка из куколки бескрылой,
Расти. Ты мал, покуда не растешь!

Высота из глубины

Сосна! Чтоб стать тебе высокой, сильной,
Ты соки пьешь из глубины земной.
Чтоб песнь о жизни распевать весной,
Нисходишь ты корнями в мрак могильный!

Стих

В поэзии не достигаешь дна,
Конец поэмы сходен с водопадом;
Хотя волну и не догонишь взглядом,
Там где-то в глубине поет она.

*

Хочу

Хочу я на небе солнца иного,
Хочу на земле урожая двойного.
Судьбу свою сами на свете упрочим.
Будь зодчим, рабочим, творцом, кузнецом!

Трус ждет

Трус ждет — и у времени он под пятою.
Ты с веком справляйся, как с глиной крутою.
Дай образ ему, и огонь, и идею —
И с богом сравнишься, под стать Прометею.

Поэт

Ступай, обгоняя свой век, и в пути
Пророческим факелом ярко свети.

Нас тысячи раз бы мираж одолел,
когда б впереди твой огонь не горел.
К желанным пределам ведет нас сквозь мрак
Тот пламенный факел, твой яркий маяк.

Заклинание

Пусть люди будут глиной, и кровь из сердца влей,
И пусть пыльцою будет пыльца от тополей,
И пусть водою будет вода грядущих рек.
Скажи: «Приди! Приди же, о новый человек!»
И явятся титаны, что обновляют век.

Дух времени

Людей просветленная сила стремится в простор без предела —
Вот времени дух молодой. Ищи же великого дела!
Заржавленный якорь подняв, доверься ты смело пучине.
Колумб, этот подвиг свершить тебе предназначено ныне!

Полет

Мускулов не расслабляй,
Пусть метнет тебе праща.
Дерзкий, вольный, молодой,
Познакомься с высотой.
Полети звездой во тьму,
Стань товарищем тому,
Кто умрет в огне, в дыму.

ГИМН 23 АВГУСТА

День свободы! Сгинул сумрак трудных лет!
Августа день двадцать третий — день побед!
Не напрасно с Волги знак трубой был дан
И ответ свирелью дал ей Карайман!
И ответ свирелью дал ей Карайман!

Армия Советов — щит наш и маяк,
Отступил разбитый варвар-враг,
И в борьбе великой наш родной народ
Трудовое братство, счастье создает!
Трудовое братство, счастье создает!

Сгинуло навеки мрачное «вчера»,
Весь народ — хозяин своего добра,
Тесно мы сомкнули братский фронт труда,
Будет труд почетен и ценим всегда!
Будет труд почетен и ценим всегда!

Палачей кровавых в рудники пошлем,
Но злодеи-змеи ползают тайком.
Из щелей тащи их, каблуком дави!
Нет, мы не позволим мир топить в крови!
Нет, мы не позволим мир топить в крови!

На борьбу зовет нас гордая мечта:
Без хозяев жадных сгинет нищета,
Все народы — братья, каждый дружбе рад,
Все свободны стали, как орлы Карпат!
Все свободны стали, как орлы Карпат!

ВОЛНЕНИЕ

ДВА СОНЕТА

1

Вы знаете ли статую раба,
Буонарроти смелое творенье?
Оковы, словно горькая судьба,
Но вот он разогнет свои колени.

В могучих мышцах сила и борьба,
В мелькнувшем взгляде тяжесть униженья,
И ждешь, что крови бурное волненье
Нам передаст холодная резьба.

Он совершил стремительный прыжок
И вековое рабство превозмог,
Он твердо верит в светлую дорогу.

Он к новым судьбам устремляет взгляд,
Но все еще влекут его назад
Следы цепей, вонзившихся глубоко.

2

Он глубочайшей верой оживлен.
Как он почувствовал ее волненье?
Иль все рабы готовы к возмущенью
И вспыхнула заря иных времен?

Или к добру один стремится он?
Нет, нет! Разделит он освобожденье
С собратьями. Прекрасно их стремленье!
Их путь тяжелый солнцем освещен!

О братья! С вами я пойду вперед,
И наш союз все цепи разорвет,
В борьбе товарищам не изменяю.

А нынче вся земля — созревший плод,
Который рук умелых только ждет,
Всем нам венец — победа вековая!

ТУДОР АРГЕЗИ

ПЕСНЯ

Я тщетно защищался и выбрался из боя.
Изломано, разбито мое копье стальное.

Меж нами — земли, воды, и нет числа преградам,
Но мы повсюду вместе, и ты со мною рядом.

И по любым дорогам, всегда, во все края
Ты следуешь за мною, о спутница моя!

Когда же мне напиться в пути не удается —
Ты черпаешь мне воду ладонью из колодца.

Или, раскрыв одежды, мечтаешь, может быть,
Меня не из колодца, а грудью напоить.

К источнику склоняешь ты голову свою,
Чтоб вместе пить со мною искристую струю.

Повсюду пребываешь подобно легкой тени,
Тебя лучи разносят и запахи растений.

Полны твоим молчаньем все шорохи, все звуки,
Они в молитвах, в бурях, в словах любви и муки.

Меж нашими скорбями потеряна граница.
Ты в том, что умирает, и в том, что вновь родится.

Далекой оставаясь, ты — рядом, ты — со мной...
О вечная невеста,— тебе не стать женой!

ДАКСКОЕ

Смотрю на хрупкий глиняный сосуд...
Здесь трех тысячелетий был приют,
Которым противопоставил
Ты обжиг свой,— и каждый век оставил
Внутри тебя, храним твоим покоем,
Частицы тонкой пыли, слой за слоем.
Все возрасты веков сберег сосуд.
Мгновенья будут жить, века — умрут.

Ты полон тайны. Горлышко с надломом.
Ты долго спал под тучным черноземом.
Не сыщешь и костей руки счастливой,
Тебя покрывшей редкостной поливой.
Он глину мял — и родилась амфора.
А где же мастер? Нет и горсти сора.
Все станем почвой, жирной иль сухой...
Ты жив, он — нет. Таков удел людской.

Кровавым, потным ногтем он слегка
Вцарапал все же контуры цветка
В твое бедро, обвел тебя каемкой.
Вдохнул он чувство в горло глины ломкой.
Ты — можешь быть, он — бытия лишен,
Одним надрезом ногтя воскрешен!

Не одному всевышнему служи ты,
Как ширь пустынь, иль звезды, иль луна.
И людям ты принадлежишь сполна.
Пусть руки мастера забыты,
Твой тронуть стан ладонь моя вольна.

Тебя поставил на руку гончар
И стукнул пальцем,— гулко на удар
Ответил ты. И ныне звучно пенье

Пустынных недр, как в первый миг рожденья.
Кувшин из глины с мыслью пополам,
Он — голос дал тебе, я — слово дам.

ПЕРЕКРЕСТОК

Как средь лиственных факелов летом,
Солнце пусть на душе пробудится,
И пронзит меня праздничным светом,
И качнет в колыбели, как птицу.

Пусть роса увлажнит мои травы,
Миром их умастит благовонным,
Аромат его чистый на славу
Пусть омоет их ветром влюбленным.

Дождь, разрушил я плоть мою — землю,
Что из зерен пробилась сквозь землю.

Ель, сомкни поскорей свои корни —
Пусть не будет счастливее братства.
Пусть не будет смолы чудотворней
Смол тепла моего и богатства.

Не щадите меня. Я без страха,
Я спокойно пойду к вам в неволю.
Мотылек, ты сотки мне рубаху.
Скрой от лунных лучей меня, поле.

Что со мною? О, долго ль еще мне
Через реки и горы влачиться?
Нет. Мое существо все огромней,
Дайте срок — и оно возродится.

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Как на флейте и на скрипке людям я играл, бывало,
Чтобы жизнь со мной мирилась и меня не забывала.
И свирелью первой стебель был пшеницы рыжеватой,
Плыли свадебные песни над просторами земли.
Но однажды в волнах речек, в наводнения раскатах
Песнь заглохла, чтоб я слышал, как летели журавли.

Каждый вечер я томился пенья страстною тревогой,
Преклонив свои колени, очи к звездам возводил,
В униженье и печали у вселенной, как у бога,
Новых песен, новых звуков, полный трепета, просил.

Руки к небу воздевая, на колени встав покорно,
Я молился (так, наверно, втайне молится скала),
Чтобы песнь ко мне вернулась, чтобы снова ночью черной
В сны мои она проникла и всегда со мной была.
И за это мне, мальчонке, целовали руки деды,
Что от струн я отрываю, словно празднуя победу.
И меня за это часто хороводы окружали,
Словно волны, что играют под лучами маяка.
И меня в долинах звонких парни стройные венчали
И лавровыми венками, и листвою дубняка.

О, когда б вечерней дойне жить подольше в этом мире!
О, когда бы новым струнам вечно рокотать в эфире!

О ЧЕМ ГРУСТИТЬ?

В прекрасной осени печали нету места...
Мой домик как букет, что в храм несет невеста.
В окне — листва плюща, соцветия глициний.
И днем в мое окно с небесной мирной сини
Шлет солнце дробный свет — он здесь гостит подолгу,
С предмета на предмет скользящий втихомолку,
И в бликах теневых дрожит легко и зыбко
Венчанья иль крестин невинная улыбка.
О чем грустить, когда сквозь этот свет безмолвный,
Как лодка, жизнь моя скользит легко и ровно?
Я вижу кипы книг, столь близких мне и милых.
И новой жизни цвет могучий на могилах.
Я вижу, как с ветвей лист за листом слетает,
Их серебрит луна, а иней разъедает.
Когда же голуби спускаются на крышу,
Я голоса любви в их воркованье слышу.
Со мною сонмы звезд — весь небосвод поныне
Раскинут наверху, как яркий хвост павлиний.
И одиночества тоска со мной, усталым,
Неслышно рядом спит, накрывшись покрывалом,
И шепчет мне она в разрывах сна мгновенных:
«Ты все еще со мной? Ты здесь? Ты в тех же стенах?»

К чему стыдиться мне, и ей к чему стыдиться,
Что ото всех других она со мной таится?
О чем же мне грустить? О том ли, что из глины
Звучаньем скрипок я не обжигал кувшины?
А дранкой крытый дом, мой дом, с букетом схожий,
Близ Тротуша стоит. О чем грустить? И все же...

ПОТЕРЯННЫЕ ЛИСТЬЯ

Уж полстолетья ты тревожишь неустанно
Чернила и слова, перо томишь в руках,
И все ж, как и тогда, победы нет желанной:
Они всегда с тобой — сомнение и страх.

И для тебя опять как тягостная мука
Страница белая и вид строки твоей,
И первого в душе опять боишься звука,
И буквы для тебя опять всего страшней.

Когда же вновь листки исписаны тобою,
Они уже летят поверх озерных вод,
Летят из сада прочь, как листья под грозою,
Так что и персик сам их проглядел уход.

И в каждом слове ты вновь чуешь содроганье,
Сомненье горькое чернит твои мечты,
Живешь ты, как во сне, в своих воспоминаньях.
Кто диктовал тебе — уже не знаешь ты.

НЕИЗВЕСТНОМУ ПОЭТУ

Возводишь ты алтарь, что был в твоих мечтах.
Не призрачен ли он? Не разлетится ль в прах?
В тот миг, как тормошить ты души словом стал,
Навеки клятвой той судьбу свою связал.
Велишь ты звездам петь, людей возносишь ввысь,
Тщеславье позабудь и дара не страшись.
Нельзя шутить с огнем, коль стал писать стихи:
Пусть много в книге слов — не меньше шелухи.
Им красок новизну и свежесть подари,
По-новому они заблещут изнутри.

Проклятье над тобой век будет нависать.
Пока строитель ты, все волен выбирать.
Но чтоб алтарь стоял у бездны на краю,
В фундамент заложи свой дух и жизнь свою.

ДОБРОЕ УТРО, ВЕСНА!

Весна! Ты с моею родимой страною
Встречаешься, будто с сестрицей-весною.
Ты — юная вечно, она — молодеет,
В своих перекрестках зеленых свежеет.
Погодою тихой, безмолвным приветом
Встречает тебя, озаренная светом,
Встречает тебя по-иному, чем прежде,—
В почти паутинной, тончайшей одежде,
Расшитой колосьями, маком снотворным,
Расшитой плющом молодым и проворным,
В душистых цветах, в васильковых узорах
Встречает тебя на зеленых просторах...

У ней на плече для сестры ненаглядной
Кувшин с ключевою водою прохладной.
Она угощает сестру дорогую
Водицей, что сладостнее поцелуя.

Минувшие годы тебя здесь поили
Слезами и кровью, отравой бессилья.
Был мечен твой памятный путь не цветами —
Он мечен могилами был и крестами.
Весна вечно юная, дай же навечно
Сестре своей руку в день встречи сердечной.
В преддверье надежды, в канун возрожденья
Встречаетесь вы — две весны, два цветенья.

ГРЯДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ

А дружба остается, когда ты сам уже исчез,
и нет тебя, но, исчезая, ты начал вдруг расти, как лес.
Не упусти же часа,
чтобы от праха твоего земля не отреклася.
Пусть из того, чем ты владел — будь это речь иль камень,—
останется хоть уголек, когда погаснет пламень.

Искусство! Я, дружа с тобой, испытывал мученья.
Ну что же, не щадить певца — твое предназначенье.
И потому, искусство, в любом хорошем деле
твоя душа и имя себя запечатлели.
И в память дел подобных
пусть люди помянут тебя в своих молитвах добрых.
Ведь без святого рвенья, и жалости, и пыла
ты б доброй памяти людской себе не заслужило.
Но если твой огонь обманно был зажжен,
то все равно погаснуть должен он.

ДЖОРДЖЕ БАКОВИЯ

ПАСТЕЛЬ

Осенние стоны
Из глуби земли...
Летят, исчезая
Вдали, журавли.

Дождь сеет и сеет
Над шляхом пустым...
Лишь выйди, задушит
На улице дым.

На поле спускаясь,
Вороны кружат;
Коровы в загоне
Протяжно мычат.

Бубенчиков хриплых
Печален призыв...
Совсем уже поздно,
А я еще жив...

СЛЯКОТЬ

И зиму и осень
Мешая в насмешку,
Снег валит и валит
С дождем вперемежку.

Спускаются сумерки,
Грязны и голы;
Больные детишки
Плетутся из школы.

Средь стен отсыревших
Продрогнув, застыли
Мы с думой невольно
О спящих в могиле.

И зиму и осень
Мешая в насмешку,
Снег валит и валит
С дождем вперемежку.

ВЕСЕННИЕ НЕРВЫ

Опять пора весны...
Сиреневые блики как будто на картине,
И нового поэта стихи стоят в витрине.
Далеко звуки вальса над городом слышны.

Весна — все расцветает надеждой и мечтой.

Повсюду пробужденье, идет весна, звеня,
Все — только свет и солнце.
Украдкою глядит в фабричное оконце
Работница худая на синий облик дня.

Весна — опять цветенье тоски моей больной...

Вот и земля проснулась, вновь силою играя,
Вновь за крестьянским плугом змеится борозда,
Но вновь все будет так же, как было и всегда,
Теорией пребудет, как прежде, жизнь иная.

Когда ж раздастся песня весны совсем иной?!

СЕРЕНАДА РАБОЧЕГО

С тоской по новым временам
Чудовищем кажусь я вам.
Меня понять вам просто лень...
Но он придет, мой грозный день.

Буржуй, в виденьях золотых
Почил, не ведая конца.
Воздвиг я стены для дворца,
Там легче мне разрушить их.

Топор подымет голос свой,
И будут им оглушены,—
Кто гимны пел любви гнилой,
Кто был любовником луны.

В сон бесконечный погружен,
Ты спи, буржуй самовлюбленный,
Доисторический дракон,
Слегка рассудком позлащенный.

Ты милосердье не зови.
Я возмущенье призываю.
Для жертв, утопленных в крови,
Я песнь последнюю слагаю.

Я к солнцу устремлюсь вперед
Крутым путем аэроплана...
Ты спи... На голову тирана
Грозой обрушится восход.

К ВЕСНЕ

Со стрех капель... Больших времен
Доходит рокот отдаленный,
Хоть на мгновенье улыбнись
— Вставай, проклятьем заклейменный!

Раскрылась даль... ползет ледник,
Гоним весною непреклонной...
С цветами, с песней к небесам
— Вставай, проклятьем заклейменный!

АРМИНДЕН

Гигантский силуэт —
Там город в клубах пара.
Сирени горький аромат,
Как шмель, гудит гитара.

Марин Герасим (Румыния)
Жительницы лесной местности.

Веселье праздничного дня —
Обычай наш народный...
Стремится в рощи и поля
Рабочий люд свободный.

ЗАХАРИЯ СТАНКУ

ПЕСНЬ МОЕМУ СЫНУ

Жизнь свою сделай деяньем, только деяньем сделай!
Позже устами, что нынче вишне подобны спелой,
Громко требуй свободы для бедняков угнетенных,
Требуй прав для рабочих, горькой судьбой опаленных.

Десятилетняя нынче рука, что решает задачи,
Позже пусть меч подымет, в грозной борьбе закаленный.
Чтобы народ крестьянский, наш народ непреклонный,
Завоевал победу в будущей битве горячей.

СОЗРЕЛИ ХЛЕБА

Нет, уже не хочу я с тобой унестись на Луну.
Уже ни с кем не хочу унестись я, ни с кем.
Не боюсь пустоты меж Землей и Луной,
Не боюсь лунных скал, и камней,
И праха, покрывшего их.
Уже ничего не боюсь, ничего.
Наступит пора, когда скорбно душа
Полетит среди звезд.
Наступит пора — и забудет душа,
Позабудет, забудет,
Что была она связана с горстью земли,
Все забудет, забудет душа.
Созрели хлеба. И колосья тяжелые

Поклонились ветрам. Но уже на заре
Косовица начнется, и нивы
Мягко будут уложены наземь,
Все они мягко улягутся наземь.
Нет, уже не хочу я с тобой унестись на Луну.
Прижмись комочком ко мне, помолчи и поплачь,
Разгорается лето. И солнце
Прокаляет и воздух и лес.
Лето в разгаре. Тысячу лет
Ты жила и мечтала бок о бок со мной
Голубым огоньком у огня голубого.
Я долго тебя целовал. Целовал.
И любил всем суровым моим существом.
Ты смеялась, и плакала, и молчала рядом со мной.
Ты дрожала и рядом со мною спала.
И когда погрузилась в глубокий сон,
Целовал я твой сон и сны, что приснились во сне,
И явные слезы, и тайные слезы твои.
Ты проснулась в ознобе испуга, сказала:
«Снилось мне, что тебя
Кто-то бил стальным кулаком по губам,
С корнем вырвал язык
И глаза твои выколол...»
Нет, уже не хочу я с тобой унестись на Луну.
Лето в разгаре. Созрели хлеба.
Косовица идет, молотьба.
Лето в зените. И хлеб наш созрел.
Тысячу лет я любил тебя, тысячу лет.
Прижмись комочком ко мне, дрожи и молчи.
Сны остались всего только снами.
Нет, уже не хочу я с тобой унестись на Луну,
Уже ни с кем унестись не хочу, ни с кем.
Лето в разгаре. Созрели хлеба.

ПОЙДЕМ СО МНОЮ

Пойдем со мною на край земли,
Может, он все-таки существует...
Там мы увидим золотую пшеницу:
На каждом стебле — тысяча колосьев,
В каждом колосе тысяча зерен.

Пойдем со мною на край земли,
Может, он все-таки существует...

Там мы увидим голубой виноград:
На каждой лозе тысяча гроздьев,
В каждой грозди тысяча ягод,
В каждой ягоде тысяча бочек вина молодого.

Пойдем со мною на край земли,
Может, он все-таки существует...
Там мы увидим исполинские леса:
Леса тополей, чьи макушки вонзаются в небо,
Леса дубов, могучие корни которых
Впиваются в сердце планеты.

Там мы найдем мою печальную любовь,
Там мы найдем мою пылкую любовь —
Найдем ее в сочной траве, напоенной солнцем,
Или увидим ее на облаке белом...

Пойдем со мною на край земли,
Может, он все-таки существует.

ПЕРЕД ОКНАМИ ДОЖДЬ...

Не грусти у меня перед окнами, дождик,
Я наслушался всласть и с лихвой,
Как, в листву завернувшись, бежишь, не споткнувшись,
Босиком вдоль по слякоти с клеклой травой.

Не свети у меня перед окнами, месяц,
Я воспел тебя всласть и с лихвой.
Вот — как дерну за чубчик и стащу, мой голубчик,
Вниз,— чтоб ты не висел над моей головой.

Скрипке, скрипке подобна, пленительной скрипке,
Та, в которую молча влюблен.
И хоть крепко грустится, я хотел бы родиться
Дважды, трижды и жизней прожить миллион.

Пью вино этой страсти, вино этой грусти,
Пью до капли последней во рту.
Ставни неба ночного спасут меня снова,
Коль тоске на свету предпочту темноту.

Дождь слезами в окне обливается. Месяц
Заливается смехом вовсю.
Слышу волю живую в том, что я существую
И пришел среди смертных тратить долю свою.

ВОСПОМИНАНИЯ, САМЫЕ ПЕРВЫЕ...

Я старею, но помню горечь
материнского молока...
Висели клочьями над шелковицей
рваные серые облака.

Костлявые псы ко мне принюхивались,
ветер сыпал в глаза песком.
Все люди, которых я видел,
ходили босиком.

Огонь был крылат, но не летал,
в очаге метались алые звери.
День и ночь входили в дом,
даже если не открывали им двери.

Я боялся холода. Он кусался
по ночам, когда дурная погода.
Мне было обидно, что солнце
не прибито посреди небосвода.

МОЯ ЗВЕЗДА

Моя звезда всегда была красна,
Ей красной быть вовеки и надежно,
Покуда звезды светят и луна
Летит, уже неся следы подошвы.

Она бессмертна, красная звезда,
Не прикоснется смерть к ее знаменам,
И небо к нам приблизится, когда
Его засеем ирисом зеленым.

МИХАЙ БЕНЮК

ЯБЛОНЯ У ДОРОГИ

Я вырос яблоней — не за оградой,
А близ дороги, чтобы стать отрадой
Прохожему. Не заходя в сады,
Ты можешь обрывать мои плоды,
И благодарности я не приемлю,
Благодари одну лишь эту землю,
Будь навсегда признателен стране,
Что стала матерью тебе и мне.

Когда земля цветет порой весенней,
Я сердцем чувствую мое цветенье,
Священный летний впитывая зной,
Сгибаю ветви я к земле родной,—
В немом поклоне выскажу пред нею
Все, что сказать словами не умею.
Когда ж плоды созреют к сентябрю,
Я радуюсь, что людям их дарю.
Когда листву развеет ветер грубый —
Укутаюсь тяжелой снежной шубой,
Вопьюсь корнями в глубину земли,
Чтоб их бураны вырвать не могли.
Так я живу, плодов моих не пряча,
И что ни год — мой урожай богаче.

Я на ветвях люблю качать детей,
Чьи галстуки моих плодов красней,
Я девушек люблю,— их смех веселый,
Когда сбирают яблоки в подолы,
А то кладут за пазуху тайком,
Бродя под яблонею босиком.

Я помнить не хочу о тех, что кампи
В листву мою швыряли, но близка мпе
Людская нежность,— не забуду дня,
Как двое целовались близ меня,
И, в шляпу вдев гвоздику, распевая,
Счастливый шел он вдаль... О, жизнь живая!

Я вырос яблоней,— не за оградой,
А близ дороги, чтобы стать отрадой
Прохожему. Не заходя в сады,
Ты можешь обрывать мои плоды.
И благодарности я не приемлю,
Благодари одну лишь эту землю,
Будь навсегда признателен стране,
Что стала матерью тебе и мне.

КРОВЬ СЕРДЦА МОЕГО

Любой предмет, фантазии созданье,
Любая книга, творчества горенье,
Смерть черная и светлое рожденье
Живую радость мне приносят иль страданье,
Бросают на меня иль сумрачную тень,
Иль отблеск яркий, словно летний день.
Их звон не молкнет у меня в мозгу,
Как треск кузнечиков на солнечном лугу.

Цвета иль формы, пятна или блики,
И чувства мелкие, и мир страстей великих,—
Вы преломляетесь в цветистой звучной гамме.
Будь ваши линии прямыми иль кривыми,
Вы шелестите, как листва под сапогами,
Здесь, за висками этими седыми.
В слова желая облачиться, вы снуете,
Моля и плача, мне покоя не даете.

Одежды новые я шью из старых слов для вас,
Их украшаю блестками, гирляндами из роз,
Рассказываю вам, как кость грызет голодный пес,
Вам на травинке подношу я росяной алмаз,
Но мечетесь вы в голове, кричите бестолково:
«Хотим другого мы, хотим другого!..
Мы тени, но мы жить хотим,
Мы образы, но в мир мы улетим,
Дай только хлынуть нам из головы твоей,
Нам имя дай, нас в плоть одень скорей!
Без крови жизнь в нас теплится едва,
Нас всех пустые заморозили слова,
Нас душит гласных и согласных гам,
Дай крови нам, дай крови, крови нам!»

Теперь ты знаешь, брат мой, отчего
Мой трудный стих — кровь сердца моего!

ХРИСТОФОР КОЛУМБ

Волн соленых гребни, завитушки,
Им корабль — подобие игрушки,
Не велик он и сколочен хрупко,
Не корабль, а утлая скорлупка,
Каравелла, только каравелла —
И играет с нею пена смело.
— То Колумб, его,— ворчат акулы,—
Жаждою богатства захлестнуло.
— Христофор,— фонтан пускает кит,—
Мнит, что будет рай земной открыт.—
Угрожают пенные валы:
— Погоди, наденут кандалы...—
Дует ветер, парус шевеля,
А Колумбу видится — Земля,
Земля, Земля!

КАРТИНА С ЛЕНИНЫМ

Венец грядущего на ленинском челе,
Как солнце, заливает мир лучами,
А он высóко, на крутой скале,
И речь его рокочет над морями.

Так представлялось мне давным-давно...
А я как бы стоял в толпе несметной,
Внимал ему и думал лишь одно:
Как спрятаться песчинкой незаметной?

Я чувствовал, что не в минувшем, нет,
В грядущем встреча с Лениным возможна.
Пусть мой в толпе затоптан будет след,
К рассвету путь ведет нас непреложно.

Быть современником ему я не рожден.
Что миру в том, живой я или мертвый,—
Ведь коммунисты сквозь буран времен
Идут — я вижу — ленинской когортой.

КРАСНАЯ ВИНОГРАДНАЯ ГРОЗДЬ

Скреби скалу. И ты отыщешь их —
Кристаллы слез, отчаянья, страданья.
Они застыли в вечном ожиданье
Трепещущих от страсти рук твоих.

И ты ищи. Пусть кровь стучит в ушах.
И до кости кремень разрезал руки.
Красна скала от крови и от муки.
И жжет внутри. И труден каждый шаг.

Там, в тверди камня, то, что ищешь ты.
Безмолвствует земля, в себе тая
Тысячелетних слез и бед кристаллы.
Ты их найдешь. Они из темноты
Возникнут виноградной гроздью алой.
Ты не пугайся — это кровь твоя.

В ДЕРЕВЬЯХ ОСЕНИ

Уже разгораются плошки
Осенних огней средь ветвей,—
Там рыси глаза или кошки,
Лисы в апельсинной одежке,
Ползущей обнюхать дорожки
Из лисьей каморки своей.

Зерно в плодоносной сорочке
Спускается к лону в земле
И в поисках родственной точки
Стремится сквозь тесто, как в бочке,
А тесто питает росточки
И спящих лелеет во мгле.

Но краскам осенним известно,
Что ветер, суровый стрелок,
В засаде затих повсеместно
И выстрелом целится честно
В листву воспаленного леса,
Чтоб краски вошли в некролог.

Стихом задержи на бумаге
Осенние краски ветвей,
Чтоб чистая сила отваги,
Рожденной от солнца и влаги,
Шумела от жизненной тяги,
Как лес перед смертью своей.

СУТЬ

Мрачны отношенья поэтов с веками,
Секира забвенья висит над стихами.
Хотя удалось, как известно, Гомеру
В живых задержаться на целую эру.

Сгорают созвучья в пожарах забвенья,
И если останется вздох откровенья,
Он станет игрой непонятных словес
Для детства, где вечен к стихам интерес.

Но я бы хотел, чтоб осталась Елена
Такой же прекрасной, как слово велело
(Пусть даже она наставляла рога),

Чтоб древним волненьем была дорога́
Потомкам, любить заставляя друг друга,—
Иначе бессмысленна жизни округа.

КОГДА ТВОИ СТИХИ...

Когда твои стихи, превозмогая боль,
Наколют на груди и на руках матросы,
Как женские тела, сердца или цветы,
И люди станут только удивляться,
Узнав, что кто-то их когда-то написал,
И понесутся песни друг за другом,
Как осенью летят по ветру семена,
Не вспоминая об отцовском древе
И обретая собственные корни
В глубоко взрытых человечьих душах,
На лицах и в глазах цветами расцветая,
Тогда ты можешь наконец уйти,
Затем что стал ты голосом, который
Звучит повсюду, пробуждая Космос:
— Бог Пан живет, живая жизнь живет!

ОТ БЕРЕГА ДО БЕРЕГА

От берега до берега
Через пропасть века
Мы натянули струны своего сердца
И создали новую гитару,
Мы извлекли из нее
Божественные ноты будущего,
В котором пылают зори,
А человек оседлал свою судьбу.
И ныне
Одну звезду с другой
Связывают струны мозга,
И гудят они,
Послушные астронавтам:
Продленные струны
Нашего сердца,
Миллионы струн,
Что трепетали
Под пальцами Маркса,
Звенели
Под шагами Ленина,
Бились в песнях твоих,
Прадед Хория,
И воскресли в твоем непокорном народе,
В нас.

БЕРЕГ, ОСТАВШИЙСЯ ПОЗАДИ

Твой вечный поиск прошлого напрасен.
Его коварный лабиринт исчез
И серебром твои виски окрасил.

В том лабиринте рос огромный лес.
Он в недрах гор углем воспоминаний
Теперь застыл под серой мглой небес.

Но изредка какое-то звучанье,
Какой-то лик мерещится вдали,
Звук рога, колокольное качанье...

Как будто ты далеко от земли,
И все с кормы глядишь, в былые дали,
И все о тех грустишь, что вдаль ушли...

Бушует ветер. Паруса устали.
И крепкое и горькое вино
Горит в твоем рубиновом бокале.

Виденье, миновавшее давно,
С тех берегов тебя зовет в печали,
Куда тебе вернуться не дано.

Кто это? Женщина? Иль конь крылатый?
На нем летал ты, брезгуя когда-то
Брести тропою иль волною плыть...

...А может, это юность?.. Может быть...

ГОЛОС ПРИРОДЫ

Ты не хвались, мой сын, и не тверди,
Что ты меня оставил позади,
Ты не тверди, не повторяй послушно:
«Природа холодна и равнодушна».
Печальное и злое заблужденье!
Ведь ты мой сын, ведь ты мое творенье,
В твоем порыве мой порыв живет,
И ты мое движение вперед.
Зачем тебе неправый ореол,

Что ты — иной, природу превзошел?
Задам тебе создать я глаз синицы —
Ответишь: «Мы должны еще учиться».
Тревожусь за тебя, мой сын.
Ты разный.
Оружием грозишь в игре опасной.
Неужто ты спалишь свой мир чудесный?
Неужто оборвешь задуманную песню?
Нет! Ты преодолел туманы и глубины,
Ты в Космосе, о жизнь моя, любимый!

МИРОН РАДУ ПАРАСКИВЕСКУ

ARS POETICA

«Из сердца должен вырваться твой стих!» —
Так ты твердишь с упреком постоянно,
И я стараюсь в меру сил моих
Сердец людских целить стихами раны.

Я все стремлюсь к тому, чтобы была
Моя поэзия, как пред зарею
Песнь жаворонка,— радостна, светла
Над только что проснувшейся землею.

Но если равнодушен человек
К тем, кто в работу вкладывает душу,
Хочу, чтобы его, как меч, рассек
Мой стих, который на него обрушу.

ЛЕНИН

Пять букв простых, пять четких букв всего
составили фамилию его.
Всего пять букв стоят чредою скромной,
но обнимают целый мир огромный.
Всего пять букв, которые для нас
в пути бессменный компас и сейчас.
Пять букв к нам тянутся из дали млечной
Лучами красными звезды пятиконечной.

ПЛОДЫ СВЕТА

Когда в словах запечатлеть хочу я
весь смысл земли, всю красоту земную,
как обойти веселый, как костер,
пылающий и нежный помидор?

Никто так гордо в мире не сиял,
ни гребень петушиный, ни коралл,
одни лишь только вишня с виноградом
отважатся быть с помидором рядом.

Прекрасный плод, для тружеников плод,
он по подпорком кверху не ползет,
все благородство он внутри скрывает:
в нем соль земли, в нем крови свет играет.

Томит июль жарою безотрадной —
он рот наполнит мякотью прохладной,
а вечером в прозрачной полумгле
горит живою лампой на столе.

Он хлеб и воду заменяет людям;
его ни жарить, ни варить не будем,
ведь силою Антеевой своей
он наделяет, как земля, людей,
такой, каким был с ветки сорван он:
округлый, свежий, солнцем напоен.

Когда же жадный рот к нему прильпет,
то будто бы вино причастья пьет
и через плоть его впивает суть секрета:
ведь сила — это плоть живого света.

ЭУДЖЕН ЖЕБЕЛЯНУ

ВСТРЕЧА С ХИРОСИМОЙ

Каору Ясуи

Земля, немая земля.
Немая
земля с опаленною кожей и оголенным станом.
Прости, Хиросима,
прости за неловкий жест,
за шаг, бередящий шрамы и растравляющий раны...
Прости за тревожный взгляд.
Каким бы он добрым ни был, он причиняет боль...
Прости за каждое слово,
что сотрясает воздух
там, где ты ищешь детей,
сонмы бесследно, навеки
пропавших детей твоих...
Могилок
нет и в помине... Вихрь... Вихрь... Вихрь...

Звенят голоса их доныне.
Все тише день ото дня...
В воспоминанье звенят...
Кладбища
нет и в помине... Нет и в помине...
Не знаешь, где слезы пролить...
Ни урны одной, ни одной могилы...

Где твои дети, Хиросима? Где?
Может быть,
в океанской серебристой воде?
Может быть, в синем склепе
бесконечного неба?
Может быть, здесь, в земле,
Под моею стопой?
Я ступаю со страхом
по сожженной земле:
каждая пядь ее
кажется катафалком.
Чудится — под ногами
вопль раздается: «Мама!»

О лучезарный воздух, скрои мне скорее крылья,
Чтобы я мог подняться вверх, как ты, без усилья!
Чтоб не задеть ногою чьей-то горящей раны!
Небо, скрои мне крылья, крылья херувима!..

В ранах, в бессчетных шрамах,
подходит ко мне Хиросима.
Подходит и, тихо склоняясь,
Приглашает меня:
«Входи, мой друг,
погляди,
запомни мои все беды
и миру о них поведай!..»

ЖИЗНЬ

Человека у нас отняла Тень.
Руки — как сломанные винтовки.
С ним уже Ночь,
хотя с нами — День.
Как же нам, любящим, сильным, ловким,
вернуть его к жизни?
Что отдать?
Чем защитить от холодной тени?
Круг из живых сердец создать
и отгородить от мира забвений?
Мы парим в облаках,
когда нам надо.
Так, может быть, Смерть оторвать от земли?

Закинуть подальше.
Создать преграду.
Чтоб нас ее руки достать не смогли.
Мир измучили горы металла,
того, что на крыльях черных кружится.
Как бы придумать нам для начала
чудо-машину,
машину-птицу?
Как бы придумать ее такую,
с крыльями, сотканными из лазури,
чтобы несла она в душу больную
жизни бессмертной шум и бурю?
Так подойдите —
создайте круг,
круг бесконечной и трепетной жизни.
Разве не видите —
это ваш друг
Тенью
из наших рядов похищен.

XX ВЕК

О век забывчивый, воспоминаний полный
(воспоминанья — как гигантская стена,
покрытая вуалью звездных роз,
вся изъязвленная невидимой проказой).
Век —
грудь его разбита,
украшена, прострелена насквозь
наградами, которых он достоин,
наградами, что он не заслужил:
тут звезды, взрывы, мятежи, приказы,
блестящие победы и могилы,
и вечно стерегущая опасность.
(Ку-ку! Ку-ку! Ты дашь мне год пожить,
хотя бы день, хотя б одну минуту?..)

О век с разбитой грудью, из которой
при кашле вырываются
лазурь, надежды, волны,
мильоны капель: ласточки, пионы,
закаты, кондиционированный воздух,
некондиционированные порывы,

герольды солнца, астронавты, гимны,
от пут освобожденные слова —
любовь, свобода, человек,
вперед!

О век с разбитой грудью,
я слышу твой надрывный кашель
и голос, но уже иной.
Ты смешиваешь с грязью нас
и в нас плюешь
то громом пушек,
то вероломством рака,
то легкими, сгоревшими в огне,
то пламенем, что легкие сжигает,
то извержением вулканов,
то радиоактивным изверженьем,
то все испепеляющею лавой,
то славою убийц,
то черным завыванъем преступленья,
то шепотом агонии предсмертной,
то легкими, которые отняв
у пленников, закованных цепями,
все тем же узникам ты харкаешь в лицо.

О век забывчивый, воспоминаний полный
(воспоминание — гигантская стена,
покрытая вуалью звездных роз,
вся изъязвленная невидимой проказой),
стряхни с себя, низринь
все, что тебе идти вперед мешает.
Я помогу тебе.
Сбрось все, что давит,
сведи с лица все бородавки взрывов,
сбрось шрамов золотистую коросту,
сотри все раны, язвы и проказу,
все сбрось, низринь, но не в цветущий сад,
низринь, но не на «Вечерю» да Винчи,
низринь, но не на детский ужин,
нет, только не на них!

Все, все низринь,
но только не вслепую.

Не будь слепцом!

МАРИЯ БАНУШ

ПЕРВАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ КНИГА

Казался мир прокуренной таверной,
Когда мы родились, а злобный вой
Свирепой первой схватки мировой
Всех возвращал в далекий век пещерный.

О, сколько раз, уткнувшись головой
В подушку, я рыдала над безмерной
Людской бедой, над этой жизнью скверной,
Бездумной, жадной, тусклой, неживой!

Ты помнишь? — Словно луч сверкнул из тьмы.
Мы пили свежий воздух полной чашей
И вышли на свободу из тюрьмы.

И птицы пели: бросьте мир угасший,
Есть лучший мир! — Так написали мы
В партийной, самой первой книге нашей!

ВЕРА

Путь пройденный был долог, все сумеречней дали,
Рельефны очертанья, стираются детали.

Я дочь земли и духа, пришла и мне пора
Поярче выбрать искры из пламени костра.

Судьбу, надежду взвесить срок наступил суровый,
Весам неумолимым предоставляю слово:

Ты знал борьбу? Под знаменем в строю,
Когда восстанья ветер кровь горячил твою?

Ты опьянен был ростом стремительного вала,
Иль так любил, как совесть тебе повелевала?

Была ль, как идол, вера твоя зыбка, мертва?
В ответ на стон любимой нашел ли ты слова?

«Мой лавр, цветок мой чистый!» — шептал ей не тогда ли,
Когда ее цветами и славою венчали?

Ты был с ней в час позора? Был скорбью обуян,
Когда она лежала вся черная от ран?

Ты язвы обмывал ей внимательной рукою?
Тебя не отвратили лохмотья, запах гноя?

В те дни «цветок мой чистый» шептал ей все нежней,
Внушая, что вернется былая слава к ней?

Путь пройденный был долог, все сумеречней дали,
Рельефны очертанья, стираются детали.

Я дочь земли и духа, пришла и мне пора
Поярче выбрать искры из пламени костра.

Все проблески в минувшем... Бросаю я на чаши
Весов два тяжких сердца — свое, а рядом ваше.

Бунт в пурпуре и ярость в доспехах, в трудный час
На суд не призываю свидетелями вас.

Зову я, Постоянство, тебя в плаще из тени.
Вот жизнь моя. Стою я перед тобой в смятенье.

СОНЕТ

— Как? Белый стих? Но нет дурнее тона!
— Поверьте, это времени примета!
— Что может быть прекраснее сонета?
— О нет! Рондо — вот слабость Аполлона...

Но спорщиков мудрей природы лоно —
Сменяет зиму грозовое лето.
Нас лань чарует, что не раз воспета,
И вслед слону мы смотрим удивленно.

Игла и долото есть у природы,
И мастерит она, не выбирая,
И формы создает, как ей угодно,—

Тончайший лист, тяжелые породы...
Хвалу и поношенье презирая,
Ты к солнцу, стрекоза, взлети свободно.

ПОЭЗИЯ

Будь скупой, о, будь скупой...
Даже перышко и то храни,
в шкатулку его опусти,
рядом с молчаньем, возникшим вчера
в сумерки между другом твоим и тобой,
рядом с пузырьком из-под духов,
где радуга заключена.
Подбери даже камешек, который ты
во дворе своего детства аметистом звала,
даже смятую трубочку вьюнка из изгороди,
сбереги и ее.

Сбереги и странное ощущение
головокружения, полета
холодным и туманным мартовским утром,
когда сосульки каплю за каплей
роняли на грязный тротуар.
Сохрани даже осколок и тень.

И когда многие скажут с жалостью,
сочувственно покачивая головой:
— Видали вы?
Она хранит даже использованный трамвайный билет,
даже осколок и даже перышко,—
тогда ты встряхни своим коробком,
как встряхивала красным фаянсовым сердцем,
купленным на масленицу.
Как таинственно звучало его дзинь-дзинь.

— Пришло время разбить его,— говорила ты себе.
И щеки твои горели.
— Пусть посыплются оттуда никелевые монетки все до одной.
Не оставь себе ничего.
И тогда распрямятся
смятые венчики вьюнков,
и зазвучат их лиловые трубы
громче труб Иерихона.
И глухая непроницаемая стена забвенья рухнет.
Из перышка вновь возникнет ласточка,
для того чтобы рассекать воздух,
чтобы усесться под твоей кровлей.
Аметистовый песок
обретет свой былой блеск.
Сосульки возобновят свою певучую жалобу.
Жалкий использованный трамвайный билет —
даже и тот воскреснет.
Мы будем снова стоять, стройные и серьезные,
в старом-престаром вагоне
с длинными кожаными ремнями,
беспокойно свисающими с потолка,
с трепетными городскими огнями,
мелькающими за темными стеклами,
с запахом дешевого сукна твоего пальто,
увлажненного дождем,
с зеленым сумраком твоих глаз, которого нет нигде,
кроме этого вагона с длинными кожаными ремнями,
беспокойно свисающими с потолка.

ПРИЧАСТНОСТЬ

Эй, да, нелегко
быть всадником, быть и разящей десницей,
быть птицей, не знающей в мире границы,
быть желчной сатирой, крылатой балладой,
оливковой ветвью и меткой гранатой,
улыбкою быть — пониманья, прощенья,
надтреснутым выкриком быть — возмущенья,
быть выше мирского, и быть в самой гуще,
погибнув, рождаться с любым из живущих,
быть взглядом, открывшим, что временем скрыто,
быть ногтем, что давит в сердцах паразитов,

быть чистым, светящимся озером горным,
быть в мутных сомненьях исканьем упорным,
быть мудрым под стать летописным заветам,
и быть необузданным дерзким рассветом,
быть магом и феей — придумщицей пылкой,
быть мельничным жерновом, камнедробилкой,
быть нивой покладистой и молчаливой,
быть смерчем, взметнувшимся гневно над нивой,
металлом быть, молотом быть и рабочим,
под бременем времени — времени зодчим.

ВЕРОНИКА ПОРУМБАКУ

ДРОЗД ИЛИЕ ПИНТИЛИЕ

Седой ниспадающий пепел...
Темница сотрясена,
Дрожат в ней затворы и петли.
Илие́ поет у окна.

И вздрагивает Дофтана.
Вливается в сумерки песнь.
«Страна — как открытая рана,
И мы замурованы здесь.

Восстанье бушует, как ветер,
Вскипает, как реки весной,
Замки упадут на рассвете,—
Надейтесь, друзья за стеной!»

Седой, ниспадающий пепел...
Темница сотрясена.
Не дрозд ли видением светлым
Присел на решетку окна?

Илие и гнев и надежды
Крылатому передает.
И птица летит безмятежно,
И кто остановит полет?..

Шли годы, рождались преданья
Над краем восстаний и гроз.
Здесь нет даже целого камня,
К чему возвратился ты, дрозд?

Здесь, слышишь, вой ветра органный.
Кого ты печально зовешь?
Кремнистую шею Дофтаны
Разбила подземная дрожь.

Илие ты ищешь часами?
О чем так грустишь ты один?
Закрыл он глаза под камнями,
Лишь ветер шуршит меж руин.

Ты песнь его спас из темницы.
Как долго скитался ты с ней!
Успела она распуститься
Прекрасным цветком для людей.

С холма, где стояла Дофтана,
Ты видишь — развеялся мрак.
Пой, радость! В рассвете багряном
Багряный колышется флаг.

НА СТРАЖЕ

Во время Великой Октябрьской социалистической революции, когда отряды красногвардейцев штурмовали Зимний дворец, Ленин отдал солдатам приказ охранять сокровища искусства.

Среди ружейных залпов, средь грохота стального
Снарядов орудийных, вещавших крах былого,
Среди солдат, погоны с шинелей прочь сорвавших,
Средь выборгских рабочих, оружье в руки взявших;
Когда в жестоких схватках былого с настоящим
При свете беспощадном прожекторов слепящих,
Неистово кромсавших тьму прошлого на части,
Рождался мир, в котором познают люди счастье;
Когда простые люди — рабочие, крестьяне —
В порыве вдохновенном вдруг поднялись сквозь пламя,
Когда матросы, смело взбегая на ступени,

Неся огня частицу, каким горел и Ленин,
Пошли на штурм,—
он, Ленин, провидец гениальный,
Заботился, волнуясь, чтоб пулею случайной
Не повредило мрамор тех статуй и картины,
Что гордо украшали седой дворец старинный.
Мозолистой рукою сжимая ствол винтовки,
С бескрайним удивленьем и робостью неловкой
Пред юным Аполлоном, изваянным когда-то,
Вставали неподвижно суровые солдаты,
Тот мрамор охраняя и нежные узоры
На белизне прозрачной саксонского фарфора.

Вот предо мною будто солдат в папахе рваной,
Он только что из боя, с кровоточащей раной,
Еще покрыты потом черты лица простые,
Рыжеют от махорки усы его седые.
Он штык стальной сжимает рукой своею властной
Перед портретом дамы невиданно прекрасной:
От голых плеч, все в складках, и легких и веселых,
Каскадом льется платье среди колонн тяжелых...
— Вот черт,— бурчит ворчливо,— куда уж лучше,
братцы,
С княгинею любою по-свойски рассчитаться,
А то вот стой без дела пред этой самой кралей,
Когда отряд дерется уже в соседнем зале!
Да, скоро нашей станет твоя земля, княгиня!
Чего моргаешь? Я-то мужик простой...
Но ныне
Все путы разорвем мы своими же руками,
От прошлого оставим портрет вот этот в раме.
От подлости от вашей не будет и помину...
Чай, крепостной художник нарисовал картину...
Глядишь, полюбоваться придут жена иль дети:
Какая красота-то случается на свете!
Как видно, неспроста мне задачу дал такую
Сам Ленин... Шутка ль — Ленин сказал...
И вот стою я!

Какие разговоры велись еще солдатом
С княгиней, я не знаю (я не была тогда там),
Но в восхищенном сердце моем навек нетленен
Приказ, в который столько вложил заботы Ленин!

СУДЬБА

Моя судьба — остаться без судьбы,
Моя судьба — нести чужие судьбы,
Я не стекло... Мне взором не судьи,
А друга в души ваши заглянуть бы.

Пускай же вздох мой не затянет гладь
Окошка в мир завесою туманной.
Всего тяжеле не существовать,
И легче легкого быть безымянной.

Есть у меня семья — и нет семьи.
Я зря брожу в саду цветущим летом.
В траву роняет лепестки свои
Любовь моя, завянув пустоцветом.

Любовь моя, всегда я в стороне.
Все отдаю тебе, и все напрасно.
Порою только память шепчет мне:
«Ах, Вероника, радость так прекрасна!»

Хотелось бы мне только одного:
Чтобы могла любимые черты я
Узнать в чертах ребенка своего,—
Но это все одни мечты пустые.

Чужой меня не называйте вы,
Лишь я сама себе чужда по сути.
Моя судьба — остаться без судьбы.
Моя судьба — нести чужие судьбы.

ТИБЕРИУ УТАН

ЛЕНИН

Покажите мне гору,
видную так же далёко:
с севера и до юга,
с запада до востока,

как Человек-Гора
Владимир Ленин.

Покажите мне реку,
так же дающую жизнь земле,
движение гидроцентралям,
так же несущую без конца
энергию, веру и бодрость в сердца,

как Человек-Река
Владимир Ленин.

Спойте мне песню,
которая, все обнимая,
так же звучит на всех языках
от края мира до края,

как Человек-Песня
Владимир Ленин.

ПЕСНЯ ДУНАЮ

Дунай, мое счастье
И горе,—
Дорога, спешащая к морю,
Призыв кораблей белокрылых.
Тебя разлюбить я не в силах.
Легко разметал ты излуки,
Как спящая женщина
Руки,
Как будто бы руки любимой,
На коих я —
Непобедимый —
Разнежась, могу и забыться.
Ты свет мой,
Ты радости птица,
Мечта моя и улыбка,
Ты у страны под мышкой
Ее любимая скрипка.
Дунай мой,
Ты зеркало солнца,
Горнило,
Где слава куется
Народной отваге и силе,
О доблестях наших сказанье,
Дорога людского братанья.
Дунай мой,
Недаром мы ныне
На доброй
Прибрежной равнине
Стремим города в поднебесье,
Как славу тебе
В наших песнях.
Поем,
Чтоб тобой достигалось
Гнездовье орлиное — Галац.

Несите,
Дунайские волны,
Тепло в океанские чаши,
Улыбки сердечные наши,
Как огненные пионы.

ЧЕРЕШНЯ

Листвою меня облеки, ветвями,
душистой влажною тенью.
Когда бы ствола твоего я коснулся,
черешня, ты бы запела!
И останавливались бы люди,
внимая струны искрящейся пенью.

Как плод румяный созревшего лета
на нас с тобою похож — погляди!
Осталась молодость в прошлом где-то,
но жизнь у нас еще впереди.

Ты ветви простерла, а я — стремленья.
Наш ствол, поднимайся сквозь даль столетий!
Мы в землю пустили корней разветвленья,
но корни наши — и в воздухе, в свете.

* * *

Расстелило море под луною влажные шелка,
чтоб сухими вновь надеть их на заре и свежий ветер,
отоспавшийся в рыбацкой лодке, выпустить на волю.
Из глубин хрустальных волн, чтоб тебе доставить радость,
разноцветные ракушки поднимает... Мы не спим.
А в распахнутые двери, как живое существо,
всё тревожащая влага в блестках света — море, море
нашу комнату и с нею наши души затопляет.

НИКИТА СТЭНЕСКУ

ЮНОСТЬ

Ты — победная песня моя.
И когда предо мной возникаешь
Из дождинок ночных,
Я вхожу, улыбаясь,
Изумленный богатством твоим,
Под твои купола...
И коней твоих белых я глажу...

Оседлаю я этих коней,
И сережкой серебряной
К уху подвешу дожди,
Чтобы слышала ты,
Как я еду.

Ты взгляни мне в глаза:
Видишь, как они сини!..
И Коммуны грядущей
Стоят купола предо мной...

И если вдруг с моих губ
Ее светлое имя
Слетает,
Значит — утро настало...
И солнцу
Навстречу
Спешу я.

Марице Бунеско (Румыния)
Лодки в Суллне.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ

О павшем на войне не забывайте,
пусть будет он среди живых живой,
и место за столом ему порою оставляйте,
как будто бы вернулся он домой.
Ведь, в сущности, все так оно и было:
он совершил немыслимый прыжок
в тот миг, когда война его навек свалила,
он возвратился раньше тех, кто все-таки пришел.
Он сделал все, им путь до точки пройден.
Но жаром жжет его чело война,
которую все мы уже считаем прошлым...
Кропите землю каплями холодного вина!
Не забывайте никогда о павшем,
имя выкликайте, не оставляйте одного.
Тогда прибавится ко всем улыбкам нашим
невидимая,
не убитая,
его.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Я научил свои слова любви,
Открыл им сердце,
Не успокаивался до тех пор,
Пока их гласные не зазвучали.

Я им деревья показал,
А те, что шелестеть не захотели,
Безжалостно повесил на суках.
Мне было трудно,
Но слова
До самого конца
Должны быть на меня
И мир похожи.

А после
Взял я самого себя,
И в оба берега реки уперся,
И показал им,
Что такое мост.

А после этого я перекинул мост
Между травою и рогами тура,
Меж черною звездою и камнями,
Между висками женщин и мужчин
И сквозь себя погнал по двум потокам
Слова, как поезда или машины.
Пускай они скорей достигнут цели,
Постигнут эти два стремленья мира:
Из самого себя
И в самого себя.

БАРЕЛЬЕФ С ВЛЮБЛЕННЫМИ

Как на колонны, опершись на миги,
мы снова не равны себе самим
и ничего мы про себя не знаем:
ни где начнем, ни как мы завершим.
Мы снова превратились в барельефы.
Существовать мы только тем должны,
что в мир повернуты, в его пространства
и явно выступаем из стены.
Все вновь сосредоточилось в бровях,
в улыбке, в ласковом ее привете,
в глазах, в протянутой руке,
а прочего как не было на свете.
Прижатые мгновеньем, мы как прежде,
мы снова не равны себе самим,
и ничего мы про себя не знаем —
ни где начнем, ни как мы завершим.

ПЕЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ ЛЮБВИ

Жизнь когда-нибудь в самом деле
окончится для меня.
Трава познает вкус земли.
Моя кровь в самом деле затоскует по сердцу,
покидая его.
Но воздух высок, ты высока,
моя молодость высока.
Приходит время умирать лошадям.
Приходит время устаревать станкам.
Приходит время лить дождям.

Но все женщины выступают, как ты,
и одеваются, как ты.
Приходит большая белая птица,
та, что с неба сметет луну.

СТЕРТЫЙ РИСУНОК

Ты гаснешь где-то в тьме кромешной,
стираешься, как след улыбки —
струя блестящая и нежный
ожог улитки.

Ты и в зрачке моем незрима,
и в слове длишься лишь мгновенья —
трава, растущая из дыма,
из сновиденья.

Ты меж ресниц моих, как в чаще,
ты вся — мой выдох напряженный
и тихий стон, водой горчащей
не отраженный.

Ах, тучей черной, словно шторой,
и скрыт, и стерт я, и раздавлен.
Я королевский трон, который
тобой оставлен.

В МОРЕ ПЛАЗМЫ

В море плазмы
качается птица.
С воздухом разлученная, она отныне
в ином состоянье, в ином движенье,
и в цвете ином — отныне —
совсем иною отныне ей надо быть.

Тяжесть исчезла, также исчезли
паренье и скорость...
Мечется птица, мечется в море плазмы,
сущность свою сохранить пытаясь
и очертанья крыла.

Может быть, это уже не пройдет,
не пройдет никогда,
может быть, птица останется в плазме навечно,
и, может быть, мой содрогнувшийся мыслящий мозг
заселен будет вечно
фантастическим этим виденьем.

СТАРАЯ КОРЧМА

Пиво черное премерзко и отвратно,
плотный дым под потолком, как мошкара,
на столе непросыхающие пятна,
и какое-то вокруг — позавчера.

Бьют часы, хотя куда тут торопиться,
и святые в ряд выходят из часов.
Крыш костлявых белый цинк и черепица,
двери наглухо закрыты на засов.

Пью, рыгая, каплет пиво то и дело
с бороды моей — напиться не могу...
Ты истлел давно, мой милый, твое тело
стало сочною травою на лугу.

Я хотел бы стать конем, единорогом,
стать кентавром — чтоб, взойдя на бугорок,
богу смерти помолясь, в молчанье строгом
в той траве твоей пастись под вечерок.

ПЕСНЯ

От холода в надежду прячусь
и укрываюсь вечно,
как печь — узорами фаянса,
с огнем повенчана.

Не тронь меня руками летом,
не стоит браться —
тебе, откуда этот холод,
не разобраться.

Приди, когда никто не видит,
и гаснет солнце,
когда я слеп — ты свет вечерний
в моем оконце.

У ПОЭТА, КАК И У СОЛДАТА...

У поэта, как и у солдата,
нет личной жизни.
Жизнь личная его
лишь прах и пыль.

Зажав клещами мозговых извилин,
он поднимает чувства муравья,
подносит их к глазам все ближе, ближе,
пока они с глазами не сольются.

Он ухом к брюху пса голодного прильнет
и пасть полуоткрытую все будет нюхать,
пока лицо его и морда пса
едиными не станут.

Во время ужасающей жары
себя обмахивает он крылами птиц,
которых сам вспугнул
и в воздух взмыть заставил.

Не верьте вы поэту,
когда он плачет,
ведь не своими он слезами плачет:
те слезы он исторгнул из вещей
и плачет их слезами.

Поэт, он, как и время,
то медленнее, то быстрее,
то лживее чуть-чуть, то он чуть-чуть правдивей.
Остерегайтесь поэту что-нибудь сказать,
особенно остерегайтесь сказать поэту правду,
но более всего остерегайтесь поведать то,
что чувствовали вы.
Он тут же скажет, что это пережито им самим,
и скажет это он к тому же так,

что вы и сами подтвердите:
да, это он сказал.

Но более всего вас заклинаю:
не трогайте поэта!
Нет, нет, не пробуйте рукой
его касаться!

...Ну если только
рука ваша тонка, как луч,
тогда она пройдет через него.
Иначе рука застрянет в нем
и пальцы ваши он себе присвоит
и сможет хвастать,
что пальцев больше у него, чем есть у вас,
и вынудит с собою согласиться,
что да, действительно, их больше у него.

Но будет лучше, если
поверите вы мне,
и еще лучше, если
не будете касаться никогда
рукой поэта.
Ведь и не стоит его рукой касаться...
Нет у поэта, как и у солдата,
личной жизни.

НИКОЛАЕ ЛАБИШ

ВОЗМУЖАНИЕ

Я рожден для того, чтобы нежно любить очертания дня,
Потому что любовь человечна, как наше рожденье.
Я рожден для того, чтобы слезы живые, как искры огня,
Загорались и гасли, подобно росе на растенье.

Я ребенком увидел змею, и орла, и дрозда,
И ягненка, и рысь, уходящую в бор за добычей.
Я любил одинаково всех, потому что тогда
Я не знал, что у каждого свой и закон и обычай.
Но однажды ягненка загрызла голодная рысь,
И однажды змея в золотистой, как солнце, одежде
Укусила меня. И упали три капельки вниз,
Три багровые точки, которых не видел я прежде.
Я не плачу о том. И совсем не жалею о том,
Что немедленно я одарен осторожностью не был,
Что колено разбитое вытер древесным листом
И немедленно вам улыбнулся, о солнце, о небо!
Я не стал бессердечней с годами. Но искренне рад,
Что доверчивый облик любви ограждать научился.
Виноград почернел, я сумел раздавить виноград,
И священный напиток из ягод его получился.

КЛЮВ

Осень скользит над рощами,
Крылья во мгле теряются.
Горы, к земле приросшие,
Меркнут и заостряются.

Несмелая, онемелая
Медлит над нами стая,
Воспоминанье белое
Темным крылом листая.

Я остаюсь у дерева,
Там, где рожок мечты
В небо трубит уверенно,
Если проходишь ты.

Но сумерки все сползаются.
И, ударяясь оземь,
В нас глубоко вонзается
Клювом холодным осень.

ТАНЕЦ

Эта осень меня погрузила в серебряный дым.
Эта осень во мне закружила багровые листья,
Мы танцуем свой медленный танец, кончается день,
И качается тень, и мерцают осенние мысли.
С черной скрипки на зеркало капает черная кровь.
И ни звука, ни ропота. Вот наступило смиренье.
Я прошу об одном, протяни на прощание вновь
Две прозрачных руки уходящего в небо мгновенья.
У тебя безупречны глаза. Под моими — круги.
Мы танцуем свой медленный-медленный танец осенний.
О, печалью какой обозначены эти шаги!
Так печалится ветер, срывающий листья с растений.
На рассвете, наверно, расстанемся молча навек.
Ты увидишь деревья, как будто сквозь толщу стакана.
И на голой земле, опечаленный, как человек,
Будет молча кружиться серебряный стебель тумана.
Ты со мной переступишь в молчанье осенний порог,
Так безмолвно, как я погребал и оплакивал чувство.
Будет ветер трубить над равниной в неистовый рог,
Собирать облака в ледяное, бездонное русло.
Я пойду и шаги погашу в сероватом песке,
И каштаны меня оградят, словно спичку в ладони.
Я уйду, унося, как последнюю пулю в виске,
Угрызения совести, бедной, как трус при погоне.

ЗНАМЯ

Я видел сверкающий танец
Над кровлей завода, в глуши.
Опасный, диковинный танец
Под небом, где нет ни души.

Я видел, как там пролетали
Шары голубого огня,
И ветер багровое знамя
Сорвал на глазах у меня.

Я видел, по кровле железной
Прошел человек не спеша,—
И молнии вдруг надломились
И вниз полетели, шурша.

Враждебные посвисты ветра,
Дождя перекрестный допрос.
Но шел человек в поднебесье
И знамя за пазухой нес.

Он был не волшебник, я знаю,
А был он из наших парней.
Поэтому красное знамя
В руке его стало красней.

И там, в поднебесье дождливом,
Где ропот, и рокот, и треск,
Упал на лицо человека
Сияния алого блеск.

Враждебные посвисты ветра
И молнии выпад крутой,—
Но знамя над нами, как пламя.
Принес его парень простой.

СМЕРТЬ КОСУЛИ

Жара. На землю каплет солнце.
И нет ни ветра, ни дождя.
В грязи вернулась из колодца
Моя порожняя бадья.
И над лесами пламя вьется,
Ветвей зеленых не щадя.

А мы с отцом идем по склонам,
Подстерегая диких коз.
Жара. На языке соленом
Витает привкус детских слез.
По камешкам, от солнца сонным,
Ручей проносится вдали.
Наверно, я иду по склонам
Необитаемой земли.

Мы ждем в кустарнике, у самой
Прозрачной, неземной струи.
Сюда придут при звездах самки
И губы освежат свои.
Единый выстрел — кровь из ранки.

Я пить хочу. Звенит источник.
Наверно, жаждой связан я
С тем существом, что этой ночью
Должно погибнуть у ручья,
Хотя законы и обычай
Велят не убивать зверья.

Кровавы сумерки. Алеет
Моя одежда. Вновь и вновь
Мне кажется, что это тлеет
На мне самом чужая кровь.
Мерцают алые соцветья,
Как жертвенник на алтаре.
О лучшая из жертв на свете,
Не приходи! Не верь жаре!

Она пришла и сбоку встала.
Спасайся, господи, скорей!
В ручье вода затрепетала
От этих тоненьких ноздрей.
Она умрет, ей будет больно.
И миф о девушке,— о той,
Косулей ставшей,— вдруг невольно
Воскрес и былью и мечтой.

А лунный луч, далекий, бледный,
На теплый мех стекал звездой.
Минуй чело косули бедной,
И боль, и смерть,— во имя той!

Но загудела даль. Колени
Согнулись, к небу — голова.
И все-таки одно мгновенье
Она была еще жива.
Душа ее легко взлетела
С печальным криком журавля,—
Как будто все осиротело
И пахнет холодом земля.

Покуда не остыло тело,—
Косуля из последних сил
Еще по воздуху летела,—
Рога чернели вместо крыл.
Я вздрогнул. Радостно и бодро
Отец присвистнул: «Мясо есть!
Теперь бы дождичек и вёдро,
Чтоб дух немного перевесть».

Я пью и пью. Звенит источник.
Навеки жаждой связан я
С тем существом, что этой ночью
Упало мертвым у ручья,
Хотя законы и обычай
Велят не убивать зверья.
Но наш закон жесток предельно
И милосердность жестока,—
Моя сестра больна смертельно,
И в доме — хлеба ни куска.

Одной ноздрей ружье дымится.
О, как переменило лес
Одно убийство! Словно птица,
Летит листва наперерез.
А я беру цветок на память,
Стою с серебряным цветком.
А с вертела отец ногтями
Снимает сердца алый ком.

Что сердце? Я хотел бы жить... Я голоден!
О дева —
Косуля, ты меня прости навеки, насовсем.
Спать! Как высок костер и как дремучи древа!
Что думает отец? Я плачу, ем и ем!

МАРИН СОРЕСКУ

ШАХМАТЫ

Я хожу белым днем,
Он отвечает черным днем,
Я наступаю мечтой,
Он берет ее войной.
Он нападает на мои легкие,
И я на год задумываюсь в больнице,
Нахожу блестящую комбинацию
И один черный день снимаю с доски.
Он угрожает мне смертью,
Которая ходит крест-накрест,
А я выставляю книгу щитом
И заставляю смерть отступить.
Я выигрываю у него еще несколько фигур,
Однако, смотри, половина моей жизни
Уже за краем доски.
— Я объявляю тебе шах, и ты сразу скиснешь,—
Говорит он.
— Ничего,— отшучиваюсь я,—
И рокируюсь чувствами.
За моей спиной жена, дети,
Солнце, луна и остальные болельщики
дрожат за каждый мой ход.

Я закуриваю сигарету
И продолжаю партию.

ДВУКРАТНО

Я смотрю на все на свете
Двукратно.
Сначала, чтоб развеселиться,
Потом, чтобы опечалиться.

У деревьев крона листвы
Взрывается хохотом,
Но корни таят
Большую слезу.
Солнце
Молодо в истоке лучей,
Однако они
Вонзаются в ночь.

Мир безупречно захлопнут
Этим переплетом,
Под которым собрано все,
Что я перелюбил
Двукратно.

ВОТ ВЕЩИ...

Вот вещи,
они пополам разрезаны точно:
с одной стороны — сама вещь,
а с другой — ее имя.

Там, меж ними, большое пространство,
где и бегать возможно
и жить.

Вот и ты распадаешься надвое тоже:
ты — с одной стороны,
а с другой — твое имя.

Приходилось тебе ощутить
хоть однажды
во сне,
как на мысли твои
наложились другие какие-то мысли,
а на руки твои

наложились другие какие-то руки?
Кто-то понял тебя на мгновенье
и провел твое имя
сквозь тело твое
с тихим звоном
и с болью —
словно медный язык колокольный
в пустоте колокольной.

ИГРУШКИ

Мы, ужасно большие,
мы, не падавшие на льду
с довоенной поры,
ну, а если нечаянно и поскользнулись однажды,
при паденье мы год себе некий сломали
из важнейших один, из негнущихся наших,
из гипса...
Мы, которые взрослые,
чувствуем вдруг временами,
что нам не хватает игрушек.

Все имеем, а все не хватает чего-то —
непременно нужны нам игрушки.
Мы тоскуем по оптимизму,
заключенному в сердце у куклы,
и о парусном судне волшебном,
что плывет одинаково быстро
и по бурным волнам,
и по суше.

На коня деревянного нам бы вскочить,
чтоб он всем своим деревом лихо заржал,
ну а мы бы сказали: «Свези нас туда-то,
или, впрочем, вези нас, куда пожелаешь,
ибо нам все равно,
где свершить свои подвиги
нам предстоит!»

Ох, как нам иногда не хватает игрушек!
Но грустить из-за этого нам невозможно, увы,
и поплакать нельзя
от души,

ножку стула рукой обхватив,—
потому что мы взрослые очень,
и нет никого старше нас,
кто бы мог нас утешить.

АДАМ

Невзирая на то, что живет он в раю,
озабочен весьма был Адам и печален,
потому что не знал он,
чего ему тут не хватает.

Тогда бог сотворил ему Еву,
взяв ребро у Адама.
Это чудо Адаму понравилось так,
что он в ту же секунду
стал ощупывать следующее ребро,
ощущая, как сладостно поражены его пальцы
нежной грудью упругой
и прелестью бедер, округлых,
словно контуры нотных значков.
Так явилась пред ним его новая Ева.
В этот миг она красила губы как раз,
перед зеркалом стоя.
«Что поделаешь, жизнь такова!» —
так вздохнул наш Адам
и еще сотворил одну Еву,
и еще, и еще...
Чуть лишь только официальная Ева
отвернется на миг
или мирру и ладан на рынок пойдет покупать —
он опять извлекал себе новую Еву
из межреберного гарема.

Бог заметил
разнузданно наглое творчество это,
и призвал он Адама к себе,
обругал его крепко
и выгнал из рая
за приверженность к сюрреализму.

Я ЗАВЯЗАЛ ГЛАЗА

Деревьям завязал глаза
платком зеленым.
— Попробуйте меня найти! — сказал им.

И сразу же меня нашли деревья
под хохот листьев.

Я птицам завязал глаза
платком из тучи.
— Попробуйте меня найти! — сказал им.

И сразу же меня поймали птицы
под звуки песен.

Тоске я завязал глаза
улыбкой.
Тоска на следующий день
меня в любви сыскала.

Я солнцу завязал глаза
ночами,
сказав ему: — Теперь найди попробуй!

— А, вон ты где! — ответило мне солнце.—
Тебе ни за какой погодой
не укрыться.

— Тебе не скрыться! —
так весь мир сказал мне
и чувства все, которым
пытался я завязывать глаза.

АНА БЛАНДИАНА

ЗАКЛИНАНИЕ ДОЖДЯ

Люблю дожди, без памяти ливни люблю,
Бешеный ливень и тихий дождь,
Девичий дождик и по-женски безудержный ливень,
Дождик грибной, и накрап, и осеннюю морось,
Люблю дожди, без памяти ливни люблю,
Люблю кувыркаться в их белой высокой траве,
И нити их рвать, и идти с их былинкой в зубах,
Чтоб, видя меня, хмелели мужчины.

Я знаю, говорить некрасиво:
«Я самая красивая женщина».
Это дурно и, может, неправда,
Но позволь мне, когда начинается дождь,
Лишь когда начинается дождь,
Произнести волшебную формулу:
«Я самая красивая женщина».

Я самая красивая женщина, потому что идут дожди,
Мне сквозная к лицу бахрома в волосах,
Я самая красивая женщина, потому что ветер в лицо
И платьице бьется, отчаявшись спрятать колени.

Я самая красивая женщина, потому что ты
Далеко от меня и я тебя жду,
Я самая красивая женщина, потому что умею ждать.
И ты знаешь, что я тебя жду.

В воздухе веет влюбленностью, свежестью.
Все прохожие ловят запах дождя,
А во время дождя влюбленность мгновенна.
Все прохожие влюблены,
И я тебя жду.

Ты же знаешь —
Люблю я дожди,
Я без памяти ливни люблю,
Бешеный ливень и тихий дождь,
Девичий дождь и по-женски безудержный ливень.

В ГЛУБОКОЙ ТИШИНЕ

Мне жаль всех тех, кто учится молчать,
менять легко, как веера, щиты молчанья:
за этими щитами — тишина, калейдоскоп безмолвий,
там скользят немые тени чувств:
презренье, мудрость, унижение, злорадство...
Мне жаль старательных учеников, самозабвенно
затягивающих петлю беззвучья.
Они молчат и кажутся мудрее, лучше,
старше...
Но как им страшно!
Храниться в вакууме и спасаться от кого?

Так под водой, под толщей тишины,
умноженной столь безъязыким эхом,
однажды задохнулась я от звука:
неслышно закрывались створки раковин.

ИНТИМНЫЙ МИТИНГ

Я стыжусь каждого мгновения, растраченного в одиночестве,
Каждой слезы, отдаляющей мои глаза от звезд,
Когда белый череп моей комнаты
Наслаивается на мой мозг.

На площади этого шахтерского города
Мои плечи, из массы других вылепленные необратимо,
Стыдятся к строгим погонам зрелости
Вновь приладить крылья из дыма.

Рядом с ними я сильна, я верю в дружбу,
Мой лоб смиренно и радостно склониться готов,
Мой белый лоб, как платочек, которым машут
У окон всех бегущих в будущее поездов.

С трибун, предоставленных каждому, мы смотрим в будущее,
Скрытое в цифрах и песнях, в шифрах, сигналах.
Тревоги чеканят на наших лицах суровые линии,
Как отбойные молотки в неприступных скалах.

Счастье — это митинг, на который я приглашена,
Под огромными знаменами, то очевидными, то скрытыми.
Для меня ты, Партия,— вот эти улыбающиеся шахтеры,
Отрицание одиночества.

РЕВОЛЮЦИЯ

Минута горем скована в сгусток молчания.
Молчал молодой боец над умершим другом,
Странно походя на триумфальную арку,
Согнувшуюся над умершим другом.

Плакали липы, по-отечески роняя листья,
Каждая такая же близкая, как Ленин.
Молодой боец слушал крик улетающих журавлей,
Волнующий, как голос Ленина.

И под красными липами, под полетом журавлей
К лучшему времени, сквозь смерть давящего воздуха,
Как тяжелая триумфальная арка,
Молодой боец понял Революцию и пошел вперед.
Молодой боец — это я.

ГРАНИЦА

Ищу начало зла,
Как в детстве я искала дождя границу.
Все силы напрягая, я мчалась,
Чтоб найти то место,
Где, сев на землю,
Я была бы одною половиной под дождем,
Другой под солнцем.

Но дождь всегда кончался раньше,
Чем находила я его предел,
Чем удавалось мне узнать,
Доколе небо чистое простерлось.
Напрасно стала взрослой.
Все силы напрягая,
Я до сих пор бегу и все ищу то место,
Где, сев на землю,
Ощутить могла бы ту линию,
Что отделяет добро от зла.

ГЛАЗА ЛОШАДИ

Я — лошади глаза.
Их оградили шоры,
Чтоб мне не спрашивать,
Что за деревья, за цветы
Мне повстречались.
Я вижу лишь дорогу
И изредка порой
Лишь тени облаков,
Их странные рисунки,
Которых я не понимаю.

ИЗ ПОЭЗИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ПЕТР БЕЗРУЧ

МАРИЧКА МАГДОНОВА

Шел старый Магдон домой из Остравы.
В бартовской остановился харчевне.
Вылетел вон с головой разбитой —
Плакала Маричка Магдонова.

С рельс вагонетка с углем соскочила.
Насмерть пришибла вдову вагонетка.
Плакало пятеро бедных сироток.
Старшая — Маричка Магдонова.

Кто их накормит? Кто слезы осушит? —
Будешь их матерью? Будешь отцом их?
Сердце хозяина шахты пожестче,
Чем у тебя, Маричка Магдонова.

Сколько лесов у маркиза Геро,
Разве он дров для сирот пожалеет,
Если отцы в его шахтах погибли?
Верно ведь, Маричка Магдонова?

Маричка мерзнет в нетопленном доме...
Хворосту в горных дубравах без счета.
Видел бурмистр, как ты хворост вязала,
Выдаст он, Маричка Магдонова?

Что за жених это избран тобою?
Штык над плечом и перо на шляпе?
Что же, вы вместе пойдете во Фридек?
Свадьба там, Маричка Магдонова?

Что за невеста? Глаза опустила.
Белый платочек к глазам приложила —
Горькие слезы текут неустанно.
Что с тобой, Маричка Магдонова?

Фридек смеется. Бары довольны.
Дамы из Фридека тоже довольны.
Хохфельдер видит тебя из окошка.
Как же быть, Маричка Магдонова?

В хате нетопленной плачут детишки.
Кто их накормит? Кто слезы осушит?
Разве хозяин поможет сироткам?
Бедная Маричка Магдонова.

Маричка! Видишь — река пред тобою?
Острые камни под бурной водою.
Слышишь, как волны ревут по утесам?
Девушка с гор, ты все понимаешь?

Вот и конец! Метнулась, как птица,
Черные косы за скалы цепляются.
Белые руки кровью покрыты.
С богом, Маричка Магдонова!

Кладбище тихое есть в Старых Гамрах.
Там — без креста, без венка, за стеною,
В бедных могилах — самоубийцы.
Там лежит Маричка Магдонова.

КТО НА МОЕ МЕСТО?

Так мало крови во мне, а она еще льется и льется
Из уст.
Как будет уж дом мой пуст,
И буду я гнить, и трава надо мной
Взрастет и, цветя, заблестит,

Кто займет мое место,
Кто поднимет мой щит?

Окутанный дымом витковских печей,
В глазах моих ночь и огонь из ноздрей,
Я встал,
И солнце горело, и вечер светился,
Нахмуривши брови, врагов я считал,
На ком-то из них и венец был алмазный,
Метнулся из шахты я, темный и грязный,
Но каждый увидел мой гнев, мой отпор
И длань рудокопа из гор.

И крови так мало во мне, а она еще льется
Из уст.
Когда же мой дом будет пуст,
И буду я гнить, и трава надо мной
Взрастет, заблестит,
Кто стражем займет мое место,
Кто поднимет мой щит?

ИРЖИ ВОЛЬКЕР

МОСТОВАЯ

Мостовая организовала демонстрацию —
восставая над городскими черепицами,
оглушила улицу знамен тысячами
с человеческими затоптанными лицами.

Выперла за город па простор,
с васильками и грибами уселась за стол:
каждый камень растет и растет,
как любое семечко,
честное и простое,
в землю вложено от сердечных щедрот
сеятелями, на коленях стоя.

А тем временем в городе
колокола раззвонились так, что колокольни рассыпались,
колокола, как птицы из клеток, вспорхнули в небесную
высь,
дома вздели руки, сдались и рухнули, а трамваи
на площадях, как сорванные маки, завяли,
и кабаре разрыдались, и прогорели кафе,
нищета вознеслась в небеса, испепелились KČ [1],
камня на камешке не осталось —
все с мостовой срасталось.

[1] KČ — сокращенно: чехословацкая крона.

И только руки мостильщиков,
схороненные под собственным трудом,
легонько из пепла выпростались. Осталось живо
сотнетысячерукое поле.
Колосья, нива.

ПОЭТ, УЙДИ!

Поэт, уйди!
Брось все — вернись с киркой,
вскопай от кладбища до цепи горной,
здесь ночью сей любовь, покорность,
чтоб утро родилось в сиянье света,
где б не было ни одного поэта,
но где умел бы каждый
творить, тоскуя, песни.

ГОСТЬ НА ПОРОГ

Твое же собственное сердце тебе велело: «Лазарь, встань!»
Я за тобою вышел вслед из каменной светлицы.
Мы были радостны и светлолицы,
и вдруг почувствовали мы, что руки обрели,
и захотелось в руки взять тугой комок земли.
Земля тяжелая была, как тяжкий труд шахтеров.
Земля веселая была, как обжитой очаг.

В мощеных переулках
всегда понятней праздник.
Мы поняли и потому пойдем
в свой крестный путь к святому миру.
Но этот путь уже найти не трудно,
ведь не одна звезда,
а тыщи звезд
нас поведут во все четыре стороны от месяца от белого.
Ведь во всех странах нынче народились
младенцы.

На кусту, кусту
веточки в цвету.
А у нас — окраина
вся бедой ограяна.

Под образом семьи умученной
керосиновая лампочка коптится.
Здесь нам и остановиться,
с голодными покормиться.
В пустые тарелки очи свои положим спать.
Из крови и сажи станем стихи писать,
стихи, светящиеся, как пасхальная свечка,
чтоб утешить человека
на дороге в рай.

Человек
человеку
дверь
отворяй!
Гость на порог —
и еще... Некто.

ЧАС РОЖДЕНЬЯ

А. М. Пише

Затем пришел
на белый свет я,
чтоб строить жизнь по велению сердца.

Сердце юности — как запевки песен,
как план дворца для подарка людям, чтоб праздник был весел,
но сердце мужчины — рука да мозоли,
кровью оно в кирпичи превращает невзгоды и боли,
чтоб не дворец у дороги — корчму возвести,
где бы могли, утомившись в пути,
путник и путница отдых найти.

Близится час рожденья.
Умерло юноши сердце во мне, и несу я его на погост,—
нового сердца в груди начинается рост;
это рожденье — тоже страданье.

Я одинок в этот час рожденья:
сердце одно схоронил, а другое родится,
и, одинокий, в смятенье я буду томиться,
станут теперь надо мной издеваться
стены, холодные камни...
Куда мне деваться!

Лампа, книги друзей, письма любимой —
вещи, рожденные верой, любовью и светом,
будьте сегодня со мной, одиноким и сирым, трижды
мне верными будьте
и помолитесь при этом,
чтобы росло во мне непримиримое, храброе сердце.
Верьте, верьте вы за меня, что так и случится,
и по велению сердца —
верьте —
жить справедливо я буду до самой смерти!

Нет еще сердца мужского в груди у меня,
я одинок в этот час рожденья,
верой не крепок.

* * *

И вот я отворил свое окно
и выпустил любовь навстречу стуже,
в ночь, полную студено-белых звезд.
Потом я стиснул голову потуже,
и видел я теней тоскливых рой,
охваченный болезненной тоской.
Я чуял — сердце превращалось в лед,
и мне казалось, что оно замрет.

Ночь медленно текла через окно
и комнату мою переполняла.
Подрагивали тени, аромат
полуживых акаций лился вяло.
Меня их запах грустно обнимал.
Я сожалел о том, что потерял.
Я чуял — сердце превращалось в лед,
и ждал, что остановится вот-вот.

И сквозь окно, куда я упустил
тепло и счастье, хмуро ночь глядела
колючим взглядом, острым, как игла...
Сидел я бледный, все во мне немело.
Сгустилась тьма, и аромат пропал,
и рой теней все ближе подступал.
Я чуял — сердце превратилось в лед,—
сейчас оно сожмется и умрет.

ЯРМАРКА

Ярмарка, гомон, гнездо осиное —
будки, лавочки и шатры
крыты ветхою парусиною.
Хошь — покупай, хошь — так смотри.

Пряник сердечком — берите, девушки,
а там за крейцер — счастье в кульке.
Ребятишки сжимают денежки —
мелкие денежки в кулачке.

Ходят суровые старые барыни,
трогают, щупают, смотрят на свет,
ищут себе подходящий товар они —
чтоб без износу на десять лет.

Лает щенок — от тоски, от обиды ли,
что происходит, ему не понять.
Дамы в шелках — деревянные идолы.
Хочется мять, продавать, покупать.

Толпы людей валят по городу,
голос свистушек, хохот и спор.
В каждом трактире люда-то, гомону,
крику-то, дыму-то — вешай топор!

Все здесь шумит, покупает, торгуется,
пьяные крики срываются с губ.
Ветер шалит, парусина волнуется...
Ну а мне приценяться к чему б?

НА РЕНТГЕНЕ

Здесь души не подвергают проклятью, вы не у Фауста в кабинете, это рентгеновский аппарат с магической красотой XX столетья, ультрафиолетовые лучи проникают здесь в мясо, мышцы и шрамы, тело человека раскрывается, как зашифрованная телеграмма, ибо тело сегодня — это душа, на которой начертано заранее, для чего человек рожден — для счастья или страдания.

— Пан доктор, скажите, чем болен я,—
в груди как будто свинец и змея.
Тело мое лучами своими пронзите,
что вы увидели в нем, скажите!

— Мне легкие рассмотреть удалось.
Фабрика расписала их сажей и дымом.
В них свист трансмиссий и шум колес,
что кричат о труде твоем невыносимом.
Мне легкие рассмотреть удалось,
их голод сожрал и туберкулез.
Умрешь.

— Тяжелое бремя — болезнь и смерть,
но то, что во мне, и того тяжелее.
Доктор, прошу вас, меня не жалея,
тело лучами своими пронзите,
что вы увидели в нем, скажите!

— Я вижу сердце твое, человек,
семя, мечтавшее дать побег,
там, в мире, любовью и дружбой согретом,
где дети, жена и надежный друг,
где можно на хлеб обменять силу рук
и есть за столом под солнечным светом.
Я вижу сердце твое, человек,
и легче ему умереть, чем весь век
жить без любви.

— Об этой тяжести знаю я сам.
Но глубже меня просветите, до дна!
Гигантскую тяжесть найдете вы там.
С трудом я ношу ее. Кажется мне,
мир вздрогнет, когда сорвется она.

— Бедняк, я ненависть вижу на дне.

* * *

На койку немощного свет упал,
он под бинты проник, тревожа боль мою.
Товарищи идут за справедливость в бой,
товарищи идут — все, как один, в строю.

На койку немощного свет упал,
и дышит на нее из мрака ночи смерть.
Но почему идти я с вами не могу?
Я пасть хотел в бою, а должен умереть.

ЭПИТАФИЯ

Здесь Иржи Волькер погребен — любивший мир поэт.
Он жаждал справедливости служить,
но, прежде чем успел он к бою сердце обнажить,
умер двадцати четырех лет.

СТАНИСЛАВ КОСТКА НЕЙМАН

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Нет, это не земля, а сон,
лучистых колдовство ночей
под темным пологом небес,
на бархатных волнах полей.

Нет, это не земля, о нет,
но белых музыка дорог,—
они, чтоб лить свой тихий блеск,
свет звездный ввергли в глубину.

Нет, это не земля — она
дар бесконечности самой.
Морозной вечностью бреду
ничтожный я, чудак смешной.

ПОЛЕ БОЯ ВНУТРИ НАС

Мы —
поле боя
с мыслями, сердцем и нервами всеми,
каждый таит в себе поле боя,—
грохот и крики терзают простор,
часто приходится туго;

ноги, колеса разрыхлили землю,—
это твоя заслуга,
Москва!

Мы —
поле боя;
как четверть столетья назад,
часто приходится туго.
Два мира друг друга теснят и громят —
мир новый и мир былого,
чувства и мысли из пушек палят,
старая проза сражается с новой,—
это твоя заслуга,
Москва!

Так
день за днем
в гуле дневном, в ночах ли бессонных
стоны звучат побежденных
и победителей смех.
Бьются, безжалостно бьются
сын рабства и сын революции,
собственник и пролетарий;
часы за часами летят,
мы чувствуем времени бег,
и нет надежды на отдых,
о сердце!

Разве,
товарищи, только тот
к свету выходит из тьмы,
кто чист и безгрешен вполне?
Пусть битва бушует в тебе и во мне,—
к этому призваны мы.
Ленин — вершина, мы — поле боя,
пусть суждено нам погибнуть в сраженье с самими
собою,—
мы верим,
что в землю сойдем перегноем,
потом
новый род
расцветет,
достойный тебя,
Москва!

Так
день за днем!
Пусть сердце стонет, трещит голова,
убьем, убьем в себе обывателя,
убьем, убьем в себе предателя.
Пусть продолжается борьба
до победного конца.
Приверженца тьмы и лжеца
удавим, друзья, в петле!
Голову он подымает в тебе?
Цельсь верней — бей!

Кто хочет, чтоб в сердце звучал оркестр?
В нем — шум боевой!
Мы готовим для битвы его,
это есть наш последний
и решительный бой!

БЛАГОДАРНОСТЬ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Фрагменты

Вам благодарность и любовь!
О, если б колокольным звоном
они гремели!
Я ведь не один —
нас миллионы.
Когда-нибудь потом
сравняемся мы с вами кое в чем,
теперь же только благодарность шлем.

За то, что вы не цените дороже жизни прибыль,
что ваша детвора не чахнет от нужды
и безработный с голоду не умирает, ибо
для всех есть труд у вас и плечи он не гнет;
он не навязан теми, кто несет
с собою зло и темноту,
кого не трогает чужое горе
и кто привык разбойничать весь век;
ваш урожай не отдают скоту
и не выбрасывают в море,
его хозяин — человек.
В стране у вас трудом гордятся,

и всем его плоды принадлежат.
А из-за моря ваши тунеядцы
лишь глупостью предательской смердят.
За то, что трудится весь ваш народ,
а кто не трудится, тот завтра сгинет,
за то, что ваш народ земли хозяин ныне,
владеет всем, что создает.

За то, что не хотите, чтоб ваш светлый путь
пустое словоблудие марало
да болтовня оригинала,
что любит красноречием блеснуть.

За то, что вы от буржуазных всех свобод
освободили настоящую свободу
и что мыслитель ваш не слеп, как крот,
за то, что стал он рычагом народов.

За то, что личность может быть у вас волной
в потоке общем, что стремится к новым далям,
а не тщеславной головой,
не хищником, не девкой площадной
и не ученым попугаем.

За то, что создаете мир такой,
такую человечества отчизну,
где все живет борьбой за новый строй,
живет во имя коммунизма.

За то, что проникает свет зари
в жизнь тех, кто ждет еще, в потемки глядя,
за то, что и у нас родятся бунтари
в позорном этом маскараде.
За эти-то великие дары,
за луч, который светит угнетенным,
мы вам любовь и благодарность шлем.
О, если б колокольным звоном
они гремели!
Верю я, потом
сравняемся мы с вами кое в чем,
земли свободной миллионы!

НЕ ИЗМЕНИ!

Лишь о тебе, народ, все помыслы мои,
лишь о тебе, народ,
не измени!
На край наш тьма ползет,—
изменишь ли своей отчизне,
сиянью правды, детям, жизни?
Не измени!

Мрак — лишь игрушка времени, пойми,
Мрак — только эпизод,
не измени!
Ведь существует солнечный восход,
пробьются всходы, будет урожай,
сердца мильонов встретят май,
не измени!

Цветы увяли, свет померк в тени,
как призрачные сны,
не измени!
Не заглянул ты в закрома весны,
но ты как дерево — когда зима пройдет,
зазеленеешь снова, мой народ.
Надейся, верь, не измени!

СЛАВА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Лениния, красная и крамольная,
с голубыми глазами, полными чаяний,
стройная, трогательная, веселая, вольная,
в вихре гнева, в борьбе отчаянной
тому назад двадцать восемь лет
родилась в мудрой голове Ленина:
десять дней сотрясался прогнивший свет,
мировой буржуй ползал в страхе и в исступлении.
В то время как моряки плели ей окровавленные венки,
капиталисты и авантюристы на нее направляли штыки.

Восстала Лениния, восстала широкоплечая Русь
за святые права людей, привыкших трудиться.

По дорогам боев и ужасов пронесли они ее груз,
сберегли они красную молодость! Кто за нее стыдится?
Из Смольного и до Крыма, из Москвы до Владивостока
падали, вставали, били и трудились при этом.
Буржуй не дождался сумрака, обманулся жестоко.
СССР стали звать шестым континентом,
из животворных грудей страны текли молока потоки,
и благословляла она своих пятилеток итоги.

Цвет всего человечества смотрел на Страну Советов,
на нее же был обращен ненасытный гангстерский взгляд:
убивала, грабила, жгла целая армия людоедов.
Голодал Ленинград, страдала Украйна, наступил
Сталинград.

Красная Армия побеждала, шла все вперед и вперед она.
Ее вело дорогое воспоминание о Ленинии,
ее вела победная гордость за родину,
ее вела и воля к расплате... Нет, солдаты Советской России
убивают, когда это необходимо, а не чтоб убивать...
Двадцать восемь лет. И непобедима! Здравствуй, мать!

ЙОЗЕФ ГОРА

МАДОННА РАБОЧЕГО КВАРТАЛА

Спустишься в подвал — и ты увидишь
в грязном полумраке плесень на стенах,
ржавую кровать и на кровати
женщину.
Нынче без чудес — от человека
ты, Мадонна, сына родила.

Фимиамы! — дым щелястой печи,
запахи прогорклого обеда...
Коляду нужды споет пришельцу
с брошенного на пол тюфяка
куча ребятишек.

Огрубела ты и отцвела, Мадонна!
На руках сплетенье синих жил,
трещины на высохших губах
и упорство самоотреченья
под нависшим лбом.
Все слова любви давно уж поглотил
зев нищеты.

Где же три волхва?
Обошли они твой дом, женщина с ребенком!
И звезда господня разрешила заблудиться
дароносцам;
для тебя им не хватило благовоний,

золота и ласковых речей.
Пышные, в парче, они входили во дворцы
и растрясли дары
по квартирам теплым, мягким спальням.

А печальный Вифлеем
полон бедняков убогих, жалких, немощных,
заблудших и слепых.
Тяжко дышится тебе, Мадонна, красота твоя
поблекла,
чудо-мальчик тянет молоко
горькое из жил твоих иссохших...

Но поверь: будет время — и тридцатилетний
сын твой выйдет на просторы площадей,
и, с евангельем восстаний на устах
справедливости приход провозглашая,
толпы он вооружит. Мечту он вложит
в грудь мильонов, даст им в руки меч,
действие его молитвой будет.

В МОСКВЕ

Открыты взору белые
просторы.

Ударили куранты.
Час который?

По Красной площади
иду с мечтой о Ленине.

И бьется сердце.
Это ритмы времени.

СТИХИ О ПРАГЕ

Твой образ осенью в туманной сини неба
растаял, как дыханье на стекле.
Я жажду уст твоих, как жаждет корки хлеба
голодный нищий в моросящей мгле.

В просторы я вхожу обманчиво пустые,
где листопад меж белых башен тих.
Люблю, люблю твои мгновенья роковые
и музыку на островах твоих.

Ты в ночь мою войдешь, и явственно для слуха
раздастся топот войск. В мой чуткий сон
ворвется шум плотин, гул парков, сонмы духов,
блеск волн и стали звон.

Под ве́ками твоих свинцово-тяжких статуй
спи на распутье всех дорог,
в сугробах злых времен, минувших дней глашатай,
тоскующий призывный рог.

Вот с факелом в руке танцуешь ты над бездной,
красавица в расцвете лет.
Я с именем своей отчизны бедной
иду сквозь тьму ее — в рассвет.

* * *

Быть свидетелем последнего сраженья,
что угрюмо зреет в глубине...
А чего просить у провиденья?
Чтоб глаза оставило при мне.

Быть свидетелем стремительного роста
мира, что осилил столько сил...
И посметь сказать — как это просто:
«Хорошо, что есть я и что был».

КОНСТАНТИН БИБЛ

ПЕСНЯ ШЕСТЕРЕНКИ

Рядовой солдат пехоты — он не ведает заботы,
за него — ему на счастье —
мыслит высшее начальство:
взводные, ефрейтора,
фельдфебели, унтера.

Взводные, ефрейтора, фельдфебели, унтера!
И за вас, на ваше счастье,
мыслит высшее начальство —
прапорщики молодые, капитаны удалые.

Прапорщики, капитаны — в голове у нас романы,
но за нас, на наше счастье,
мыслит высшее начальство.
За нас думает штаб.

Офицеры мы штабные, любим деньги наградные.
И за нас, на наше счастье,
мыслит высшее начальство,
за нас думает генерал.

Генерал живет безбедно,
генералу думать вредно.
Министерство для того,
чтобы мыслить за него.

Министерству же, понятно,
думать тоже неприятно.
Небольшая в этом честь,
если генералы есть.

Генерал живет безбедно,
генералу думать вредно.
Он уж стар, он уж слаб.
За него пусть мыслит штаб.

Офицеры мы штабные, любим деньги наградные.
И другие господа
думают за нас всегда —
прапорщики молодые, капитаны удалые.

Прапорщики, капитаны — в голове у нас романы,
мы пируем, веселимся,
думать вовсе не стремимся.
Наш фельдфебель и капрал
все дела и сам решал.

В голове же у капрала
мыслей тоже слишком мало.
Взяв винтовку, рад не рад,
Пусть-ка думает солдат.

ПРОЛОГ

Коня крылатого седлать, поэт, не станем,
нам не витать в заоблачном просторе,
с землей связали нас любовь, и гнев, и горе,
мы эту землю не оставим.

Без верных крыльев верного Пегаса
нелегок путь, но ты из-под ладони,
как странник, разглядишь на небосклоне
цель путешествия, и, может статься,
туда удастся
пешком добраться.

О, дайте, матушка, благословенье!
Не плачь, сестра, возлюбленная. Лучше
благословите вы мое оружье
и уповайте. Ждите возвращенья.

Друзья мои, вы явственней, чем прежде,
меня бросаете в последний час разлуки,
но все ли знаете, что я — в одной надежде:
на ваши руки!

Наступит время — время наступило!
Вот мой клинок. Звенит о шпагу шпага.
Луч солнца! Если б мог тебя вонзить я
в глубины мрака!

Наступит время — время наступило!
Все хлопоты закончил, завершил я.
Убил ли, боже? Хорошо ль убил я?
Дай силу мне.
Уверенности силу!

ПОСВЯЩЕНИЕ

Нет, не случайно сквозь «измы»
всяческой породы
пророс лавр ленинизма
и осеняет народы.

Сквозь всевозможные «измы»
только один из стольких —
бесспорный лавр ленинизма,
выигравший историю!

* * *

Сильней, чем плач воды на перекатах,
туда манит меня паром знакомый,
где утки опускаются все в более
глубокие и сладкие затоны.

Вы можете их угадать заранее
по блеску в воздухе,
покуда стая
кружится в ожидании свидания
с печалью уток древнего Китая.

Они умчатся,— тростники останутся
их шорохом шуршать первоначальным...

Они сегодня на Градчаны тянутся;
и вот — одна, и тоже — на Градчаны...

Сквозь тучи,
мимо башен с гордым прошлым,
летит... И шея нежная ранима...

Не знаю, что мне делать с этим перышком:
она его на берег уронила.

В ТРАМВАЕ

Ребята едут из лесхозов,
шумят в трамвае, на площадке.
Весьма изящную блондинку
коробят эти непорядки.

Она домой из театра едет.
Не на такси. Пришлось — в трамвае.
В клубок свернувшись по-барсучьи,
она тихонько злость срывает.

В меха кокетливо упрятанную,
высовывает дама голову
на шум ликующей площадки,
на смех бригадника веселого.

Она плечами пожимает.
Лиса седая шерсть ерошит —
подарок пана фабриканта
за этот год, что вместе прожит.

Где вы расстраивали нервы?
Над чем вы целый день трудились?
Таскали перстни и браслеты?
В наряды новые рядились?

Американская прическа
и кружев белизна брабантских
не стоит грязи на ботинках
смеющихся вот здесь бригадниц.

Пусть нос лиса седая морщит
на ваших дорогих обновах.
Стократ дороже мне охапки
ветвей заснеженных, сосновых,

которые везут в подарок
(все — свежее и все — лесное!)
простоволосые девчата,
смеясь за вашею спиною.

Как убиваете вы время,
вы — то брюнетка, то шатенка?
Включаете радио — Лондон?
Волос меняете оттенки?

А кто опрыскал вас духами,
что Францией благоухают?
С такими длинными ногтями
и на рояле не играют.

Вы любите литературу?
Я вижу книжку на коленях.
Она успешно согревает
живот, привыкший к сытой лени.

Когда, еще совсем недавно,
мы к голодухе привыкали,
нетронутую отбивную
вы от себя отодвигали.

В обед — вам гренадин предписан
Лимонный сок — на ужин пьете.
О сбережении фигуры
вы в круглосуточной заботе.

В каком убожестве ужасном
вы провели младые годы —
уже низвергнутого мира
уже отвергнутая мода!

Вы — худосочнее, бледнее,
больнее ландышева цвета.
А для чего? Для сохраненья
осиной талии все это.

Для сохранения химеры —
красы, которая не в моде
и не приносит дивидендов
ни на Парнасе, ни в народе.

Морщин красноречивых веер.
В глазах угасших спит усталость.
Они подведены до сини,
но это оттеняет старость.

Быть может, фабрикант ваш бывший
еще не сразу вас оставит:
за бывшие свои заводы
бутылку с вами он раздавит

и в напомаженные губы,
что улыбаются несчастно,
высокомерно улыбаясь,
он влепит поцелуй бесстрастный.

Глаза, которые потухли
и не сияют вечерами,
прижмет к пенсне, к толстенным стеклам,
как бабочку — к оконной раме.

Искусанные ваши губы
под жирным кремом вянут, старясь,
и все-таки остался выход,
два выхода у вас осталось.

Угаснут пурпурные ногти,
и сникнете вы вместе с ними.
А может быть, привыкнут ногти
сдирать кору с больной осины,

как это делают в посадке,
которую болезни точат,
бригадники, что на площадке
над вами весело хохочут.

Я спрашиваю, что вы мните,
ленивая, большая кошка,
когда вы пальчик свой слюните
и трете шелк чулка немножко?

Два выхода: начать работать
или же кончить жизнь у Влтавы,
плыть по ее спокойным волнам
Офелией, без лилий славы.

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

МОТТО

За революцию я отдал голос свой,
Я понял роковую неизбежность счастья,
Я, отвергавший тех, кто громоздит в уме
Богатства, никому не раздавая!
Пора отнять их мощь!
Расставить часовых, чтоб были начеку!
Кто смеет собирать, копить и прятать!
Я тот, кто ощутил бесповоротность счастья.
Я в жизни понял вдруг простейшие начала
И потому имею право жить.
За революцию я отдал голос свой
И в ней прожить имею право!

АЛЬБОМ

Осенней порой, когда в парках скрипят ворота,
и грязь на дорогах чавкает, как болото,
и люди бредут на погост вереницей,
и бабка старая шепчет что-то
и поскользнуться боится,
в старинном альбоме — мяты дремота,
и мальчик листает страницы.

Увядших цветов и женщин тоска...
Осенней порой, когда сырость течет с потолка,

как духи с фаты подвенечной
той старухи, что бредет в толпе бесконечной,
берет мальчонка обломки венка
и ветхое кружевце носового платка —
комочек пыли и пены млечной —
о нищета! — и играет за печкой.

Осенней порой, печальной, как тризна,
фотография бабки сияет капризно,
декольте открывает почти что всю грудь.
на бабушку мальчик стыдится взглянуть,
но смотрит восторженно и невинно:
бабка — мадонна из книги старинной.

И осенней порою, под вечер,
старухи на кладбище гасят свечи
и бредут, затягивая платки,
и не ведают, опираясь на посошки,
что в купели альбома не стареют тела,
и, заслышав колокола,
за внуков молятся, шепчут что-то,
и грязь на дорогах чавкает, как болото,
и в грязи увязают палки и боты,
и запираются в парках ворота.

ОТДЫХ

Проснулся я средь гор, где ночь в тиши застыла.
Колодцы и жилье,— как звезды, далеки.
И понял я бродяг — им в городах немило,
а здесь душа поет и вновь шаги легки.

Как после хвори злой, отрадно сердцу было.
Я веточку сорвал, ласкал ее листки,
я шел, ведомый вдаль таинственною силой,
шел, глубоко дыша и стиснув кулаки.

Среди росистых трав впивал я чистый воздух,
и мысли обрели кристальный свет, что в звездах
морозной тишиной до блеска отгранен.

Низложенный король счастливей был едва ли,
увидев на лугу при звуках пасторали
пастушку, что встречал лишь на картинках он.

РЕЛИКВАРИЙ

Есть в старом чемодане отделенья
и для сушеных груш, и для орехов.
Как пахнет возле школы сад осенний,
я чувствую, в любую даль заехав.

Мой чемодан в альковной тьме унылой —
единственная памятка былого.
Я без конца вдыхаю запах милый,
а на ночь крышку опускаю снова.

Но чемодан средь ночи сам собою
откроется движением мгновенным.
Он тоже спит, но, тешась ворожбою,
меня чарует самым сокровенным.

Вот над столом склонилась мать устало —
мгновение покоя, отдых краткий.
Когда б не спал я, мне бы ясно стало —
что́ там такое: пасха или святки?..

В знакомом с детства стойком аромате
за чудом чудо, возникая, тает
над старомодною резьбой кровати,
где спит мой призрак и сквозь сон страдает.

С далекой ратуши легко и четко
доносится средь ночи звон дрожащий.
Я не в алькове, нет, я за решеткой —
во сне, в застенке, в непробудной чаще!

Я разом просыпаюсь, и узорный
дрожит от крика занавес... Как странно —
исчезло все, и я один над черной,
закрытой плотно крышкой чемодана.

Где тихий дом, где праздник тот великий,
где возвращенье драгоценной были?
Где чудо оживающих реликвий?
Где книги детства?.. Пожелтели, сгнили...

Шурша страницами полуживыми,
хочу собрать распавшиеся звенья.
Цветок засохший я нашел меж ними
и мир воссоздаю в стихотвореньи.

КОТЕЛОК

Больше всего я люблю котелки,
клетчатые платья
и прозрачные дождевые плащи.
Котелок был у врача, который присутствовал при моем рождении,
клетчатое платье висело у нас на чердаке,
плащ носил мой отец.

Когда мне грустно,
я окружаю себя этими предметами —
и грусти как не бывало.

Персонажей моих будущих пьес
я одену в клетчатые платья,
наброшу им на плечи прозрачные плащи
и усажу на венские стулья.
У дам будут длинные юбки,
пышные бюсты,
высокие прически, широкополые шляпы
и длинные булавки.

Все будут думать лишь о комете Галлея,
чья-нибудь булавка проткнет ее —
и пьеса окончится.
Таков мой интимный мир.
Это мой мир.

ПЛАЩ

Отец возвратился домой в плаще
и, повесив его за дверь,
сказал, что купил пианино.
А я не хотел учиться играть.
Отец посулил мне штиблеты.
Мечта моей жизни!
Когда он разулся,

я вытащил из штиблет резинку, розовую и тонкую...
Потом вдруг хлынул ливень.
Служанка набросила отцовский плащ и выбежала
во двор.
Когда она в кухню вернулась,— плащ блестел,
как стеклянный.

Стеклянный плащ!
Мне понравилось это.
Мне это нравится до сих пор.

МАЯКОВСКИЙ В ПРАГЕ

Не парикмахер и не поп
Атлет с проворством антилоп
Предпочитал иным забавам
Стих с револьверным барабаном
Кто водку жрет кто ищет хлеба
Левой левой левой левой

Когда Маяковский приехал в Прагу
Я был в костюмерной
В кучерском цилиндре
Который сорвать было невозможно

Это был футуризм
Как и наши недолгие жизни
Как прекрасный скороход
Скакавший на левой ноге

Он слишком серьезен был для поэта
Слишком нервен с квакушами
И что бы только могло случиться
Будь жених и невеста из одного теста

Стыд
Рождает ненависть
Подобно слонам он ни перед кем не сторонился
Чем выше небо тем однотонней

Особенно в баре
Где восхищаются чарльстоном
Но он помнил как его пляшут в Гарлеме
Любил пальмы равно и картошку

Занавес
И Маяковский мертв
Он который в одиночестве плакал
Оба мы это прекрасно знаем

Какой прекрасной нам кажется Прага
Когда один из них приезжает
Погребки поднятые вверх дном квартиры
И Влтава пленительна словно банщица

Едем ночью
И на каком-то углу Маяковский машет шляпой
Бросаюсь стремглав
В стихи неопределимые как ночь

И Прага продолжает жить
Прелесть блондинок в сосисочных
До чего же красивы работницы
А мы и не замечали

Идешь и разговариваешь
Разбегаются перспективы
Красивые и потертые
Как твой коричневый пиджак

Знаю дом на окраине
Мы похожи друг на друга
Как поэзия на реальность
А реальность на свою сводную сестру поэзию

Не парикмахер и не поп
Атлет с проворством антилоп
Предпочитал иным забавам
Стих с револьверным барабаном
Кто водку жрет кто ищет хлеба
Левой левой левой левой

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Я знаю край на свете
близ северного льда.
Туда с тобою вместе
уедем навсегда.

Нет, то не край за морем,
пустых иллюзий брег,
где, нищетой заморен,
свободы жаждет негр.

И не растут там пальмы,
и нету там секвой,
и не поют там псальмы
в честь девы пресвятой.

То край привольный, дивный,
то край, где нету зла,
и ты была б счастливой,
когда бы там жила.

Там труд очеловечен
и всем доступен труд.
Подобно птицам певчим
там любят и живут.

Там нет господ и нищих,
хозяев нет и слуг,
там черный пласт землищи
отваливает плуг.

Там преобразованье
природы и сердец.
Там слышно песнь чабанью
и блеянье овец.

Я знаю край, где правит
мудрец с крестьянским лбом.
Там юность не лукавит.
Пойдем туда, пойдем!

Я вдруг хочу бродяжить,
я снова жить начну.
Увидим лес и пажить,
блаженную страну.

Не плачь! Настало время!
Да сгинет старый мир!
Там вырастает племя,
исполненное сил.

Довольно разговоров!
Уедем в этот край.
Лишь в счастье миллионов
веселье, радость, рай.

С БОГОМ — И ПЛАТОЧЕК

С богом! Ну что ж! Как ни странно, мы оба не плачем.
Да, все было прекрасно. И больше об этом ни слова.
С богом! И если мы даже свиданье назначим,
Мы придем не для нас — для другой и другого.

С богом! Пришла и ушла — как перемена погоды.
Погребального звона не надо — меня уж не раз погребали.
Поцелуй, и платочек, и долгий гудок парохода,
Три-четыре улыбки... И встретимся снова едва ли.

С богом! Без слов — мы и так их сказали с избытком,
О тебе моя память пусть будет простой, как забота,
Как платочек наивный, доверчивый, как открытка,
И немножко поблекшей, как старая позолота.

С богом! И только не лги, что меня полюбила
Больше всех остальных... Все же легче нам будет в разлуке.
Пусть что будет — то будет, что было — то было.
И тобою и мной к новым судьбам протянуты руки!

С богом! Ну что ж! В самом деле! Ну да, в самом деле.
Мы не лжем, как врачи у постели смертельно больного,
Разве мы бы прощались, если б встретиться снова хотели?
Ну, и с богом! И с богом!.. И больше об этом ни слова!

ВИТРИНЫ

Когда мне думается, что тебе я верен,
Когда от женщин отвожу глаза —
Знай, милая,
Что это и не фальшь,
Но и не правда.
Это — самообольщенье.
Я долго сам не понимал, что значат для меня витрины,
Не понимал я их очарованья

Ведь я у них в долгу за прелесть городских прогулок.
Люблю особенно писчебумажные лавчонки.
Я там беру зеленые чернила,
Не подозревая,
Что застигаю женщину с зелеными глазами,
А шелковистая бумага
Нежна, как женское белье.
Мне все предметы эти ни к чему.
Хотя бы портсигар из темной кожи,
Но он мне страшно нравится.
О женщины — курительные трубки,
Здоровые и стройные, изогнутые в ласковом поклоне.
О женщины, чувствительнейшие приборы,
С болтливым язычком часов,
С грудями выпуклыми, словно линзы
В пенсне,
С глазами, воздействующими, как лунный камень,
С губами, жаждущими, как горлышки бутылей,
С безупречными бедрами реторты,
С руками, как трубки сообщающихся сосудов.
С объятьями, как электромагниты.
Вечер.
Их зыбкие тени выступают из мглы,
Молящие руки протягивают перчатку,
Усмешка колеблется в зеркальных стеклах.
Я брожу часами,
Несказанно взволнованный,
И вижу ночью, как проступают они в уюте цветущих закутов.
Желанья их подобны орхидеям,
Мои желанья словно гладиолусы,
Они как пружинистое перышко часов,
Как вздрагиванье крышки на патентованной чернильнице,
Как блужданье гусеницы в розе,
Как щелканье затвора,
Как круженье кофейной мельницы,
Как сумасшедшие зрачки световой рекламы,
Как стрелка барометра —
Желанья, для которых нет названья,
Желанья, о которых не запишешь в дневнике,
Желанья, о которых не прочтут в моих томах,
Желанья, которые снуют во мне без рассуждений и усилий,
Как игла в проворных пальцах белошвейки,
Желанья, упрятанные колдовством,
Как платье в скорлупке,

Звезда в пламени,
Ручей в дереве,
Ликованье в слезе,
Жизнь в смерти,
Желанья, которые делают из меня лунатика.
О лунные ночи моих блужданий!
Когда мне думается, что тебе я верен —
Я лгу тебе, как никогда,
И ты мне лжешь, как никогда,
Ты, желающая приобрести весь мир,
Ты — нежная и верная,
Ты — женщина и малое дитя,
Женщина — и все что угодно из сущего,
Женщина — и все что угодно иное,
Женщина — и средоточье всех витрин и всех чудес.

ТАЛИСМАН

II

Будь терпелив и выжидай поры
Пока твоим окаменевшим оком
Не сотворится грозная слеза
Не выплавится из-под тесных век
Чудовищный предмет твоих раздумий
Который схож не с влагой
А с бревном
Пробившим брешь в заветном тайнике
Твоих мучений очевидных ныне
И схож с гигантской связкою ключей
От всех дверей и фонарей погасших

III

Упавшая слеза отобразит в себе
Весь мир замысловатый как игрушка
Так смятая бумажная салфетка
Воспроизводит муку лихорадки
В ее углах таится ночь любви
А посредине — золотой дукат
Сосредоточен на твоем раздумье
Покуда ты не думаешь и спишь

V

Дай вечеру подумать за тебя
Пускай раскинет гением луны
И выскажет тебе твои же мысли
Так станешь ты мудрей премудрой книги
Той над которой голову ломал
Покуда не взбрело тебе на ум
Ей предпочесть всезнание садов
И опыт отдыхающего плуга
Так станешь ты счастливей игрока
Чей выигрыш богатство Исфагани

VII

Исправленная кривда — это кривда усугубленная
Одной слезы не дам для плача о вчерашнем дне
Я точно знал что завтра это завтра
Пусть горше чем Вчера но не Вчера
Подправленное наспех чьей-то кистью

IX

Все души скоро отуманит осень
А в этих строчках лето расцветет
И потому радетельные пчелы
Пекитесь о читателях моих
Даруйте им раскидистое древо
Пусть постоят под ним на холодке

XV

Я издавна храню мой талисман
В единственно надежном месте
В сердце
Я никогда его не потеряю
Пока я верен моему бездумью
Ведь только в совершенстве тишины
Когда смолкает мельничный жернов
Вы сможете услышать и понять
Что жаворонок говорит с небес
Не повышая голоса до крика

Что значит пианиссимо струи
Что предвещают дождевые капли
И вечную молитву двух влюбленных
Взывающую верность верность верность

КОГДА СОСТАРИШЬСЯ

Когда состаришься и станешь слышать хуже,
Когда одну лишь тень руками будешь прясть,
Когда озябнешь ты от неприметной стужи,
Когда твой блудный сын утратит пыл и страсть,

Когда под гнетом туч твои согнутся плечи,
Когда и я прощусь с раскрашенным жезлом,
Тогда, как инвалид, вернусь я издалече
К тебе, в наш старый дом — и сядем за столом.

Тогда, клонясь к земле свинцовой головою,
Услышим звон ручья, откуда — не постичь!
Тогда — когда-нибудь — расстанусь с немотою,
Забуду, может быть, свой стыд, свой стыд, свой бич.

И прошепчу слова, какие шепчут внуки,—
Я не дал их тебе по собственной вине.
Как скроешь ты тоску, куда упрячешь муки,
Куда упрячешь стыд, который страшен мне?!

Что ж, разве не тебя искал я жадным взглядом,
Когда любил других — надеясь, что найду!
Я звал тебя с отцом, и ты сидела рядом,
Когда метался я в горячечном бреду.

Губительны слова, губительней, чем чувства,
И звуки их страшны, как эхо в тишине;
И я закован в них, как будто в панцирь узкий,
А реки вен моих безумствуют во мне.

Когда состаришься и станешь слышать хуже,
Когда одну лишь тень руками будешь прясть,
Когда озябнешь ты от неприметной стужи —
В твоей крови моя заледенеет страсть.

* * *

Я тоже ведь деревенский,
Хоть за плугом и не шагал.
Я тоже ведь деревенский.
Над зыбкой моей жаворонок распевал.

Мои предки так же трудились,
Над землей склоняясь родной,
И так же на лавках дубовых
Хлебали из миски одной.

И где-то еще в деревне,
Где жить мне уже не судьба,
И где-то еще в деревне
Стоит и моя изба.

Висит суковатая палка —
Мой посох в лесу теней.
Висит суковатая палка,
Что блудных бьет сыновей.

Я тоже ведь деревенский,
Хоть город меня и сманил.
Я тоже ведь деревенский —
И ничего не забыл.

НОКТЮРН

Как садовник, склоняясь над струями вод,
Ты сорви этот плод.

И в ладони, которой теплей не сыскать,
Дай ему дозревать.

И когда над садами, блаженно горя,
Тихо встанет заря,

Заглядевшись на этот небесный огонь,
Разожми ты ладонь,

Чтоб стеклянный фонарь, в небо вырвавшись, мог
Осветить даль дорог.

И увидишь, как он над речной глубиной
Встанет полной луной.

НАДПИСЬ

Бесхитростно пропетые мной песни
Когда-нибудь понравитесь и вы
Так вырезанное на коре древесной
Растет с годами сердце средь листвы

ДИКИЕ ГУСИ

Стоит деревня, будто снится:
Домишки те же, те же птицы.
Скрипят колеса вперебой,
Взлетают гуси над тобой.
Двенадцать их. Не Музы ль это?
Их гогот провожает лето.
О гуси, гуси! Ваш полет
Увлек мальчишку вдаль, вперед —
Мечтой пронизанный одною,
Покинул я гумно родное.
Лететь! За тридевять морей!
Все выше, выше! Все быстрей!
Чудесно было в старой школе.
Бывало, возвращались с поля
Зарей зажженные стада,
А ты считал их — и тогда
Твои глаза и в самом деле
С фламандской страстностью глядели.
Жара стояла. Сено сохло.
А деревенька вся заглохла,
Чернели кухни без огня,
Косьба, косьба до склона дня.
Над косами и косарями,
Сверкая в серебре, как пламя,
Бывало, гуси там и тут
Лазурью радостной плывут,

А ты глядишь и кликам вторишь,
Чудес девятилетний сторож.
О гуси,— явь иль забытье,—
Верните мне село мое!

ЗНАМЕНА 9 МАЯ

Небо, небо — цвет свободы,
Цвет лазури и победы,
Все в пыли, в цветах и в песнях
Танки, танки пролетают!
Окна улиц повернулись
И бегут за ними следом.
Прага, Прага, наконец-то
Ты свободна, Золотая!
Я влюблен в тебя в такую,
Мы такой тебя забыли.
Пусть еще стреляют немцы
Из подъездов и подвалов,
Но железом и камнями
От разрушенных Бастилий
Мы с тобою вместе, Прага,
Их накормим, как бывало.
Возле танков, где на башнях
Едут пыльные мессии,
У домов, еще звенящих
Раненными зеркалами,
И в глазах, где, пролетая,
Отражается Россия,
Сбросив путы полонянки,
Прага пляшет вместе с нами.

КОГДА ТЕБЕ ВЗГРУСТНЕТСЯ

Когда тебе взгрустнется,
приди.
Когда слеза печали навернется,
ты приходи, не жди!
От ночи той уже не остается
ни рыболовной сети, ни звезды.
И новый день очнется.
Придешь? Приди!

СУДЬБА, О СУДЬБИНА!

Судьба, о судьбина,
как всех я покину,
мне в целой вселенной
не будет замены.
Появятся вещи
того-то, того-то,
слова будут хлеще
и тоньше остроты.
Но суть не во вкусе,
не в блеске работы.
Стихи мои — гуси
порой перелета.
Часть стихотворений
погибнет в дороге,
а те, что смиренней,
спасутся в итоге.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Я вам прощаю, люди, слепоту
Стяжанья, чванства жалкие потуги.
Я вашему тщеславью предпочту,
В траве валяясь, думать на досуге.

Я лягу под сиреневым кустом,
Где пахнет дерном и болиголовом,
И, вспомнивши о чем-нибудь простом,
Почувствую себя совсем здоровым.

НАД СВРАТКОЮ-РЕКОЙ

Над Свраткою-рекой вербóника в цветенье
и берега в густой траве и тростнике.
Купаться счастье тут, бродить тут — наслажденье.
Над Свраткою-рекой вероника в цветенье.
Темна и холодна как лед вода в реке.

Здесь знойным летом тень, как дома на картине,
висящей на стене в гостиной меж зеркал.
И пахнет тмином здесь, ромашкой и полынью,

Винцент Гложник (Чехословакия)
Иллюстрация к тексту Конституции Чехословацкой Социалистической Республики.

а знойным летом тень, как дома на картине,
как в том саду, куда я в детстве забредал.

Есть радостней места и краше, может статься,
и реки веселей, чем Свратка, может быть,
но здесь пришлось семье обосноваться.
Есть редкостней места и краше, может статься,
но там, быть может, мать не захотела б жить.

Быть может, в мире есть блистательней державы,
где реки голубей и зеленей поля,—
любимицей моей останется Морава.
Быть может, в мире есть блистательней державы,
но те мне не сродни, как здешняя земля.

Есть кладбища пышней, нам с ними не сравниться,
над Прагой Вышеград роскошнее втройне,
но мне милее в Брно гранитные гробницы;
есть кладбища пышней, нам с ними не сравниться,
но памятники в Брно милей раз во сто мне.

Вероника в цвету над Свраткою весною,
а летом этот склон под кукурузой сплошь,
как сожалели мы, покинув Брно родное.
Вероника в цвету над Свраткою весною,
нигде подобных мест на свете не найдешь.

Есть редкостней места и краше, может статься,
чем Свратки берега, не буду отрицать,
но родиной ни с кем не стал бы я меняться.
Есть редкостней места и краше, может статься,
но здесь моя земля, моя родная мать.

НАДПИСИ В ЗАЛЕ КРАСНОЙ АРМИИ

I

Друг мой, бдителен будь на земле, под которой я стыну!
Право требовать это я смертью в бою заслужил.
Я ушел на войну. Я убит в день рождения сына.
Я убит — чтоб он жил. Я убит — чтоб ты жил.

II

Человек! Я хочу, чтоб с войною повенчан ты не был!
Чтобы кровь моя самой последнею кровью была!
Я, объятья раскрыв, как свобода, летел к тебе с неба;
Парашют мой сгорел. Но свобода — пришла!

III

Когда пушки мои говорили с врагами, как судьи,
Когда мир содрогался в хрустящих объятьях войны,
Догадайся, о чем я мечтал у лафета орудья?
О цветах полевых. Об улыбке жены.

IV

Хочешь знать, почему мы навеки великими стали?
Почему нас враги ни согнуть, ни сломать не могли?
Нас никто никогда не ковал из железа и стали,
Превратила нас в сталь — цель, к которой мы шли!

V

Побеждая, я умер! Я мост наводил через реку.
И по мне, как по мосту, взбежала победы заря.
Если пал человек, чтобы жизнь сохранить человеку,
Значит, верно он жил. Значит, умер не зря.

VI

Если горе войны среди ночи придет к тебе на дом,
Если меч занесен над отчизны седой головой,
Будь с народом своим. Будь не ниже, не выше— будь рядом.
Нету званья в бою выше, чем рядовой!

VII

Не жалей, что я умер. Я умер, себя не жалея,
За тебя и за мать, за просторы родимых полей!
Хочешь быть как отец? Стой в бою, где всего тяжелее,
И себя, если надо, как он, не жалей!

VIII

Кто там? Брат мой? Сестра? Кто там молча простился
со мною?
Я не слышу — я мертв. Твоего я не вижу лица,
Но я верю тебе, что свой долг перед этой страною
Честно выполнишь ты, как солдат, до конца!

ФРАНТИШЕК ГАЛАС

ДЕНЬ ПОМИНОВЕНИЯ, 1938

Торчит репей где штык торчал когда-то
смерть в глине отпечатывает лица
как осы гнезда Блиндажи солдаты
покинули И вот пуста граница

Там только тени тянутся унылые
убитые разыскивают тропку
в отечество утраченное милое

Сиротства зерна свечек семя
оно рассеет в день поминовенья
над кладбищами нынешними всеми

Неловкие как дети несмышленые
слоняются в лесах погибшие
запекшеюся кровью награжденные

Остановились Пьют они Но что же
так искривились губы онемевшие
Пьют желчь земли Голгофы нашей Боже

Далекий ветер грозно задувает
отчизны кладбище — последней цели
он очи мертвых с силой закрывает
но тень винтовку держит на прицеле

УРОК СЫНУ

Мышь это проснувшейся глины немножечко
стекло это ветвь расцветающая в холода
рыба это просто водяного ложечка
а слеза это очень одинокая вода

1 МАЯ 1942 ГОДА

Пусть не настал еще черед,
повсюду ненависти ворох,
кто не забился в щель, тот ждет,—
фитиль зажжен, и вспыхнет порох,
глаза горят, глаза горят,
и грозен тишины заряд.

И если выпала нам честь
быть первыми, нести знамена,
главнокомандующий месть
ведет несметные колонны.

Идут, кто был казнен, убит,
расстрелян, заживо зарыт,—
о, это страшный динамит!

Ты слышишь залпы на востоке?
Там без тебя ведется бой.
Возмездия настали сроки.
И ныне — слово за тобой.
Нам, окровавленным, усталым,
нельзя довольствоваться малым!

1 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА

Шел сорок третий год
вдаль уносились мысли
хоть проблеск радости ища
над мраком сорок третьего И вот
виденье женщине какой-то было

Пробив курган
столб крови поднялся
кровь растекалась лавой алой

людей сметала
и обессилев замер человек
объятый ужасом

А я узнал ту кровь
разлившуюся по России
ту кровь которую артерии земли
в себя вбирать уж больше не могли
и вырвался из-под погибших
кровавый паводок

Там в небе сталинградском
в гниющей стуже в черном свисте
грозило солнце утонуть
младенцы тыкались в пустую грудь
и щупали штыками крестоносцы
убитых женщин

Был страшен плач мужчин
но то был плач на счастье
История как Бланик расступилась
и золотым огнем возмездья
плеснул восход
в лицо смертельной тьме

Шел сорок третий год

ЛЕНИН

Можно скрипку подложить в огонь
чтоб ярче вспыхнуло воспоминанье,

Золото отыщет златокова
Ленина — бедняк
Ленина — правдолюбец

Поколение
что лишь мечтой богато
словом пробудил
шелково-тонким
и железно-твердым
с простотой природной
времени рукой нетерпеливой
он махнул из рукава пальто

Века нужды сокрытые в глазах
глядящих на него
с невыносимой красотой мольбы
вдруг взорвались
Интернационалом
поющимся еще нестройно

Бешеный оскал
изменников и трусов
сопровождал его
«Убить! убить!»
хватая за полу
почти уж вызревшее время

И Ленин — он помог ему созреть

Расплавил
бесправье жалости
смехом презрительным
смехом заразительным
махнул рукой нетерпеливой
под древом познанья

И время стало резать саван на пеленки
и места не было для смерти

И встали статуи в недоуменье
над разбивающим египетские вазы

Как веселиться только на бумаге
Как радоваться лишь пролив чернила
но скрипку можно подложить в огонь
чтоб ярче вспыхнули воспоминанья

ЛИДИЦЕ

Отверзли землю осквернили поле
Нечистые на нем валялись звери
Потоки крови стоны детской боли

Камнями кружилась Ниобея
От женщин остаются комья горя
Склонились тени грозно цепенея

Как порохом кровавою золою
народ навеки голову посыпал
и станет горе этих мест бедою

виновникам И слышен голос хора
эринний тех что раздерут Германию
здесь в Лидице в местах ее позора

ВСЯ ОСЕННЯЯ

Платье было осеннее
волосы были осенние,
и очи были осенние.

Губы были осенние,
и груди были осенние,
и грезы были осенние.

Доля была осенняя,
и бедра были осенние,
и улыбка была осенняя.

Желанья были осенние,
и нега была осенняя,
и робость была осенняя.

Вся ты была осенняя,
как стих поминовения.

ЯРОСЛАВ СЕЙФЕРТ

НА СОЛДАТСКОМ КЛАДБИЩЕ

Осенью цветет вереск,
фиалки — это к весне.
Но в сердце
воспоминанья
сегодня раскрылись во мне,
когда шел я между могилами
и за мною шла моя милая
с белой ромашкой в руке.

В центре скорбного этого круга,
где рядами крест за крестом,
мы забывали, что любим друг друга.
Мы разговаривали о том,
что если бы все, лежащие здесь,
потревожили небо своей молитвой,
прося о милости и о любви —
небо под этой тяжестью рухнуло б,
солнце упало бы и погасло,
звезды дрогнули б, и упали,
и погасли б,
и месяц погас;
все бы это на землю пало,
на дома, на улицы и на травы
за тех, которые здесь любили,
и за грех грешивших здесь —
на земле.
К счастью,
все они сейчас молчали,

ибо пали,
чтобы не встать —
когда из рук у них вырывали
штык,
не успевший еще остыть,
и в руки
следующему передавали.

Моя любимая на ромашках гадала —
любит — не любит, любит — не любит,
а я размышлял о значенье
строгой
каменной статуи над дорогой
и, словно молебен служа всем святым,
читал имена, начертанные золотым,
и просить за нас небо
я их просил,
когда нам однажды не хватит сил.

Потому что я знаю,
что день настанет,
когда каждый мертвый
из мертвых восстанет:
Рагуз Стоян,
Тадеуш Дыяк,
Пассерау Шарль,
Фердеголли Сильвио,
Кашакар Георг,
Покорный Франтишек —
и все они, кто давно убит,
едва лишь в небе труба протрубит,
обратятся лицом друг к другу.
Но вместо того, чтоб для раны смертельной
место искать под рубахой нательной,
все они упадут в объятья друг другу,
целуя друг друга в чело
и пожимая по-братски руку.

ПЕСНЯ О ХЛЕБНОМ ЗАПАХЕ

Ах, сколько у пекарни
я в детстве просидел!
Как тесто месят парни,
до вечера глядел.

Когда ж всходили хлебы
и шел горячий дух,—
«Ах, белый фартук мне бы!» —
мечтал я чуть не вслух.

Корзину — раз-два взяли!—
на руль поставить мог,
нажал бы на педали —
ну, чем не хлебопек!

Где тот мальчишка глупый?
Побыть бы им еще:
весь день сидеть в углу бы,
мечтая горячо.

Потом на лоб шапчонку,
и хлебное тепло
пускай летит вдогонку,
как ангела крыло.

Лишь полумесяц тмина,
свисая с губ, горчит
да песня муэдзина
с тех пор во мне звучит.

МАМИНА ПЕСНЯ

Вечером, бывало,
мама напевала,
продевая нить.
Лечь бы ей, усталой,
к нам под одеяло,
а не шить и шить!

Над ушком игольным,
над шитьем невольным
загрустит она.
На нее из окон
смотрит плоским оком
серая стена.

Мама погрустила,
нить перекусила,
и вздохнула нить,
а перед глазами
все пошло кругами:
кто-то должен шить.

Мама разогнулась,
мама улыбнулась:
в память забрело,
как наседки прячут
всю семью цыплячью
под свое крыло.

Мама напевает,
нитку продевает...
Нам ее игла
в бледных пальцах этих
многое на свете
объяснить смогла.

ТАНЕЦ

Бог, невесомый, тонконогий,
взлетевший в горные чертоги,
и нас возносит в облака.
Что есть прекраснее, чем ноги,
что легковеснее греха!

А та мечта склоненных рук,
чье нас пугает напряженье —
чтоб голос обрело движенье
и тяжесть превратилась в звук.
Пока Венеры белой грудь
краснеет, словно гроздь рябины,
тот локоть, выставленный, длинный,
где время село отдохнуть,
вдруг, как на крыльях, вознесется
и тьма, как шлюзы распахнется,
и в капли разлетится ртуть.

И здесь не линия, а слово,
развихрившееся багрово,
и глаз, из бедной ямки целясь,

ждет, чтоб взлетела эта прелесть,
лишь для того, чтобы почить
в движении, что сна не знает
и только путы разрывает,
чтоб радость рук освободить,
покуда жест, вечно иной,
взвиваясь, испускает тело,
как легкой бабочки полет,
кружащийся водоворот,
как свет полночного светила,
как аромат, как пар спиртной.

Как будто розовый бутон
расцвел быстрей, чем ветер прянул,
и вновь увянул, а потом
опять во всей красе воспрянул,
и в третий раз лишился сил
быстрей, чем ветер просквозил.

А что? Из ямочек локтей
к нам скатится клубочек нитей,
блестя, как гирька, а на ней
мы вывесим клубок событий —
узнаем вес улыбки той,
ребяческой или святой,
вес добродетельного жеста,
движенья, что сочится внутрь,—
улыбка, жест в лицо пахнут,
и мы краснеем от блаженства.

Ведь мастер лишь ладонью ловит
чешуйку света на бегу,
миг, что резец не остановит,
что исчезает, как в снегу,
он ловит горькую монету,
звон, растворенный тишиной,
мгновенье, ставшее пчелой
и устремившееся к свету.

И вот в сетчатке наших глаз,
звуча, парабола зажглась,
а это — дрожь тугой струны,
а это — хрупкий свет луны,
а это — взвихренное слово,

мечта художника немого,
и, стиснутая до пуанта,
трагедия мгновенья, кванта,
а это — чешуя, как ртуть,
дрожанье вечной пантомимы,
когда колеблются глубины,
когда Венеры белой грудь
краснеет, словно гроздь рябины,
и неподвижный локоток
отставлен, словно прячет время,
и окрыленный сбросит бремя
и тьму разрежет, как поток.

ПЕРВОЕ МАЯ 1937 ГОДА

Идут дожди, небесных нитей хватит
изменчивые сшить весне наряды.
А мы все в том же неизменном платье —
в нем кровь и слезы оказались рядом.

Там нищета в своем наряде черном
все тащится вдоль мостовых разбитых,
у запертых ворот сидит упорно,
не уходя от фабрики закрытой.

День первомайский почки разрывает,
но слышишь, грохот пушек все слышнее,
там нищета сегодня выступает
и умереть сумеет.

ТЫ, ВОЙНА!

Еще поет в осеннем русле
ручей покоя;
чиста, еще звенит, как гусли,
та песнь. Доколе?

Еще стремимся к любви и веснам,
еще ступаем в чистом поле
мы по твоим лохмотьям грозным,
война! Доколе?

Пеленки стелет мать, ликуя,
на будущее в надежде.
Целуй ей руку. Но какую,
какую прежде?

Ту, что сосок легко сжимает,
иль ту, которой ребенка держит?
Любовь и верность обещают
не здесь, так где же?

Ах, это может до слез растрогать —
ведь матери хотят так мало:
средь терний нужно зерна немного,
чтоб им хватало!

Чуть-чуть покоя, тепла и мая —
ведь много лучше штыка и пули
скрип люльки, песенка простая,
пчела и улей.

Не будут жены, птицы, дети
твоими, как ты ни грозишь нам!
О, чтоб навеки заржаветь им,
война, твоим доспехам пышным!

ВЛАДИМИР ГОЛАН

КРАСНОАРМЕЙЦЫ

(Два портрета)

I

Мы познакомились как-то осенним вечером,
когда на стене деревенской старинной мельницы
показывали кинофильм, посвященный Кирову.
Потом уже мы встречались почти ежедневно.
Был он зенитчиком, и глаза у него слезились,
потому что четыре года смотрел он на солнце.
Меня это тронуло, и однажды я, притворившись,
будто отправился за дровами, из дому вышел
во двор, где качался легкий клочок тумана.
После всех этих лет, что были полны до края
дьявольской бесчеловечностью и чертовщиной,
я был покорен человечностью безыскусной.
Как робко он клал на стул свою выцветшую пилотку!
Не было орденов на его гимнастерке, хотя позднее
как-то он показал мне свои медали —
за оборону Кавказа и Керчи — он носил их в кармане,
бережно завернутыми в газету.
О войне говорил он нехотя, а о подвигах — и подавно.
«Когда затихала стрельба — это было плохо,
потому что нельзя было знать, что выкинет немец...
Когда стреляли — было куда спокойней!..»
Вот все, что он мне сказал. Меж тем он гордился
фронтовою своею газетой под названьем «Зенитчик».

Он любил стихи и читал Маяковского мне с любовью.
Впрочем, ровно через минуту он так же просто
вырывал прочитанный лист, чтоб свернуть из него
цигарку...
Уже подмораживать начинало... Ах, этот мальчик-
мужчина,
как он гордился своею новенькою шинелью!
А перед отъездом он долго со мной прощался,
как человек, который хотел бы свидеться снова,
да знает, что это вряд ли уже удастся.
Он очень подробно мне объяснил свой адрес,
чтобы мог я его найти без трудов особых,
и в конце приписал аккуратно: «Звонить три раза!»
Он был из Баку, Петром Федоровичем его звали,
а фамилия была у него — Мартынов.

XV

Он караулил танк у шоссе, он напевал негромко
и держал в руке букет георгин багровых.
Он блаженствовал, не зная, что ему делать с избытком
счастья,
которое было так непривычно, так непонятно.
Он вздрогнул, увидев девушку, шедшую мимо,
и ей протянул цветы, но она не взяла их,
и тогда он смущенно цветы свои сунул в жерло орудья.
Как растерянный бог Унынья, смотрел он грустно
куда-то в сторону склада боеприпасов,
спасенья ища в этом взгляде своем отрешенном.
Возможно, что он припомнил свой край родимый,
где сейчас сотрясался лес от любви оленьей,
или вспомнил дом свой с мебелью грубоватой
и пирог, который славно бы сейчас отведать,
или вспомнил мать, которая, надо думать,
сейчас охраняет улья его лесные...
Я не знаю... Но тут заметил он вдруг старушку,
которая шла по дороге неторопливо,
и вытащил он из пушки букет помятый
и старой женщине подал его с поклоном,
а та приняла георгины, не удивившись,
и тоже ему поклонилась весьма учтиво...
С тех пор их обоих часто я вспоминаю —
как молчат они оба, растерянные немного,
и низким поклоном кланяются друг другу.

В МАЕ 1945

О героях нашей майской революции рассказывают немало,
орошая утрированными слезами козлиную шерсть мифологии.
Но вот что я слышал сам:
старик, обуянный справедливым гневом
и до зубов вооруженный,
вечером третьего дня
ушел из чужого квартала, где он сражался,
чтобы доползти домой
и показаться жене, детям, соседям.
Уносить оружие запрещалось.
Остановленный караулом, он признался в своих намерениях.
— Можешь идти,— ему сказали,— но ружье и гранаты оставь на месте...
Старик топтался по визгу битого стекла и колебался.
Так колеблется простое человеческое чувство,
обуреваемое честолюбием и врожденным благородством.
Чуть погодя он сказал: — Если так, я остаюсь!

ТЕБЕ, КРАСНАЯ АРМИЯ!

Нет, не только в мае сорок пятого я благодарил Тебя,
Я благодарен Тебе всегда, восхищен Тобою всегда, потрясен до сих пор,
и тем сильнее разумею Твою суть,
чем глубже Ты сама погружаешься в забвение своих героических жертв.
Ты израненная, но не охающая и не взывающая,
Ты выносливая почти до самоистязания,
Ты трагическая, потому что чувства твои определила сама судьба,
но Ты и как старинная песня, в которой господствует смех;
величие Твоих дел выражено так просто,
что тот, кто Тебя чтит,
так же просто говорит: я Тебя люблю!
Будь Ты хоть стократ прославлена — Ты охотно сменишь алчный сумрак
вездесущего пепла,
свыкшегося со страданием и в своем гигантизме
уже потворствующего разъединению народов
и пустоте, достаточно вежливой,

чтобы в дверях мира отдавать предпочтение отсутствию
человечества!
Прими бесчисленные поздравления,
Ты, всегда слишком темная для хитрецов,
потому что своими вопросами
они еще недавно поглощали свет Твоих ответов.
Прими бесчисленные приветствия,
Ты, защита лучшего будущего,
Ты, порука жизни более справедливой и достойной,
Ты, охрана всех будущих экспедиций к чудесам,
в которые запишется сердце.
Ты на земле, которую познала с такими жертвами,
Ты на земле, чьи адские кратеры завалены Твоими мертвецами,
Ты, охрана всех будущих экспедиций к чудесам,
в которые запишется сердце.
Ты на земле, которую познала с такими жертвами,
Ты на земле, чьи адские кратеры завалены Твоими мертвецами,
Ты бдительная и Ты охраняемая
на урановых небесах своими летчиками,
у любого из которых прекрасная фамилия: Облаков!

ПОЭЗИЯ

Тот, кто не чувствует потерянным себя,
потерян для всего, что происходит в душах
других людей и в собственной душе.
Он твердым почерком выводит на конверте:
«Вскрыть только после смерти!»

Нет, быть потерянным — и выдержать, всю ночь
над лоном книги вечность зачиная.
Не знать своих пределов. И не быть,
в бескрайности теряясь, одиноким.
Так из взаимной боли двух сердец
родится третье сердце...

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕЧКУ Л.

Леса — как письменность, а здесь —
здесь край изустный.
Не умолкает звук воды
и наших слов печальных.

Скрещенье рук твоих — хоть плачь,
и солнце в тучах,
задохшееся, как дитя
в своих тугих пеленках.

И очень просит извинить его
сей миг серьезный!
Так что ж сильнее: рок, судьба?
Твоя незаменимость?

Ты без оглядки смел любить —
не хочет быть хранимо
как раз нежнейшее из чувств,
что так ранимо.

Пусть все меняет суть свою,
свое значенье,
но плодотворнее всего —
любви мученье...

ПЕЩЕРА СЛОВ

Держа над головой свечу, не безнаказанно входит юноша
в пещеру слов... Дерзкий, едва ль подозревает,
где очутился... Он молод и, даже мучаясь,
не ведает, что такое боль... До времени созревший мастер
бежит, еще и не войдя,
чтобы потом сослаться на несовершеннолетие века.

Пещера слов!
Только настоящий поэт на собственный страх и риск
войдет в нее, безумием омочит крылья
и вернет их земному притяжению,
не посягнув на силу, притягивающую землю...

Пещера слов!
Только настоящий поэт, возвращаясь из ее молчания,
уже под старость заметит плачущего ребенка,
оставленного миром на ее пороге...

ГОЛОС

Ты шел однажды этаким лесочком,
леском убогим, чахлым перелеском,
отчаявшийся, мрачный, сокрушенный,

и внятный голос вдруг заговорил:
«У тайн раскрытых нет иных желаний,
как снова тайной стать,
во тьму вернуться
и ни о чем не знать... И ты, влюбленный,
не хочешь знать,
любим ли ты... Все это
и составляет трудности пути...»

У МАТЕРИ, МНОГО ЛЕТ СПУСТЯ

Это время, когда не погасший огонь в очаге
надо пеплом присыпать... И сделают это
руки матери старой твоей,
ее руки дрожащие, руки, чья дрожь между тем
остается мерилом покоя... И ты засыпаешь,
убаюканный ими... Тепло, и привычный покой,
и доверчивость нежно-звериная в этом дыханье,
в равной мере умеющем и одаряемым быть и дарящим,
когда вдруг потеряешь себя:
и не дашь тебе больше, чем сорок.
И действительно, если ты вдруг
зарыдаешь под утро, так это всего оттого лишь,
что ребенок во сне никогда не смеется,
а всегда только плачет... Ребенок!

ВИЛЕМ ЗАВАДА

ПОЭТЫ

Из дымящихся развалин,
из сожженных городов
давно эвакуирована жизнь.

Только растерзанные дома,
растерзанные чувства,
растерзанные души,

только скелеты из железобетона,
только обнаженные траверсы нервов
еще дрожат
после землетрясения.

Все сгорело в бомбежку,
и мы ссохлись
в живые мумии.

И земля сметена
в одну кучу сора
огненным циклоном,
и никто не знает,
где...

Через полуразрушенные
ворота в новый мир
вступает поэт с глазами беженца из Помпеи,

с глазами, полными засыпанного пеплом
великолепия,
и бросает гранаты,
начиненные взрывчаткой свежести,
и освобождает
из засыпанных подвалов совесть.

Рыдают раненые камни.
Взывают о помощи изуродованные деревья.
Боль заживо погребенных пробуждается от
забытья.

Поэт выносит из глуби времен,
из глубин сердца
чудесный бальзам,
целебные травы...

Огненным дыханьем согревает
оледеневшие конечности людей,
скорчившихся в себе,
как в смерти,
и снимает песней наше бремя,
облегчает песней наше горе,
утоляет песней нашу жажду,
изливает песней наши слезы
в благодарственном хорале.

Чувство, оторванное от любви
и заброшенное куда-то,
вновь срастается с сердцем.
Вьющиеся на ветру отрывки куплетов
и насвистываемые мелодии
вновь сливаются в страстную кантилену.

То, что было для нас невидимым,
то, что было для нас неслышимым,

его глаза видели,
уши его слышали,
увиденное покажет нам,
услышанное расскажет нам

словами такими доверчивыми,
как прикосновенье ладоней,

словами такими глубокими,
что кажутся бездны бездонней.

Куда ни взглянет — зажигаются звезды,
куда ни пойдет — за ним плывут облака
и небо светлеет.

Соки клокочут в корнях,
цветы и воды пылают
от его взгляда.

И мы,
на него опираясь,
боль превозмогаем
и бредем по руинам храмов и городов,

постепенно
в самих себе начиная
взлетать над самими собою
и взмывать ввысь.

И, радуясь тому,
поэт посылает в небо свою песню,
простую и возвышенную.

ТРУБОЧИСТ

Ты хотела б меня выстирать,
вымыть в своих слезах
и выжать, как следует,
до блеска, до белизны.

А я трубочист,
я испачкан грязью.

Как солнце
расталкивает плечами тучи,
и прыгает вниз,
и погружается с головой
в черный бездонный омут
или в черный бездонный лес —
так поэт
бросается в улицы,

к людям,
и прочищает им души,

чтобы тяга была хорошей,
чтобы пламя было высоким.

ШАХТЕРЫ

Словно охотники в каменном лесу,
они прислушиваются там, внизу,

к шороху каменных глыб над собой
и к тому, как поскрипывает забой,
отгороженные сплошною стеной
этих глыб, придавленных тишиной.

Они слышат отчетливо самые разные звуки,
и пульсацию угольных жил ощущают их руки,
эти камни отстреливая
отбойными молотками.

А потом эти камни
превращаются в пламя
и сияют, как радуга над лугами.

Это ночные костры зимой,
чтобы землю мороз не сковал,
завалив ее тьмой...

Мы тоже
начали добывать наконец

в глубоких шахтах
и в скрытых карьерах
наших душ
и наших сердец.

Как засветится
и засверкает
наша земля,

когда приоткроются залежи наших сердец
и вырвутся лавой!

Тогда засияет
самая темная ночь,
как небо над Кладно
и над Остравой.

ОСТРАВСКОЕ НЕБО

Эй, шахтеры, шахтари!
Почему никто из вас
этот черный уголь с глаз
не отер хотя бы раз?
Расцыганский взор у вас!

Эй, шахтерские вы дочки.
рано вы идете замуж,
замуж выйдете — а там уж
угольная тьма над бровью,
подведенная любовью.

Впрочем, здесь и небеса
той же мечены чертою
и подводят чернотою
свои синие глаза.

ДОБРЫЙ ДЕНЬ

— О день — прозрачный, голубой!—
ты почему такой счастливый,
с лицом, обрызганным росой,
лукавый, солнечный, смешливый?

Мне не дает грустить сирень
и птиц крылатая капелла,
а люди скажут: «Добрый день!»—
и принимаются за дело.

Что может огорчить меня?
Ведь вспышка мертвая ракеты
и блеск бенгальского огня
куда бледней дневного света.

— Но трудно все-таки с людьми?
Здесь крики, там столпотворенье!
— Я с ними, как отец с детьми,
И нахожу в любви терпенье.

ПОЕЗД

Жизнь достигает грани и границ
быстрее звука и быстрее света,
и с постоянством перелетных птиц
мы возвращаемся на склоне лета.

Из скорого выходим на перрон —
на чемоданах пестрые наклейки —
и скромно забираемся в вагон
забытой и родной узкоколейки.

Дороги с нас давно посбили спесь,
нам близкое теперь дороже дали,
и многим большее мы ощущаем здесь,
чем все, что там увидеть ожидали.

Бегут столбы, как тени прошлых лет.
Вы возвращаетесь, а с вами рядом,
припав к стеклу, ваш молодой сосед
от горизонта не отводит взгляда.

ДУБЫ

Я ветерком среди людей
Летал.
Я легковесным был.
Теперь,
Набравши желудей,
Сажаю не спеша дубы.

Мороз не пощадил травы,
Грозит
весенних молний блеск.
А на дубке огонь листвы
Зелено-красный
вверх полез.

Пускай же целятся грома:
Не виснут крылья у дубка.
Он — словно родина сама,
Что нерушима и крепка.

СТРАДА

Истомой трав уходит лето,
Ржаным дыханьем опаля.
Ликует жаворонок где-то,
Лишая разума поля.

В дрожащем мареве от зноя
Река уже не в силах течь.
Зерно поспело золотое.
И камни пышут, словно печь.

Пришла пора, когда все просто,
Когда колосья бьют челом:
— Коси, косарь, под корень,— просят,
Шурша чешуйчатым зерном.

Проселки золотятся пылью,
Земля сверкает, словно клад.
Телеги солнцем нагрузили,
И те под тяжестью кряхтят.

Но вот померкла позолота,
Клен растерял кураж и пыл,
И люди до седьмого пота,
Как гром, ворочают снопы.

FINISTERRE

Сигнальные звонки везде слышны,
и залы ожидания полны.
Звучит извечно городов «тик-так».
И разбегаются пути во мрак,
и очень много их до той поры,
когда сожмется мир и все миры
в тропинку, что уходит в никуда...

Но, зная все, с волнением в груди
мы жизнь, как в детстве, видим впереди,
как будто на засохшей щепке лет
еще расцвесть сумеет яркий цвет
твоей судьбы... Как будто смерти нет!

Кто встанет на другом конце земли,
почувствует, как ветры замели,
пожухла голубая краска дня,
и солнце вянет, крону наклоня,
и на груди свинцовый груз тяжел,
и кажется — твой поезд отошел.

Теперь в седло осталось пересесть
в надежде, что еще осанка есть,
но всадником ты станешь и конем,
себя сжигая внутренним огнем.

Беспомощно опустишь удила,
едва не вылетая из седла.
И конь оставшуюся часть пути
тебя за груз сумеет пронести.

И снова через горы путь лежит.
Бежит твой конь. Бежит, бежит, бежит,
бежит твой конь, и, значит, жизнь не вся.
Бежит он, глазом яростным кося
на скалы, на живой пейзаж земной,
посеребренный мертвою луной.

ФРАНТИШЕК ГРУБИН

МОЙ СТИХ

Мой стих, ты грусти и сомнений полн,
Но не стыдись ни плакать, ни смеяться
И стань одной из торопливых волн,
Что в новый день стремятся.

Пульсируй в человеческих сердцах,
Иного плена ты не знай отныне.
Впитай их боль, отчаянье и страх.
Но не звучи в пустыне.

ПО ДОРОГЕ К РЕКЕ

С ДЕВУШКОЙ У ПОДЛЕШАНСКОГО РУЧЬЯ

Идем куда глаза глядят,
без тропок и дорог,
туда, где на веселый лад
застрекотал сверчок.

И позади за нами вслед —
два ослика худых —
бредут твои шестнадцать лет
и двадцать лет моих.

Ручей. Отбрасывая тень,
ты припадешь к ручью,
потом в один прекрасный день
я выпью тень твою.

А солнце парит, и в листве
цветет павлиний хвост,
и рассыпаются в траве
слепые искры звезд.

И не поймем: чего-то жаль,
и вот в последний раз
мы долго-долго смотрим вдаль,
а даль глядит на нас.

И два пруда у ивняка,
как две слезинки с век:
куда-то светит — Овчичка
струится — Беранек.

А мы — куда глаза глядят
шагаем бев дорог,
туда, где на печальный лад
застрекотал сверчок.

И позади за нами вслед —
два ослика худых —
бредут твои шестнадцать лет
и двадцать лет моих.

КОЛОКОЛА

Когда ночная боль услышит
те имена — Волга, Дон,

как будто глубь земли колышет
набатный звон.
Волга, Дон,
Волга, Дон,
Волга, Дон...

Еврейских женщин доля жалкая,
и лидицких тяжелый крест,
и ржавчина, сплошная ржавчина,

всю эту зиму душу ест.
Волга, Дон,
Волга, Дон,
Волга, Дон...

Скрипя зубами, отворачиваемся
мы по ночам от жен своих,
стыдясь, что нынче околачиваемся
и завтра будем возле них.
Волга, Дон,
Волга, Дон,
Волга, Дон...

Обыденней рубахи будничной
страх не идет из головы,
а вы — замерзшие, обугленные,
мертвее мертвого мертвы.
Волга, Дон,
Волга, Дон,
Волга, Дон...

Идет бедняк, шаги я слышу,
вставайте, это — он,
недаром глубь земли колышет
набатный звон.
Волга, Дон,
Волга, Дон,
Волга, Дон...

СТАЛИНГРАД

(Отрывок)

...Шуршанием газет в трамваи
вползает утро серое,
и серый пепел покрывает
края, где смерть умелая
пасет остатки человечьих стад.

Храни, Всевышний, город Сталинград.

И хоть песок в глаза кидали,
но все ж найдет читающий

Франтишек Гривна (Чехословакия)
Парк у Збраславского замка. 1943 г.

на лбу продутой ветром дали
ту каплю правды высыхающей,
что затесалась в черно-лживый ряд.

Храни, Всевышний, город Сталинград!

И даже фабрики названье
нам каплей правды представляется,
ведь ложь о ней хранит молчанье,
назвать по имени пугается,
пусть ложь и трусость нынче помолчат.

Храни, Всевышний, город Сталинград!

Когда огонь войны споткнется
И карты замолчат, ослепшие?
Дай силу тем, кто насмерть бьется,
кто белых флагов не вывешивал,
кто носит имя гордое — солдат.

Храни, Всевышний, город Сталинград!

Ты их руками меч свой поднял,
ты веру дал им в час неверия,
нет одеяния пригодней
для битв и смерти... За потерями
ты новые потери видеть рад.

Храни, Всевышний, город Сталинград!

ОДНАЖДЫ НА САЗАВЕ

Мой родной край в центральной Чехии (между Сазавой и Влтавой) был в 1942 году эвакуирован и превращен в полигон СС.

Река младенчества и юности моей!
За тощие мои лодыжки ухватившись,
ты к солнцу ковыляла вброд,
а по ночам пила взахлеб луну
над мшистою плотиной.

Потом сюда пришли они.

Осины в нас пересадили,
поля вспахали под чертополох,
могилам уподобили жилища
и поглотили свежесть леса...

Придя к реке, сказали:
Ужиная-река,
а ну-ка, смой с нас мертвечину!

Зловеще затрещала стрекоза.
На золотистых отмелях
метнулись рыбки-стрелы...
Река зеленоватою ладонью
смывает только то, что ей принадлежит,—
пыль обворованных проселков.
И, беззащитная, она в краю погостов
гремит, гремит окаменелым
немолкнущим набатом валунов.

НЕБЕСА

Было у нас ясное солнце,
почти что мирное.
Над Хиросимой и Нагасаки
плавилось солнце и пахло смрадом.
И мир нам на это
перстом указует:
идите и в страхе живите!

И Земля, от мазута и нефти жирная,
ускользает из наших рук —
сколько их, этих рук! —
Землю рвут друг у друга
в желанье едином:

из скорлупы
лесов вековечных,
белого снега и синего моря,
скал голубых и полей серебристых,
оцепенев от общего горя,
мы бы хотели вылупить ныне
вечно счастливый век золотой.

Но страх,
он, как ёж, в нашем сердце гнездится:
в этом мире
сплошных рычагов и катушек,
громыхающих карт и химических формул,
в этом мире, ощерившемся мечами
под своим болезненно серым небом,
свои дни он губит,
человек перепуганный,
губит, как петушков молоденьких
с еще не окрепнувшим голоском.

Руки его не подвластны ему,
и он опасается, что они
однажды выгребут из песка
огромный вымерший этот шар,
планету, безлюдную, как Луна.

И только сердцем он обращает
земли свои и звездные ночи
к дальнему небу,
к иному небу,
где жаждет взять он
из уст у братьев
надежду,
словно бы хрупкую дудочку,
чтобы играть на ней, песне вторя,
и после мучительных всех объятий
с жизнью,
в сущности, беззащитной,
смерть породить совершенно обычную,
естественную абсолютно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНЫЕ КРАЯ

Сколько раз я бродил над Бесной-рекой...

Сорванцом, открывающим мир, как сказку,
я крапиву рубил — сам себе герой,
и лягушек гонял, разгоняя ряску
на болоте, и, занятый той игрой,
я готов был пойти и в огонь и в воду...

Сколько раз продирался я по болоту
сквозь потемки — сверкает еще корнет
возле звезд под светающим небосклоном,—
а назавтра в прохладных цветах чуть свет
я ее обнимал под кустом зеленым,
и росли мы, былинка и стебелек,
на лугу заливном, на лугу болотном,
и порхали, бабочка и мотылек,
над дурманным, призрачным, мимолетным...
Так пропаще над нами листва качалась,
пела чаща, и ты на руке спала.
Я сюда возвратился — а ты скончалась,
я вернулся к тебе — а ты умерла.
Десять лун шли дожди, облака разбухли,
над усопшей от горя цветы распухли,
солнце больше не встало, и день погас...

Сколько раз приходил я — и тлели угли...
. . . . . .
И терял я кого-нибудь каждый раз.

ОЗЕРО ГЕТМАН

Какая ширь и блеск! Вот если б жизнь такой
была, как эта гладь, простершая покой
торжественно над ней синеющего неба!

Ты, Гетман, ластишься к прибрежным соснам немо
и растекаешься их шумом в глубь лесов.
Чуть всхлипнут под веслом и вновь замрут глубины,
глухие, как полет, как шорох голубиный.

Павлины зорь и парк прадедовских времен...
Валами зелени ты, Гетман, обрамлен.
Оплодотворено твое живое лоно
людьми, которые чураются трезвона
и веры в чудеса... Прощай, моя тоска!
Напомнит о тебе лишь иволга, заплакав...
Я — с этими людьми, язык наш одинаков.

Ты, Гетман, жажды волн не утолишь никак,
а нам не утолить извечной жажды жизни,
как солнце ни свети — щедрей или капризней...

Мы обуздаем жизнь, как сушу и моря,
блуждающих огней над ней уже не будет,
дары ее глубин из мрака вырвут люди,
и хлынет эта жизнь, доставшаяся нам,
навстречу солнечным и мирным временам.

НА ОКРАИНЕ ПРАГИ

Вот уже сколько воскресений
я как накануне песни, воздух весенний,
солнце вцепилось в траву густую,
лежу и, как футляр без скрипки, пустую,
блеском консервных банок глаза слепые режет,
вялые уши рвет пятитонок лязг и скрежет,
голое слово меня обдает желаньем соблазна,
но этого в слове нету, возле дороги безгласно
лежу и слежу за прохожими до поворота,
чем-то тихо чреватый, ждущий чего-то —
этого нет в рондели,
хоть больше пары рифм и не надо,
и тихого между ними разряда,
как если пчелу бы задели,
иссохшую с прошлого листопада,
обнаруженную в апреле,
этого нет в рондели,—
хоть больше пары рифм и не надо,
и, как в огороде рассада,
душа в простуженном теле
всходит еле-еле
и шуткам моим не рада,
этого нет в рондели —
вот уже сколько часов я
тщусь избавиться от пустословья,
гладкий ритм меня подмывает, подсунь бедняге
камушек смысла, он споткнется на полушаге,
но и в ритме этого нету,
высоковольтные фермы несут сквозь меня эстафету,
как на телегу, брошен я на планету,
ноги мои подкидывает, вдали городские сшибаются
башни,
ветер в башке, все бездумней и бесшабашней
жизнь расплывается песней по белу свету,
только и в песне этого нету, нету,

это в самом человеке, каждым движеньем сущим
рвущим тяжесть земли и к звездам землю зовущим,
это в упорстве мечты, в упорстве исканья,
в упорстве гения, красоту, как из воздуха, высекающего
из камня,
это — в упорстве рабочего, в его наковальне и плуге,
в упорстве хозяина, историю взявшего в руки,
это — в упорстве роженицы, это —
в упорстве весны, порождающей лето,—
только в этом жизнь, и она прекрасна,
о минуты, потерянные напрасно!

ЙОЗЕФ КАЙНАР

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Я видел сам, как нашу землю
чужие армии топтали.
И каждый раз — другой покрой мундира,
другая речь...
Но оставалось после их ухода
одно и то же:
могилы неглубокие в полях
и ненависть, глубокая, как пропасть.

В моравском солнце много сил и жара,
на юге давят дерзкое вино,
и гонят электричество турбины,
чтоб нам светлей жилось,
когда насядет ночь —
ручной и черный зверь
с алмазными глазами.

Лишь об одной из армий
мы будем вспоминать добром.
Танк, возвестивший о ее приходе,
я до сих пор храню в своей душе...

Танк, полновесный, словно радость,
что громыхала
по родным проселкам.

А надписи на звездных обелисках,
на придорожных кладбищах и в скверах —
вот основная грамота, которой
я стану обучать своих детей!

КАРМАННЫЕ ЧАСЫ

Часы в кармане —
прекрасная штука!

Как будто бы ночью идем вдвоем —
я и...— придумай, ну-ка! —
обитель страны белоснежек,
что легонько тикают каблучками,
словно часы в кармане.

Ресницы у них — циферблат.
И, совсем как часы, белоснежки твердят:
«Допивай же! Пора домой!
Тарра Бугда Бас —
лексикон этих милых девических уговоров!
Правда, пора домой!
Мой хороший, родной...»

Часы в кармане —
прекрасная штука!

Мой дед, путевой обходчик и браконьер,
жил в зеленой сторожке
и все паровозы
знал поименно:
«Агата», «Стелла», «Люцифер»...
И как раз перед носом у венских господ
опускался шлагбаум!

Часы — превосходная штука!

Но если находит хандра
и я на диване лежу до утра,
то вот что я думаю, бросив пиджак на стул:

Когда я залягу где-нибудь навсегда —
не в гипсе, не там, где пьянит резеда! —
а просто где-нибудь навсегда,—

Что станется с вами,
часы мои, тикающие в кармане?..

МОЛОДОЙ ШОФЕР

С упрямым чубом, взглядом едким,
идет — ни дать ни взять — корсар,
насупился, как сыч на ветке:
знать, сердце ноет по соседке —
не уберег от женских чар.

Напропалую всех ругает,
машине от него беда:
в шофере ревность закипает,
а в радиаторе — вода.

Ах, если б встретить на пути
ту — с озорным и милым взглядом:
«Пожалуйста, садитесь рядом...
Нет, почему ж не подвезти?»

Но жизнь, мечты развеяв в пух,
увы, смеется над любовью.
Он возит лишь одних старух,
спешащих на базар с морковью.

КРАЮХА

Так у нас заведено:
Кто, когда бы к нам бы ни пришел,—
Свой, чужой, из недалека или же издалека,—
Сразу ставим крынку молока,
Рядом с ней краюха выставляет брюхо.

Таково-то, привыкать не стать
Гостя-человека уважать.
Потому что все, кто на земле живет,

Плачут и смеются, знают, чей ботинок жмет,
Потому что всем когда-нибудь придется помирать.

Да, обычай наш таков.
И недаром в мире он царит,
Там, где хмурое, и там, где голубое небо,
Даже там,
Где запрещают гостю дать краюху хлеба.

Запрещают, но не запретят.
Наш обычай отзовется эхом грома.
И куда б ты ни пришел —
Будешь там как дома.
Где б ты ни был, а за стол посадят,
Слаще жизни молоко поставят
И краюхой дружбы угостят.

БЛЮЗ О ЕЕ СЛЕЗАХ

Когда — капают слезы? Когда — рекою струятся?..

Это лишь в книжках страшно.
И когда б ты на миг затихнуть могла,
Я сказал бы: все вздор,
Что ты нынче прочла,
И нечего тут бояться!

Но знаю, если плачет она,
Сжавшись в комочек,
Прижав к подбородку колени,—
Эта печаль — глубока и сильна,
Эти слезы — струятся.

СНЕГОПАД

Нападал снег,
исподтишка нападал ночью снег,—
и что куда девалось?!

Такое не приснится и во сне!

Снег стер дворы
и превратил их в братские могилы.
Он трубы стер,
они теперь — скульптуры.
Крольчатник стал семейным склепом.
И крестики — следы вороньих лап —
благословили благолепно
округу, где остался только я,
единственный, кто может что-то вспомнить...

Нападал снег,
на все нападал снег...
И что со мною будет?

Какой там приговор!
И кто, и в чем повинен,
когда истицы нету и в помине,
когда меня перевернули,
как в повести страницу?!

А сердце все болит, болит...
а снег опять валит, валит...
И все бело, и все вокруг искрится...

МИЛОСЛАВ ФЛОРИАН

СОНЕТ МОСТОВЫМ

Стучат мостильщики, брусчатку ладят,
по клавишам рояля стук да стук...
На нем играли Сметана и Сук
мелодии огней и влтавской глади.

Их звук чуть слышен. Трепетней и глуше,
чем ломкий лист под вешним холодком.
И люди греют руки над котлом,
где не асфальт бурлит, а наши души.

Рояль мой — Прага! На твоих каменьях
настройщик всласть поползал на коленях.
Педали — как подножья баррикад.

В раскрытых струнах — гулы грозовые.
Так пусть твои мосты и мостовые
прелюдией обыденной звучат.

БАБЬЕ ЛЕТО

За окнами в саду желтеет бабье лето...
Под тяжестью плодов скрипит повозка где-то...

Вздувает ветер свежее белье...
Прозрачна даль... Кругом поет жнивье...

И солнце опустилось в отдаленьи,
как руки труженика — на колени...

Но почему, душа, твое зерно
еще не собрано, еще не свезено?

В тебе любовь мгновенно созревала...
Трещали сонмы звезд... Но все казалось,— мало...

За окнами в саду желтеет бабье лето...
Легко и просто брать. Трудней платить за это.

ОСЕНЬ

Ну, вот и осень — грустное послание,
которое я утром в парке по́днял...
Читаю дождь, как строки на прощание,
который раз перечитал сегодня.

Свинцовый пруд... Стена... Кривые трещины...
Деревья почерневшие и крыши...
Всё, всё исписано рукою женщины,
которая мне больше не напишет.

ПРОМЕТЕЙ

В нем те же атомы, что в тверди всех планет,
рожден он в схватках материнской боли,
и жить ему на свете сорок лет,
немногим менее, немногим боле.

Везде найдешь размер его сапог,
обычна и проста его одежда.
Он пьет за жизнь, и в трубке огонек
то вспыхнет, то погаснет, как надежда.

Не раз от страха онемеет он,
но все, что немо, ищет в нем ответа.
А солнце тем и живо, что зажжен
его лучом живой источник света.

ПОЭТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Ведь не умеет же, не умеет!..
Так какого лешего лезет на вышку?!
Уж лучше пальнуть ракетой,
чтоб цвели над водой букеты!

Падает,
будто кирпич...
Храбро хлебнул озона
и —
в самую гущу зевак,
в самый разгар сезона!

В яблоки, в помидоры,
в грецкий орех, который
сонно тучнеет,
зреет...
Падает в этот огромный мозг,
как внезапное озаренье.

ЗА ЗЕЛЕНЫМ СТОЛОМ

У меня с детворой разговор неотложный!
И о том, что пошла краснота-вкуснота
куролесить по просеке...
И о том, сколько надобно париков
одуванчику...
И о разном другом...
Ни о чем не забудем!
Растолкаем сонливый валун,
по душам потолкуем начистоту...
Нас обступят грибы, нацепив мушкетерские шляпы...
Нет, не буду смотреть телевизор!
У меня совещанье на высшем уровне!

ВСТРЕЧИ

Отворяю окно приглашаю войти

И с охапкой лучей входит вечер
входит ветер
несет колокольные гулы морей

(еще слышу
поющих гребцов
на галерах твоих ресниц)

Подплывает
пурпурный листок
в золоченой кирасе

Легко спрыгнув с носилок
он внимательно смотрит
в пустые ладони мои

И с ответным визитом к себе приглашает

Л И П Ы

Ах, дайте наконец земле покой,
чтоб у нее не опускались руки,
пускай нас крестит дождевой водой,
пусть не дрожит за нашу жизнь настой
лучей и воздуха над нивой золотой,—
все выживут:
и мы, и наши внуки.

Ах, дайте наконец земле покой.
На миг закружит ветер над черешней
и полетит за ласточкой нездешней,
наверное, в далекий Рим спешит...
С землей в обнимку мой отец лежит.
Взобьет под головой слежавшиеся травы —
повеет вдруг ромашкой иль отавой.

И без конца,
как в Янов день когда-то,
нам дарят клады недра и глубины.
И без конца мы празднуем крестины,
рожденья, обрученья, именины
цветов, железа, даже старых пней,
крича им в слуховые аппараты...

Одним лишь почкам не видать покою:
удел их — двигать стрелкой часовою,
да бег реки нельзя ни на минутку

прервать и перервать, пуская плавать утку...
Мир бабочке,
и золотой и синей,
молитвенно застывшей на калине.

Пускай весна мой край необозримый
раскроет, как посланье от любимой,
и не беда, что на страницах кляксы...
Газетчик суетный от новостей охрип,
асфальт растрескался, надрывно воет клаксон,
а рядом шествуют колонны тихих лип.

МОДЕЛИ

Украшала витрину
художница смелая —
весь в подвесках боярышник
и жимолость белая!

А потом показали нам
моды осенние —
удлиненные тени
и листьев падение.

Манекенши озябли,—
смешные ужимки! —
примеряют на голое тело
снежинки.

Ах, довольно в снега,
как в меха, наряжаться...
По рисункам любви
вам пора обнажаться.

* * *

Отзвучали майские громы, и по мелькающим тротуарам
побежали босые девчонки —
что с тобою, мой стих,
я бросаю тебя под их голые пятки и влюбляюсь раз десять в
секунду,

отдаю тебя горлицам — пусть твой ритм по эфиру разносят
азбукой Морзе,
а я для тебя не найду и минуты свободной:
я свидетелем буду на свадьбе —
обручается солнце с капелью,
с крутобедрыми скамьями в парке,
с Прагой, что сигналит тебе всеми своими флажками.

ФЕВРАЛЬСКИЙ СНЕГ

Мохнатый снег, на землю сыпь.
Прорехи в тучах все растут,
и ты белеешь
в кронах лип,
цветка сверкающий раструб.

Осыпь бульвары, автострады,
где тысячи
знамен трепещут,
где распевают демонстранты,
людской поток в разливе плещет.

Поля и Прага, близь и даль —
все снегу чистому открыто.
Чуть сдвинулась
Земли орбита:
весне принадлежит Февраль!

ДИФИРАМБ

Прага окропленная золотым дождем
я блуждаю по тебе как шмель
отяжелевший от пыльцы и неспособный взлететь
не могу оторваться от твоих щедрых поцелуев
от парикмахерской стрижки твоих садов

Ты вся плотина
в которой весна убыстряет теченье
и разбрасывает радужные искры
над остолбеневшими автомобилями

из-под капотов которых
вырвались лошади
трясут гривами и знакомятся
очаровательно смущаясь

О Прага с зеленым румянцем
как мне писать стихи
когда на моем карандаше распускаются почки

ЯНКО ЕСЕНСКИЙ

ГЕНЕРАЛАМ

Стоять за родину всегда
с восторгом и запалом
солдатом — очень хорошо,
но лучше — генералом.

Солдат от крови красен стал,
брести в грязи не сладко.
И красен также генерал —
красна его подкладка.

Из тыщи гроз, из тыщи битв,
когда дробятся скалы,
бойцы приимут град и гром,
блеск славы — генералы.

Солдат лежит на животе
в окопе снежно-белом,
а вождь к прохладной простыне
прильнул «усталым» телом.

Над кем-то деревянный крест
поставят без ограды,
а генералу — крест на грудь
и прочие награды.

Вот рапорт принял генерал
и в тыл коня направил,
но после боя говорят,
что он войска возглавил.

Отряд бойцов в смертельный бой
бросается по знаку,
чтоб после генерал сказал:
«Я выиграл атаку».

Лишь он нас может от цепей
избавить без отсрочки,
а коль не выйдет — будет нас
манежить на цепочке.

Кто во главе — тот может быть
во время боя сзади,
ведь надо голову хранить
ума большого ради.

И с той поры, как королей
в стране у нас не стало,
борьба идет не за народ,
а ради генерала.

Стоять за родину всегда
с восторгом и запалом
солдатом — очень хорошо,
но лучше — генералом.

СТАРЫЙ ТОПОЛЬ

Ночь. Прячет под крыло свой клюв дневная птаха.
И месяц, словно перст, манит меня, суля,
что песнь придет ко мне по каменному шляху,
где шумной чередой чернеют тополя.

Там тополь есть один, он словно нищий старец,
на высохшем стволе — один росток живой,
а голые сучки, как руки, разметались
и вновь хотят владеть шумящею листвой.

Последний лист слезой дрожит под лунным светом...

Я к тополю иду, исполнен дум своих.
И голый тополь схож со стариком поэтом,
чьи песни утекли, а голос слаб и тих.

ТУМАН

Так пасмурно, как будто день в костеле.
Кругом лежит туман, угрюмый, хмурый.
На проводах осенней партитурой
висят дождинок мелкие бемоли,
и ветер иногда свистит уныло
мелодию, что осень сочинила.

Он свищет. С проводов слетают ноты...
Мгла подбирает юбку... И дорогой
стремится на холмистые высоты,
где небо, улыбаясь босоногой,
сулит украсить голубой заплатой
рукав ее одежды дыроватой.

НА БРАТИСЛАВСКИХ КЛАДБИЩАХ

Павшим русским героям

Смерть — сеятель. При факельных огнях,
под пушек гром и ружей грохотанье —
могилы рассевает. Чтоб в веках
вершины три украсились цветами.

Смерть ради жизни, каждый павший — брат,
который, смерть поправ, погиб за брата,
сорвав замки с запечатленных врат,
поставленных и запертых когда-то.

Замки, затворы — их не перечесть —
ногам ходить мешали, оку — видеть,
лишали крыльев дух, губили честь
и обучали только ненавидеть.

А сколько славы — Волга, Эльба, Дрин!
От Дона к Одеру и от Днепра до Шпрее,
и Сталинград, и Вена, и Берлин...
Вы спите здесь, в тиши, вблизи аллеи.

Вы мать-отчизну возвратили нам,
и мы, склонившись у могилы братской,
«Покойтесь с миром»,— произносим вам,
вам, павшим, вам, живым в земле словацкой.

ИВАН КРАСКО

* * *

Гей, куда б груди раздаться!
Песни, песни в ней родятся,
та протяжна, та печальна,
та грустна необычайно.

Захочу сыграть, бывало,—
словно грусти не бывало,
а судьба-злодейка — рядом,
запоет печальным ладом.

Мысли жгучие оставлю,
песнь веселой быть заставлю,
но придаст воображенье
ей иное выраженье.

Что ж мне делать остается,
если счастье не дается,
принимать осталось беды,—
оттого и кудри седы.

* * *

Лишь к одной-единой
я душой тянулся,
да и ту покинул
и не оглянулся.

Милую когда-то
вспоминаю снова.
Был я недостоин
сердца золотого.

А ко мне на свете
многие тянулись,
и ушли навеки,
и не оглянулись.
Милые когда-то,
вы теперь далеко!
Ивой придорожной
никну одиноко.

Милые когда-то,
нынче вас люблю я,
всем привет сердечный
издалека шлю я!
Лишь одной-единой
не скажу ни слова:
мой привет не стоит
сердца золотого...

МОИ ПЕСНИ

Обыденность мне на душу легла,
как на безмолвный дол седая мгла.
Мне хочется, чтоб схлынула завеса,
чтоб видеть гребень гор, и зелень леса,
и белизну далекого селенья,
и синь небес, и ручейков кипенье,
их брызги, блестки в беге торопливом,
и мотылька в полете прихотливом,
и пестрый луг, и тополь одинокий,
что ввысь стремится к синеве далекой...
Увидеть вновь шиповник над обрывом,
распятье на кладби́ще молчаливом...

Мне хочется, чтоб схлынула завеса.

РАБ

Я тот, кто в мир входил под стон, под песню матери-рабыни.
Та песня горькая звучит во мне поныне...
Полна запуганной печали, приглушенной боли,
она витала надо мной, лилась на наше поле —
и душу в детские года мне омрачила навсегда.

Я тот, кто рос под свист бича, под окрик господина.
Мои рубцы, кровоточа, слились на теле воедино.
Всегда смотрю я вниз, я согнут вечною боязнью,
я обессилен непрерывной этой казнью...
Но хоть и боязлив мой взор, в нем искра тлеет до сих пор.

Я тот, кто втайне ждет тревожного набата:
я раб,— мне трудно умереть, пока не свершена расплата.
Лишь отомстив, я распрямлюсь, забуду я о страхе,—
и, может, саженцы мои не превратятся в плахи...
О, есть ли в мире песнь грустней, чем песня матери моей?!

ЯН СМРЕК

МЕЛОДИЯ 1943 ГОДА

Дрогнул воздух,
как лист, смятенно,—
это слышатся нам фанфары,
всем нам, приговоренным.

Эта песня поется о чубчике,
О Байкале или о Доне.
Подпевать мы все время готовы,
в такт ударять ладонями.

Не эстетика это, а наша кровь,
в нас надежда звучит раскатами,
это близится наша свобода,—
сгинут тюрьмы и каторги.

О, великий народ! — говорим мы,
мы, холодные и голодные.
Эти песни — как хлеб наш насущный,
как дыханье наше — мелодии.

Мы раскрыли и уши и души —
ждем мы песен ночами и днями,
лишь одна отзовется мелодией —
и дыхание близкой свободы
мы смакуем губами.

И уже за спиной — царство смерти.
Лишь на Западе — горе и голод.
Ну, а мы — мы избранники жизни,
и зовет, как волхвов трех, к Востоку
сердца нашего голос.

Вот взлетает мелодия с Волги,
пятикрылая вещая птица.
И мы знаем уже: не погибнем,—
ей пробиться к нам солнечным гимном,
ей сквозь тучи пробиться!

Эта песня — как луч над тобою.
Ай-да-да! Слышим звуки рапсодии!
И охотно склоняемся мы пред судьбою,
а судьба наша — в русской мелодии.

ДЕКАБРЬ

Бог дал знак, и без лишних слов
ангелы-умницы
рванули перины облаков,
в которых заспались святые.
И когда мы вышли на улицу,
перья падали снеговые.

А нам — весело, потому что
не разминуться с перьями.
Посмотрите-ка на сады: там
ни одного зеленого дерева.
Все былым-бело,
ах,
оглянись,— и крыши костела,
даже башни!..
А девушки проходят по улицам
такие важные,
губы у них алые,
как в мае.
И все девушки пешие...
Пустыми идут трамваи.

А женщины красоту свою знают,
идут — не торопятся,

идут, красоту свою
медленно излучают.
Их головки, как розы нежные,
на груди у мужчин заснеженных.
И падает снег
на город,
как белых букетов ворох.

На тихой площади под вечер
и смех и гам.
Под вечер людям
тепло от многолюдья.
И от внезапной встречи.
И над рекою только,
то тут, то там,
среди ночи,
потеряли тропинку пары,—
или в очах потерялись очи.

Не будем смущать
и мешать,
обойдем стороной,
тишиной обойдем снеговой.

Ведь в снеговой аллее
утоптана дорожка,
дома как на ладошке,
и всюду открыты ворота,
и окна цветут и сияют,
и сквозь ледяные цветы —
дымок теплоты.
Струйка зовущего пара
из самовара.

ЭМИЛЬ БОЛЕСЛАВ ЛУКАЧ

КАНАТОХОДЦЫ

Над пропастью мы натянули
тонкий канат любви,
мы, грустные акробаты.

Слепой слепого ведет,
крепко сжимая руку,
по этой зыбкой тропинке —
ужас и смех на устах.

Так и танцуем вдвоем
между землей и небом.
Под нами бушует поток,
над нами звезды молчат.

Канат дрожит от натуги,
ему не под силу ноша:
один — нелегкое бремя,
но двое — вдвойне тяжелей.

И если шажок неверный...
Иль нить одна перервется...
Кто канет, на радость потоку?
Кому остаться в живых?

GOETHENOF[1]

Во тьме пожары вместо светляков,
зигзаги молний, грохот разрушенья,
и колыбель становится мишенью...
Земля в крови — живем среди волков.

Поэта имя в сонмище врагов,
как флаг на мачте... А вокруг гниенье...
Крест вкупе с фасциями шлет благословенье
кровавым топорам в ручищах мясников.

Наполнив черепа, как чаши, трупным ядом,
сдвигают их святитель и палач:
«За здравие!...» И слышен детский плач...

Нам неуютно... Виселицы рядом.
И светит затемненным городам
лишь иероглиф звездный: «Аз воздам!»

ЗЕРКАЛО

Что зеркало показывает нам?
Остывшие поля и небеса,
Жнивье сухое, обод колеса
В разбитой колее, и борозду
Замерзшую, и всей любви тщету.

Что зеркало показывает нам?
Пожухлый колос, выстуженный путь,
Предательски истерзанную грудь,
Жизнь хмурую, с опавшею листвой.
Где светлый нимб, что был над головой?

Что зеркало показывает нам?
Кровавые ступни, остывший жар,
Над высохшим колодцем белый пар,
Как облачко, сходящее на нет —
Затерянный и одинокий след.

---

[1] Дом Гете *(нем.)*.

ИГРА В БАБКИ

Уличным ревом, визгом
в угол затолкан,
небо, стену замызганную
взглядом сверлю долго...
Дворик... Невольничий... Жуткий...
Грязные баки...
А детвора шустро
играет в бабки.

Воет над городом яростно
сирена.
Корчатся в драке ярусы,
вьется клубком арена.
Сейфы до денег жадны,
на дивиденды падки...
А детвора продолжает
играть в бабки.

Пусть в казино планеты
золото, сталь — звяк!
Катятся слезы в кюветы...
Весело? Еще как!
С жизнями смерть играет...
Гроб, тапки...
Дети про то не знают,
играют в бабки.

Горечь мою низринул
смех детворы.
Выплеснулся на руины
и захлестнул дворы.
Бомбы покрыл, подлодки,
пухлые папки...
Детям поглажу лобики —
играйте в бабки!

ВЕСЕННИЙ ВЕТЕР

Земли замерзшей беспробуден сон.
Лед до корней проник, мерцает он.

Студеный жар, что сердце леденит,
Не ветерок ли вешний устранит?

И этот панцирь, жесткий, ледяной,
Не ручеек ли просверлит лесной?

Сгинь, пепелище зимнее! Слова,
Пробейтесь к нам, как вешняя трава.

ВОЛК

В последний раз тропу широким махом смерь.
Почуять влагу трав! И пусть приходит смерть.

О, где твой бег ночной к пастушьим шалашам.
Где твой обратный путь по утренним лугам...

Рубцы от старых ран еще кровоточат.
Следы жестоких битв за стаю, за волчат.

Четвероногий брат встал тенью у ручья.
С ним зверь о двух ногах. Ты стар, где стать твоя?

Огнем пылает бок. Свиреп сородич твой!
Ты логово стерег и принял честный бой.

И бился до конца... Но жив твой волчий род.
Вот волки завели подлунный хоровод.

Почуять влагу трав. Мой дом, мой лес, прости!
В последний раз завыть: «Волчата, вам расти!»

ЖЕРТВА

Что ж, упрекай меня, окаменевший зритель,
В бессмысленном прыжке во тьму из темноты,
Но я готов опять на плаху лечь — казните,—
И жизнью рисковать, и вновь сжигать мосты.

Не прячу ничего, листвой не прикрываю,
Я — весь перед тобой, содеял то и то,
Но помыслы чисты, я к ним не подмешаю
Подспудную корысть,— не упрекнет никто.

На терниях я жил. Под страхом, без расчета,
С тех пор, как я узнал изнанку жизни, роль
Злодейства, грань штыка, балладу пулемета,
За мирный мой народ отчаянье и боль.

Глотайте жертву враз, давитесь, кто богаты!
Европа, да сметет потоп твои поля!
С разбитою душой кричу: «Вы виноваты!»
И при смерти уже: «Живи, моя земля!»

ЯН РОБ ПАНИЧАН

УДАРНИКИ

перед нами богатство земля разложила
горы хлеба
металла
великанская сила
кипит в наших жилах
нашу кровь капитала

сеем
    пашем
молотом машем
к станкам спешим
в головах
залпом внезапным
рождается план нового мира
сердце
чувства рекою к нему устремило
под лучами чудесного завтра
управляем волшебным жужжаньем машин

кто мы такие?
стихи
    мы укротим
отдадим их в руки рабочие
города сотворим
не шутя говорим:
с морями и горами

сделаем все
что захочется
темп
наш лозунг
мозолистым нашим рукам
мир доверил свои весла
кто корабль повернет?
не посметь!
угнетателям — смерть!
нам — вперед!

СИБИРСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Летят часы, им вслед
Бегут колеса.
Рядом —
Снег — белый домосед —
Покалывает взглядом.

Березы там и тут.
Их меловые талии,
Как смерчи, стерегут
Оцепененье далей.

Заря идет ко дну,
На горы тень накликав,
И окна белизну
Целуют кровью бликов.

СЛОВАЦКАЯ ПЕСНЯ

Горькая песня словацкой печали,
тучей плывешь ты в широкие дали.
А пропадая в далях гористых,
острой тоской отзываешься в листьях.

Буйно-веселая песня словацкая,
ты молодецкой сменяешься пляскою.
Парни в круг танца врываются дружно,
горы они перепрыгнут, коль нужно.

Песни словацкие, песни мятежные!
Буря ли бьется о скалы прибрежные,
пламя ль костров на топориках блещет?
Души у панов от страха трепещут.

Песня, сердечной согретая ласкою!..
Расцеловал бы ту песню словацкую...
Светится вся и звенит, улетая,
мир ароматом цветов наполняя.

ЗАВЕЩАНИЕ

Земля! Ты мила мне в снегах зимы,
Летом, весной, осенью.
Я люблю поля, но больше — холмы:
Они над равнинами к небу возносятся.

Мне дороги горы, леса — тоже,
Омытые ливнем, ветром.
Но все же,
Что может быть в жизни дороже
Пламени, света?

Я люблю птиц и цветов множество,
И все, что земною отмечено метою.
Но все же,
Что может быть в жизни дороже
Пламени, света?

Помните!
Когда солнца бубен медный
Для меня навсегда стихнет,
Огню предайте, чтоб напоследок
Блеснуть, вспыхнуть!

ЛАЦО НОВОМЕСКИЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

В звездное платье наспех одета,
ночь выбегает на берег пустынный
из городского движенья и света,
из многолюдной, дымной гостиной,
где ее только что угощали,
где она только что весело пела...
Ночь захотела любви и печали,
ночь тишины, тишины захотела.
Звезды мерцают. Рельсы сияют.
Да светофоры-хамелеоны
ежеминутно цвета изменяют:
желтый — на красный и на зеленый.

Друг мой продрог. Сигареты не тушит.
Шутит — такая у друга манера.
Девушке друга, к стихам равнодушной,
я декламирую Аполлинера.
Я декламирую с выраженьем...
Берег пустынный. Холод собачий.
Для человека с воображеньем
все в этот вечер должно быть иначе.
Может быть, звонкие строфы поэта
и западут этой девушке в душу...

Но ни поэты, ни сигареты
нас не согреют и не обсушат.
Если тебя хорошенько продуло —
чувствуешь старым себя и усталым,

после таких пешеходных прогулок
голод является с волчьим оскалом.
Как хорошо тогда в полуподвале
«У двенадцати слез Девы Марии»
посидеть, к бокалу прилипнув губами,
помолчать, послушать, о чем говорили
за соседним столиком, сдвинувши кружки,
молодые подвыпившие солдаты:
о любви, о выпивке и о службе,
и опять: кого-то, кто-то, когда-то...
Ибо ведь невозможно, невыполнимо
до конца себя рассказать словами,
в лучшем случае худшую половину
собутыльник выложит перед вами.

Ибо только однажды, только однажды
без колебаний и дипломатий
сердце свое обнажает каждый
перед любимой, и то — до объятий.
И погружаешься с головою
в тему, единственно дорогую,
и забываешь все деловое,
то есть уже половину другую.

Ибо известно лишь музыканту,
весельчаку-профессионалу,
как на гармони за малую плату
радость отмеривать людям помалу.
Даром, что песенка эта убога,
ветхозаветна и неказиста —
мы разворовываем понемногу
радость у старого гармониста.

Много вещей мы не видели сами,
но восхищенно о них говорили,
ну, например, о готическом храме,
о неземной чистоте его линий.
Нынешний день привередливым людям
кажется чем-то обычным и пошлым,
мы иногда удивительно любим
встретиться с мертвым, загадочным
прошлым,
чтобы, рукой мертвечину потрогав,
тихо шептать: вот была красотища!..

Даром что прошлое часто убого,
малопонятно, никчемно и нище.
Разнообразья мы захотели,
малую толику самообмана:
как бы мы прожили без светотени,
что бы мы делали без тумана,
без изменений, вливающих в жилы
новые силы — как бы мы жили?..
Мы еще живы. Пока еще живы.
Мы еще в гроб себя не уложили!

Тоненький голос волынки пастушьей
и трескотню современных ударных
мы одинаково любим послушать,
мы одинаково благодарны.

Не выходить бы из этого круга:
музыка, выпивка, сердца истома...
Но уже поздно: девушку друга
ждут не дождутся родители дома.
Это поэты-идеалисты
нам о любви бесконечной твердили:
все мирозданье — хоть провались ты,
только б любить до креста на могиле,
выпить до дна эту красную чашу,
только б любить — ценою любою,
несовершенную, краткую нашу
жизнь до краев переполнить любовью!
Но ведь известно: поэты витают
в странах, которые создали сами.
Девушка друга — она не такая:
не забывает о папе и маме.

Мы разбираем шляпы в прихожей.
Ночь помрачнела, стала как уголь.
Что-то на трезвую не похожа
благоразумная девушка друга...

Ночь одиночества хочет. И редких
гонит прохожих, домой загоняя.
Ночь в обнаженных запуталась ветках,
тихо парит над простором Дуная.

Ходит с винтовкой матрос величаво,
ходит, мечтая о бурных походах.
Тихо. Лишь волны возле причала
скрежещут под тяжестью пароходов.

* * *

На кувыркающихся глядя обезьян,
мы вспоминаем о далеком детстве:
забытые безумства.

Да, африканские уплыли корабли.
Мартышка старого шарманщика
смешная Кики,
бедняжка, умерла от ностальгии.

Далекое — прощай же детство!

Но остаются с нами навсегда
неистовые выходки Вийона,
подобные той виселичной петле,
которая хотела задушить
его и Янко Краля.
Маркиз де Сад, фантазии его,
зажегшие Париж.
Бастилии пылающие окна
под гром рукоплесканий на галерке.
А жизнь Вазир-Мухтара, смерть его,
твои, о милый Незвал, строфы,
мозаика из тысячи вещей!

Забавы детства — огромный монумент
округлых лиц
и круглых слез,
кругов на зеркале воды,
что круглым камешком разбита,
колечки дыма первых сигарет...

Когда хранила бы земля игрушки детства,
она не стала бы по эллипсу кружиться,
а стала бы описывать круги —
как в детских играх:
«Колесо-колесико,
за четыре грошика...»

Так тысячу раз прощай, недавнее детство,
забытые наши безумства.
Не спрашивайте ребенка — как же случилось,
что грусть его плачет над сломанною игрушкой.

Сломались круги — на четыре угла распались.
Взгляните: рисунок сломан и перекошен —
этот ромбоид — детских забав обломки.

ЧЕРНОЕ И КРАСНОЕ

Округа вся
враждебно почернела.
Был белым снег,
а за ночь — посерело.

За далью даль
вороний цвет приемлют.
В глазах у милой
две черных ночи дремлют.

Черны шахтеры
от островской пыли.
Черны огни,
что из земли добыли.

Над черной шахтой
черный флаг взовьется.
Красна одна лишь кровь,
людская кровь,
что в этих шахтах льется.

ДОРОГА

Матери

Теряет поезд колею,
На солнце блеск теряют рельсы.

Пропажу — как ее найти?
Былое — кто вернет из рейса?

Дымок теряют поезда
В окно втекает небо сине...

Равнину поезд потерял,
Мать потеряла сына.

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Бесконечны туннели в Карпатах.
Задыхается поезд во мраке,
черном, будто бессонные ночи
где-нибудь на окраинах Праги.

Как сияет снегами равнина
по контрасту с печалью туннелей,
как она белозубо хохочет —
словно женщина в белой постели!

Из объятий туннеля дорога
ускользает извилистым телом,
ослепляет чередованьем
ночи с женщиной, черного с белым.

НОЧЬ НА КОСОГОРЕ

Последний поцелуй,
протяжный, словно пульман...
Дымком прощально машет паровоз...

И колея заламывает руки —
утраченные дали!..

Куда девалась давняя картина —
ровесница развалин Стречно:
Колумб в конце пути
неведомую землю озирает?..

Где ширь земли, что без конца и края?!
Где беглецу пристанище найти?!

Над омутами лес огруз и загустел...
Печаль коровьих глаз... И вечер, льнущий немо...

Блеск давних эпопей, непонятых вестей —
загадочное небо...

Последний поцелуй,
такой же мимолетный, как комета...
Я облакам приветственно машу
и брезжущим — какая даль! — планетам...

Где, на каком бугре пасется черный конь?
В возок Большой Медведицы впрягайте!
Горит рожок в руках у почтаря —
турецкий полумесяц выплыл...

Явлюсь не вдруг,
а как слова за мыслью,— чуть помедлив...
Когда погаснут звезды и роса,
дрожа, обнимет клевер и петунью,
как мушки — вашу челку накануне...

ЭПИГРАФ К ОДНОЙ ЖИЗНИ

I

Дырка на дырке — два башмака,
а под ногами — грязь да каменья.
Ходит бродяга без кошелька
от воскресенья до воскресенья.

Будет иначе! В шаткой судьбе
нет, кроме веры, другой опоры.
Палкою служит она в ходьбе
и устрашеньем для пёсьей своры.

II

Если погасят солнце его,—
Боже смешной мой, это пустое,—
где бедняка найти моего?
В желтых подсолнухах, в синем зное.

Если ж не песня выйдет, а хрип?
— Боже ты мой, и это не новость.
Воды текут среди тесных глыб,
а в ассонансах звенят на совесть.

— Нищенский посох, рычаг творца,
и ошельмованный он от Бога.
Нет, у поэзии нет конца,
как без конца и моя дорога.

МОСКОВСКИЙ ВЕЧЕР

Так что же я искал под стенами Кремля
наедине с его высокой славой?
Как выразить, о чем поведал мне
сияющий в ночи
над строем башен темных
огромный алый стяг?

От чужаков ли вероломных
он стережет покой Москвы?
Иль, может, разгоняя мрак,
царей поверженных пугает?

Внезапно расступаются столетья —
старинные полки
по камню древнему шагают.
Он помнит их. Седая старина
над ним сомкнула грозные штыки.

И вторит эхом ей кремлевская стена:

Гей, гори, костер, гори,
высоко в горах гори,
до зари юнацкой!

* * *

Когда людей признаешь в людях,
стих будет на устах у всех,
и снова смоет половодье
весенний лед, осенний снег.

О, как убог — себе мы скажем —
был век войны, заклятый век:
когда поэт не нужен людям,
чужд человеку человек.

ИЗ ПУТЕВОГО БЛОКНОТА

Есть у меня и цель, и место у окошка,—
так почему ж я думаю о смерти,
когда, вздохнув, отходят поезда?!

Напоминают о похоронах
их плач и повторенное стократно
«Прощай!», их белоснежные платочки...

Они надели нынче вдовий креп,
который дымом вьется и тревожит...

Минуты расставанья так похожи!

Прощай! Прощай!

Бегут навстречу полчища полей,
задравши к небу знамя семафора...
Спешат назад, наверно, с донесеньем,
что видели нас мельком...
Убегают
туда, туда,
откуда мы отправились в дорогу...

И годы убегают к той черте,
откуда мы ведем им счет и помним...
Идут навстречу и проходят мимо...
Когда-нибудь и мы их не заметим...
Все это будет не для нас:
и полчища полей, и знамя семафора...

Прощайте же, поля, прощайте, семафоры,
бегущие туда, туда,
где мне о смерти думалось невольно,
когда, пускаясь в путь, вздыхали поезда!..

АГИТАЦИЯ

Когда канонада копает могилы —
тысячи опрокинутых колыбелей,
детских могил над городами,
букетики цветочков взметаются чудовищным букетом.

Пускай столепестковым предостереженьем
поднимается над могилами кулак розы,
потому что напрасны, напрасны, напрасны
все любви, поцелуи, объятья,
когда разлетаются мелкие букеты,
когда канонада копает могилы —
тысячи опрокинутых колыбелей,
детских могил над городами.

ИСПАНСКОЕ НЕБО

Я знаю, что взошло оно из синя моря,
я сам присутствовал при вознесенье,
когда оно взлетело альбатросом
из бесконечной сини.

То было торжеством паренья,
то было вздохом сожаленья,
и это было взлетом неба,
горячего полуденного неба,
над сушей и водой к зениту.
Оно ладонью прикрывает
живых и мертвых.

Звезду себе вручает —
ведь нет таких блистательных регалий,
которых не вручишь ему за доблесть.

Над каждым боем было небо
вчера, и ныне,
и завтра будет
над командным пунктом
и над передовой заставой —
везде.

И все ж оно трепещет после боя,—
быть может, бой его приводит в ужас,
а может, просто
беспечный трепет южной ночи
так преломляется в мерцанье звезд.

А звезды лихорадочны над нами,
и я на цыпочках вхожу в безумье.
Сегодня небо страшно.

Оно обвито снегом Гвадаррамы,
но никогда я не забуду,
как в горле неба выли бомбовозы,
в его зубах татакал пулемет,
я помню клочья взрывов
и пальцы в сумраке руин,—
войну под ним и в нем войну,
сраженье в небе,
в горячем синем небе.

Хотел пересчитать я звездные отары:
покуда не сгорят,
но тут — о-та-ра-ра! — забили пулеметы,
и звезды новые взлетели к старым,
отары — ра-та-та,
о господи,—
отары.
И эти звезды кто же,
и эти пули кто же,
кто это все пересчитает?

СЛОВАЦКАЯ ВЕСНА

Он идет бороздой, зерна в землю бросая упрямо,
за веками века перепахивая чересполосье.
Он один доиграет последнее действие драмы
и раскланяется в конце, как раскланиваются колосья.

Умирали народы, рассыпались империи прахом,
низлагались цари, полководцы сдавались позорно.
Победитель один — бороздою шагающий пахарь,
горсть за горстью бросающий зерна.

ХМУРЫЙ ДЕНЬ

Льются, льются штыки дождя,
будто снова меня жандармы
под конвоем в кутузку ведут...
Ну и день!..
Безотрадный, бездарный!..

Будто, снова остриженный наголо, я
вытряхаю табак из кармана,
а из облака солнце лопушным листом
утешает меня обманно...

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ

Я этот город весь пересчитал
по пальцам старых башен,
покуда солнце,
кровью обагрившись,
к волнам вечерней Влтавы прикоснулось
и спрятались дома в тени дрожащей.

Потом я не спеша спускался в город,
счастливый, что постиг нехитрый смысл
открывшейся мне сцены,
блаженный от поэзии, что нам
приоткрывает имена вещей,
и тайны бытия,
и сущность мира.

К тому ж еще я был развеселен
испуганно дрожащими тенями;
как может потрясать нас иногда
пустейшее, по сути, представленье!

В конце концов тут дело в нас самих,
и призраки, они лишь часть того,
что в нас живет, все радости и страхи,
весь этот мир земной, который нас
то радует порой, а то пугает.

Меж тем дубки той рощи, где я шел,
уже свои короны золотые
снимали, а внизу, простоволосы,
бродили люди, с шапками в руках,
и в той корчме, где я присел за стол,
чтоб это записать, пивные кружки
враз поскидали белые свои
шапчонки.

— Добрый день!

Прекрасный день!

РАЗГОВОР С ПТИЦЕЙ, ОТСЧИТЫВАЮЩЕЙ ГОДЫ

Час летит за часом — счет часам потерян.
Но часы пробили вешних дней начало.
На часах без башни, по циферблату неба,
стрелки — птичьи крылья —
ходят как попало.

Мудрая кукушка, та, с часов старинных,
век в лесу отсчитывает — долог ли, недолог.
— Ну-ка, мне, ку-ку, ку-ку, сколько накукуешь?..

Только не напоминай мне теперь о смерти!

Разобраться я хочу в голосах за чащей,
Повторяя каждый стих, в зарослях звучащий.

Удивляться без конца лесу или полю,
словно узник, что с трудом вырвался на волю
и глядит, глядит вокруг, наглядеться хочет...

И кузнечика понять — для чего стрекочет.
Разгадать, о чем грустит роза полевая,
по утрам свое лицо в росах умывая,
и росинки холодок ощутить губами.
Или в карты поиграть с соснами, дубами
в час, когда нисходит тень, дав им карты в руки.

И кричать, без цели, так — просто чтобы звуки.
С силой ветку отводить, отогнув тугую,
прыгать с камня на другой, с рифмы — на другую.

Понимать чертополох, вставший на дороге,
и цветок, что вдруг поник в страхе и тревоге.
Крикнуть в ухо лопуху,— мол, держись, приятель!
я и сам боюсь того, кто мне непонятен.

Как фазан, что свои тайны поверяет лесу,
я в доверье окунусь, приподняв завесу,
чтоб из леса, из его братского сплетенья
миру весть подать о том, что растут растенья.

Лучше уж закройся, не кукуй о смерти,
главное не в этом, не такое время:

затвори-ка дверки тех часов старинных,
спрячься за зеленый занавес из листьев,
ах, ку-ку, кукушечка,
ах, ку-ку, кукушка.

ЗАПРЕЩЕННЫМ КАРАНДАШОМ

Как ни спешили б волны за волнами,
Ваг неподвижным кажется вдали.
Так и мгновенья наши: утекли —
и вечно остаются с нами.

Как на ладони видим вновь и снова
в зеркальной глубине текущих вод
обломки давнишних забот,
события потускневшего былого.

И вновь и снова с наших губ слетают
сухие паутинки слов,
которые во мраке снов
для нас годами память сберегает.

Жизнь из кусочков складывает время,
но ничего не происходит с ним...
Надежды, словно дым,
надежды, словно дым
от нашего невечного горенья!

И лишь мгновенья остаются с нами,
не улетают от земли,
они, как волны вольные вдали,
в недвижном Ваге, там вот, под холмами.

БУДЕШЬ...

Будешь
цепью бессонниц, бесплодной и длинной,
вереницей ослепших монахов.
Будешь колосом хлебным, затоптанным в глину,
но готовым подняться из праха.

Будешь
скрытым вывихом, переломом,

будешь раной некровоточащей.
Будешь вербой подрубленной перед домом,
с одинокою веткой торчащей.

Будешь
бывшим набатом в разрушенной башне —
иссеченным, разбитым, вчерашним.
Головою без тела, скатившейся с плахи
и валяющейся во прахе.

Будешь
женскою грудью с пустыми сосками,
где ни капли живительной влаги.
Будешь вздутыми детскими животами.
Головней, поражающей злаки.

Будешь
источником обмелевшим —
не напоишь ни конных, ни пеших.
Будешь ветром бродячим, свистящим в окошке
нежилой, одинокой сторожки.

И тогда ты воскреснешь. И чудо впервые
похоронная узрит охрана.
И расправит лес свои плечи кривые,
как от свиста свирели Пана.

И протянет лапы к помятому дому,
к человеческой пантомиме.
И задушит объятиями своими
этот суетный мир, этих гномов!

ВДРУГ

Реалистический буран:
безумный пляс сороконожки
и сумасбродная игра
снежинок диких в мышки-кошки,

в припадке злого озорства
метель сдирает юбки с елок
и колпаки, надев едва,
сдувает с клочьями иголок,

и разлохмаченный поток,
туманность божеского ока,
то развернется, как стрелок,
бесцельно метящий из лука

пучком друг другу встречных стрел,
а то — холстом в горошек белый,
и форма катится в предел
бесформенности оголтелой,

и вдруг, смотрите: воедино
все — от земли до облаков,
словно абстрактная картина
с татарским полчищем снегов.

МУДРОСТЬ

Есть такая мудрость:
встать на колени перед собором,
каяться в блуде, ересях и заблуждениях.

Лучше встать на колени, чем стоять на костре,
лучше спрятать правду в глубинах души,
словно в ларе,
лишь бы снова потом заявить,
что все-таки вертится...
Как, товарищ Галилей,
может быть, в этом — мудрость?

Но мудрей мудреца смелый, веселый
мальчик из сказки, кричавший тогда:
— Король голый, совершенно голый!—
Так громко кричал, что просто беда!

В СУМЕРКАХ

Часы, недели, месяцы и стены:
безбрежность океана,
земли все нет и нет;
мне тесно, господа, до одуренья тесно
от стен глухонемых, загородивших свет.

Окно над головой под вечер лиловеет,
да так, что слышен куст сирени мне,
где двое вольных, каждый, как умеет,
на верность присягают в тишине.

Я говорю: плевать на стены,
все в порядке,
и вечер тех двоих, он — мой до глубины;
скажите, может, мне приснились в лихорадке
четыре каменных стены?

Я под окном немею — любимые, живите,
мое окно — холстина, где написали вас.
О пан сержант, скорее начальству доложите,
что я себя отлично чувствую сейчас.

НА ПАМЯТЬ

«...Знаете, стихотворение о том, что жизнь только во сне райски красива...»

Пускай на тракте в пыль повалят
и рот в болоте захлебнется.
О господа, поэт едва ли
своей судьбе не улыбнется.

Не верит он в чертоги рая,
Где волк с ягненком возлежали б,
не верит в королевство мая,
где нет измен, упреков, жалоб,

не верит сладким завываньям
и сновиденьям в райском свете.
И всем своим существованьем
опровергает бредни эти.

Но любит ваши гонки-спешки.
И если в горестном спектакле
порой скривит уста в усмешке,—
так он в своем раю, не так ли?

АНАЛИЗ

Всего мы боялись.
Завыванья сирен, ночей затемненья,
того, что, может быть, мы исчезнем,
как город Дрезден, где столько непогребенных
в черных руинах и обагренных,
всего мы боялись.

Того, что, может быть, нас не будет,
и того, что мы были.

«Доброго утра» (два пальца приложены к шляпе),
вскакиванья на подножку трамвая,
дней рабочих и дней воскресных,
пайков («*...о господи, как разделить их*
между этими вечно голодными ртами...»),
из дому взятых пакетов с едою
(«*...дома о нас заботятся тоже...*»),
без них и господь сотворить не сумел бы
сегодняшний ужин;

вечеров, наполненных лунным светом,
когда тень перекрещивается предметом,
наполняя комнату беспокойством,
спокойный вечер,
слушай:
«*Говорит Лондон*».
«*Говорит Москва. Говорит Москва*»
об ужасном, о разном,
вслушивались напряженно,
слова не пропустить старались,
за нее боялись,
за себя в ней боялись,
за все боялись.

За все. И всего. Постоянно.

Звона оружия, сотрясавшего дали,
звона зловещего
(сталью по стали),
но также той тишины молчаливой
вшивой
(этой-то мы боялись еще поболе),

которая, говорят, является тем не мене
мудростью государственной наивысшей,

«...едва приложился к этой руке —
имеешь все то, чего нет у других,
и весел, и сыт, и нос в табаке...»

минут доброй воли,
позволявшей нам и поплакать вволю,
и кричать от боли;
радости ежедневной, что мы еще живы,
но и тех, умиравших в горестях ежедневных;
солнца, что видит нас
видящих Видиц,
и видело муки Лидиц,
взывающих к совести мира
(я назвал бы их Видиц,
в именительном — Видице);

воздушного воздуха, которым мы дышим,
и дыханья тех, кто пал бездыханным;

даже воды в нашем старом колодце,
с тайною мыслью,
чтобы не расплескалась,
здесь бы осталась,
другим не досталась;

и плача детского, детского плача,
того, последнего,
но и первого тоже.
И женщин усталых, не старых, но постаревших,
в этой усталости и прекрасных,
потому что были такие тоже,
а раньше только такие и были;

«...*Все от войны этой мерзкой,*
она нас увечит...»,

до седины морозит от омерзенья,
от страха, от страха из-за всего,
от страха за все,
хотя б за мужей наших бедных,
за всех наших бедных из всех наших Легот,

за нашего там, на Кавказе,— только бы его не убили,
только бы не убили,
или
сам кого не убил бы,
«...*Господи, сохрани его душу,*
грехом да не осквернится...»

И такое дыханье горячее
шло искать избавленья,
от грехов избавленья,
и такое дыханье горячее,
словно руки, сплетенные накрепко,
стало мыслью, нацеленной в главное,
стало сутью судьбы и пути,
стало помыслом,
замыслом,
смыслом.

Да, друзья, это так началось.

АНДРЕЙ ПЛАВКА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РОДНЫЕ КРАЯ

Насмешливые галки
клюют стерню разлук...
Шиповником впустую
созрели поцелуи
и лихорадка рук.

Чернеет мост, прочеркнутый
ручьями колеи.
Слети на рельс, пичуга,
и жажду утоли!

Горит шиповник сиро,
а луг раздался вширь...
На весь вагон огромный —
один лишь пассажир...

В ТАКУЮ НОЧЬ

На берег глаз, на берег губ
я полночь вытащил, как труп.
По черным перекатам слёз
улиткой от греха уполз.

И не придут тебе помочь.
К мольбам глуха такая ночь.

ПОБЕГ

Поди сюда, суслик, приятель,
заляжем на зиму в берлогу.
Я все, чем богат был, растратил,
сверчку подражая, ей-богу!

Берлога моя неплохая,
в ней сложены стены из боли.
В ней время стоит, отдыхая,
застывшее в белой неволе.

Раскаянье смерзлось в сосульку
и свисло с холодного свода,
а счастье ушло на танцульку —
снежинкой порхает у входа.

Пусть щурятся звезды, похожи
На зыбкое счастье земное.
Скажу: из-за этой вот дрожи
все битвы проиграны мною.

Пусть лязгает совесть пустая
зубами, подобно капкану.
На все обещания рая
ворчать лишь, ворочаясь, стану.

ТОСКА ПО КРАСОТЕ

Фрагмент

Вздыхает грузная земля над ней летанье
изжогой огненной сурепка мучит грунт
рожь перевита васильками нежно втайне
колосья скрыл чертополох бахвал и врун
шмель-дармоед у косаря танцует в челке
о свежих отрубях мечтают перепелки

С тобою бедствовать ужасный и прекрасный
с тобою ливни звать под своды рощ и гор
на благо почве морщить гладь лазури ясной
из погребения извлечь столетий хор

Три ветви Липтова судьбу мою прорежьте
к тебе мой Липтов тяжким днем прижмусь как прежде

Но красотой твоей пронзенный словно болью
отчизну сосен обниму туманом рук
и вдруг пойму какая грусть известна полю
какая грусть в отлете ласточек на юг
в отлете аиста с тоской антирожденья
в отлете нити в те беззвучные владенья

Лишь напоследок с гор свое услышав имя
я богу поручу тебя с детьми твоими

ГОДЫ

Сколько лет промчалось — пролетели годы,
вешние умолкли, отзвенели воды.

Сколько раз ты видел — птицы улетают,
и твои печали вслед за ними тают.

Сколько раз ты снова день встречал весенний
после бед недавних, бурь и потрясений.

Сколько раз ты медлил в страхе и в тревоге
на пути кремнистом, на крутой дороге.

Сколько раз бесстрашно свой топор тяжелый
заносил над елью в рощице веселой.

Сколько раз под ветром, как тростник, сгибался,
на колени падал, больно ушибался...

Ты прошел сквозь молодость, от края до края,
как сквозь лес дремучий, кожу обдирая.

Слишком долго тратил ты себя впустую,
слишком поздно понял истину простую —

быстро летят годы, пролетают годы,
вешние умолкли, отзвенели воды...

Ну а может, век твой, он недаром прожит
и тебя сомненье понапрасну гложет?

Лучше погляди-ка, отогнав усталость,
что другим оставил, что себе осталось.

Создал ли ты песню, стих придумал новый —
прочный и красивый, как тот стол дубовый,

за которым, чашу принимая в руки,
сиживать когда-то будут твои внуки?

Или, век терзаясь чепухою разной,
сам себя ты мучил мукою напрасной?

Будет чахлым колос меж травою пыльной
или будет жатва щедрой и обильной?

Торопись, приятель, быстро текут воды,
кукушка кукует, пролетают годы.

ВСТУПЛЕНИЕ В ПАРТИЮ

Ночь клокотала... Как гудящий улей,
весь город бодрствовал, переступив свой страх.
Слова тонули в орудийном гуле,
в октябрьских ветрах —

то бил в набат сердец сорок четвертый,
бил по бездействию — да так, чтоб наповал!
Он к жизни звал от бездны смертной, черной,
к оружию он звал.

Ночь клокотала... И упрямым флагом
плескался говор наш в накатах дымной тьмы.
Рассвет ступал уж где-то мерным шагом,
но не спешили мы:

мы вслушивались в бурном этом мире
в призывы совести, в уверенность свою,
что на весы веков положит гири
лишь тот, кто был в бою.

Решимость вспыхнула одним порывом, сразу, —
и захотелось нам, всем четверым,
в сраженье, в самый ад, как по приказу,
через кровавый дым!..

Мы, локоть к локтю, там, на ратном поле,
друг друга понимали в грозный час:
нам путь к товарищам указывала воля,
пылающая в нас.

Ночь клокотала... Были мрачны тени,
а мне все кажется — была та ночь светла:
нас в партию, что создал Ленин,
она и привела.

ПРОЩАЙТЕ, МОИ ЛЮБОВИ

Любови мои, прощайте,
корабль отплывает мой,
и всех вас в ковчег не в силах
я взять, как некогда Ной.

Единственная лишь пара
вступила на этот борт,
чтоб плыть маршрутом старинным
в тот тихий далекий порт,

в ту тихую даль, где больше
не зашумит прибой,
в тот вечный приют, где тихо
и грустно звучит гобой,

где долгие дни и ночи
и вечные времена
все ткут на бархатных лентах
все новые имена,

где вечную нашу жажду,
у крайней уже черты,
глоток утолит последний —
там будем лишь я и ты.

Так прощайте ж, мои любови,
вы, утихшие навсегда,
все тревоги мои, все бури —
меня ветер несет туда,

в тот залив тишины последней,
где не тает ночная тень
и дышит воспоминаньем
едва наступивший день.

РОДНАЯ РЕЧЬ

Я положил
всю жизнь, но из глубин немереных твоих
не много добыл, хоть прошел сквозь муки ада,
стараясь, чтобы каждый стих
был сказан так, как надо,

чтобы мои слова,
черпнув твоей безмерной глубины,
в жилище из стихов дарили людям счастье,
чтоб, высеченные из тишины,
они могли бы в сердце постучаться.

То сердце
в людях есть, и есть в вещах оно,
и слова дожидается такого,
что только правду рассказать должно,—
сладчайшего, как материнский шепот, слова.

Не будь тебя,
родная речь,—
родные братья
чужими бы остались до сих пор,
немыми бы — любовные объятья,
безгласным бы — любовный разговор.

ОТЛЕТ ЛАСТОЧЕК

Последний хор...
Еще одна кантата,
покамест крылья окоема
не сложатся в печаль покинутых ветвей...

Мое гнездо из глины и стеблей
под сумрачной застрехой небосвода
уже как будто чует, предвкушает
далекие и теплые края...

Моя полоска за деревней
ископана...
И ржавая ботва
уже кури́тся...

Благословляю урожай земли
и щебет птиц!..

А это что склонилось на жнивье?
Смиренье запоздалое мое...

ЯН КОСТРА

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Приговор — оглашен. Не позволили мне умереть,
Пасть
за землю вот эту.
Что же думал поэт в пограничной грязи?
Не узнаете вы от поэта.

Снимайте мундиры, отныне ненужные,
Каску — долой. И она не нужна.
По домам!
Разойдись!
Сдавай оружие!
Никто вас не ждет.
Разве — жена.

Колеса панихиду стучат.
Везут — по домам.
От границы прочь.
В неумолимое время мчат,
В черную ночь.

НАИВНЫЙ

От ломтя судьбы я б хотел посытней
Кусок тишины получить.
Так ты отломи мне!
Я думал о ней,
Когда еще начал любить,

Несчастный мальчишка, не поднявший глаз,
Уверенный, что красота
Один раз, а вовсе не тысячу раз,
Бывает у нас отнята.

Я думал, что гибель нельзя повторить,
Что прошлое заперто в клетку,
Что в школу не нужно нам больше ходить,

Что волей своею и ты, может быть,
Сумеешь от всех мне оставить и скрыть
Ту самую, в розах, беседку.

МЕТАФОРА

Лес пахнет новизной,
Как и любовь, весной.
Влюбленный ветер нежен,
И слышен треск валежин.

Как облетают листья,
Так и любовь уйдет —
Виденьем золотистым,
Подобно этим листьям.

Исчезнет, словно ворон
Над оголенным бором,
Потом бумагой, белой
Как снег, предстанет взору.

Как пахнут перемены,
Так пахнет и любовь —
Привычная, родная
Морщинка, прядка, кровь.

НА ПРОЩАНИЕ

Закат уже запачкал кровью рот...
Веранда — ни гугу... А лето обветшало...
Газеты о войне кричат полям...
Пожалуй,
кто жил поэзией,— от голода помрет...

Взвалила тишина свой замогильный гнет...
Пластинки спрятать в шкаф да распихать журналы!..
Другие песни время заиграло,
и валится перо, и пальцы — словно лед...

В ладони подыши и напиши сонет!
Хоть рифмой развлекись, коль скоро больше нечем!..
Колючкою опутан белый свет...

Беги, спасайся, муза красноречья,
и поскорей — назад!
А я в годину бед лицом к лицу, в штыки, ненастье
встречу.

МЕТАМОРФОЗЫ

Узна́ешь ли в пшеничном океане
Судьбу
заброшенного в грязь зерна?
Боль превращается в сиянье,
В печах времен
пережжена.

Жизнь с одиночеством прощается,
Кристаллизуется в мечту
И переходит в муку,
в ту,
Что вскоре в песню превращается.

ВЗДОХ

Минута счастья чем важна?
Строкой стиха. Глотком вина.
Чтоб ты унес в одной руке
Все клады мира в узелке.
Для счастья нужно слово. Пусть
Оно теплом излечит грусть.
Для счастья нужен знак привета,
Руки пожатье. Сигарета
Да на сочувствие намек,
Который вдруг поймать ты смог...
Легчайший пух прикосновенья
Несет нам рая дуновенье.

Но мало этого у бога,
Что ж, значит, мало — это много,
И, видно, очень мы бедны,
Когда все это — только сны.

БРАТИСЛАВСКАЯ ВЕСНА

История запомнит ту весну,
Ее приход
со взрывом почек в пущах.
Фиалок запах слился с дымом пушек,
И все,
в подвалах шедшие ко дну,
Всплывали,
из гробов своих вставали,
Услышав, как по-русски говорят,
И шли наверх,
И видели солдат,
Что зиму из предместий выбивали.

Цветы благоухали в честь весны,
Столетний лед река веков взрывала,
И соло соловья
перекрывало
Едва бормочущий оркестр войны.

ТЕЛЕФОН, ЗАЗВОНИ!

Телефон, зазвони! Мы вновь
Погружаемся в долгий сумрак.
Ничего! Не грустите, вещи,
Телефон, ваш друг, зазвонит.

Мне видится город в окне,
Закутанный в саван ливня.
Здесь сухо. И все мы вместе,
Но кого-то недостает.

Но вижу — бежит она
Сквозь дождь в телефонную будку
(Как пачка детских гостинцев,
Одетая в целлофан).

Она обнаженной рукой
В автомат бросает монету.
Он гудит басовой струной.
...Я очень тебя люблю!

Ах, целая вечность пройдет,
Пока наберешь мой номер.
И вместе со мной все вещи
Не в силах хранить тишину.

Когда на столике звякнет,
Вдруг отзовется квартира
И слушает, как, задыхаясь,
Я говорю: «Приходи!»

И с этой самой минуты
Сквозь долгий миг нетерпенья
Мы ждем, чтоб в дверях увидеть
Взлохмаченную, смешную
И вымокшую — тебя.

ЗАКАЗ

Позвонила мне девушка из журнала
и стихи о любви заказала:
— Только счастливые, это к маю —
грустных не надо! —
и трубку повесила...

И я написал их,
и вот читаю,
и вижу сам:
получилось невесело.

И все-таки,
все-таки я одобряю,
что напечатать хочет журнал
стихи о любви —
счастливые,
к маю,
и я бы с охотою их написал,
с огромной охотой,
но дело в том,
что пишут такие стихи
вдвоем.

ДОБРОЕ СЛОВО

Слово доброе сказать
не помешкай.
Слово в землю посади,
как орешек.

С пустозвонным, хитрым, злым,
полным яда,
только с ним, ты мне поверь,
медлить надо.

Как змею его держи
в спирту, в банке...
Слово доброе скажи
спозаранку.

Если будет в нем елей,
вкус медовый,—
лучше ты назад возьми
это слово.

Слово доброе — оно
точно семя.
Урожай его едим
равно все мы.

Посоли его, как хлеб,
густо солью
и от сердца оторви
с кровью, с болью.

А коль можешь и в беде
им помочь ты,
так послать его спеши
первой почтой.

Принесут его тогда
утром рано.
Слово лучше, чем бальзам,
лечит раны.

И нужнее, чем товар
ширпотреба.
Ведь без правды все равно
как без хлеба.

Было ночью ледяной
многим, братцы,
слова доброго того
не дождаться.

До последнего стояли
на страже.
Неужели никто слова
не скажет?

И пусть будет у него
крутой норов,
за пазухой не таи,
не прячь в норах.

Слово вовремя скажи,
не промешкай.
Слово в землю положи,
как орешек.

Если зрелое — найдет
себе почву.
Добрым словом — не скупись —
щедро потчуй.

Как пустыня, ты иссох
в жажде слова.
Так его не пожалей
для другого.

ПАВОЛ ГОРОВ

С ЧЕМ ВАС СРАВНИТЬ...

С чем вас сравнить, спаленные жилища?
Как вынести невыносимый взгляд
Тех, кто погиб на этих пепелищах,
Вдыхая чад измен и страха смрад?

Безумье Ниобей... разграбленные гнезда,
Распятые на балках баррикад...
Встает отвага из руин, но возле
Предательства таится злобный гад

И будущей победы гложет корни.
Где схоронить нам павших? В этой черной
Земле? Нет! Нет! Пока над головой

Разящий кровью мост вздымается до неба,
Во всей вселенной мест не сыщешь, где бы
Нашли покой и мертвый и живой.

НАПЕРЕКОР ВСЕМУ

Имя твое из жасмина и звезд
вырезать на коре берез
только робкий поэт
осмелится...
Вооружен до зубов
наш век,
но из грязи ему не поднять монетку
с изображением короля,

который еще никогда не правил...
Это король перехожих калик и детей,
царь отверженных,
вечный изгнанник,
и до сих пор не родившийся царь того царства,
которое «да приидет»,
как день после ночи.
Царь, об аресте которого
отдан приказ
президентами мира.
Все курки взведены,—
назови только имя царя
или, может, царевны...
О, конечно же,
это женщина!
И, конечно, она прекрасна,
словно детские сны.
Так прекрасна, что все поэты всю жизнь
об ее изумрудных глазах
мечтают.
Об омутах глаз, откуда
пьют они свой окаянный хмель
и безумство свое —
тот напиток,
который дает им силы
на-пе-ре-кор всему
непреклонно носить свой оплеванный плащ.

ПОСЛЕ СТОЛЬКИХ ЛЕТ

И, понимаешь, после стольких лет
мы у знакомых встретились случайно,—
как поступают в случае таком?
И был твоих очей так робок свет,
как будто в нас заговорила тайна,
что целый век спала на дне морском!

И я гляжу в твои глаза, растроган,
а в них блеснула тайная слеза...
Боль или нежность мы несем подругам?
Мне хочется спросить тебя о многом,
но мы молчим, а говорят глаза,
мы счастливы наедине друг с другом.

Я никогда не уверял: люблю.
Ты о любви мне тоже не шептала,
вот так я и не стал твоей судьбой!
Я поздних сожалений не терплю,
и все же мне подумалось устало,
что в жизни разминулись мы с тобой.

И никогда не обнимал тебя я,
хотя об этом я с тоской подчас
мечтал... Быть может, мы друг друга
спросим,
что делать? Белых паутинок стая
вплетется в кудри... Не щадило нас
земное время. На пороге осень.
Я славлю потаенную слезу,
что светится в твоем пугливом взоре:
так говорит безмолвная душа.
Нас вихрь сгибал, как тонкую лозу,
и сединой нас увенчало горе,
но жизнь невыразимо хороша.

Позволь же выпить за твое здоровье,
ну, и прощай, мой ангел золотой,
в чьем сердце к жизни пробудилась
тайна!
Любовь молчит. Не терпит суесловья.
Прощай... Что, если с прежней теплотой
еще хоть раз мы встретимся — случайно?!

БАБЬЕ ЛЕТО

Признался бы я в сокровенной любви,
но к этому дню все признанья мои
поседели,
как черные пряди твои.

Когда на рассвете бродили мы, двое,
слезинка блестела на хвое ресниц
или роса на лесном чистотеле?

Эта грусть красоты потрясала живое,
и дрогнул мой голос от вечной тревоги:
— Что же в итоге?

Время нас грабит, как вор на дороге!

Видишь, изрезан пустующий лес,
кровоточит за порезом порез.
Дикие гуси толпой улетают,
просят подмоги собрата,—
вроде бы в май возвратиться мечтают,
а сами предчувствуют в гуле небес,
что нет и не будет возврата.

А лес, где кровавые раны зардели,
бинтуют белейшим бинтом лазарета
озябшие пальцы бабьего лета.
И в беглой улыбке бескровного солнца
мерещится мне медсестра у постели,
где образ моей последней любви
бредит, раскинув руки.

А признанья, которые вдруг поседели,
несчастные, как стрекоза под дождем,
молчат и молчат
накануне разлуки.

ЗРЕЛИЩЕ С ВЕРШИНЫ

Осень, Альпы в подпалинах утром.
Снизу смотрит на нас онемело
птеродактиль стоглавый, химера
ватно-снежная; в марлю закутан
череп раненого Аполлинера.

Всюду головы гордых вершин,
бинтов белоснежных тюрбаны.
Поэзия — не яркохвостый павлин,
А мощь лесосплава и шлейфы лавин.
Или нежная марля для раны.

ПОДСНЕЖНИКИ

Когда на заре или в полдень
цветочница молодая,
озябшая,
очень похожая на морского «впередсмотрящего»,

который торчал из корзины на мачте,—
когда такая цветочница
веселым, слегка простуженным голосом
кричит:
ПОДСНЕЖНИКИ, КУПИТЕ ПОДСНЕЖНИКИ,
ДАМЫ И ГОСПОДА! —
я, беспомощный, словно муха в сметане,
на постели, заснеженной грустью сиротства,
но по-прежнему полный сладчайшего жара,
я мечтаю опять пережить
беспечность веселой весны —
до самых корней древесных,
до самых луковок травных.

И вот — земля, желанная земля,
холмистый спуск, дурмана острый вкус.
Весна, и мне подарена она
для средоточья всех минувших вёсен,
и всех цветов, и головокружений,
и терпкого источника любви,
утраченного навсегда,
но все же
сверкающего чистотой хрустальной,—
не нужно ничего, лишь погрузить
от старости трясущиеся руки
в источник, словно в рыхлый
грунт весенний.

И вот — земля, желанная земля,
и первым солнцем обогретый мох,
и ласковость последнего объятья,
и бархат-папоротник.

Лети, корабль, по взвихренной пучине,
вперед, мой милый,
покуда нас не бросила навеки
любовь сладчайшая, которой нет в помине.

Я больше ждать ее не в силах ныне.

ЧТО ЕСТЬ ПОЭТ

Так что такое есть поэт?
Скорбит он где-то рядом с нами?
Дрожит и плачет? Вовсе нет
Он только сердце ранит снами

когда трагическая явь
мешая грозно дни и ночи
гордиев узел завязав
над головой его грохочет

и беззащитный и больной
готовый рухнуть на колени
он спотыкается порой
о рифм незримые каменья
и шелестит в напрасном рвенье
пустых метафор мишурой.

ШТЕФАН ЖАРЫ

* * *

Вы, люди будущего века,
чьи образы, как гребни гор высоких,
я мысленно ищу на ощупь,
не будьте горды и надменны!

Не будьте горды
мудростью своею,
надменны красотой своей не будьте,
покуда хоть один из миллиарда
не сможет имя написать свое
и будет хоть один из миллиарда
в грязи влачиться.

Вы из команды той ракеты первой,
что лобызнет пустынный кратер Марса,
с приветствием неситесь голубиным,
с оливковою веткой,
а не смертным
лучом губительным,
что мечет гелий.

Сын будущего
с новым представленьем
о красоте — с яснейшей головою,

за счет пищеварения и секса
сверхмерно развитой,—
владычить будет миром.

Но горе,
если будет он без сердца,
кусочка мышц вот этого, который
горит, как пламень,
этот пламень страсти,
которым человек к земле припаян.

МЫСЛИТЕЛЬ

Дрожал от нетерпенья
охвачен
жаждой знанья.
Не знал,
что ошибется
и примет заушенье.
Когда ошибся —
слюною пряной
подслащивал страданья,
врачуя раны.
И за успех нежданный
хвалы не принял плату,
а телескоп уставил,
как Галилей когда-то,
он в звездный мрак,
чтоб в нем,
да и в себе самом
все «почему» и «либо»
сменить на слово «ибо».
Он выразил миров движенье,
недвижных звезд соотношенье,
и старцы на него поднялись
у огненного рубежа.
Но все-таки он рвался ввысь;
хотя пылал,
он не кричал.
Молчал
и путь свой продолжал.
На его правде,

а не на тебе, рыба-кит,
стоит наш глобус.
Нет,
Не стоит —
летит!

МИКРОМИР

В росинках трáвы утренних вершин.
Какой творец
работу завершил?

Восходит солнце.
В капельке одной —
светило целое,
весь мир земной.

На травы,
окропленные росой,
наступит человек
ногой босой.
Не ведая об этом
до поры,
он разрушает
целые миры.

Шагает,
радуясь рожденью дня...

Но чья над ним
занесена ступня?

МИЛАН ЛАЙЧАК

ПО КРОВАВОМУ РУЧЬЮ

То, что было,— это все станется,
Никогда быльем не порастет.
Словно шрам,
который с нами старится,
Рядом с нами прошлое идет.

Ни на час из сердца я не выброшу
И не позабуду никогда
Скалы,
рядом с нашим детством
выросшие,
Крутизну и блеск немого льда.

Под ногами гнется слабый лед.
Все же —
вверх я лезу по оврагу,
Чтоб орлиный разглядеть полет,
Избавляющий
меня от страха.

Словно шрам, который с нами старится
И не зарастает никогда,—
Прошлое.
Оно не возвращается
И не исчезает без следа.

*

На ходу по бедрам бьют гранаты.
Пистолет свисает на ремне.
Ну и что же?
Надо — значит, надо!
Жизнь становится понятной мне.

К нам пришла до срока седина,
Наши лица иссекло морщинами —
Вот как нас пометила война:
Становились мальчики — мужчинами.

Снег. Могилы братьев в том снегу.
Годы черные
и тюрьмы страшные.
Никогда я не смогу
Нежность возвратить мою утраченную.

Не вернет ее
ни врач в халате белом,
Ни зеленый май.
Слабый женский крик
перед расстрелом
Свято в сердце сохраняй!

*

Чьи-то сестры,
чьи-то дочери
Плакали в палатах по ночам.
Мы дежурили у них по очереди.
Помогали санитарам и врачам.

Слышал я,
как девушка со сна
Крикнула своей больной подруге:
«Мамочка моя! Ты сожжена!
Пепел твой упал мне прямо в руки!»

Так всю ночь их мучал черный дым,
Газовые камеры их ждали.

Лишь под утро забывался Освенцим:
Девушки внезапно засыпали.

Седина из-под платка видна.
Пальцы обожженные
в перчатках черных —
Так мне в память врезалась одна
Из врагом замученных
девчонок.

*

Нам не обещал конец войны
Ни местечек денежных и теплых,
Ни роскошных яств,
ни рюмок полных,—
Нам такие лавры не нужны.
Деревянная моя земля!
Мы тебя сожженной
увидали:
Сорняком поросшие поля,
Фабрики
в разрухе и развале.

На стену повесив автомат,
Взял словак лопату в руки.
И до нас донесся голос друга.
«Хорошо!» —
сказал нам
русский брат.

И помог нам выиграть войну.
Вместе с ним
за мир
и мы в ответе.
Больше всех земель на свете
Я люблю Советскую страну.

*

Будто и не десять лет промчалось!
Будто бы — вчера,
позавчера...

Вспомнишь печку,
сладкую усталость,
Нескончаемые вечера.
Старый покосившийся барак.
Смена увлеченно отдыхает.
На веревках — паруса рубах.
Жестяная печка полыхает.

С каждым восстановленным мостом,
С каждой новой школьной партой,
Сызнова мы убеждались в том,
Как права, как справедлива партия.

Старый покосившийся барак.
У печурки — ветераны.
На веревке — паруса рубах.
Там мы залечили наши раны.

У ШИВЦА

Я знал харчевню у Шивца,
Немало попил там пивца.

На крыше дранка там гниет,
И ветер песенки поет.

Порог, истоптанный людьми.
Висит записка над дверьми:

«Борг помер. Борга провожали
Те, что на свадьбах здесь гуляли».

Распятье помню в кабачке
И черных мух на потолке.

А в половодье или в дождь
Сюда не скоро добредешь.

Перед крыльцом гогочет гусь.
Вот вам дворец! Входи, не трусь!

Мы тут студентами бывали,
Вино с подругами пивали.

И помню, как в конце недели
До самой зорьки здесь сидели.

Бушует память, как река,
И для нее тесна строка.

Я снова здесь, я у крыльца
Харчевни старой близ Шивца.

Не узнаю знакомых мест.
Нет мух, не виден черный крест —

Лишь светлый контур на стене
Напомнил мне о старине.

В большом котле кипит гуляш,
В харчевне шум и ералаш —

Проходчики со всей округи
Сюда сошлися на досуге.

Те, кто пробили твердь скалы,
Сюда собрались за столы.

Расселись рядом — с другом друг —
И хвалят мощь рабочих рук,

Перед которыми гранит —
И тот не долго устоит.

Я знал уже, что на неделе
В крутой скале сошлись тоннели.

Вошли девчата в кабачок,
И Пишта достает смычок,

И подозрительных мамаш
Приводит в раж бурильщик наш.

А кто-то, лишнего хватив,
Старинный затянул мотив

Про девку сквернную одну
Да про неверную жену...

Уж огонек едва мигал,
От пляски сотрясался зал,

Уж кто-то в уголке дремал,
А Пишта, все играл, играл...

Вот так сидеть бы без конца
В харчевне старой у Шивца.

ВОЙТЕХ МИГАЛИК

ПАРЕНЬ И ВИШНЯ

— Скажи, отчего ты растешь так высоко?
— Я прямо из гордого сердца расту.
— Плоды твои вянут от горького сока.
— Я крону свою вознесла в высоту.

— Ты в поле широком стоишь, не скучая.
— Тут милые шепчутся каждую ночь.
— О чем ты шумишь?
— Да уж, видно, стара я,
и тяжко молчать,
и плакать невмочь...

— Поведай!
— Сгубили враги атамана.
Давно.
С той поры
пролетели года.

— Но кто ты?
— Я вишня, заклятая панна.
Измены
себе на прощу
никогда.

СОНЕТ
НА МИННЕЗИНГЕРСКИЙ ЛАД

Что не споем, расскажем —
мудреное ли дело,—
ведь песне нет предела...
Что разорвем, то свяжем.

Пусть странно, все ж поверьте:
люблю и ненавижу,
и смерть в любви я вижу,
но не боюсь я смерти.

Пурпурные одежды
слезами заливаю
и не смыкаю вежды.

Но нынче, как и прежде,
надеюсь без надежды.
Зачем — не понимаю.

ПРАГА

Едва на камень влтавских берегов
весна походкой легкою вступает —
на древних твоих стенах пыль веков,
как на челе раздумья, проступает.

Дыханье этих вечных площадей —
как песня материнская над нами,
и все века истории твоей
на башнях бьют орлиными крылами.

И те страницы в памяти свежи,
но в жилах кровь пульсирует живая.
И ты в одно два времени свяжи,
невидимую нить не обрывая.

Лицо дождями вешними омой —
да будет вешний цвет твоей судьбою.
О вешний мой, о вечный город мой,
все, чем живу, озарено тобою.

РЖАВЫЙ ПЛАМЕНЬ

Осенним днем однажды, когда листья
сквозь золотые сумерки шуршали,
ты во дворе под деревом сидел
и с юностью своею пил вино:
— Твое здоровье!—
Ты много раз ей предлагал вина,
заглядывал в глаза ее, в глаза
волшебные, как некий синий сон.
В тот день
внезапно к вам на стол упал
удар старинных башенных часов,
как ставший бронзой одинокий лист.
Случилось что-то!
Время так звучит
настойчиво!
И ты, скрывая страх,
с улыбкою встаешь из-за стола
и юности своей так говоришь:
— Сиди и жди меня — я кое-чем
сейчас заняться должен. Будь здорова!—
Ты, выйдя из ворот, еще не знаешь,
что ты ее обманешь.
Под ногами
поскрипывает тихо честолюбье,
а страх твой за воротами остался.
Ты входишь в возраст грусти беспричинной,
и станет грызть тебя, как ржавый пламень,
к уединенью склонная любовь.
И сердце,
песнь которого вначале
другим предназначалась, а отныне
тебе осталась —
будет тосковать.
Взволнованный, в горячке любопытства
неоднократно удивишься цифрам,
обозначающим движенье ртути,
и от таблеток будет ощущенье,
как будто долго-долго снег идет.
Чем меньше будешь значить, тем сильнее
ты ощутишь свою неповторимость —
удел обыкновенный
тех, кто любит

лишь только для того,
чтоб быть любимым.
И будет грызть тебя, как ржавый пламень,
к уединенью склонная любовь.
Хоть ничего ты и не совершил,
но ты уже назад не возвратишься.
А во дворе все так же
твоя юность
сидит и ждет,
и волосы упали
ей на глаза.
Она сжимает чарку
уже окоченевшими руками
и песни хриплым голосом орет.

ТРИНАДЦАТАЯ ДВЕРЬ

От дюжины дверей ключи сумел достать я,
двенадцать ведьм и фей я заключал в объятья —
весь мой прекрасный, страшный свет.
Слова сверкали, как рубины,
кропили их и грязь, и вина,
в них столько радостей и столько бед.

В дверь первую я постучал несмело,
не зная сам, мое ли это дело
и не занесся ли, себя хваля?
В ту пору предавался я мечтаньям,
что, если все мы ангелами станем,
цветущим раем будет вся земля.

У двери следующей я остановился,
печальный стон оттуда доносился,
час пробил, наступила зрелость.
Я все укрыл от материнских слез,
лишь утаить не смог войну, туберкулез
в плебейской блузе белой.

А в третью дверь ворвался без привета,
поющим сердцем требуя ответа,
отчизны славу я открыл в великий час;
весны фанфары после зимних пеней

и родины любимой возрожденье,
что воскресило нас.

К четвертой ринулся я пылко двери —
и на пороге встал, глазам не веря,—
ведь нет боев; но, целясь вновь,
стоят орудия, готовы к встрече,
лишь призовет нас человечья
вооруженная любовь.

А на пороге пятом мне открылось
стремление стоять за справедливость,
не отступать от убеждений,
превозмогать печали, боли,
в борьбе не ослабляя воли,
и умереть не на коленях.

Зажег огни в шестой я зале,
и стаи голубей взлетали,
присевшие на круге Архимеда.
Эпоха нас еще не раз поранит,
хоть с нами груз бесценных знаний
и революции победа.

Печали, муки, посланные богом,
меня встречали за седьмым порогом.
И даже Иов взбунтовался.
Он жизнь мне дал, дабы я остерегся
лжи, послушанья, от смирения отрекся,—
от божьих таинств только дым остался.

К восьмым дверям толпою грустной
со мной шли женщины с походкой грузной,
уставшие от каждодневных дел,
собравшие лишь горькие плоды
неблагодарности за тяжкие труды.
О, как печален их удел!

В девятой зале, средь дымов и злата,
звучала музыка судьбы — Аппассионата —
и грудь мою пронзила страсть.
Вот мой совет тому, кто в ней увязнет,
спасения искать в сарказме —
или навек пропасть.

А из аркадской залы из десятой
вслед за Орфеем в мир теней проклятый
я убежал — и наконец постиг,
что песня никогда не продается
и истина прекрасна. Пусть смеется,
кто хочет. Примитивный смех.

К одиннадцатой зале незаметно
я подошел, там встречи ждал заветной,
и в этой настороженной тиши,
ища слова со всех окраин света,
составил для тебя я сто сонетов
об одиночестве души.

Я на двенадцатом узнал пороге,
что не миную никогда тревоги
и снова сердце призовет к борьбе.
Осенний вихрь умчался ночью,
рой унеся пустых пророчеств,—
я верность сохранил тебе.

И вот стою я у дверей последних,
растратил состояние наследник.
Что в зале я тринадцатой найду?
Открыть ли дверь одним движеньем сразу?
И что за ней? Пустые фразы,
сулящие небытие, беду?

Стих, дверь открой. Печальные мотивы
едва звучат, несмелы и тоскливы,
о старости, о ряде долгих зим,
о том, чего мы не желаем
писать, из мыслей прогоняем,
о чем охотнее молчим.

МИРОСЛАВ ВАЛЕК

ЯБЛОКО

Яблоко со шкафа упало на пол.
Собирай свои вещи и можешь идти!

Спиною уперлась в двери
и выкрикнула глазами:
— Прошу, ради бога, нет!—
Но я уже знал, что с меня довольно —
встал,
поднял яблоко,
зеленое, запыленное,
и положил на стол.
Она продолжала просить, к столу подошла,
плакала.
Она на меня смотрела, яблоко вытирала,
плакала.
Тогда я сказал ей: — Оставь это яблоко и уходи!

События разворачивались, как и предполагал я,
только в ином порядке — но так ли уж это важно!
Она отворила двери,
я побледнел и сказал: — Останься!
Но она собрала свои вещи и ушла.

Яблоко со шкафа упало на пол.

ПО БУКОВКЕ

Я бы плакал, да только не знаю о чем,
я бы думал, да только не знаю о ком.
Я по буковке песнь собираю,
этой песней себя опьяняю.

Все по буковке... буковке...
Дальше...
Стольких букв даже в азбуке нет,
сколько лжи, и предательств, и фальши
подарил мне с тобою рассвет...

Между нами все ясно и просто:
и любовь, и разлука, и версты,
словно камня летящего след.

ГРУСТНЫЙ УТРЕННИЙ ТРАМВАЙ

Грустный утренний трамвай
в городе туманном,
и везут меня уже,
как в гробу стеклянном.

Звон печальный перед нами,
и за нами звон печальный,
в дне печальном звон печальный,
звон печальных похорон.

Так иду к тебе и плачу,
к вам спеша сто раз на дню,
плачу, слез своих не прячу —
я о смерти своей плачу,
все теряю что-то, трачу,
все я что-то хороню.

Город весь печалью полон,
парк и дом, где ты живешь.
И к тебе, печалью пойман,
я иду, когда зовешь
и когда ты не зовешь.

СЛУХ

Услышав шум далеких галактик,
потрясающе тонкий свист падающих звезд,
он ужасается,
вскакивает с постели
и убеждается
снова и снова,
что у него непормальный слух.

Он стоит посреди комнаты с зажатыми ушами,
в которых все громче гудит
гулкий прибой тьмы.
Он засыпает только тогда,
когда на липах под окнами уже просыпаются птицы.

Когда я снова его увидел,
он шел по улице
с видом человека, погруженного в думы;
шагнул —
и в это самое мгновенье
его ноги запнулись одна за другую,
он услышал шипенье искр,
смятенный топот настойчивых слов,
оглянулся,
понял, что волосы его загорелись.
Голова закружилась горячо и сладко.
И — все.

*

Все это выдумки, заявил шофер.
Заметив этого рыжего,
я сигналил, как сумасшедший,
но он и не вздумал обернуться.
Вот и все.

Кто бы подумал,
красивый парень
и глухой, словно полено.

ПРИКОСНОВЕНИЯ

С утра вам несут телеграммы,
и письма заполнили дом,
и все телефоны трезвонят...

О нет, ничего не случилось,
лишь я непрерывно звоню,
чтоб все возвратить и поправить.
Мне сразу поверили всюду —
на почте и на телеграфе,
что шлю миллионы приветов,
молю, заклинаю тебя:
не надо сердиться, не надо,
вот это действительно важно,
меня это сводит с ума.
Тебя я люблю безгранично.
Оставь все по-прежнему, друг,—
пусть в ванной вода полыхает,
пусть кухня наполнится газом,
пусть зеркало кружится в спальне...
Скорее ко мне приезжай
на тихую нашу равнину!
У поезда будет тебя дожидаться
семерка коней вороных,
и каждый со звездочкой белой во лбу.
Весною жасмин зацветет
и с персиков будет пыльца осыпаться
нежней твоей пудры.

Спеши, на углу уже вечер сигналит,
как старый подержанный автомобиль.
В тот самый час городское солнце
потертой, заигранною пластинкой
скрывается за горизонтом, а наше
пылает начищенною сковородкой,
и чуть лишь коснется до края равнины,
как сразу все звуки становятся звонче.
Услышишь, как бык допевает в хлеву
рыдающим басом свое интермеццо.
Равнина стихает, готовясь уснуть.
Вот время сниманья сапог,
и топот в округе, как на параде.
Здесь в доме любом — здоровые парни.

И звуку есть где разбежаться,
попробуй лишь выключить радио —
и услышишь чужие сны.

А снится вот что:
стекло,
металл,
и камни,
и ласка в касаниях рук,
и стук в окно,
и сиянье улыбки
мгновенной, которую ждал всегда,
и снится такое, что высказать трудно,
какая-то сказка и просто снегурка...
Мне снится, что ты к моему плечу
склоняешься милой своей головкой,
и взгляд мой тонет в твоих зрачках,
и что-то нам снится,
снится...
Темно, как у фокусника в цилиндре,
но выверни этот цилиндр наизнанку,
и ночь становится днем...

Я понял, что сон осязаем.
Нервные пальцы антенн трогают темноту.
Новые домики рысью несутся к деревне.
Утро настанет нагретое, как танцевальный зал
после лихой вечеринки.

В небе кружится ворона, как вентилятор,
в поле колосья литые пригнулись к земле
от потрясенья, услышав по радио весть:
«Все на жатву!»

Вмиг опустела деревня, как выдутая скорлупка.
Только старуха одна сидит, напевает:
«Уж я сеяла мучицу
сквозь дырявую тряпицу...»
Бабушка наша — слепая.
Когда-то дояркой была в имении Герца.
Молилась, чтоб жить ей подольше, полегче бы
умереть.
А жизнь огрела ее кнутом, ей все еще больно.
Старуха даже не знает, что это была за жизнь.
Не помнит, как внуков зовут,

пугается громкого слова.
Ей вечер приносит бензинный чужой перегар.
И только земля, если тронуть рукою, все та же,
все так же добра и понятна она, как тогда.
Ни платьица из крепдешина, ни косы, ни шестнадцати
лет,
но поле осталось, лишь дышит все жарче и громче,
и осень, как прежде,— пора лиловых дождей,
и сливы тяжелыми каплями падают наземь.

Земля отплодоносила, ей нечего больше сказать.
Она засыпает, натягивая ватник.

А в утро святого Мартина
выпадет первый снег.

ОДА ВЕЧНОСТИ

Какой-то день, день лета, когда пчелы
настраивают в ульях пианино,
когда вода не принимает никого
и стать ничем
мечтает дождь
не без причины.

Есть что-то большее, чем музыка, в вещах,
когда уж окрыленные мужчины
из заводской вдруг вылетают черноты.
Вступи в нее —
бессмертным станешь ты!

Известно это: черви —
они-то все испортили!
Все в глине копошатся,
часы заводят в дереве.
И кланяется дерево,
и тихо в осень пятится.
Покинуто. Одно.

Оно отдаст вам вечность за сочувствие,
за ласковое слово,
за чье-нибудь лицо,
что сумрак не укрыл.

Гром. Аплодисменты
голубиных крыл.
Падение расстрелянной звезды.
Падение звезды.
Паденье
без начала и конца.

И слышен дроби полет вкруг божьей главы,
и снежно в душе бузины, как в душе скупца.

МИЛАН РУФУС

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО

Зарниц неслышная пальба —
немое полыханье.
Безмолвием больны хлеба
порою созреванья.

Земля берет зерно на пробу —
ни колоска на дне сумы! —
и ждет — когда созреем мы.

Но ты, поэзия, будь строгой.
Суди незрелое литье.
Да придет царствие твое.

СТИХ

Дробясь, как луч на лезвии кинжала,
двоится жизнь — то вверх летит, то вниз,
дарует радость и вонзает жало,
цветами осыпает обелиск.

Таков и стих. То аромат шалфея,
то слезы, то свечение огня.
А истина? Ты сказочная фея,
что вечно ускользает от меня.

ТИШИНА НАКАНУНЕ СТИХА

Сейчас в нем кто-то, как в окне, стоит,
распахивает створки, тихий, строгий,
берет у неба высь и глубину — у недр...
В нем кто-то встал, предвосхищая строки.
Так не переступайте же порог
с любовью, гневом, праздными словами!
Он не один... Он снова будет с вами,

когда поймет, что снова одинок.

СЛОВА

Ф. Галасу

Слова — церковные ступени.
Не более, не менее.

Моя азартная игра, пожизненная лотерея!
Коварна глубь родной словацкой речи,
расступится, — сомкнется, и опять...

Слова — церковные ступени,
не более, не менее.

Над ними в вышине — безмолвье,
на паперти которого сидит
старуха-истина... Когда-нибудь, возможно,
монетою слезы, оброненною в кружку,
я вызвоню все то, что не сказал.

Ах, слово, узелок под головой!
Я видел, как склоняются поэты
над страшной бездной немоты,
тщедушный мостик слов к величью перекинув
и заглушив рыданья опасений...

ЧЕЛОВЕК

Из тонких прутьев твой дырявый ковш.
И вытекает все, что зачерпнешь.

Рыбак безумный, сам похож на воду.
Едва придя, готовишься к отходу.

Тебе неведом дел твоих итог.
От исповедей потемнел поток.

Проклятия твои как плуга искры.
Их уносила жизнь теченьем быстрым.

И памятники из камней и книг
поведают: он жил. Смешон? Велик.

ПОПРОБОВАТЬ ВЕРНУТЬСЯ К ПРАНАЧАЛУ...

Все отмести, что было до тебя...
Ведь даже проповедь сползает в пустозвонство.
И пиджаком с умершего
стирают пыль с ботинок...

Кого берешь ты, Время, под защиту,
насмешкой уязвив свидетелей — слова?
Неужто истина молочными зубами выпадает
и — ничего взамен?

Все отмести, что было до тебя...
Попробовать вернуться к праначалу,
заговорить, как тот, кто первым сеял,
сдувая с борозды пушинку
и веруя, что главное — грядет.
Попробуй! Прослывешь в два счета чудаком!

Но в наше время только чудаки
вполне нормальны.

О СТИХАХ

Положить их на стол, как хлеб,
поставить, как воду,
или, как соль, захватить щепотью.

При этом не надо вставать на пятки, тем более —
на носки.
Иметь терпение выждать, вытянуть из глубин бадейку,
но не устраивать у источника торжища или капища,

Когда форель косяком пойдет в Иордане,
не покупайте удочку, памятуя,
что река слагается не из рыб,
равно как и поэзия —
это нечто большее, чем слова.

Не камень, не изваяние.
Жена библейского Лота —
вот что такое поэзия.

АЛЕКСА ШАНТИЧ

ОСТАНЬТЕСЬ С НАМИ!..

Останьтесь с нами!.. Солнце за морями
Не будет греть вас, как в отчизне милой,
Там хлеб посолен горькими слезами,
Там братьев нет и все кругом постыло.

Найдется ль мать родней своей и лучше?
А ваша мать — земля святая эта,
Взгляните на поля ее и кручи —
Везде могилы прадедов и дедов.

Они для нас богатырями были,
Вот эту землю защищая смело;
Живите здесь, где деды кровь пролили,
И вы своей возвысите их дело.

Как ветвь, с которой осенью дождливой
Сорвет все листья, так земля родная
Без вас пребудет чахлой, сиротливой.
Так мать по детям плачет, изнывая.

Не дайте ей окаменеть от горя,
Слезами очи выжечь, как отравой,
Останьтесь здесь, чтоб на родном просторе,
На отчих нивах умереть со славой.

Здесь любят вас, здесь все свои, родные,
А там и знать-то вас никто не будет.
Нет, лучше камни родины нагие,
Чем сад цветущий, где чужие люди.

Здесь каждый вас, как брата брат, приветит,
А там для вас цветет полынь седая,
Сроднили нас навеки скалы эти,
Язык едипый, имя, кровь святая.

Останьтесь с нами!.. Солнце за морями
Не будет греть вас, как в отчизне милой,
Там хлеб посолен горькими слезами,
Там братьев нет и все кругом постыло.

ВЕСНА

Не спи сегодня ночью, дорогая,
Прильнув к подушке теплою щекою!
Едва заблещет месяц над рекою,
Росой земля покроется нагая,—

Невидимо в ночи весна родится,
Польется запах голубой сирени,
Посыплется деревьев оперенье
В ручей бурливый, что в саду струится.

И юный Лель взовьется над Мостаром,
Сердца людей зажжет любви пожаром,
Ворвавшись в окна бурею цветочной.

Поэтому не спи порой полночной,
Приди,— благоухай мне первой розой,
Пока восход забрезжит нежно-розов.

МОЯ ОТЧИЗНА

Я плачу о тебе, убогая земля,
Не только кровью собственного сердца.
Всей болью моего народа-страстотерпца
Я о тебе скорблю, судьбу его деля.

Его обид и мук на мне лежит проклятье,
Я кровью заплатил за каждый сердца стук.
По капле кровь моя стекает с вражьих рук.
На землю скорбную она легла печатью.

В моих слезах — чужой слезы святая соль.
И сотни душ с моей сливают боль.
И в жалобах моих звучат их укоризны.

Везде, где сербская отыщется душа,
Я нахожу приют, взволнованно дыша
Священным воздухом своей отчизны.

МОИ КОЛОСЬЯ

Мои колосья на пустынном взгорье,
Мой черный хлеб, политый нашей кровью.
Кто сбережет тебя своей любовью
От птиц голодных? Горе мое, горе!

Дни жатвы близки. Созревают зерна.
Как над родным селеньем солнце жгуче!
Но наплывают на душу мне тучи,
Жжет молния ее, как пламень горна.

Серпом блестящим колос будет ранен,
Сноп за снопом, как золото, заблещут,
Но снова сердце мукой затрепещет:
Опять страдай, терпи опять, крестьянин!

Твой рабский труд и все твои страданья
На пиршествах поглотят богатеи,
Тебе лишь крохи со стола злодеи
Швырнут, как псу. О, стыд! О, поруганье!

Что пользы плакать? Ваша боль, поверьте,
Не тронет потонувших в изобилье.
Крестьянин, ты лишь прах, лишь горстка пыли,
Тяни ярмо, тяни до самой смерти!

Мои колосья на пустынном взгорье,
Мой черный хлеб, политый нашей кровью,
Кто сбережет тебя своей любовью
От птиц голодных? Горе мое, горе!

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЧ

К МОЛОДОСТИ

О молодость, молодость!
Говорят, ты исчезнешь, как тают миражи,
но мне ли проститься с тобою!
Возле сердца поставлю на страже
радость мою и страдание.
Тайный сад закляну ворожбою,
обсажу его хмелем и соснами,
опоясу рекой голубою,
окружу луговинами росными,
а по самому дальнему кругу
околдую морозами грозными
и завью над сугробами вьюгу.

О молодость, ты ли покинешь подругу!
Кто станет безудержней плакать от счастья,
кто будет от счастья, как я, молчалив!
О молодость, молодость!
В чьем сердце твои бескорыстные страсти
горят словно солнце, как в сердце моем?
Кто верен, как я, упоительной власти
грехов беспорочных, не каясь ни в чем?
О молодость, молодость!
Говорят, ты навеки уносишь с собою
и радость свою, и страдание.
Но мне ли расстаться с моею судьбою!

Возле сердца поставлю на страже
единственную любовь.
О молодость, молодость!
Для тебя насаждаю весну, для тебя же
будет сад мой дышать и цветами и травами.
Задержу я и солнце, и звезды, и зори,
что румянцем горят в ожидании дня...
Ты сама не захочешь путями лукавыми
разминуться со мною, уйти от меня.

ЗИМНИМ ДНЕМ

Снег тихо до самого вечера падал,
как яблони цвет.
О, я улетела б с такою отрадой
сквозь дали пространства и лет;
куда-то меж снежными лепестками,
как легкий летит мотылек,
кого-то утешить такими словами,
какие другим невдомек.

И в сумерках снег так же медленно падал,
усталый, пустой.
Мне встретить кого-то
такая отрада...
Ни тени в долине пустой!
И ночью весь мир, словно в белых тенетах,
снежинки ложатся у ног.
Как больно следить беспрерывный полет их,
когда человек одинок.

СЧАСТЬЕ

Я время по часам не отмечаю,
по ходу солнца не считаю срока,
заря встает — когда его встречаю,
и снова ночь, когда он вновь далеко.

И смех не мера счастья. Не хочу я
знать, чье сильней и тягостней томленье.
Есть счастье в грусти: вместе с ним молчу я,
и слышно двух сердец одно биенье.

И мне не жаль ветвей моих весенних,
что будут смыты жизни водопадом.
Пусть молодость уходит легкой тенью:
он, зачарованный, со мною рядом!

КОЛЫБЕЛЬНАЯ КРЕСТЬЯНКИ

Спи, сынок, до зорьки недалеко.
Надо мне управиться до срока.
Век бы я над зыбкою сидела,
да ведь веток наломать мне надо,
скоро солнышко взойдет высоко,
до рассвета не приделать дела...
Спи, сыночек, спи, моя отрада.

Спи, сыночек, спи, моя отрада.
В роще веток наломать мне надо,
развести огонь, месить лепешки,
перемыть корчаги, миски, плошки...
Зорька разгорается в окошке,
всходит солнце за оградой сада.

Спи, сыночек, спи, моя отрада,
Спи-усни, мой мальчик яснолицый.
Уж мычат в подклети два теленка,
будто плачут жалобно и тонко,
ждут, чтоб я им принесла водицы,
напоила их и накормила...
Спи, мой ясноглазый, спи, мой милый!

Спи, сынок. С тобой бы я сидела
целый день с восхода до заката,
да заждутся на лугах ягнята,
надо к ночи их загнать в закуты,
по́д вечер доить овечек надо,
посидеть спокойно нет минуты...
Спи, сыночек, спи, моя отрада.

ПОЭТ И ОТЧИЗНА

Когда я на горной вершине стою
и вижу сплетенье скалистых хребтов,
лабиринт зеленых оврагов,

быстрых рек серебристые воды,
и заповедный сумрак дубрав,
и шелковистое море трав,
и стайки домов, что надели красные шапки
и вокруг кудрявых садов ведут хороводы;

когда я слушаю утренний лес,
голос птицы, потерявшей рассудок от счастья,
и мальчишеский крик ручья,
и шепот листвы, согретый дыханием лета,
слушаю юный, распахнутый настежь,
трепетный мир
в колыхании тени и света,—

я начинаю себя понимать.
В этой книге, на этих страницах,
записано то, во что мне верить,
что мне делать, о чем мечтать,
чему новой песней излиться.
Здесь, на ладони родной земли,
предначертано все заранее —
моя любовь и думы мои,
беды мои и страдания.

Издревле распевали песни мои
маленькие боги родного края.
Все стихи мои наизусть
знают бессчетные духи, веселый лесной народ.
Во всем, что я делала, о чем писала,
душа моей отчизны живет.

СМЕРТЬ КРЕСТЬЯНИНА

Сады источают дух сливы сладчайший,
недавно вино забродило в подвале,
пал желтенький листик в зеленую чашу
пруда. Значит, летние дни миновали.

Священник молитву читает,
но пчелы жужжат слышнее,
и стук молотилки сильнее,
и голос его — заглушают.

Волы мычат слышнее,
а кто-то ладит повозку
для похорон. Под нею,
согнувшись, колотит жестко.

Из дуба, что рос над домом,
доски для гроба тесали.
В гости пришли сегодня
те, что на свадьбе плясали.

Солнце начинает садиться.
В землю засветло надо ложиться,
и в дорогу выходит покойник,
оставляя амбар за спиною
и тропу, что своими ногами
протоптал он к водопою.

Проехал он мимо плуга
и руками к нему не рванулся,
мимо сада проехал и луга
и ни разу не улыбнулся.

Без улыбки идет по злату,
по тому, что роняют ветки.
Молча топчет листья-дукаты,
попирает их без привета.

Волы еле двигают ноги,—
как будто из дальней дороги,
а процессия, в тихой тоске,
говорит о ценах на сливу и на пшеницу,
а также о боге,
о небесном большом мужике.

ОТВЕТ СОВРЕМЕННИКУ

Все реже о любви пишу стихи я.
Все реже голоса слышны в них молодые.
Да, у моих стихов теперь иные темы,
и заняты они вещами теми,
которые на первый взгляд
поэзии немногое сулят.

Но почему ты этим удивлен?
Осенних песен и весенних песен
напев совсем по-разному чудесен,
и дрозд поет не так, как соловей,
а старый дрозд — не так, как молодой.

Когда слагаю песни о деревне,
стоят крестьяне за любым стихом.
Любой рассвет, изображенный мной,
по-сельски пахнет молоком и сеном.
Я детство провела среди крестьян,
и мне естественно писать о них.

Я потому о них стихи писала,
что радовалась с ними и страдала.
Не по велению политика,
не по указке сельского попа —
по женской, по исконной и по древней
моей безмерной нежности к деревне,
ко всем, кто угнетен и оскорблен.

Я жать умею и копать умею,
поэтому и право я имею
петь о крестьянах так, как я пою.
Меня крестьяне сызмала учили
и до ботаники мне объяснили
луга, поля и землю всю мою.

Я не стыжусь, когда мои стихи
читают старики и батраки,
когда их дети в сельской школе слышат.
Для избранных пускай другие пишут,
а мне мои читатели близки.

ПЕСНЯ О ПОРАБОЩЕННОМ ХЛЕБЕ

Стучит украдкой жернов,
шуршит мука по ситам.
Зерно тихонько мелют
во тьме, во мраке черном
по деревням несытым.

Тот хлеб посеян в рабстве,
в безвыходной печали,

и убран тоже в рабстве —
глубокими ночами.
Хоть печи жаром пышут,
но хлеб тоскою дышит.

Он вырастал в неволе.
Созрел под наши стоны.
И вот его смололи
на мельнице замшелой,
обросшей паутиной,
слезами орошенной.

Он рос во тьме кромешной
и выпечен ночами —
с опаской и поспешно,
украдкой и в молчанье,
когда никто не слышит,
как хлеб жарою пышет.

Большущими кусками
тот рабский хлеб кусают —
покуда не забрали,
пока никто не знает,
что под полночным небом
сидит крестьянин с хлебом.

КРОВАВАЯ СКАЗКА

Это случилось в одном государстве
балканском —
в горном, крестьянском.
Горькое там приключилось злосчастье
с группой ребят —
целым классом пали они в одночасье
смертью героев.

Все они были ровесники;
все — одногодки.
Вместе учились и вместе играли,
хором стихи наизусть повторяли.
Вместе ходили к врачам на прививки.
Все у них общее было:
уроки, болезни, привычки.
Вместе они и погибли.

Это случилось в одном государстве балканском —
в горном, крестьянском.
Горькое там приключилось злосчастье
с группой ребят —
целым классом пали они в одночасье
смертью героев.

Ровно за сорок минут до их смертного часа
вот что умы занимало
этого класса:
«Грядки. Их шесть на моем огороде.
Десять арбузов на каждой».
И прочее в этом же роде.
Мысли мальчишек касались домашних заданий,
по выполненью которых
качество ими усвоенных знаний
будет измерено грудой никчемных пятерок.
Детям казалось,
что долго бродить им по белому свету.
Долго решать им задачи —
сначала вот эту,
кто помешает?
Все, что им задано,
перерешают.

Это случилось в одном государстве балканском —
в горном, крестьянском.
Горькое там приключилось злосчастье
с группой ребят —
целым классом пали они в одночасье
смертью героев.

За руки взявшись,
пошли они на смерть рядами.
Самые слабые дети и те не рыдали.
После уроков, сложив аккуратно тетрадки,
шли на расстрел они поступью твердой
в полном порядке,
прямо и гордо.
За руки взявшись,
прямо под пули
эти ребята навстречу бессмертью шагнули.

ХЛЕБ МЕСЯТ

Солнце спало, и птицы спали,
спрятав клювы в теплые крылья,
Женщины раньше солнца встали,
двери пекарни они открыли.

Они забыли о скорби вчерашней,
о всей суете желаний мелких.
Словно пахарь, когда он на пашне,
словно мельник, когда он — мельник.

Муку просеивают снова и снова.
Волосы словно в белых цветочках.
Работают,
не говоря ни слова,
думая о сыновьях, о дочках.

В море хлебного запаха канув,
они смеются пьяно, счастливо,
словно не тесто мнут руками,
а мнут руками цветущую ниву.

Солнце спит, и птицы не слышат
женщин, тех, что пришли на работу.
Хлебный запах из печи пышет —
это пекарня раскрыла ворота.

Руки на хлебе горячем грея,
женщина думает: «Пусть настанет,
пусть придет благодатное время,
когда всем людям хлеба достанет!

А враг пусть подавится нашим хлебом!
Пусть в горле вражьем он станет комом!»
Женщина смотрит с порога на небо,
внемля птичьим напевам знакомым.

«Я ЗДЕСЬ, ОТЧИЗНА!»

Бледнеет небо, птица бьет крылом.
Испуганно дрожит листва.
Старик пастух шапчонку снял рывком,
и слышны причитания слова:
«Отчизна! Люди!»

Замолкни, утро! Стихни, тишина!
Пусть вся земля застынет на мгновенье,
чтоб выстрелы услышала она
и слова каждый звук в последнем пенье:
«Отчизна! Люди!»

Ты, солнце, выглянь из-за облаков
и освети разверстую могилу,
чтоб веселей, бодрей им сделать было
последние десятки их шагов.
Благоухай, осенняя трава,
последнее их ложе окаймляя.
Пускай у них замлеет голова
от запахов родного края.
Последний крик, последний их привет
ты, ветер, унеси в леса и горы,
чтобы узнали родины просторы,
кто вспомнил их в последний свой рассвет.
«Отчизна! Родина!» — кричит гора горе.
«Отчизна!» — подхватила вся округа,
перекрывая эхом пулеметы,
а издали, как будто голос друга,
доносится из свежей их могилы:
«Я здесь, отчизна!»

КОГДА ПРОМЧИТСЯ ВАША ЮНОСТЬ, ПТИЦЫ...

Когда промчится ваша юность, птицы,
что делаете вы, дрозды, овсянки и синицы?
Ты, жаворонок, что устал бороться с вышиной?
Что зяблик делает под августовским светом,
когда приходит срок прощаться с летом
и пенье птиц заглушено поющей тишиной?

Почуяв аромат снегов, дыхание мороза,
услышав осени шаги, что делают леса?
Что делаете, тополя, что делаешь, береза,
когда минует лето, и слышен ветра свист,
и по ветру кружится ваш первый желтый лист,
и облака над вами плывут, как паруса?

Когда в хрустальной синеве летают паутинки,
что делаете вы, поля, луга, покосы,
когда колючий иней все одел,
когда в железную броню закованы травинки,
и стали искристым ледком сверкающие росы,
и в изгороди ломонос внезапно поседел?

Когда от северных высот за южные отроги
подует ветер ледяной, что делает вода,
когда стихают подо льдом порывы и тревоги,
когда потока синева
внезапно вянет, как трава,
и цепенеет пульс, и плеск смолкает навсегда?

ДЕТСКАЯ КОСИЧКА В ОСВЕНЦИМЕ

Осень сменяет лето, пятый раз сменяет,
а тонкая, словно ящерка, девочкина косичка
лежит в Освенцимском музее — живет и не умирает.

Мамины пальцы сгорели, но все-таки ясно видно,
как девочку в путь-дорогу пальцы те собирают,
то они цепенеют, то беспомощно виснут
и черную ленту предчувствий в тонкую косу вплетают.

Туго косичка закручена, не расплетется до вечера.
Слезные змейки стелются — мама горько плачет.
Девочка улыбается ласково и доверчиво,
девочка не понимает, что эти слезы значат.

Вот палачи ледяные — банды их ясно вижу —
косят людские волосы, мечут в стога большие.
Легкие детские локоны ветер уносит выше,
в грузные копны сложены женские косы густые.

Словно шерсть настриженную, словно руно овечье,
в кучи их кто-то сваливает и приминает ногами.
Вижу — пылают яростью большие глаза человечьи,
вижу старух испуганных рядом со стариками.

То, что словами не выскажешь, тоже вижу ясно:
пламя пышет из топки и палачей озаряет,
длинные их лопаты — от детской крови красные,

стылые детские трупы в топку они швыряют.
Вижу седины бедные — все в серебристом инее,
и рядом — как ящерка — тонкую девочкину косичку,
вижу глазенки детские — большие, синие-синие.

ВСЕ РАВНО

Даже тысячу лет проживши,
после смерти я буду схожа
с теми, кто не родился.

Даже век свой прожив счастливо,
после смерти я буду схожа
с теми, кто плакал.

Даже запятнанная клеветою,
после смерти я буду схожа
с теми, кого хвалили.

Даже память оставив в душах,
после смерти я знать не буду,
что меня вспоминают.

Даже мудрость впитав земную,
после смерти я знать буду меньше,
чем ком земли у дороги.

Даже доброе сердце имея,
после смерти я стану
равнодушнее камня.

Даже радуясь ясному солнцу,
не смогу после смерти
выйти из мрака.

И, полна сознания жизни,
после смерти я знать не буду
о том, что жила на свете.

ОСКАР ДАВИЧО

* * *

Умер дед
Сокровенно, обыкновенно,
Словно с ним ничего не случилось,
Словно приснилось,
Словно встанет
Чуть свет,
Спозаранок,
И отправится дед
На рынок.

Умер дед совсем неожиданно.
Только тихо исчезли гости,
Только мама
От этой вести
Завопила
И вдруг упала,—
А тогда и на нас напало:
Стали колоться в горле
Какие-то странные кости,
Которые вовсе —
Не кости.

Помчались зажженные свечи,
Помчались безглавые мухи,

Помчались по дому,
И вверх —
На карниз,
И вниз,
Словно что то искали у нас.
Ох, все они попросту падали с ног,
Чтоб нечто найти,
Эту некую малость,
Крупицу, которая здесь потерялась.

Но ни одна из горящих свечек
И ни один живой человечек
Нам не могли объяснить словами,
Что же такое потеряно в доме,
Как же его настоящее имя?
И завыли тогда
Гардеробы
Хриплым воем
Бездонной утробы,
И на наших железных щеках
Появился зеркальный прах —
Это рассыпалось зеркало,
Выдав зеркальный страх.

* * *

Жизнь уплывает сквозь пальцы,
Ласкаю лицо волны,
Ласкаю ее волнистые пряди.

Плыву в сенокосной прохладе,
И в парусе — свежесть ветра.
Где же на карте
Недра?

И даже не знают боги,
Куда же — босые ноги,
Куда же — пять весел, моя пятерня,
Куда же несут меня.

* * *

С черешней за́ ухом
По тропке глиняной
Иду за звездами.
Иду за крошечными,
За мерцающими,—
Мои мерцающие, мои крошечные!

Из апельсиновых зрачков
У вас любовь, как слезы, каплет
На зелень трав, на всех жучков,
На всех людей, на всех щенков,
На муравьишку и на цаплю,—
На все, на все, как слезы, каплет
Любовь из апельсиновых зрачков,
Которые трепещут,
И дрожат,
И прячутся за мглою облаков.

* * *

Глаза твои — словно озера,
Уснувшие под небесами.
В чешуйчатой ряби узора
Волна шелестит волосами.

Под веками, в глуби нездешней —
Испугов багровых спиртовки.
Твой взгляд — соблазнитель с черешней
В губах близнеца-однокровки.

В глазах твоих — дебри, погоня,
Оленья охота, облава,
Хохочет листва в небосклоне,
И машет оленю дубрава,

Машет своим ароматом,
Ветром зеленоватым,
Холодной жутью дождя и звезд,
Пламенем вечности в полный рост.

* * *

Здесь мало любви,
Дайте больше любви,
Несметной любви,
Воздушной и светлой любви,
Любви — как досыта хлеба,
Любви — как ясное солнце с неба,
Чтоб вынесла поодиночке
Всех, кто гниет в одиночке,
И выпустила, друзья,
Там, где любовь моя,
Любовь — свобода моя,
Дышит в солнечной точке.

* * *

Еще дышу.
Еще рассвет.
В оконце, где рассвета нет,
Последний раз последний взгляд
Бросаю в поле наугад.
Я в юности мечтал в избытке
На дыбе умереть от пытки.

В молчанку смерти, в прочерк мук
Иду один.
Безмолвен рот.
Последний в горле умер звук.
Моих друзей живой оплот
Я оставляю здесь, вокруг.

За мной — надежды силуэт,
За мной — навеки мой рассвет,
Мой вечный день.
Я не один.
Со мною — братства мощный дух.
Со мною — солнце,
Воздух, луг,
Со мною — свет любви,
Со мною — все недосказанное мною,
Все, чем я обладал при жизни,
И все, что знаю в утро казни.

ПИСЬМО ИЗ СЕРБИИ

Товарищу Карлу Марксу или еще какому-либо товарищу из Рабочего Интернационала Сретен Анджелкович посылает письмо из замкнутого круга маленькой Сербии.

Корчму здесь найдете на всех дорогах,
А фабрика — одна на всю страну.
На каждый округ — сотни острогов
И узников сотни тысяч.

Здесь князь и фабрикант — владыки края,
Класса палачей вожди.
Живут здесь по-турецки. Жизнь такая —
Пей да бранись. Эх, спрячь тоску в груди!

Министры пьют кофе, едят калачики,
Потом начинают всех мордовать.
Привозят гувернанток-австриячек
И лезут тихонько к ним в кровать.

«Взятка? Можно бы! Спасибо, данке.
Ведь мы не якобинцы. Трудимся за грош —
Оклад невелик. Нет счета в банке.
Итак, берешь или не берешь?»

Чиновнику — динар. Практиканту — гроши.
«Эх, на деньги все жадны, господин Срета»,—
А ругнешь их, ответят: «И гроши хороши!»
Или: «Чиновнику лошадь нужна и карета!»

Глаза его — пасть, душа — потаскуха.
Как тут человеку беды избежать?
Люди, нафабрив усы от уха до уха,
Служат, как собаки. Долго ли ждать мятежа?

Ах да, экспорт свиней. Ввоз быстрей идет, парадом
Под оркестр — знакомый мотив несложный.
Играйте! Сербия пятится задом
С радостью прямо в бумажник кожаный.

Книги? Прочь! О зиме еще думать рано.
И щелок в лавках еще продают.
Господа валяются в тени платанов,
И слюнки у них текут.

Позавтракав, мечтают об обеде. Пообедав — об ужине.
Что новенького? Голубцы? «Нет, сотэ из почек!»
«Распустить пояс! Молодец!» Как жрут дружно!
А с нами кто? Темнота? Рабочие?

Безвольные люди. Классовое сознание — у кого есть?
Господа в раю своем мучаются от одышки.
Если кожу дерут — дерут на совесть.
Кроме этого, пьют, едят и дуются в картишки.

Что там? Флаг спускают? Ждем спасенья напрасно?
Тьма легла неподвижная, глубокая.
Друг далекий, там за Дунаем босая, безгласная,
Вся в крови чавкает Сербия одинокая.

Бунт? Где пролетарии? Где рабочие?
Не созрел революции плод. Восстанье?
Подмастерья да школьники. Чиновник не хочет.
Все остальные у нас крестьяне.

Но все же. И тут каторга и бой.
И тут выбивают искры из оков.
И село нас заметило: сквозь боль
Звезда полыхает над каждым снопом.

А му́ки? Пусть Сербия не покорится.
На все четыре стороны гайдуков направлен взор.
Сербия из засады косится
На залитый солнцем тюремный двор.

ХАНА

1

Я охотничий сын, и когда подошло мое время,
я влюбился в Хану, взбалмошную девчонку,
дочь торговца печального, вдовца-еврея,
содержавшего возле кладбища трактир и лавчонку.

Как ракета над лесом, надо мной она заблистала,
и стал я ходить, как слепой, разводя руками.
И любовь моя стала как мир, и поэтому стала
маяком и спасенными им моряками.

От нее глаза мои загораются блеском,
в ней и море колышется, и рыбы, и сети,
от нее водопады свергаются с гулом и плеском
и стрекочут кузпечики, словно птицы и дети.

О, чего только я не видел этой весною,
с этим Чоро кривым и с компанией набожной этой!
Все, что пито было не мною и разбито не мною,
я сполна оплатил, как положено, звонкой монетой.

Но сейчас я люблю, и люблю это небо, и этой руки
движенье,
которая вдруг воскрешает и выводит на сцену
всех погибших и потерпевших в море крушенье,
и ломает решетки, чтобы лбом я — о стену

и о небо, до которого некогда пальцем
доставал, и до солнца — когда это солнце, и кости,
и могильщика даже я сделал у нас постояльцем
и в корчму пригласил их, на добрую чарочку в гости.

2

Когда над весами я увидел ее груди тугие,
между мылом и апельсинами разглядел подробно,
я понял, что она прекраснее, чем все другие,
и вся она, как ее губы, и вся съедобна.

О зрачок ее — зернышко перца в полдневном зное,
притягивающий, лаская и не отпуская!
Кто бы смог не влюбиться в изобилье это лесное,
в эти ноздри и в грудь, что как буря морская!

Ты не знаешь зубов ее, что, как снег, поскрипывают, играя,
эту гармонику с блестящими пуговками — сиянье ее
золотое! —
Этот колодец, наполненный радостью до самого края,
это животное, здоровое и молодое.

Когда к губам моим прижимает она свои губы,
я плыву по ветру, побросав паруса и тросы,—
потому что ее объятья просты и грубы,
как еда дикаря, как еда, что едят матросы.

Ты не знаешь взгляда ее, темноватого от угля и дымной печи,
и ресниц ее — занавеску, что так нехотя поднималась,
и зубы ее, процеживающие неторопливые речи,
и язычок этот острый, хотя и распущенный малость.

МИРА АЛЕЧКОВИЧ

ТИШЕ, МАМА...

Я включу приемник. Тише, мама...
Мы в гнезде осином — островок.
Бьет огонь из яшичка упрямо,
а за ним — весь мир... Он так широк!

Слушай же. Не пропусти ни слова...
Только знаешь — это не слова:
это, чтоб взлететь могли мы снова,
крылья нам с тобой дает Москва.

...Телеграф стучит, и ты — на месте:
лента, весть за вестью, день за днем.
Но все нет, все нет во тьме той вести,
чтоб рассветным вспыхнула огнем!

На людей глядишь, слезу роняя:
где ж надежда? Проблеск первый где ж?..
Теплых слез не проливай, родная,—
под Москвой и наш пролег рубеж.

Кремль стоит — и держит оборону.
И рассвет надежды нашей — там.
Вновь с любовью руку твою тропу —
веру потерять тебе не дам.
1942

БЕЛГРАДСКАЯ БАЛЛАДА

Вышел ребенок с ведерком — в доме воды не осталось,
а от ребенка с ведерком — туфелька только осталась.

Фашисты бродили без цели. Над чем-то смеялись и пели,
плыл снег ослепительно-белый, и все купола побелели.

Наставшая тьма означала ночи холодной начало...
Дитя не вернулось... и тихо вода у колонки журчала.

Мать выла — зачем я сказала, что в доме воды не осталось.
У колонки, где струйка журчала,— там туфелька только осталась.

СМЯТЕНЬЕ

Мне говорили, когда не убили меня на войне, что везенье
чертовское выпало мне,
а на этой войне убили отца моего и брата,
а мне, когда повели, тряпкой заткнули глотку, чтоб замолчала,
в голос не закричала.

Изо всех углов одиночки глазели клопы-шпионы,
и днем, и ночью бессонной сползаясь ко мне во тьме,
и плели пауки паутину слов, как смерть, монотонных,
и звучали женские стоны в коридорном аду бетонном,
и родился у мертвой женщины живой ребенок в тюрьме.

Моя мама тридцать ночей после всего случившегося
просидела, тупо таращась на дверь — меня ожидая,
а на тридцать первое утро отпустили ее в числе излечившихся,
потому что она на охрану не лаяла, как прочие бабы в этом содоме.
Моя мама была в сумасшедшем доме.

Люди, одни только люди, от смерти могли спасти,
люди успели выкопать мою маму еще живой,
и запах смерти навеки остался у ней во плоти,—
она все хотела повеситься на сливе, такой молодой,
которой бог знает когда суждено расцвести.

Я и ныне тот мрак неволи, когда лезвие — в главной роли,
когда лязгает нож в окошко — чтоб над книжкой погасло
пламечко,

я и ныне тот мрак неволи проклинаю, губу закусив до боли,
и слышу во мраке убийственный топот и лай: «Открывай!»
и шепот: «Уводят, мамочка».

И никогда не бросайте упрека, что я часто пою о радости,—
мой дом превратился в пепел за оградой, сгоревшей на тризне,
и грусть очень часто приходит, она — мой гость,
освобожденье от боли, душевные спазмы жизни,
чтобы и мне и вам под тяжестью легче жилось.

Меня еще не покинули мечты после всех Испаний...
Может быть, взгляд — печальней и чуть-чуть потемнел от
страданий,
но притяженье к прекрасному не покидает жизни.

И СЕРБИЯ ПЕРЕМЕНИЛАСЬ...

И Сербия переменилась, но сливы,
но старые сливы по-прежнему живы.
Она плодородна, чиста, благородна,
и помыслы Сербии трудолюбивы.

Плавные нивы... зеленые травы
со дна поднялись над военными рвами.
Черные галки умолкли — и правы.
И полотнам болот спится в плотном бурьяне.

И птичьи гнезда не только птицам
нужны сегодня, дыша соблазном
в лицо дошкольникам бронзолицым,
в глаза дошкольницам сероглазым.

О, сербские сливы, о, белые шествия,
мне дали возможность счастливые силы
на вас наглядеться, лелея и пестуя
новую жизнь и старые сливы.

С веток свисают белые росы,
руку подставишь — капелька брызнет,
лезет из кожицы зернышко проса,
и крик его слышится — хочется жизни,

ходит младенец — ноженьки босы,
снег расцветает — вплетается в косы,
с веток свисают белые росы,
у белого света — так много света!

Л Ю Б Л Ю

Люблю говор вод, неумолчный, вечный,
и чистых источников лепетанье,

и белых садов убор подвенечный,
и сливовых синих ветвей бормотанье.

Если ж со злобой придет кто-либо
и чистый родник превратится в омут,

стану я твердой, суровой глыбой,
под коей кости прадедов стонут.

Губители жизни раздуют пламя,—
в их бойне я не приму участья.

Хочу под сливовыми ветвями
детей обучать науке счастья.

СТЕВАН РАИЧКОВИЧ

КРУГ НЕЖНОСТИ

Немного надо нам: цветок
В глаза заглянет, как живой,—
И словно тысячи дорог
Открылись вдруг перед тобой.

И жизнь приветлива опять,
И возрождается любовь
В твоей душе, как благодать,
И грубый камень ожил вновь.

И снова кажется, что зло
Ничтожно, потому что есть
Добра огромное число,
Оно во всем, его не счесть.

И лишь добру благодаря
Блестят, прекрасны и нежны,
Глаза, как синие моря,
И звезды в них отражены.

И я, который до сих пор
Был тише всех земных гостей,
Вдруг обнимаю весь простор
Душой разросшейся своей.

И жить иначе не могу,
Мстить не могу и помнить зло.
Спасибо малому цветку:
Так вдруг от сердца отлегло.

ДАЛЕКОЕ

Есть ветер такой что волос не растреплет
Не шевельнет даже листьев
А просто вдруг налетит неизвестно откуда
И заставит подумать внезапно
Прошелестев на рассвете:
Что-то от нас далекое
Существует на свете.

НЕ ЗАКОНЧЕНО

Все думаю: не закончено.
Что-то еще родится, когда вылезает трава.
Будет еще синева
С первым небом весенним —
Та, что всему улыбнется
И отразится в воде.

Все думаю: не закончено.
Не могут цветы отцвести, пока существуют глаза,
Которые нас встречают,
Как две росистых ромашки,
И долго потом еще, долго
Мы счастливы светом их.

Все думаю: не закончено.
И хочется мне вглядеться в конечную форму всего.
И хочется убедиться,
Что все однажды пойму я,
Пойму когда-то однажды
С какого-нибудь холма...

СПЯЩИЕ

Тихо иди — ночью улице спится.
Не разбуди этой сказочной глуби.
Кто ж виноват,

Если в груди твоей прячется птица?
Только притронься рукою —
Слышишь, стучит, словно дятел в дуплистом дубе.

Улица спит, погруженная в зыбкую дымку.
Люди во сне как растения под водою.
Кто ж виноват,
Если тайком натянул ты струну-невидимку
Для одного небывалого звука,
Чтобы в сердца он проник силою молодою?

Тихо пройди — ночью улице спится.
Не разбуди и во мраке исчезни.
Кто ж виноват,
Если в груди твоей прячется птица?
Может быть, спящие бродят неслышно
В том же краю, где твоя рождается песня.

ДВЕРИ В НОЧЬ ОТВОРИ

Двери в ночь отвори пусть укроются ветви деревьев густые
Пусть войдут полевые цветы в эти вазы пустые

Двери в ночь отвори кто-то ждет в этой темной дубраве
Он слова тебе самые горькие скажет он вправе

Двери в ночь отвори эти стены сломай что к тебе не пускали
Горький мир в темноте он все ждет чтоб его приласкали.

СПАСИБО СОЛНЦУ, ЗЕМЛЕ, ТРАВЕ...

Солнцу яркому спасибо,
Ветру, воздуху, траве,
Слову точному спасибо
И небесной синеве.

Сердцу, бьющему тревогу,
Ведь за всех оно болит,
И листве, что на дорогу
Тень бросает и шумит.

Этой глупой и садовой,
Бестолковой голове,
О, спасибо вечно новой
Жизни, воздуху, траве.

ЗЛАТИБОРСКИЕ СТИХИ

Нам небо было синим утешеньем,
Мой вздох с твоим соседствовал дыханьем,
Как сосны, говорящие движеньем
Ветвей, так обходились мы молчаньем.

Наверное, так спрашивает камень
(беззвучно, до неслышимости тихо),
Наверное, под ветром временами
Так говорят пшеница и гречиха.

Как будто мы на острове остались
И жили в одиночестве уютном,
И тихие деревья объяснялись
В любви нам слогом сбивчивым и смутным.

Пространство к нам дневное подходило,
А ночью небо звездное сверкало,
И, как река, травинку теребила
Рука и, уставая, затекала.

К нам шелковые травы прижимались,
И сверху нас разглядывали птицы.
Твои глаза зелеными казались
Озерами, и травами — ресницы.

А в небе облака напоминали
Камней и скал подводных очертанья,
Твои колени, руки разливали
Мерцанье днем, а в полночи — сиянье.

Полнее в жизни не было забвенья,
Земля и небо были как два моря,
И виделись нам горы в отдаленье,
И челн любви взлетал, с волнами споря.

Казалось нам, что смерти не бывает
В такую ночь, любовь же вечно длится.
Две веточки, о, кто нам помешает,
Как в омуте, всю ночь, весь день кружиться!

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СВОИМ ДВЕРЯМ

Возвращаюсь по улице поздней порой к своим черным дверям.
И пуста моя улица, как обмелевший канал.
Иногда возвращаюсь, как лодка, летя по волнам.
А сейчас возвращаюсь, как будто я сам — этот вал.

Где взять песню, которую спел бы я ночью такой?
Настоящую песню, реальную, как этот клен?
Дай мне песню, которую можно потрогать рукой
Так, как можно коснуться рукой зеленеющих крон.

Вдоль всей улицы молча уснувшие встали дома.
Дай мне песню, реальней моих замерзающих рук.
Поднял руку. О ночь, помоги мне, ты видишь сама,
Как рука моя тянется вверх, преврати ее в звук!

Со стены смотрит маска лепная, слепые глаза.
Я всегда каменею под взглядом невидящих этих очей.
Дай мне слово, вместительное, как твои небеса,
Чтобы в страшное ухо лепное сказать что-нибудь пострашней!

Где ты, песня? На помощь! Со мной этой ночью побудь.
Приплыви из лесов, из пустынь, из бамбуковых рощ.
Тех, кто спит, разбуди, раскачай, не давай им уснуть.
Словно колокол бронзовый, бей и гуди во всю мощь!

А не хочешь греметь — еле слышно во тьме шелести,
Словно вьющийся плющ или капли в притихшем дожде.
Возвращаюсь домой. О, как долго еще мне идти.
Словно двери мои в черном небе, на дальней звезде.

ЛЮДИ ПРОСЫПАЮТСЯ БЕЗ ОРУЖИЯ

Люди входят в дома. Открывают коробочку
памяти. И затворяют окна.
Затем они некоторое время
украдкой
смотрят сквозь занавеску на улицу,
на раскачивающийся круг
от фонаря на асфальте.

За рекою
в свои глинобитные хижины
люди входят, слегка пригнувшись,
и слушают,
как у них над головою
ветер шуршит по крыше из камыша.

На вытоптанной траве,
между городом и поселком
с засекреченными названьями,
солдаты оставляют свои винтовки
и входят в палатки,
наклоняя при этом головы,
словно кланяются кому-то.
В эту пору
птицы притворяются листьями,
змеи прикидываются узором на коре деревьев,
воды и рыбы —
все отходят ко сну,
и ветер улегся на склоне горы,
очертанья которой неразличимы...

Но вновь на рассвете
оживают у каждого
прерванные воспоминанья
на том же месте,
и звезды всем возвещают,
что вновь начинаются метаморфозы,
и за кулисами тихо меняются роли —
снова птицы становятся птицами,
и змеи повертываются каждая к своему цветку,
а каждый цветок поворачивается к своему
солнцу,
и становится сразу понятным,

что это — воздух,
а это — гора,
и ветер от нее отделился
и сделал свой первый шаг.
В эту пору
повсюду,
и под железными крышами,
и под крышами из шуршащего камыша,
за прозрачными стеклами окон,
за кирпичными пестрыми стенами,—
открываются снова
глаза всех живых —
снова невинными ставшие
маленькие кружочки.

Это мгновенье кратко,
и надо его ловить,
пока еще люди не взяли в руки оружие.
Люди —
они просыпаются без оружия!

НОЯБРЬ

Осень подходит к городу с той стороны, где вода,
Где трава и деревья. Там опустела скамья,
С которой ушли влюбленные —
Нет крыши уже для любви!
Это простые вещи, и они повторяются вновь,
Они уже стали привычными, как снять на улице шляпу,
«Доброе утро» сказать, или «дайте газету»,
Или что-то подобное, только печальнее...
Когда осень подходит к городу, она стучится и в двери ко мне,
Пустым коридором проходит и поселяется в сердце.
Сначала молча расставит по комнатам свои вещи,
А после, руки скрестив на груди, посмотрит в мои глаза.
И вот уже кажется мне, что все
Не так-то и просто, как «дайте газету»
Или что-нибудь в этом роде, только печальнее.
Стоит сапожник в дверях мастерской и думает о бесцельно
прожитой жизни.
За домами последними, на пустыре, солдаты копают окоп на
ученьях,
И чернеет вывороченная земля. В стороне незаметно

(Но заметно ушедший в себя) офицер,
Небольшого чина, но поседевший, вспоминает легенды о
полководце.
Женщина в доме через дорогу смотрит, как плавно кружится лист,
И пытается вспомнить, как по ступеням когда-то к ней
поднимался ОН
(Впрочем, вся обстановка тонет в тумане климакса).
Нежный поэт, уставший быть нежным,
Снова засел за осенний цикл.
А вообще-то все как обычно:
Люди снимают при встрече шляпы и говорят: «Доброе утро»,
Рынок рассыпался по корзинам, которые бродят туда-сюда,
Никто не видал, как раздвинулись шторы,
Но видно, как кто-то глядит в окно.
Работают дворники, сооружая золотоверхую пирамиду,
И дети весело зажигают
Кадильницу из пожелтевшей листвы.

СЛУЧАЙ В ОКТЯБРЕ

За городом, в пригороде, в октябре, глубокое тихое вёдро.
Окошки с подушками жмурятся сонно, и утро свежо и лилово.
Пустая дорога в опавшей листве петляет, как спящая кобра.
А небо сине и спасительно, как артерия у больного.

Толпятся картины одна за одной в тяжелых старинных багетах:
Ограды литые, узоры чугунные и цветники у асфальта.
Из домика запахом кофе несет, и чаем — из виллы, и где-то —
Из окон школы и по садам — разносятся звуки альта.

Фабричные трубы качаются в небе, колышется мох черепичный.
И слышно, как по водосточной трубе со скрежетом падает кошка.
Погреться на солнце выходит старик — из кокона червь
шелковичный,
И видит: — Жизнь... но осень прекрасна! — слова на
ступеньках порожка.

Ах, что-то сегодня произошло, случилось, наверное, что-то:
Откуда такая целебность во всем и свет этот ясный и странный?
Со сдобною булкой мальчишка идет и в чьи-то стучится ворота,
Как нужное слово и как совет, а сам он, как сдоба, румяный.

Над улицей лист одинокий плывет, и в дымке теряется улица,
И чистое небо голубизной сияет, и, в небо уставясь,
Какая-то пара стоит, заплутав в трех соснах, и смотрит, и
щурится:
— А мы-то боялись, что наша любовь прошла... А мы-то боялись...

ТИСА. I

Это ты возвращаешься к Тисе. Случайно.
Неужели случайно, как если бы мог
Не вернуться сюда? Вообще не вернуться?

Неужели ты мог
Не увидеть привязанной лодки?

Не узнать старых ив, в основанье стволов
Посеревших от ила и мохом заросших
До широких ветвей? Ты срывал этот мох
И украдкой курил его. Разве случайно?

Словно мог ты, раздвинув бурьян, не открыть
Той тропинки, где ты за влюбленными крался
В летних сумерках.
Разве случайно? А сердце,
Как оно колотилось у самого горла?!

И на скалы крутые,
Над водой взгромоздившие камень на камень,
Разве только случайно пришел ты взглянуть,
А иначе б не выбрался,
Не огляделся —
Здесь, где удочку ты укреплял меж камней,
Чтобы рыба, сверкнув,
На крючке трепыхалась
(А приманку, чудак, забывал нацепить.
Все сидел да глядел.
Все сидел. И напрасно).

Неужели случайно пройдешь, не взглянув,
Так небрежно пройдешь, даже взгляда не бросив
На забор, где хотел ты глазок просверлить,
Чтобы тайну чужую увидеть воочью —
С той, с другой стороны?

Неужели случайным прохожим пройдешь,
Словно мог вообще не прийти,
Не вернуться?

Что с тобою стряслось?
Из каких ты краев?
Признавайся,
Откуда ты вдруг объявился?

Да и был ли ты вправду когда-нибудь здесь?
В самом деле, откуда?
И где пропадал ты?
Ведь и вправду ты где-то бродил чужаком,
А иначе б не мог и вернуться.

Иначе
Не стоял бы как вкопанный
Ни у стволов
Серых ив,
Ни у лодки,
Ни перед забором,
Вспоминая о чем-то!
Кто б мог это знать!

Если в этих местах ты бы нé жил
Когда-то
И тебя бы потом не носило бы
Где-то,
Для чего бы тебе и стремиться
Сюда?

Так признайся по совести,
Начистоту:
Ты откуда сюда?
Что с тобою случилось?

И совсем по душам:
С кем ты все говоришь?
Или с чем?
Неужели опять начинаешь
Сам с собой толковать
И словами играть?

Глубоко-глубоко под тобой течет Тиса,
Далеко бежит, далеко.

Можно было бы в ней искупаться,
Если не был бы лету конец.

Так на камень присядь,
Как всегда ты садился в стихах.

Нет вокруг ни души.
Можешь даже всплакнуть, если хочешь.

ТИСА. II

Я задумал желанье:
Хоть несколько слов написать
О Тисе моей,
Хоть несколько строчек придумать
(Какие придумывают для стихов),
А потом за щекой
Переставлять их, как камешки,
И притирать,
И толкать,
Осторожно проталкивая слова
Сквозь ворота поэзии.

Если б все у меня получилось,
Как я загадал,
У меня получилось бы новое стихотворенье,
Я его повторял бы
Пустынною улицей темной,
Повторял в такт шагам,
Не спеша возвращаясь домой,
Где живем мы и старимся,
Век коротая недолгий.
Если б мог я желанье исполнить,
Опять у меня
Написалось бы стихотворенье о Тисе,
О Тисе,
Ведь у каждого есть это место,
Куда он всегда —
Хоть в стихах — возвращается
В жизни короткой иль долгой.

— Это дерево выросло в Бруклине,
Это — вдали от него,
А другое какое-то — где-нибудь в тысячном месте,

Если дерево там не растет
И река не течет,
Как его ни зовут,—
Для тебя это место пустое.

Но ведь Тиса моя — настоящая:
Я не могу
Ей слова сочинить,
Как в стихах иногда сочиняют.

Тиса детства!

Ей больше не течь
Сквозь мои и слова, и стихи,
Ведь она протекает сквозь жизнь
Глубоко и подспудно.

Тиса детства!

(Пускай не подземная это река,
Но, по счастью, никто ее в это мгновенье не видит.)

* * *

За униженье наших рук пустых,
Что к свету тянутся и ждать не в силах,
Дай нам слова прозрачней смол густых,
Слова, что кровью заструятся в жилах.

И это слово страшное найди,
В глубинах плоти спящее безвестно,
О нем напоминает гул в груди,
Как звон непролитой слезы небесной.

Найди слова, имеющие плоть
И сердце беззаветное, живое
Для всех, кому тоски не побороть,

Для всех, кто смолк с поникшей головою,
Найди слова прямее тополей.
Пустые руки наши пожалей.

О, ВЕРНИСЬ

О, в комнату вернись свою
Под побеленный потолок.
Охотясь в поле без дорог,
Ты истомился по жилью.

И точно так, как на дубу
В листве безгласный червь живет,
Пусть кровь в молчание уйдет.
Пусть громко в юности трублю.

Теперь другой трубит другим,
Веселым, грубым, молодым.
О, не завидуй, о, вернись...

Твоя тростиночка почти
Сломилась. Льют и льют дожди.
Как ты устал! Ложись, ложись.

УСТАЛАЯ ПЕСНЬ

Где с миром связь оборвалась — там песня кончится.
Смотри, как дерево стою, плоды отдавшее.
Желанье двигаться, увы, в суставах корчится.
Что делать мне с рукой, и в ней — свободой давешней?

Слова, вы узники — бежать, уйти из тела!
Стихи не лечат — лишь певцам отравой служат.
К поэту стая воронья, смотри, слетела —
украдкой мозг его клюют, и кружат, кружат.

И песня, вырвавшись на миг, как крик, из горла,
чтоб в уши миру прогреметь светло и гордо,
вспять возвращается без слов — одно мычанье.

И пустота на всем пути, на всей орбите.
Но потерпите, о слова, но потерпите,
пока к вам рифму подберут смерть и молчанье.

* * *

Зову тебя, песня, из тьмы, из вечерней поры,
Из тени птицы, из очертаний горы.

Первое твое слово зазвучало уже во мне.
Тщетно тяну к тебе руки, словно во сне.

Из грязи тебя леплю, из глины тугой,
Разбавляю моими снами, моей рекой.

Ношу на себе известку, камни гружу —
Как башню тебя возвожу, этаж к этажу.

Воздвигаю ограду из снов моих наяву,
Сажаю вокруг деревья, высеваю траву.

Напою слезами деревья, чтоб в жаркий день
Прохладу они дарили тебе и тень.

Лицо твое прозреваю, камень долбя.
То ты мертвая, то живую теряю тебя.

* * *

Я не знаю, тень от ветки или ветку,
Что мне выбрать, взять в стихи и на заметку.

Я под лиственную сень вхожу (но взглядом
продолжаю быть на солнце, с тенью рядом).

И к чему теперь я ближе, стоя с краю,
То ли к ветке, то ли к тени — я не знаю.

Может быть, борьба за рифму нас подводит
Ближе к дыму, чем к огню, а жизнь проходит?

РУКИ

Руки нежны. И тверды. И упруги.
Знаю на плуге лежащие руки.

Руки с пилой. С топором. С нивелиром.
Руки над фруктами. Руки над миром.

Руки свергают и вновь поднимают.
В пропасти рушат. Казнят. Обнимают.

Не представляю, как эти руки
вдруг исторгают волшебные звуки,

и в каждом из пальцев сердечко стучит
и незаметно кровоточит.

Руки, коснувшись небес, посинели.
Сделались желтыми. И потемнели.

Ночью, во мраке, мне видится вдруг
круг ореола вокруг этих рук.

РАДОВАН ЗОГОВИЧ

УПРЯМЫЕ СТРОФЫ

Ответ иностранцу, который сердито сказал: «Вы забываете, что вы малая страна!»

Малая страна?
Спроси фашиста-зверя,
Где же
добирался он до края?
Мерою для плоского пространства
Не измерить
гор и гордость края,
Где герой,
живя и умирая,
Охраняет волю,
право, счастье,

У веков спроси,
пронесших бури,
Где они копытами
споткнулись,
Где они крылами
обломались —
На равнинах ли
земли бескрайной?
Или о гранитные вершины,
черные, упрямые, крутые?

Где они взнеслись —
и где пропали?

Малая?
А по-славянски
Разве это
«малолетка»?
Наш Триглав
не хочет чуждой власти:
Воздух над горой —
орлам не клетка.
Отчего же
гордость гордой выси
дразнит вас
под небом необъятным?

Разве мы по мерке
в рост не вышли?
Наша родина
как раз
под стать нам.
Скроена по славе
и отвага:
Ни тесна, ни коротка —
свободно.
Правда, на тропе
двоим нет места:
Может, для людей
иного шага,
Для чужих
она
непроходима.

Малая?
Но сердце — вся ей мера,
Родине моей
в любви и в песне.
Вы своим довольны королевством,
Нам же
родиной дышать не тесно:
Широко
в республике свободной.
Станем же,
как рекруты, мы рядом

На вербовке —
и измерим сердце:
Разве наше сердце
не шире и отрадней?

Или в нашем
радости не больше?
Или наше сердце
бьется мельче,
Оттого что
земли нашей меньше?
По чьему ж должны — скажи —
приказу
Измерять мы
честь свою и гордость?
Как не терпит кривды
здравый разум,
Так учить себя
мы не позволим.
Не позволим
право нашей чести
Мерить человека недостойной
Мерой метра,
звонкою монетой.
Для свободных
этой меры нету.

Малая?
Лишь пролитая щедро
Кровь за родину —
ее мерило
Для путей,
границ ее.
И Славу
Мерой сердца
доблесть утвердила.
Измеряй страну
ты славным следом
Наших дел —
вслед вражеским отрядам.
Края крови нет,
край славы — лишь пределом
Он пролег
с отвагой нашей рядом.

Нет,
не мерой,
годной для пространства
плоского,
Не метром, не аршином
Меряй ты страну,
но славным сыном,
Одолевшим бури
и невзгоды,
Вставшим, будто горы,
исполином.

ЕСЛИ УЖ ЗАПИСЫВАТЬ СНЫ...

Не стучал. Ни к чему. Он в Бутырках к тюремным порядкам
привыкал. Я не ждал. Я глаза протираю, не веря.
Дверь откинув рывком к моим пяткам,
он — лицом из-за дыма — возник возле двери.

Он вошел. Я лежу. И тепло в моем теле,
как весною вода, наполняет до края и — через.
Он, огромный, в проеме дверном умещается еле.
Не сгибаясь. Рассерженно выпятив нижнюю челюсть.

Усмехается, щурясь. Стоит, для прогулки одетый.
Через руку — пальто. Трость — о камни стучать мастерица.
Галстук. Серая кепка. В зубах сигарета
стихотворными замыслами дымится.

«Ну, пойдем!» — говорит. Я уверен: от моря до моря
мы свободно пройдем с длинноногим попутчиком этим.
Мы выходим вдвоем в коридор. Ни души в коридоре.
И тяжелая дверь перед нами срывается с петель.

Лестниц нет. Тишина. Расступаются стены.
Стены в солнечных бликах. И только что настланный, новый
пол. И пахнет смолою сосновой
коридор, вылетая к Дорчолу и Срему.

Где мы? В городе? Где же набухли росою ботинки?
В ивняке! Он становится непроходимым.
Мы спускаемся вниз по откосу, по узкой тропинке.
Вьется, вьется тропа над любимым стремительным Лимом.

Над лугами, полями — зеленый стремительный ветер
рожь и тень ото ржи перемешивает руками.
Маяковский (а это был он!) — раз и два — ударяет о камень.
Два коротких удара и долгий, замедленный — третий.

Как стога, над рекою торчат снеговые вершины.
Сколот каменным гребнем косматый кустарник с рекою.
То ли ритму вершин, то ль своим стихотворным аршинам
Маяковский бормочет: «Годится!» Доволен строкою.

Мне б хотелось послушать. Но он, шевеля сигаретой,
неохотно, сквозь зубы, бросает словечко.
Он шлифует строку. И работе ритмической этой
не мешает, мортирами бухая, горная речка.

Ну а я — о своем... Все слова, как назло, застревают
где-то в самом начале. Как выхлопы мотоцикла,
строки наших стихов оглушительно в лица стреляют.
Говорю: «Не читали ли вы нашумевшего цикла —

«Турпитуду»?» Смеется: «Футурим, ребята, футурим!
Всех мастей отщепенцы хотят породниться со мною.
Одному я — отец. Другому — свояк или шурин.
Подгоняют к любому фасону, к любому покрою.

Да, читал. Эту книжку в одном утонченном салоне
отыскал я на полках, роскошных и пыльных.
Дым и треск. Ощущенье бензиновой вони.
Разъедает глаза. Непонятно: при чем тут напильник?»

«Ловкачи! — говорю.— Вот недавно один из таковских
про играющий в жмурки Белград сочинение выдал.
«Я здоровался,— хвастает,— за руку с Маяковским!»
Маяковский спустился к реке. Руки вымыл.

Посмотрел на часы. Еще раз оглянулся на горы,
наших лиственных склонов внимательным взглядом
коснулся...
Я от страха, что сон мой окончится скоро,
и от счастья, что он мне приснился, проснулся.

Утро. Камера. Бледная лампа продрогла.
Потянулись с охоты клопы вереницей.

Вырастает над утренним городом призрак острога,
призрак, крытый кровавою черепицей.

Я в тюрьме. Я лежу. Я в себя прихожу постепенно.
Улыбаюсь недавнему сну благодарно.
Как зеленый росток, сквозь тюремные стены
прорастает мой сон под недремлющим оком жандарма.

КОЛОКОЛ, У КОТОРОГО ОТРЕЗАЛИ ЯЗЫК

Центр большого города. **Музей.**

Мокрый, замерзший, огромный, как горе,—
добунтовывать и домучиваться сюда он переселен,—
колокол, у которого за призыв к восстанию, за набатный звон
отрезан язык под корень.

И теперь он здесь: мертвый и вечный — нощно и денно.
Как каске на голове убитого, ему холодно.
Он в голос кричит неслышно. Нет мукам предела!
В камень раскрытым ртом врезался колокол.

Он осужден пожизненно, навечно оставлен,—
на распутье ветров и классов — раскольник в городе.
Может птица коснуться его. Он слышит крики восстаний.
А сам — возмущенный бунтарь — лишен голоса.

Без башни, которая высилась над деревьями и над домами,
без веревки, натянутой, будто мышцы — безмолвный титан,—
каждая радость, каждое горе — мука немая.
Нет языка у колокола. Колокол отрокотал...

Где же язык, чтобы поведать о ветре, о звонкой капле,
о лепете листьев, о прикосновении ласточек?
Ласточки его задевают, и он дрожит, как от кашля,—
в спазме бронзы, в оспенных крыльях распластанных.

Где ж твой язык, чтоб о каждом рыданье звенеть,
звать к возмущению, качаться в яростном крике?
Все принимает, на все отзывается медь.
Лишь повторяет ржавчина: «Ты — безъязыкий! Ты —
безъязыкий!»

Все есть в этой бронзе, дрожащей в предчувствии боя.
Все есть в ней — казни, пожары, муки и горести.
Людские давние боли. Непрерывные боли.
Боли без меры. И без конца. Лишенные голоса.

* * *

Были нежнее, были красивее, с мягким голосом, с
ласковой речью,
Те, что внутренним смехом светятся, внутренним
светом озарены,
Были прошеные и непрошеные, и в минуту безумья
встреченные,
Чтоб потом во сне примирение видеть, зная, что
это лишь сны...

Но ты — упрямая, гордая, смелая, чувственная и
верная,
В белом платье, в лучах поморавского солнца,
теплого, золотого,—
Ты для меня единственная, ты моя молодость первая,
И с нею ты вместе таешь и каждый раз
возвращаешься снова...

ЭТИ СНЫ, ЭТИ СНЫ, ДОМИНИКА

Эти сны, эти сны, Доминика,— обезумеешь и проснешься,
а сон продолжается: торчит из тебя, как пика, как штык, он.
Будто ствол с топором, в тебя всаженным, в землю ты вросся,
сам гневаясь на себя,— что ж застыл, не кричал ты криком!

Вновь и вновь подытоживаешь себя: отупевший, отшибленный
от годин своих в этой коре, в этой мялке коварно-глухой ты, как
глина сырая.
И возвращается сон. Каждый раз он наводит на мину. И гибну я,
Разрываюсь на клочья. Теряю тебя и теряю.

Теряю тебя и теряю и вновь нахожу, похищаю, теряю еще
тяжелей и глуше,
а проснусь — и болит, и болит. Ну и пусть, хорошо, что болеть
еще может!

Ведь любовь не исчезла, а с юностью только укрылась поглубже
в корни. С юностью в снах там живет она все же.
О премудрость деревьев! Когда у дороги деревья ввивают ветвь
в ветвь, вилу в вилу,

так до старости выстоять могут, нерасторжимы.
А зимой их зеленая кровь превращается в стон, спускается
в жилы,
тот же сон видят корни, сплетаясь,— хотя б до тех пор, пока живы.

Тот же самый. Те же воспоминания земли и лета,
и сами такие же, как когда-то,
хоть сосульки, седины древесные, сверху на них наплывают.
Это — сон о весне. И весна возвращается, хоть листвой
и не столь уж богата.
Но ведь капают звезды порой и с сосулек ночами — бывает!

Не исчезла! Любовь эта, с юностью в вечном союзе,
лишь укрылась поглубже, живет она юности снами.
Сны и сны, Доминика! Разбуженный болью, от боли сжимаешься
в узел
и не спишь, и доволен я тем, что хоть боли сознание с нами.

ИНСТРУКЦИЯ МАСЛИНЕ

Корнем за камень! За серый, за горный и злой!
В переплетенье утесов, стоящих и свергнутых, как истуканы!
Тощие, битые, сжатые корни переплети и врой,
Пальцы сожми и раскрой, словно клюв, и защелкни их, словно
капканы.

В камень всверлись! Он отчизны покров и кора!
Корнем буравь — каждой тыща одною рабочею жилой,
Каждая жила была чтоб крепка и остра!
Чтобы хватала, как клещи! Чтобы колола, как шило!

Щупай. В расщелины влезь. Если выщерблен камень дождем,
Корень — в щербину! Вгрызайся, не зная покоя.
Нету дождя? Так залей его пóтом. Потом
Перемели этот камень. Питайся мукою такою.

Будь как скала! Пусть кожа, что нынче нежна,
Станет дубленой и серой, словно горы этой кожа.
Стоит! За листья, что ждешь ты так пылко,— совсем небольшая цена.
Стоит! За чащи цветков, за плоды, что на капли похожи.

Пусть твои корни сплетутся, совьются, как толстый канат,
И семикратно, семижды переплетутся,
В землю вцепись! Пусть на тридцать мучений подряд
Мертвым узлом эти корни сойдутся.

Треснувшим камнем запахнешь во время жары,
Стадом тюленьим, сырым, запахнешь зимою.
Пусть будут листья снизу — серы,
Сверху они — маслянисты и сберегают от зноя.

Пусть, словно пчелы, цветы твои по ветру вдаль полетят.
В соты снесут на ворсинках щепотки землицы.
Тени копи! Те, большие, что ночью лежат,
В полдень надень на себя, чтоб от зноя укрыться.

Стоит! Пусть корень ободран, избит и устал,
Пусть эта тень под тобою не будет травою.
Ради сережек маслин (синий, потный, как масло, хрусталь!),
Ради того, чтобы ты говорила листвою.

Трудно тебе! Расщепись, издырявься, как сеть.
Окамени переплеты корней твоих тощих.
Ружьям ветров эту сеть расстрелять не суметь.
Ран будет меньше. Не свалят тебя. Не затопчут.

Ежели волны, косматы, черны и толсты,
Как бегемоты, что с чавканьем возятся в иле,
С юга примчатся, водой обдавая листы,
Чтоб растворить тебя в соли и гнили,—

Стой! Напрягись и застынь, отбивая десятки атак,
Маслом залейся — надежней не сыщешь покрова!
Стоит! За это блеснет тебе ночью маяк.
И пропадет. И блеснет тебе снова и снова.

Стоит! Хоть ради труда рыбаков,
Масло твое ночную дорожку им высветлит.
Ради трех капелек масла! Ради трех малых цветков!
Стоит выстаивать — стоит, чтоб выстоять!

ДУШАН КОСТИЧ

СЕЛО НА НЕРЕТВЕ

Ой, любимый, яблоко на ветке,
Где ты с партизанами в разведке?
Губы где твои, глаза и брови,
Блеск зубов и сабля наготове?
Над немым селом встают туманы...
Почему их нет? Где партизаны?
Я горой пройду — мертвы засады,
Где вы, партизанские отряды?
Никого? Одна иду дорогой,
Где гремел недавно бой жестокий.

Через брод я вам еду носила,
Вам с черешни ветку отломила.
Лугом я иду, зеленым садом.
Разливалась здесь весною ранней
Песня партизана удалая.
Ты здесь песней мое сердце ранил:
«Ой ты, девушка, душа родная!»
На меня взглянул ты светлым взглядом,
И тебе всю душу отдала я.

Ой, любимый, мне пришли привет твой,
Приходи в село по-над Неретвой,
Солнце встанет ласково над нами,
Тополя листвой заколыхают,

Переулки заблагоухают,
Нашим смехом — мятой, васильками!
Ой, любимый, отблестит зарница,
Пусть пшеница на твой серп ложится!

ВОЛУЯК

Печаль разлуки,
печаль ухода
звенит в солдатских шагах.
И тонут,
как это жаркое солнце,
радость в душе
и смех на губах.

С богом!
Солдаты свой край покидают
и глядят на туманный склон.
Шаг за шагом,
одно за другим погибают
сомненья нестройных, усталых колонн.

И дождь,
и растоптанный горный снег
на круче,
где не ступал человек,—
это пустяк.
Ни ветер в лицо,
ни ущелья,
ни голые скалы
не остановят отряд усталый —
это пустяк.
Преодолеют наши сердца
бездонные эти провалы.

Шагает войско,
усталое войско —
в глазах ненасытный голод.
И все же
у сердца такое свойство:
оспаривать боль и беду
и беречь навязчивую мечту —
солнечный город.

Перевал.
Войско на марше.
На дне тумана — родные поля.
Войско, прощаясь, рукою машет.
Земля,
как много тебе отдают,
как много тебе отдают,
о попранная земля!

НЕВЫСКАЗАННОЕ

Посмею ли я на тебя взглянуть на рассвете,
увидеть глаза твои — глубокие омуты Неретвы,
как пропасть, бездонные:
в них вспыхнет страданье и кровь заалеет на круче!
Забылся я, грешник, в бреду, одинокий и раненый,
в ночи после боя, на этой лежанке залежанной:
ох, только б увидеть глубокие омуты Неретвы,
пусть в небе плывут облака в ожидании жатвы,
все дальше, все дальше...

Прошу: одари меня, ночь! Сверкают и движутся звезды
по небу, распятому горними кручами Чврсницы.
В терновнике шепчется ветер и трется о скалы.
Не спит кто-нибудь? Есть ли кто-нибудь, кто бы увидел,
как в сердце сжимаю войной заглушенное слово
в селе этом вымершем, сумрачно горбящем крыши?
Зачем эта рана в груди? Почему не проходит?

Не дайте заглохнуть, о горы,
зерну, что заложено в душу мою, словно в пашню.
Не знаю, где смерть притаилась в засаде.
Предчувствую многие весны,
предчувствую нашу любовь... Не высказать этого.

ОТКРОВЕНИЯ

Частицей души поспешим причаститься
К далекой стране, к небесам далеким,
Чтоб и в разлуке не разлучиться
С тополем, с облаком одиноким,
Которым подарена эта частица.

Не будем ходить по земле с испугом:
Пускай поведает наши тайны
Морским берегам и речным излукам
Слеза случайная, смех случайный
И берег неведомый станет другом.

Иное увидим при хмурой погоде,
Иное — в певучести знойного гула
И сызнова обретем в походе
Все то, что в глубинах души уснуло.
И к заводи каждой,
К поляне каждой,
Увидев незримые их сраженья,
Привяжемся сердцем,
Исполненным жажды,
Косноязычья
И благоговенья.

Земля поразит нас разнообразьем,
И все позабытое
Вспомнится снова,
Когда мы все города украсим
Красотами городка родного —
Тополем,
Облаком одиноким,
Знакомым окном
И дымком пекарен...

Давайте всем небесам далеким
Свои глаза,
Не скупясь,
Раздадим!

СОЧА

Кирилу Космачу

Повстречался я с нею за горной грядой.
Мимо пастбищ я шел по тропинке крутой.
Шел я к склонам зеленым за грань перевала,
Чтоб ко мне моя Соча, целуя, припала,

Чтобы спутала волосы ветром долины
И покоем овеяла блудного сына.
Я ее повстречал, и она ослепила,
Словно серым крылом светлый мир заслонила.

Где слова, чтоб обнять эту просинь излучин,
По которой тоскую, которой измучен?
Что за цвет? Голубой? Серебристый? Зеленый?
Все река полонила — эти долы и склоны.
Вся она словно сон, как трава молодая.
Отшумевшие ветры вновь шумят, пролетая.
Где слова, чтобы выразить эти красоты?
Разве можно прибавить к синеве позолоту?

Предо мною граница, синеглазая Соча.
Как влекут, как манят эти ясные очи!
Здесь, где быстрым судам неизвестна дорога,
Мне бы синей надежды и любви хоть немного!
Если тянет тебя к синеве небосвода,
Пусть он будет как эти бегущие воды;
Если манят тебя чьи-то нежные очи,
Вспомни Сочу, вернись к своей Соче!..

Крето Хегедушич (Хорватия)
Весна. 1930 г.

ИЗЕТ САРАЙЛИЧ

РОЖДЕННЫЕ В ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕМ, РАССТРЕЛЯННЫЕ В СОРОК ВТОРОМ

Брату Еще, расстрелянному 16 июня 1942. Ему и всем, которые были как он.

Сегодня вечером мы будем любить за них.
Было их двадцать восемь. Было их пять тысяч и двадцать восемь,
было их больше, чем в песне может вместиться любви.
Сейчас бы они были отцами. Сейчас их нет в живых.
Мы, которые по перронам века отболели одиночеством всех
мировых Робинзонов,
мы, пережившие танковые атаки
и никого не убившие,
маленькая моя, большая моя,
сегодня мы будем за них любить.

И не спрашивай, могли ли они вернуться. И не спрашивай,
могли ли они повернуть обратно в последнем пути,
когда впереди алел Коммунизмом горизонт их желаний.
По их лишенным любви годам, все в ранах и при этом прямо
прошло будущее любви. У них не было тайны примятой травы,
не было тайны опустившейся руки с выпущенной лилией,
не было тайны первой расстегнутой пуговицы там,
где шея сходит на нет.

Были ночи, была проволока, было небо, на которое смотрят
в последний раз, были поезда, которые возвращаются пустыми.
Были поезда, и были маки, и с ними, с печальными маками того
лета войны, отлично наловчившись подражать,
соревновалась их алая кровь.

А на Калемегданах и Невских проспектах, на Южных бульварах и
на набережных Расставания, на площадях Цветов и мостах Мирабо,
прекрасные и тогда, когда не любят,
ждали Анны, Зои, Жаннеты. Ждали возврата солдат.
Не вернутся, ну что ж, их белые, не знавшие объятий шеи
достанутся парнишкам помоложе.

Не вернулись. По их расстрелянным глазам
прошли танки, по их расстрелянным глазам,
по их недопетым марсельезам. По их простреленным как решето
иллюзиям. Теперь бы они были отцами. Теперь
их больше нет, там, где встречаются, чтоб любить,
там сейчас ждут их могилы.

Маленькая моя, большая моя,
сегодня мы будем любить за них.

* * *

Граммофон заведите старинный
и старинные вальсы послушайте!
Дождик, дождик
льется
на цветы, на стихи, на бронзу.

На листву, на деревья, на губы
дождик,
дождик
льется
предзнаменованьем разлуки.

Всласть ли любили вы, те, кто
этих стихов моложе?
Лето пришло
и прошло...
Вдоволь ли вы налюбились?

Граммофон заведите старинный,
и старинные вальсы послушайте,
и тихонько вместе с дождем
старомодно
поплачьте, поплачьте!..

ПИСЬМО В ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД ТАНЕ САВИЧЕВОЙ

Таня, Танюша.
О, если бы можно тот май
продолжить на десятилетье!
В Ленинграде цветет жасмин,
как будет цвести
и двадцатилетье спустя.
Слушай, малышка,
брось Маршака и Чуковского
и на улицу выбеги,
не пропусти ни единого дня —
в жизни твоей их осталась
самая малость.
А Маршак не станет серчать за то,
нет, Маршак не осудит тебя,
что ты в этом мае ему изменила.
Милая,
детских писателей сердит лишь то,
что читатели их умирают так рано.

О, когда бы я мог,
я послал бы в письме тебе все
человечества лучшие годы!
Май сорок первого — удивительный год!
Живы все Савичевы.
Мама печет пирожки.
Бабушка тихо ворчит.
Где-то опять загулял дядя Вася.

Таня, Танюша.
Май сорок первого — какой замечательный год.
И какой короткий.
О святая девочка Ленинграда!

Скоро уже загремит канонада,
и блокада начнется.
Выйди на улицу!
Не пропусти ни единого дня!
В жизни твоей их осталась
самая малость.

ГОВОРЮ О ЕВРОПЕ

Говорю о Европе, что рассталась вчера лишь с бронемашинами.
Говорю о Европе, с ее женщинами, так пленительно
произносящими Je vous aime, или Я люблю.
Говорю о Европе, с ее бывшими лейтенантами и с ее чемпионами.
Говорю.

Говорю о Европе, в которой парни собираются стать не меньше
чем Гейне, а девчонки — завтрашними мадам Кюри,
но Марс, Европы старинный бог, им путает карты, черт побери!

Говорю о Европе, с ее музеями, с ее могилами, с ее морями.
Говорю о Европе, с ее провинциями, из которых вышли великие
писатели прошлого и наших дней.
Говорю о Европе, с ее матерями, которые и мне доводятся
матерями.
Говорю о Европе, о ней.

Говорю о Европе, с ее солнцем, вчера только выпущенным
из-за проволоки, из-под стражи.
Говорю о Европе, с ее морозами, что не хуже Кутузова
умеют армии неприятеля разбивать.
Говорю о Европе, тихо, с желаньем, чтоб ни один из ее
купальщиков, ни на одном ее пляже
не вздумал бы песни военные распевать.

Говорю о Европе, которая на три века вперед наплодила
героев отчаянных.
Говорю о Европе, что вчера лишь в армейских ботинках шагала
и мчалась верхом.
Говорю о Европе, с ее великанами, улыбающимися печально.
Говорю о Европе, с ее рифмами и с ее свободным стихом:
милая моя Европа, вся, от Требиня и до Тулы, мне видишься ты.
Даже слышно, как жена моя ставит в вазу цветы
и как дышит моя маленькая Тамара.

* * *

Может, кто-то от собственных книг и хотел бы сбежать поскорей,
сесть в кафане и живописать бытия океан бесноватый...
Ну а что до меня — все, что с песней случилось моей,
то стряслось и со мною. Однажды. Когда-то.

Я себя лишь пишу. Разделяю судьбу моих книг.
Если горло свело — и у песни сжимается горло.
Отшатнулись друзья. Угодили в ловушку интриг —
и стихи мои, вроде меня, одиноко блуждают по городу...

А случись бы я, вроде других, вроде многих иных, написал,
что бессмысленна жизнь, и в нелепицу эту поверил сам,
я не ждал бы, когда отзовется ваш толстый журнал,
я бы попросту взял — и повесился.

ДАРА СЕКУЛИЧ

ОКРАИНА

Поезда и днем проходят, только днем поезда
не слышны
я их крики слышу в ночи,—

что-то сына моего терзает
что-то дорогому угрожает

брата моего на каторгу ведут
мир безумный войнами раздут

свора грязная насилует сестру
небеса целуют неродившуюся девочку мою

мать моя покойная зовет меня из гроба
в черном сердце где-то закипает злоба

это умираю я под паровозный свист
улетаю в дальнюю дорогу

уношу с собой прощание живых
остаюсь воспоминаньем строгим

это наша жизнь проходит

ДЕЛЬТА ДУНАЯ

Устала под конец.
Умерила свой бег
как будто перед смертью присмирев.

И, отдаваясь устью,
разлилась
и разделилась множеством протоков.
Не нужно ей теперь мужское имя.

Издалека с глухим рычаньем прорывая русло
сюда пробилась
и здесь, притихнув, задремала
в наносах ила, что сама намыла.

Струя хрустальная из мрачных недр земли
ровесница столетий
вечно юная
здесь с облегченьем дух перевела
и, обновляясь,
снова
умерла.

КОЗИЙ МОСТ

Ни с водой породнен и ни с берегом.
Один поставлен натиск отражать,—
дрожащая невеста иной раз перед сватами пройдет
то дробный стук подкованных копыт
разбудит эхо
то лета благодать позолотит его рассыпанным зерном.

Журчанью тихому беседы внемлет чутко
покровом льда одет в морозный сумрак
парит над радужным кипеньем пенных брызг.

Но свет обманный померк.
Придавлен темнотой в глухом ущелье
между призывом и дорогой дальней
усилием последним ловит он
прощальный отблеск солнца
во мраке под собою.

ВЛАДИМИР НАЗОР

НОКТЮРН

Тихо, тихо паучишка
нить прядет.
По полянке, под сосенкой, серна малая бредет.

А на небе из-за склона
ночь серебряная встала,
ночничок она достала
из глубокого затона.
И незрячего сынишку сон ведет к жилью.
«Под ресницами людскими я гнездо совью».
«Зрейте, ягодки!» — кузнечик
верещит в траве.
И прядет паук тихонько
нити две.

Боль-тоска меня снедает,
зла, люта.
Роза шип мне в грудь вонзила, шип с зеленого куста.

Вот и плачу, плачу, плачу
посреди прозрачной ночки,
бисерные ручеечки
стряхиваю наудачу,

и звенят они о мрамор,
словно молоточки.
О ты, роза, ветвь зелена, грудь терзает шип колючий!
О ты, роза, ветвь зелена, лучше грудь мою не мучай!
Мое сердце кровоточит:
ток-ток-ток...
На шипе колючей розы ядовитый сок.
Без слезы моей ужели
все цветы бы оскудели,
месяц плыть не мог?
И земля бы в колыбели
не заснула в срок?
Иль чужой тоскою хочешь утолить лихую боль!..
На поляну льют созвездья слезы, жгучие, как соль...
О, страдать при звездах легче!
Боль, боль, боль.

Эта ночь околдовала
лес и луг.
Где ты, где ты, соловейко! Без тебя скучает друг!
Слышишь тоненький звоночек:
колокольчик — синий венчик,
белой лилии бубенчик.
Слышишь, слышишь, словно струнка,
ягодка гудит любая,
незабудка голубая!
Сладкий запах льют соцветья в этот сонный мир.
Приходи скорей, колдунья,
будет славный пир!
«Зрей, невестушка!» — кузнечик
верещит в траве.
И на мягонькой постели
тянет, тянет паучишка
нити две.

Я один. Во всей округе
только ночь.
С кем тоской мне поделиться, радостью кому помочь?
С волоска, лесная вила,
ты росой меня поила!
Мне испить давала бражки
травка девичья из ϕляжки.
Воспеваю я сиянье звездных стай.
А в груди моей теснится и ликует целый май.

Эти пестики, тычинки,
и соцветья, и былинки,
сладкий запах, источаемый цветами
над лесами, над лугами, над полями,
мотыльков полночный трепет,
ручейков немолчный лепет,
сонной залежи дыханье,
звезд бессонное мерцанье —
все в груди моей, как моря
всплески, вздохи,
колыханье.
Воспеваю, воспеваю все ночное колдовство!
Это дикое цветенье, сладострастие его!
Что за ночь!
Но кому печаль поведать, радостью кому помочь?
Расцвела ночная ветка,
вырос жаждущий цветочек;
только сердце кровоточит,
льются капельки на травы —
редко-редко.

Ты пряди-ка, паучишка, свою нить,
тихо, тихо, чтоб ее не повредить.
Глядь, поймаешь этой почью
что-нибудь!
Сможешь в сети мою песню
заманить.

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ТОВАРИЩА ГОРАНА

Что грозите окруженьем?
Что пугаете нас смертью?
Окруженье! Но всегда мы
Жили тесно в окруженье,
За оградой заточенья,
Где цепей звенели звенья!
Смело сам я сбросил тягость,
Угнетавшую мне душу,
Одолел я все преграды
Стен высоких и широких.
Вылез из капкана злобы,
Сеть отчаяния сбросил,
И одним прыжком могучим

Я, как зверь, ушел на волю
А с вершины той, где ветер
Треплет волосы, где вольно
Дышит грудь, там будет легче
Вылететь из окруженья.
В высоту взлечу я смело,
Устремлюсь в даль без предела.
Что грозите страшной смертью,
Мне про молодость напомнив?
Я как ветвь в цвету весеннем,
Что плоды приносит летом.
Ширь шагами измеряют —
Жизнь годами не измерить,
Ведь и в час один возможно
Пережить всю жизнь, как вечность.
Светлый месяц в полнолунье
Повстречал я на вершине,
С неба колесом огромным
Он катился вниз по склону.
По лугам я шел цветущим
И взбирался на вершины,
Все спешил я дальше, дальше
Через горы и долины.
Пробираясь, шел на север,
Шел к селенью небольшому,
Шел туда, где я родился,
К старому родному дому,
Чтоб в саду моем весеннем
Утром с веточки на ветку
Нежные развесить нити
Юношеских грез, мечтаний.
Пусть блистают одиноко
Темной полночью глубокой.
Здесь стою и жду я солнце,
Молодое, на восходе.
Я приветом встречу солнце,
С ним хочу я побрататься!
Солнцу так скажу: «Я утром
Заблещу в твоем сиянье.
По всему большому миру
Дай с тобою прокатиться.
Над людьми ты только ходишь
По просторам поднебесья,—
К людям ты проникни в души,

Скованные льдом ужасным.
Тьма отчаянья в их душах,
В их сердцах лишь ил кровавый.
Просвети людские души,
Жилы и сердца прочисти!
Свет сияет на востоке,
Гибель всем богам приходит,
Время восставать титанам,
С небосклона ниспровергнуть
В мрачные, как тьма, теснины,
В топи самой черной тины,
В холод, в льдистые глубины
Солнце старое и звезды.
Молод я, и мне недавно
Вещий сон веков приснился.
Видел я, как небо в блеске
Опускается на землю.
Все колышется, все блещет,
Ярко ветви расцветают,
И сады моих желаний
Ширятся, растут и крепнут.
Нет ни старости, ни смерти,
Если в жилах кровь струится.
Для вершин страны свободной
Нет преград и окружений!
Солнце новое с востока,
Окружить меня не смогут,
Погубить меня не смогут —
Ты меня обнимешь, примешь:
На вершине той над кручей
Я взлечу в твой пламень жгучий!»

МИРОСЛАВ КРЛЕЖА

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА 1919 ГОДА

Памяти Карла Либкнехта

О Великое Безголовое Нечто, будь ты проклято вечно!
Вновь гноятся ладони людские — это раны на них гвоздевые,
и опять погребальную песню захрипели птицы слепые,
тьмы зловещие птицы — совы.
О Великое Безголовое Нечто, будь ты проклято снова и снова!
Встарь, толпу лжебогов разогнавши сурово,
принял крест Человеческий Сын.
Переместились кресты голгофского цирка
из гнилой Иудеи в королевский Берлин.

При кровавом тюремном мерцании шуцманской лампы
что ты можешь, хорват, поделать?
Остается одно хорвату — глотать свои горькие слезы!
Солоны слезы те.

Сохранится ли белым
оплеванный, голый идеал твой, распятый
навек на кресте?
При кровавом тюремном мерцании шуцманской лампы
что ты можешь, хорват, поделать,
если длится Европы Страстная Пятница,
если Сын Человеческий вздернут на крест,
если жгут ему раны и кожу дерут,
если пули летят и проклятья камнями катятся?

Длится, тянется Европы Страстная Пятница!
Содрогается шар кровавый — Земля —
от Капштадта до Пекина, от Рима до стен Кремля.
При мерцании заупокойной лампады
пьет за тризной хорват и печально поет:
вот еще одна голова, как кровавое семечко, с плеч слетает.
К мачте вновь пригвожден адмирал!
Но смотри:
рассветает
Интернационал!

СУМЕРКИ НА СТАНЦИИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ГОРОДКА

Стала, понурив голову, больная белая кляча,
бросив гири боли в глубины печали и плача,
больная, последняя, белая, покрытая язвами кляча.

А люди несут чемоданы, пакеты со снедью разной,
свертки в газетных обрывках, жирных, мягких и влажных,
светится никель пуговиц у носильщиков важных,
а все краски серые, с серой палитры грязной.

Все движенья тяжкие, люди согнуты, немы,
какая-то горбунья несет три хризантемы.
Блеет где-то в кустарнике голодная обиженная овца,
шуршит юбка молодого монаха,
веренице серых тряпок не видно конца,
в протянутую руку лысого слепца
звенят монеты.
Гудок!
Как яхта из бронзы и лака,
грохочет железный грохот — экспресс рванулся из мрака,
сквозь серую гниль заборов, печальную серость бараков,
несутся на белых скатертях рюмки виски, рома, арака,
чемоданы свиной кожи, ярлыков гостиничных драка,
серебряные приборы несутся мимо оврага,
блистающие окна под лентой дымного флага
несутся сквозь серые тряпки и серую голь барака.
Сияют дверные ручки, красное дерево блещет,
огромные светильники в светлых вагонах трепещут,
в лживом облаке дыма горит небесная блажь!

Стала, понурив голову, больная белая кляча,
бросив гири боли в глубины печали и плача,
больная, последняя, белая, покрытая язвами кляча.

У станционной ограды лысый слепец причитает.
Он валится на колени и землю руками хватает,
и мрак опять мрачнеет, а темнота нарастает.

НАШИ ВОСПОМИНАНИЯ

Как в толще дерева, воспоминанья
кругами ширятся в теснинах плоти.
Как воду из колодца, достаете
виденья эти, спящие в тумане.

Но сердце глубину колодца чует.
Там прошлое живет, не убывая.
Воспоминанья, как вода живая,
виденьем затонувшим нас врачуют.

Уют забытых комнат в нас таится,
спят города, и мрак живет ненастный,
и опочивших дорогие лица.

Во тьме сияет круг колодца ясный.
Видения на зов печали властной
взмывают, как встревоженная птица.

ПЕТРУШКА И ПОВЕШЕННЫЕ

A. D.[1] *1570*

Повешено три поганца, три вора, три оборванца...
Керемпух, черный бродяга, от виселицы — ни шага!
Эй, потаскухи, внимайте, блудницы,—
клейм кренделями припечены ваши лица —
Керемпух, барсук кайкавский, честь имеет к вам обратиться!

Все это, видно, глумятся черти,
чтоб человека огнем печь до смерти.
На сковородке — смотреть жутко —

[1] Anno Domini — год от рождества Христова *(лат.)*.

человек поджаривается, как утка!
Вот истязанье!
А четвертованье? Семь раз в неделю
на то наказанье мы глядели.

О, шествие нищих, голодных и босых,
сеченых, клейменых, гнусавых, безносых!
Вот сигнум[1] жидовский: желтая метка!
А вот кобыла. Вот графская клетка!
В ней лихо вы пляшете танец кандальный,
многострадальный,
а я, Петрушка, певец печальный,
под виселицей и повесил
свою тамбуру. Ах, не весел
напев керемпуховских песен!

Но день придет — поверьте, люди,—
под косу смерти лягут судьи.
Они позабудут кричать нам: «Сигнаре
кум ферро!»[2] и больше уж запахом гари
с костров не повеет. Имею я веру:
услышат и судьи: «Сигнаре кум ферро!»

Судейские перья смерть вырвет! И я вам,
Керемпух, скажу: унесет еще дьявол
епископа в пекло! Пойдут туда графы
и бары!.. О, подати полные шкафы!
Кровавый платок Вероники — в рубцах наша кожа! Но трубит,
в трубу свою трубит товарищ крестьянин по имени Матия Губец.

Розги, крюк, четвертованье,
угли, дыба, петли, петли,
пламень, как из ада...
И еще, какие надо, все другие истязанья, все другие смерти.
В башне замка, в графской клетке лютые парады.
За голову нашу рабью танец без пощады,
уж поверьте мне, поверьте — не звучало даже в пекле
этакой баллады.
Коли голоден и бос я, если красть мне надо —
я-то знаю, куда лягу и на что я сяду...

Под бичом трепещем, наги! Вывернуты руки, ноги...
И в петле-то вам, бедняги, передышки нет, бродяги.

---

[1] Клеймо *(лат.)*.
[2] Клеймить железом *(лат.)*.

Не мечтал господь об этом благе,
чтоб епископы, как попугаи,
возле виселиц болтали, призывая
нас благословить свои вериги.
Сказано: если кто козу украл, тот вор
приведет пострадавшему вола на двор.
Вот приговор! Но о чем разговор?
Кто имеет вола, тот не станет красть коз!
Кто имеет вола, у того — полный воз!

Зашипит под клеймом только тот, кто гол и бос!
Мол, украл кусок хлеба — повесят за шею и вздернут под
самое небо,
чтоб как памятник правде висел и качался в петле бы!
А чтоб снял с себя преступник тяжесть смертного греха —
пусть отдаст он свой живот для орга́на на меха.
Просверлите ему око, чтобы стал слепой мешок он!
К хвосту кобылы привяжите и по городу влачите мимо окон!

Иродовы розги, жгучие бичи!
Как рыба на суше, нищий, трепещи!
Чье под серным пламенем личико морщится?
Хорошо спеченная ведьмочка там корчится!
А епископ в своем плювиале домастовом
по-латыни намекает голосом ласковым:
мол, в молитвеннике старом есть премудрые слова,
что за нищего в ответе беднякова голова!

О вы, грамотеи славные, коварные,
наши гуманисты прегуманитарные!
О грабанцияши, вы, студенты наши, некроманты наши,
псалом по панихиде эти речи ваши —
это яд змеиный в гефсиманской чаше!
Ведьмы на могильщике мчатся, хохоча,
гробовщик с доносчиком кличут палача...

Тот, кто на ветру не вывернет плаща,
будет этим ветром погашен, как свеча!

И СРЕДИ ЦВЕТОВ СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ

Меж цветов нет правды тоже,—
так вонючий подорожник,
завистник жалкий,
говорил фиалке:

«Тебе любо, тебе любо,
фиалке кудрявой,
когда ходит по дорожке
цветастая пава.

А нам тяжко, а нам тяжко
на пашне на черной,
рядом с жалкими друзьями —
с повиликой, с терном.
Подсолнухи, розмарин
да на грядке георгин.
Маргаритки, францискан
пахнут, словно марципан.

А бедняк болиголов
вреден для иных голов.
Крапива жалит, а лопух
воняет, как нечистый дух.

Травка, кротовик и лютик,
от них и кошка носом крутит,
воняют, как чихирник,
смердят, как гной,
от них и пользы нет никакой.
Когда в божьей простынке
возлежит на спинке
младенец Иисус,
не ищет он постели
в осоке, в чистотеле,
и в цикории робком,
горьком на вкус».

Цикламен и бархатец, горошек и вьюнок
слышат, как бунтует подорожник-дурак;
и бархатец молвит: «Дурак ты, дурак,
да будет так, как велел нам бог.

Я, к примеру, не лилия, не розовый куст,
не родился сиренью и о том не пекусь!
Я бархатец скромный, и жить я умею,
пускай, как ландыш, а не как Галатея!»

Но сказал подорожник: «Нет уж, мой сударь,
простите меня за дерзость и удаль,
я, как колокольчик, кланяться не буду.

Вы себе в садочке живете, как боги,
а нас воробьи клюют при дороге,
на нас коровы гадят, цыган мочится —
на нас и черту поглядеть не хочется,
у молочая, у барвинка похабный вид,
а в ваших простынках младенец спит.

Но ежели так надо и есть на свете так,
чтоб на одного мочились цыган или вол,
а другой чтоб, как лилия, во садочке цвел,
ежели так должно быть, то пусть будет так,
а я, как завистник, как дурак и бедняк,
вставлю себе в шляпу полыхающий мак,
и пусть подует ветер, ветер — северяк!

Северяк — козодер, жабогуб, змеестрах,
он сдерет все краски на ваших штанах,
а нам все равно — мы плевелы, терны,
сорняки, подорожники, коровьи блины».

ИВАН ГОРАН КОВАЧИЧ

ВЕСЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

На холме она высоком,
И веков немало ей,
Заросла травой до окон,
Приютив нетопырей.

Голубей пугливых стаи
Не тревожит медный звон.
Эту церковь, умирая,
Запереть велел барон.

Он желал, чтоб страстотерпцы
Были строги в меру сил,
Но ваятель, щедрый сердцем,
Их весельем одарил.

В алтаре Антоний мудрый,
Светлым пламенем одет,
Смотрит, лихо вскинув кудри,
Как насмешливый студент.

Смех в глазах его лучится;
Замер с поднятой ногой
И, чтоб наземь не свалиться,
Оперся на посох свой.

С царственным жезлом Микола
Рядом с ним — и тоже рад,
Митра — башнею тяжелой,
Борода — как водопад.

Петр святой в углу бряцает
Золотым ключом своим:
— Кто здесь путь нам преграждает?
Ну-ка, схватимся с любым!

Там монашек седовласый,
Как юнак, пустился в пляс,
Разметались полы рясы,—
Нынче грех, мол, не про нас!

Деревянными крылами
Машет ангельский народ,
Славно топают ногами,
Скачут, будто грех не в счет.

Сквозь проем, заросший цвелью,
Солнца луч блеснет из мглы —
Тут уж нет конца веселью,
Что достойно похвалы.

Моисей один сурово
Накреняет грозный рог...
И от зрелища такого
Улыбнулся старый бог.

О милейшие святые,
Вы теснитесь по углам,
Страсти в вас кипят людские,
На простор бы выйти вам,

В белый свет, в родные дали,
Чтоб весельем да игрой
На земле лечить печали,
Ободрять народ простой.

Вечно б вы бродили в мире,
Согревая смехом всех,
Часом с чаркою в трактире
Посидели б,— то не грех.

ТРОПА

То в пятнах солнца, то голуба,
Сквозь чащу леса бежит тропа.

На ней и зайцев и серн следы,
И шрам колесный увидишь ты.

Должно, с дровами тянулся воз:
Там — птичьи стежки, здесь — червь прополз.

И вновь не видно нигде следов,
Тропинка вьется среди кустов,

Вокруг оврага скользит петлей,
Играет в прятки сама с собой,

Взлетает к небу и вдруг стремглав
Ныряет в бездну, совсем пропав.

Дивишься — в яви то иль во сне,
В какой ты сказке, в какой стране,

Не слишком ярко и не темно,
И сердце миром полным-полно.

И все печали, и все труды
Тобой забыты, и счастлив ты.

МОЯ МОГИЛА

Пусть в горах над бездной гроб поставят мой,—
Черный шорох сучьев, лютый волчий вой

Пусть я слышу, мертвый, сквозь снегов лавины,
Недоступный зовам кинутой долины.

Пусть к гремящим тучам вознесут, как трон,
Чтоб не осквернённым был мой вечный сон

Благовестом, страхом, покаяньем сирых,
Горькими мольбами о спасенье мира.

Пусть лишь друг заветный гроб в горах найдет,
А когда простится — след свой заметет.

ЮРЕ КАШТЕЛАН

* * *

Все, что рождается, несет свою кончину,
и свой восход, и временности прах,
а если месяц над селом — в улыбке,
не холодит меня, как прежде, страх.

Чередованье жизней — непременно,
оно оставит кости от меня.
Товарищ юности моей, откуда
явился ты на пламени коня?

Все, что рождается, несет свою кончину,
и свой восход, и временности прах,
а если месяц над селом — в улыбке,
не холодит меня, как прежде, страх.

ВСАДНИК

Скачи, мой конь Ты слышишь зов трубы?
Скачи,
мой милый.

— Эй, всадник, всадник мой,
длинна ль твоя дорога?
И где твоя звезда?

Ты слышишь ржание? И барабан. И топот.
И лезвий звон.
Ты слышишь, конь мой милый?

— Там, где заря и солнечные копья?
И глиняный корчаг воды,
мой конь?

Скачи, мой конь. Ты слышишь зов трубы?
Скачи,
мой милый.

КРЕПОСТЬ, КОТОРАЯ НЕ СДАЕТСЯ

Я крепость, и сердце — это мое знамя.
Мои стены невидимые — из ран они сложены.
Против нападенья
выставляю колыбельную песню.
На всех моих башнях бодрствует стража,
а на берегу стоят корабли
из камыша и тамариска.
Железные флюгера
смотрят туда, где войско,
где точат стрелы
и маслами мажут бедра и мышцы —
там поднимается солнце.
Я крепость, и сердце — это мое знамя.
Крепость, которая не сдается.
Не сдаются мертвые, они ничего не чувствуют.
Не сдаются молнии в полете своем стремительном.
Не сдаются живые, у которых глаза — как алмазы.
Рушатся укрепленья,
Но не эти, из мечты моей созданные.
Я крепость, и сердце — это мое знамя.

ПАМЯТИ ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЧА

Ищу твою могилу в глубинах своей крови.
О черные, подлые ножи, отрезающие землю от мечты,
бьющие под корень дыханье и слово.
Смерть в угрюмых горах.
В угрюмых горах
пролилась кровь поэта.

Петухи каждое утро провозглашают, что в любом солнечном луче
ты вечен.
Быки ревут над мертвыми ангелами скорби,
кони твоей тревоги влачат по кругу отчаяния твои кокарды и
твои кости.
Врбница — не гробница,
а река, вечно смывающая земли твоей крови.

Рожденный в первый день весны
ты пребудешь в веках ласточкой, верной голубизне.
Луна тебя завлекла и тучи взяли к себе.
О большое дитя, удивляющееся в мире рыб и вод,
в мире звезд, в мире пещер и трав,
в мире стеблей, потоков, мельниц, мостов и лесов,
в мире волков, волков, волков,
в мире рвущих на куски волчиц.

О ребенок с глазами мотылька и златоколосными кудрями,
если б мог я создать тебя заново
или оживить в твоем Луковдоле,
если б мог я сделать это сегодня утром,
нарек бы Землю твоим именем,
превратил бы твои глаза в солнце и голубизну.
Но ты знаешь слово, что горше тревоги, острее ее лезвия.
В миллионах твоих сердец умножается боль.
Ты имеешь право глядеть сурово,
потому что роздал себя людям,
разделил свой гнев и свои стихи между ними
с геометрической прямотою.

Тебе знаком язык вещей,
язык языка, язык пустоты,
и судорога одиночества на кладбищенских перекрестках,
и одиночество эскиза,
одиночество крика, приходящего издали,
отзывающегося в крови,
одиночество плача.

Укройся в ветвях, Иван Горан,
и восстань шумом водопада.
Приди в трепете листвы с голубкой на ладони,
с цветами в глазах, с пламенем в мыслях.
О юноша с мощью мужа, с мощью жернова, землекопа и дровосека,
юноша, заглядевшийся на аквариум неба.

Пусть течет время.
Пусть течет время.
Пусть течет время.

Приди ко всем любимым тобою и любившим тебя, даже не зная о тебе,
приди со свитою твоих вымыслов,
с твоими семью звонарями,
с твоим мраком
и опочившей на волнах Офелией.
Поэт в шеренгах мятежа,
в омутах безнадежности,
на материках надежды,
на всех берегах сущих, но еще не заселенных искусством.

Нет моря без потонувших кораблей.
Нет берега без израненных скал и леденящих взоров ветра.
Вершина — не вершина, если до нее можно дотянуться рукою.
Спасибо тебе за болезненную сентиментальность твоих стихов,
разбегающихся, как овцы небесные.

Иван Горан сущий душой и телом.
Иван Горан над уплывающими трупами.
Иван Горан над ямой.
Иван Горан над могилой в угрюмых горах.
Певец с перерезанным голосом.
Цветок, выросший в мире вещей,
столь же ненужных и брошенных,
как стихи.

Иван Горан —
рана, огромная, как народ, высокая, как солнце.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ВРЕМЕНИ

Не забывай —
ничему умереть не дано под звездами.

Ты, убивающий,
мертвый сильнее, чем смерть его.

Ты, любящий,
ты знаешь пахучих птиц и цветы поющие.

Не забывай —
только раз мы живем под звездами.

Ты знаешь пахучих птиц и цветы поющие,
ты, любящий.

Не забывай —
только раз умираешь под звездами.

Мертвый сильнее, чем смерть его,
ты, убивающий.

Не забывай —
ничему умереть не дано под звездами.

РЕКА, ОБЛАКО И ЧЕЛОВЕК

Река, что течет,— она навсегда уходит.
Она течет далеко и уже не вернется назад.
Она уходит, чтоб уже никогда не вернуться.
Почему, о река, уходишь ты навсегда?

Облако, что исчезло,— оно возвращается снова.
Оно возвращается, и солнца тогда не видать.
Исчезает облако и возвращается то и дело.
О солнце, пожалуйста, не исчезай никогда!

Человек, что родился,— он потом умирает.
Он не зверь, не трава и не дерево, тот человек.
Он страдает и любит и после себя оставляет песню.
Потому что не зверь он, не дерево, не трава.

ЛАСТОЧКИ

Ласточки приносят весну неизменно
Даже те что мертвы
Даже те что нарисованы
Даже те что выдуманы нами
И пока они не исчезнут
Мертвые
Нарисованные
Или выдуманные нами
Будут расти деревья

Будут шуметь волны
Будет сиять солнце

Когда их больше не станет
Черная тьма настанет

Останутся руки совсем пустые
С тайными знаками на ладонях
Чуть освещенные звездным светом

Останется мертвых крыльев полет незримый
Потому что ласточки всегда летают
Даже те что нарисованы
Даже те что выдуманы
Ибо ласточки приносят весну неизменно
Даже те что мертвы

ВЕСНА ПАРУН

МОЯ РОДИНА

Тысячу лет ищу тебя. О моя родина, где ты?
Кроны старых каштанов сонно дышат ночами.
Солнце в огромный колокол звонкими бьет лучами,
песни птичьего лета все до поры не спеты.

Месяц идет на убыль, передвигая тени.
От набежавшей тени берег ночной в смятеньи.
Шлях каменистый медленно тянется сквозь рассветы.
Где ты, отчизна милая, о моя родина, где ты?

Где вы, ручьи и песни, где вы, полые воды,
пряник медовый детства, праздничный гомон в селах?
Где вы, на крышах ласточки, танцы и хороводы —
разве вы были в сказках, грустных, а не веселых?

Вы приходите, девушки, песню запойте громко,
милых заворожите, головы им вскружите!
Вот они ходят рядом, дышат, как дышит буря,
думают все о поле да о поспевшем жите.

В этих лесах багряных, где красота такая,
бьется сердце земли моей, бьется не умолкая.
Гордое сердце земли моей зреет в цветах пурпурных,
в этих вершинах горных, в травах и реках бурных.

Ветры твои и песни, весен твоих начало,
о, золотой олень мой, синяя даль сквозная!
О, этот плющ зеленый, эта листва резная,
слышу, как твое сердце в полночи застучало!

В росной траве, невеста, в шелесте, в колыханье,
о колыбель колосьев, горных снегов дыханье,
звезд ночных полыханье, алых цветов цветенье...

О, моя светлая родина, прекрасно твое виденье!

* * *

Созрела свобода. В саду созиданья
плоды на могучих деревьях поспели.
Колосья ветрам назначают свиданье,
качается мирный рассвет в колыбели.

Рассвет расплескал синеватую краску,
земля после тяжких боев оживает,
с изломанных ребер снимает повязку —
излечит все раны трава луговая.

Врачует болящих трава луговая,
алеют поля от полдневного света.
Вершина соседней вершине кивает,
утесу утес поверяет секреты.

Земля, погляди: в безмятежной светлыни
так молодо вечер струится над нивой!
Печальница наша! Ты будешь отныне
для всех сыновей колыбелью счастливой.

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Я думаю, и птицы, покидая
свои болота, говорят «прощай»
склоненному немому камышу,
с которого сползает отсвет лета.

Я думаю, деревья, расставаясь,
по-своему прощаются друг с другом,
друг к другу прикасаются ветвями,
прислушиваясь, как шумит река.

А он открыл широко двери дома,
и поглядел на небо, и ушел,
оставив непогашенную лампу
у неподвижных книг и тишину,
клубящуюся смутными тенями.

Ночь, преврати его в угрюмый камень
на перекрестке, под утесом острым,
откуда волчий вой доносится до моря.

Пусть листья падают на этот камень,
пускай их мертвый шелест заглушает
его безрадостную одинокость.
И месяц пусть проходит стороной,
не золотя краев его лучами,
которые в долины льют покой.

Ночь, это сердце преврати в цветок
на склонах гор беспечности его,
куда мои не достигают слезы,
соленые, как водоросли моря.

В холодный остров преврати его,
пусть на его суровые уступы
по собственной охоте не садятся
ни аист, ни серебряный журавль.

Пусть дуют ветры с севера и с юга,
вздымая волны вкруг его мысов.
Пусть вечно простирается вокруг
одно только отчаянье морское.

Тогда я наконец закрою двери
и погашу измученную лампу.
И будет ночь со мной великодушна,
не вспоминая, не напоминая.

Он перестанет жить. Его не станет.
Одна лишь даль протянется меж нами,
как дружеская добрая рука,
заполнив пустоту пространства мирового.

Николай Пирнат (Словения)
Встреча. 1944 г.

РЕКА И МОРЕ

Он — река, а я — море.
Волненье стремительных вод (это он)
поглотит тишина (это я).
В узком русле бушует,
пробиваясь сквозь тесный каньон,
нетерпенье его,
утомившее кротость мою.

Он — река, а я — море.
Все его — лишь его.
И его корабли — не мои.
Но его корабли окунают в меня якоря,
и матросы садятся к огню,
чтоб плести и выслушивать небылицы.
Эти птицы — его.
Мне не жаль его птиц приютить
в тихих скалах.
Пусть думают скалы,
что птиц отнимают у моря.

Он — река, а я — море.
Что мое — то его. Его воды усилю я солью и синью
и помножу на бурю мою.
И в мятущейся бездне моей обретет он покой.

ВОССЛАВЬСЯ ДЕНЬ

Восславься день, когда к человеку приидут
древо и зверь, чтоб от него научиться любви.
Восславься день, когда от каждой любви
породятся оратаи земле и морю птицы.
Восславься день, когда цветы и жены
отдадут свой плод мудрейшему садоводу.
Восславься день, когда вместо «злоба»
скажут «любовь», вместо «страданья» —
«солнце»!

ОТОН ЖУПАНЧИЧ

ЗИМНЯЯ ПЕСНЬ

На небе выткут полотно,
чтоб стало беднякам тепло,
прикрыться пугалу велят,
а носачам носы продлят.
Длинен твой нос,
хоть ты и бос,—
свисти им, словно клювом дрозд.

На небе мельницы стучат.
Мукой засыпать нас хотят.
Стелите под нее холсты,
сады, поля, луга, мосты.
Расстелешь холст —
и будешь сыт.
Ох, расстилать спина болит.

Идет небесная гульба.
Дымит ликующе труба,
солома крыш пустилась в пляс,
а с ней и мой пошел бы плащ.
Да нет плаща!
Никто не дал.
Раз так — на все б я наплевал.

РЕКВИЗИЦИЯ

Ночью — еще петухи не кричали —
трое с винтовками в дверь постучали.
— Во имя бога-отца,
давайте парного мясца;
во имя бога-сына —
вина и по кругу сыра;
во имя святого духа,
хлеба пеки, молодуха!

Что эти трое сказали —
без разговору им дали.
Солнце еще не выползло,
а все, что велено, выполнено.
Только хозяин молчит, не глядит.
Верно, в печенках все это сидит.

— Во имя троицы пресвятой,
телегу, хозяин, скорей приготовь.
Коней выводи,
подарки грузи
и поскорее гони, вези
в зеленый лес, куда бог велел,—
нашим ребятам пост надоел!

— Так вот оно как! —
отвечает бедняк
и зовет детей:—
Во имя чертей,
положите им еще каплуна,
цыпленка, и баклагу вина,
и пирога положите свежего,
во имя домового и лешего!

Погнал коней вперед,
А вся телега поет:
— Гей, лес зеленый, кончай свой пост,
хозяин попить-поесть привез!

ИЗГНАННИКУ

Все по-осеннему — листва, и птицы,
и дождь, и сумерки, и снег, и лед,
вдруг ярким солнцем озарились лица,
и воздух полон песен, жизнь цветет.

Разбиты все надежды, нет отрады,
в изгнании влачатся мрачно дни,
но слышишь: «Наши там поют бригады!»
Восстань и воздух родины вдохни!

АПЕЛЬСИН

Падал, упал
золотой апельсин
в девичий фартук.

Кто уронил
золотой апельсин
в девичий фартук?

Кто потихонечку
сзади подкрался;
чьи прикоснулись к очам ее
пальцы?

Кто там? Мой милый!
Кто там? Любимый!
Нет. Просто ветер!
Проваливай прочь!

Что же потом?
Ничего. Из рук
наземь упал
апельсин золотой...

ВЕЧЕРНИЙ НАБРОСОК

Во мгле невидимые крылья шелестят,
растаять не успев в огне заката;
сам воздух неспокоен и крылат,
как стая туч, что, ужасом объята,
летит, спасается от бури наугад...
Но скоро тени прекратят свой бег –
ночь выпадет из сумерек, как снег.

МАТЕЙ БОР

ВЕЧЕРНЯЯ МЕЛОДИЯ

Спать нам сегодня под ветром —
вон он как свищет и воет.
Облаком, как простынею,
нас эта полночь укроет.

Скатится с ветки намокшей
первая крупная капля.
Где-то за просекой топкой
вскрикнет встревоженно цапля.

Дождь наши лица омоет,
хлынув с ненастного неба.
Ножиком ночь нам нарежет
мокрого черного хлеба.

Но, обливаясь слезами,
мрак отгоняя и стужу,
встанет заря над лесами,
землю согреет и душу.

Лес запоет, оживая,
солнце ударит нам в лица.
Голову, брат мой, не вешай!
Длится война еще, длится!

В МЕРТВОМ СЕЛЕ

Меж стен — молчанье. Всякий звук умолк.
Дома мертвы, пустынны, нелюдимы.
Как будто ставни все рукой незримой
Давно закрыты. Крадучись, как волк,

Вошел я в дверь. И петли, как живые,
Откликнулись: — Ступай скорей назад!
Зачем пришел ты? Ведь дома все спят.
Где их жильцы? Давно в края чужие

Ушли они и с ними все живое,
Нет никого — ни кошки и ни пса,
Который в час, когда падет роса,
Приветствовал луну, бывало, воем.

Одни черешни за селом стоят,
Всем грозди спелых ягод предлагая.
И, ветки их руками нагибая,
Я к ним тянусь, я встрече с ними рад.

Я шел в село — и вот оно лежит,
Как раковина мертвая, пустая,
Что высосали здесь и, убегая,
Оставили. Час пиршества забыт.

Я шел и шел... Вдали заря волной
Хлестнула в небе. Пушки за холмами
Залаяли над мертвыми домами.
Во мраке месяц поднял над сосной
Свой яркий кубок, чистый, как стекло.
Что там вдали? Из-за гряды туманной
Ползет стоглавый змей... То партизаны
Идут отрядом в мертвое село.

НОЧЬ В НЕМЕЦКОМ ЛАГЕРЕ

Памяти советских пленных,
погибших от голода и морозов
в гитлеровских лагерях в Штирии.

1

Из бараков
из бараков,
черных лагерных бараков,

что ни ночь,
что ни ночь,
двадцать трупов —
носят, носят.
прячут, прячут.

И деревья,
что ни ночь,
видя это,
что ни ночь,
плачут, плачут.

И умершие уходят,
что ни ночь,
они уходят
в землю нашу.

Голод роет
в сердце яму,
роет, словно заведенный,
и пожар,
пожар студеный
пожирает душу...

— Эй, Голод, Голод, брось-ка, не шепчи
всю ночь, всю ночь,
что я умру в ночи!
Эй, Голод, Голод,
разве ты забыл —
как был я молод,
как здоров я был!

Эй, Голод, Голод,
в холоде, в грязи
всю ночь,
как червь,
мне сердце не грызи!
Сними веревку,
что на горле у меня,
печь разожги
да спать улягся у огня!..

Из бараков,
из бараков,
что ни ночь,

выносят мертвых,
носят, прячут.
Только голые деревья,
видя это,
что ни ночь,
плачут, плачут.

2

— Не плачь, сынок! Хоть в сырости и мраке —
а все живем! Бывает тяжелей!
Мы как на корабле, плывем в бараке.
Нас много — вон их сколько, кораблей!
Вдавил нам Голод ребра.
Смотрит с неба
одна звезда сочувственно на нас.
Как режет мать на всех буханку хлеба —
выкраивает ночь за часом час.
Все вытерплю. И голод, и усталость.
Лишь знать бы мне, что с Ваней моим сталось!

— В Ростове вся земля красна от крови —
твой Ваня спит на улице в Ростове!

— Ночь-матушка, ну что ты, право, мелешь —
видать, сама словам своим не веришь!

— В Ростове вся земля черна от крови —
твой Ваня спит на улице в Ростове!

— Ночь-матушка, за что мне эти муки!
Отец Мороз, согрей Ванюше руки!

— Иван твой спит на улице в Ростове —
В Ростове все черно уже от крови.

— Товарищи, скорей,
скорей на помощь!
Не верю, что вы спите в эту полночь!
Михайло, отвечай, где мой Иван?

— В Ростове,
где кровавый встал туман,
лежит он с перерезанною шеей!

— На помощь, эй, товарищи, на помощь!
Вставайте все!
Вперед, сквозь этот мрак!..

Плывет в ночи
невидимый барак.

Только голые деревья,
когда тех
несут во мрак,
что ни ночь,
что ни ночь,
плачут, плачут.

3

— Что ж, генералы Голод и Мороз,
мы знаем, как искусны ваши руки,
когда они в ночи ломают нас
согласно точным правилам науки!

Но Время мчит над нами.
Время мчит.
Проносится сквозь нас
и дальше мчится.
Под звон его копыт
земля кричит
и стонет, как подбитая волчица.

Но Время,
красный маршал,
мчит и мчит,
и пусть падем побитыми,
убитыми —
но мать-Россия
под его копытами
вовек не упадет, не замолчит!

Над миром,
где так смутно и темно,
все ввысь и ввысь,
навстречу звездной сини,
несутся вместе
Время и Россия,

и никому
сдержать их не дано!

Там, за полоской брезжущего дня,
за дальними полями и лесами
дитя России
смотрит на меня
смеющимися светлыми глазами!..

... Что ни ночь,
что ни ночь,
смотрят мертвые глаза
из барака,
из барака.

И деревья
что ни ночь,
просыпаются, дрожа,
среди мрака.

Что ни ночь,
что ни ночь,
воют ветры за стеной
черного барака.

КАРЕЛ ДЕСТОВНИК-КАЮХ

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ

Двадцать пять нас тут заключенных,
двадцать пять наших лиц изнуренных,
двадцать пять сердец несвободных,
пятьдесят наших глаз холодных.
Кровь со лба, из пальцев, из губ стекает,
словно псов, полиция нас терзает,
кто не предан им, как собака,
в одиночке тот пропадает,
на бетоне распластан голый,
мучит жажда его и голод,
а на теле клоп копошится,
мысли, тяжко мысли копошатся в нас.

Мысли темные прочь отбросим —
ведь без жизни нет умиранья,
а свободы нет без страданья,
грязь и мусор уносят реки,
сбрось одежду, она не навеки,
человек растет в человеке!

ПЕСНЯ КРЕСТЬЯНИНА

Тело мое все избито, взгляните,
щеки пожухли,
губы опухли,

длани мои кровенеют,
очи мои пламенеют.

Было — земля, очаг,
каждый свой шаг
отдал земле я в подарок.

Эти проклятые черти явились,
трупы повсюду за ними ложились,
сына и мать у меня погубили,
жену?.. быть может, жену осквернили?

Подлые твари!
Сердце вскипело,
не утерпело,
и я ударил!

Бьют меня, как скотину, за это.
В жаркие очи мои посмотрите
и мне скажите —
в глазах еще родина светит?

МАТЕРИ УБИТОГО ПАРТИЗАНА

Когда потянулся впервые сынок
к тебе, ты в слезах улыбнулась устало:
О, только бы сильным ты вырасти мог!

Его к материнской прижала груди
и сонному ласково ты прошептала:
— Расти... Твое счастье, мой сын, впереди.

Сын рос и мужал. Шли за годами годы,
и он отозвался на голос свободы.
Ему на прощанье ты руку пожала.
— Вернешься... Я верю! — ты тихо сказала.

Погиб он, в печали ломаешь ты руки,
а ветер доносит неясные звуки:
«Мать, жить хорошо, но даю тебе слово:
готов умереть за свободу я снова!»

ИВАН МИНАТТИ

ПОХОД

Над нами небеса и бег луны.
Она всю землю залила лиловым,
и этим блеском мы ослеплены.

Высоких сосен белые стволы
идут за нами. Нет конца дороге
и мыслям, что, как веки, тяжелы.

— Спокойной ночи, сосны,— говорю
в прозрачной ночи одиноким соснам
и сквозь снега опять тропу торю.

Идем вперед на поиски свободы.
По снегу, словно по шоссе, идем,
а на плечах — мешки и пулеметы.

МАЙ НА СОЧЕ

Давно, давным-давно, когда-то,
весенним утром
цвела черешня среди нас:
был май такой же, как сейчас.
Над белым цветом
шумели пчелы.
Над белым светом
синела синева рассвета.

Давно, давным-давно, когда-то
во мне цвело тысячецветье —
как и сейчас, был май на свете.
Средь тех цветов
черешневою белизною
твое лицо
сияло предо мною.

Давно, давным-давно, когда-то
был снова май,
но дни и ночи
гремело и рвалось на Соче.
И с той поры
в моей груди
цветут кровавые цветы.
Забыть тот май она не хочет:
в ней тени черепов хохочут.

* * *

Кого-то ты должен любить,
хотя бы траву или реку,
дерево или камень.
Кому-то на плечи ты должен руку свою положить,
чтоб насытилась близостью этой рука.
Кому-то ты должен отдать
облака свои белые,
птиц беспокойных мечты,
птиц бессилия, полных тревоги.
(Ведь где-то есть и для них
гнезда покоя и нежности!) Должен,
ты должен кого-то любить,
хотя бы траву или реку,
дерево или камень.
Потому что деревья и травы
об одиночестве знают
(остановившись на миг,
шаги удаляются дальше и дальше),
о жалости знает река
(над своей глубиною склонившись),
а камень знает о боли
(когда на безмолвное сердце его
тяжело наступает нога).

Кого-то ты должен любить!
Кого-то ты должен любить!
И с кем-то ты должен рядом идти,
всегда только рядом.
Камни, травы, деревья, река —
молчаливые спутники всех чудаков одиноких,
молчаливые добрые спутники,
что говорят лишь тогда,
когда умолкают люди.

ЛОЙЗЕ КРАКАР

* * *

Я в трансагентствах задаю вопрос,
когда же во Вселенную отчалит
первый корабль?
Должны мы все, кто в это верит, чаще
в служебные стучаться кабинеты,
чтоб, час отхода выяснив,
просунуть контрабандой меж мотков
колючей проволоки, пороха, товаров —
пшеницы семена,
и певчих птиц,
и несколько поэтов.

ПОЭЗИЯ

А вечером растрепанное тело
я привожу в порядок,
латаю мыслей порванную сеть
и отправляюсь с нею на охоту,
как в море, в ночь.
Мне удается выловить звезду,
набить суму чешуйчатыми снами
и возвратиться на берег счастливым.
Я счастлив и тогда, когда встречаю
на острове каком-нибудь безлюдном
богиню под руку с поэтом,

слеп, как сверчок, он для нее поет
О море ночи — ты моя земля,
я по тебе ступаю, как по суше,
и ты — мой день, так ясно на душе!
Никто ничем вокруг не угрожает.
Я погружаюсь, словно жабрами дыша,
и кораблей потопленных касаюсь,
приветствуя блуждающих матросов —
таких же, как и я, скитальцев вечных,
и раковину с жемчугом ищу
средь пучеглазых рыб.
Мне раковина с жемчугом нужна,
мне, и поэту, и его подруге,
его Венере. В лопнувшие сети,
что тяжести не выдержала дня,
чешуйчатые сны ловлю весь вечер,
всю ночь, чтоб не сойти с ума.

РАЙ

Мир начинался при сотворенье
большим одиночеством человека.
В каменном этом, скучном раю
змеи шипели и волны шипели,
и оставалась от этого после
в сердце зеленая рана тоски...
После явилась Она.
Словно львица,
рану она языком зализала,
тесно прижалась к нему
и сказала,
тайну ему величайшую выдав:
— Вот я,— сказала,— смотри, я твоя!
— Вот я, я твой! — он ответил.—
О боже,
как повторяется это!
Мы тоже
рядом сидим все на той же скале,
и говорим мы, наверно, похоже —
шепчем все те же молитвы влюбленных,
вновь открываясь ветрам и волнам,
что, приближаясь по берегу к нам,
наши сердца обнаженные лижут...

Ну, а когда она снова уйдет,
так же внезапно, как прежде явилась,
вновь мне останется каменный рай
и одиночество человека,
век обреченного плыть на скале
к дальнему берегу, следом за нею,
следом за нею, за той, что ушла.

ПЕПЕЛ НА ЗВЕЗДАХ

Воспоминанье, скрючившись, приходит
к юности,
на ее могилу.
Эта могила — на большом кладбище,
где немые колокола
беспрерывно звонят по мертвым
с безмолвных сторожевых башен.
В могиле
покоится закованная в цепи юность.
Над нею —
плакучие, как ивы,
куски ржавой проволоки
свисают с бетонных столбов,
как обезумевшей колдуньи космы.
У могилы,
подобная молящейся старухе,
сидит любовь, нелюбленная, первая.
Что ж, если вы вдвоем сюда пришли,
молитесь тоже вместе —
ты, скрюченное воспоминанье,
и ты, так и не ставшая невестой.
Молитесь грубыми, святыми словами проклятий
за тех, чей пепел покоится на звездах.
Молитесь, чтобы люди,
когда придет любовь,
любили не откладывая,
чтобы огонь больше не жег посевов
и больше никогда не приходили
вы, скрюченные, словно старики,
искать свои могилы
и просить за тех,
чей пепел там, на звездах.

ОСВЕНЦИМ

Самое страшное, что люди сами
уготовили людям такой удел.

До смерти, наверно, смерть устала,
но библейский ад — осуществила.
Ремеслом здесь преступленье стало,
миллионы в прах передробило.
А теперь здесь лишь трава, и ветер,
и земля. А бесконечность неба
зажигает звезды каждый вечер
над могилой этих миллионов.

Здесь кишело бесконечно много
голого беспрозванного люда.
В новый мир кровавую дорогу
вышли строить именно отсюда.
Тот землянин, что придет увидеть
кратеры погаснувшего ада,
пусть представит страха пирамиды,
бога нового златые храмы.
А поэт бесхитростный прославит
и убийство, и убийц привычно.
Старое вранье историк вставит
в новую историю цинично.
А про миллионы, что погибли,
над которыми до сей поры проклятье,
знают лишь глухонемые вихри
и земли проклятое молчанье.
Здесь, на величайшем погребенье,
я кляну истории уроки.
Научили страху, преступленью
человека
боги и пророки.
Проклинаю храмы, пирамиды,
старую неправду о величье,
кровь кляну, пожары и обиды,
что назвали нагло просвещеньем.

Ложь все то, что эпосом считают.
Лживы Цезари любого рода.
Правда — здесь. Но пусть не засчитают,

не поставят в счет людскому роду.
Нету выше правды и величья
тех, что здесь я осознал и понял,—
страшного Освенцима обличья
и сознанья этого позора.

В БУХЕНВАЛЬДЕ 1960

По моим кровавым следам
бредут любознательные туристы
и фотографируют погасшие печи,
где сжигали моих братьев.

На землях ужаса и смерти,
на землях, где человек был опозорен,
откуда даже птицы улетели,
сейчас устроили идиллию,
площадку для сентиментальных воспоминаний,
с экскурсоводами, проспектами
и весьма назидательной выставкой преступлений.
Нам, как мышам, прививали чуму,
нам стреляли в сердце,
сдирали заживо кожу,
отрубали члены и головы,
чтобы сегодня
по этим препарированным головам,
по этим переплетенным в человеческую кожу книгам,
по этим мешкам с волосами задушенных девушек
землянин мог узнать свою точную цену.

Моя кровь жива, как и прежде,—
каждая пролитая здесь капля
жива... Как живы
позабытые в траве мины,
покуда они не вспыхнут
под незваными
и не крикнут
в уши неба
огненные слова:
раз нет наказания и нет преступления,
пусть сгинет все,
носящее имя человека. Пусть сгинет

род, желающий достичь небес,
покорить все крутизны Вселенной,
если он до сих пор не заплатил
все свои земные долги.

* * *

Колумб уплывает все дальше,
все грозней его приказанья:

Запрещаю оплакивать мертвые корабли,
их будет все больше.

Запрещаю о женщинах думать,
ибо женщина — матерь сомненья,
а сомненье — смерти подобно.

Запрещаю птиц ожидать —
ласточки уже туда улетели,
а воробьи туда не летают.
К мачте велю привязать любого,
кому страшные сны приснятся.

Девяносто девять из нас
на землю уже не ступят —
и все же она существует.
Видите мертвый корабль вдали?
Мертвый, он верит — земля существует.

Не слушайте чаек —
девяносто девять из нас достанутся им,
и все-таки цель путешествия вовсе не в этом,
нет, высшая радость его заключается в том,
чтоб угадывать ветра движенье
и рыб,
и всего, что над ними,
и кто из нас будет тем сотым — не знать наперед.
Посему умирать на моем корабле
запрещаю.

И корабль уплывает все дальше.
Земля, словно яблоко,
висит на самой высокой веточке вечности.

* * *

О, непростительная радость начинанья,
почти животная: не знает темный зверь,
который роду предан фанатично,
какой удел печальный ждет его,
недуги старости, болезни,
жестокий призрак бойни,
угрюмость дикая, крик одиночки,
когда-то зачатого безрассудно,
и жилы вздутые, и тьма в глазах,
и милость отрезвленья,
и боль бессмыслицы, и грусть банальности,
с арены вопли дикие,
тоска закланья, гибель существа,
бессмысленного, как само зачатье,
и отрезвленья жалкие слова...
О, радость начинанья, о, проклятье!

ЯНЕЗ МЕНАРТ

ПАМЯТНИК

Поскольку всякий, кто сумел
наделать шуму больше прочих,
посмертно памятник имел
(народ почтить героя хочет,
чтоб, наконец, забыть в момент),—
и мне возможен монумент.
На кой он мне... Но кто уверен,
что мой отказ не лицемерен?
Никто. Так позабочусь лучше,
чтоб вышел памятник получше.

Во-первых, статуя моя
должна стоять в сторонке, чтобы
не лез в глаза поэтам я
и путь не преграждал из гроба.
А так как всюду — вор на воре,
прошу ограду на запоре.
И постамент хочу повыше,
чтоб не мочился на меня,
как ныне, всяк, кому охота
прослыть тушителем огня.

Не гипс, а бронза мне по вкусу:
дороже, крепче, вид здоровый,
и даже труженик искусства
ее не сделает дешевой.

А что до стороны формальной,—
я предпочел бы торс нормальный.
Входить в историю неловко,
когда взамен башки — квадрат,
а треугольник — бывший зад,
и дырка спереди — издевка.

Одежда красит человека,
я не хочу стоять нагим:
я — не титан, зачем другим
поэтам из другого века
мой фигов листик наблюдать
да меньшей завистью страдать?
К тому же девичьи натуры,
боюсь, вблизи нагой скульптуры,
к физиологии склонясь,
с поэзией утратят связь.

Скульптурой ныне быть не сладко —
у них все время физзарядка.
Я так ленив, что все, что мог,
я в этой жизни делал лежа.
Писал,— когда писалось,—тоже
на ложе развалясь, как бог.
Изображайте без прикрас
мой поэтический экстаз,
ваяйте, чтоб для высшей цели
валялся памятник в постели.

Не надо муз — вокруг и выше,
их любят школяры-невежды!
Я предпочту надежность крыши,
а не туманные одежды:
хоть воспеваю непогоду,—
простуду схватываю с ходу.
Ну, если с крышей я зарвался,
поставьте зонт из парусинки,—
как над зеленщиком на рынке,—
чтоб монумент не простужался.

В обузу мне златая лира,
она — предмет приятных чувств,
но искажает сущность мира:
ведь золото — не дух искусств.

Уж если мне решит ваятель
всучить духовный указатель,—
тогда бы книгу я избрал:
свою, чтоб знать без дураков,
что я хороший том стихов
прочту, войдя в мемориал.

А надо мной, сидящим с книгой,
абстрактный холстик был бы мил:
квадрат зеленый с желтой пикой
иль просто рамка — дырка в мир.
Под голову, чтоб спать без звука,
нужна журналов наших скука,
да серия (ведь я смешлив),
где есть веселые репризы.
В ногах — включенный телевизор,
но скачет надпись ПЕРЕРЫВ.

Марать не нужно пьедестал
сентенцией, что сын народа
свои, мол, рифмы завещал,—
ведь у отчизны год от года
и без того — стихов излишек,
но меньше нужного детишек.
Прошу, как скромный патриот,
фамилию на пьедестале
(в конце не «д», а «т»!), и дале —
СЛОВЕНЦЫ, УМНОЖАЙТЕ РОД!

Вблизи должна скамья скрипеть
(кривая, с дырками — подавно,
мне будет вечером забавно
на трюки парочек смотреть),
за кипарисом кипарис,
густую тень бросая вниз,
должны укромной сделать местность,
чья всенародная известность
подскажет всем пароль для встречи:
«У Янеза, как в прошлый вечер!»

Сюда направить хорошо бы
прямой троллейбусный маршрут
и город выстроить особый
или страну раскинуть тут.

В стране бы этой ели, спали,
взамен налогов — песни брали,
мои, конечно. В сей момент
я государственно созрел.
Как хочется, чтоб я имел
конкретно этот монумент!

Он безопасен, в полном смысле,
для тех и этих. Он торчит,
в дела не воплощает мысли
и чудно день и ночь молчит.
Кому он костью в горле стал,
тот передвинет пьедестал.
А устаревший атрибут
легко по моде переплавить,
и можно голову подправить —
ту слепят, эту отобьют.

Нехорошо. Но повсеместны
проделки эти с древних пор.
И, думая о них в упор,
я наполняюсь грустью бездны:
заманчив памятник вполне,
но бронза плавится в огне.
Заботы памятника жутки:
не лезть в глаза, уважить всех,
не то — влетишь в литейный цех,
где перевоспитают в сутки.

А после будешь в лучшем виде
для славы скульптора блистать,
держать коня, чужие груди,
а то — средь парка диск метать...
Опасность этого сгустится,
коль монумент мой воплотится.
Немедленно отказ пишу!
А все динары, что как раз
вам сэкономит мой отказ,—
при жизни выдать мне прошу.

КОЧО РАЦИН

ДНИ

Как ожерелье на шею —
каменное украшенье,
так дни ложатся на плечи,
бременем давят на плечи.

Дни мои, дни, вы, бедняжки,
муки поденщика тяжки.

Утром проснись рано-рано,
а возвратись поздно-поздно;
радость захватишь с собою,
а возвратишься с тоскою —

эх, жизнь моя собачья,
я шлю тебе проклятье!

Люди, родившись рабами,
мы умираем скотами:
скот век свой трудится даром,
все для чужого амбара.

Дом ты другим строишь белый,
черную яму себе рой!

Как вол, работай в поле
и вздрагивай от боли...
Дней ожерелье на вые,
кованы кольца стальные.

С каждым днем тяжелее
Цепь из железа на шее!

КОЛЬ ИМЕЛ БЫ МАСТЕРСКУЮ В СТРУГЕ

Ремесло — золото.
Народная пословица

*

Сгори, мое горе! Ветер,
Развей на просторе пепел!
Лишь старый и добрый мастер
Не огорчился бы этим.
Тяжелое время настало,
Тяжелое бремя давит,
И гибнем со дня мы на день,
Борясь со своей душою.
Тоскливых песен не надо —
Вот осень, пора листопада,
Вода подмывает берег,
Осинки поток уносит.

*

Под вечер приди, под вечер,
Когда начинает смеркаться.
А сгнивший порог переступишь,
Очутишься в ветхом покое,
На лавку кривую сядешь,
На шее тоска — черный камень:
Где радость? Куда девалась?
О, где же ты, дом веселый?

Тихо. Ни вздоха, ни шепота.
О тишина, будь ты проклята!
Боже! Чума как будто
Все, что было, косой скосила!

Подкованные гвоздями,
Гремят каблуки по камню,
Мглу кто-то сечет ножами,
Алеет вино в стакане.

И розы где-то в садах там
Шепчутся с темнотою,—
Слышишь ты — о любви без горя,
Про время золотое.

*

Вот я сижу у окошка...
Выйди на рынок, Фиданче,
В гулких своих обутках
На деревянных подошвах.

Ах, молодое ты деревце,
Писаная красавица,
Пусть мое око вытечет,
Коль на тебя подымется,
Пусть и рука отвалится,
Если к тебе протянется.
Ну а если смогу устыдиться
Тем, что жив я, мертвец погребенный,
Ты скажи мне, ответь, Фиданче,
Куда от стыда мне скрыться!

Мастер был, над другими начальник,
Нынче сделался я подручным,
За долги продал я мастерскую,
За долги продал все инструменты...
Вот они — две руки мои. Обе
Иссыхают сейчас без работы!

ЛЕНКА

Биля полотна белила.
Народная песня

С тех пор как Ленка рубашку,
Из тонких ниток рубашку
Ткать на станке перестала

И нанялась на работу,
Ленка табачницей стала,
Очи ее притупились,
Веки ее опустились
И запеклись ее губы.

Не рождена была Ленка
Для едкой пыли табачной:
Желтый табак — отравитель —
Розовым грудям погибель.

В первую же годину
Сникла, поблекла девчина,
А на вторую годину
Ленку болезнь придавила;
Третий год отнял все силы,
Ленку довел до могилы.

Ночью глядит на могилу
Месяц с вершины небесной,
И только ветер унылый
Шепчет печальную песню:
— Ах, почему не успела
Ленка доткать рубашонку,
Ту, что была для подарка?..

СЛАВКО ЯНЕВСКИЙ

СВАДЕБНАЯ ПЕСНЯ

Ты все так же, Яна, как рассвет румяна?
Ждешь ли, чтоб завел я на тамбуре песни,
ждешь ли, чтоб вернулся я в село родное,
чтоб тебе послал я свадебные перстни?

С боевым отрядом я три года, Яна,
по горам скитаюсь, средь Кара-Ормана.
Я брожу с винтовкой, тощий и сутулый,
поседели кудри, посмуглели скулы,
трижды прохворал я летней лихорадкой,
гнил в норе потайной, о тебе мечтая,
как табак ты нижешь меж подружек сельских.
В облаке весеннем облик твой искал я,
в ручейках — лучистый взор твой видел, Яна,
про тебя повсюду спрашивал напрасно —
ты ждала в селенье друга-партизана.

Но тебе не ждать бы ни меня, ни свадьбы.
В подневольных странах свадеб не играют,
там, где мать рыдает,— не поют, не пляшут,
в царстве темной ночи день не рассветает.
Вытекшие очи — две кровавых раны;
нет в селе сожженном жениха для Яны.

Не встречай же сватов на своем пороге —
развезло кровищей все пути-дороги,

перстень обручальный стал звеном кандальным,
свадебные песни обернутся плачем,
вороны слетятся, словно поезжане,
пуля поцелуем обожжет горячим.
Запиши ты, Яна, в сердце это слово,
облекись, голубка, в куртку с патронташем
и подайся в горы к партизанам нашим.
Скоро за глумленье над твоей любовью
супостат-разлучник нам заплатит кровью.
А когда в сраженьях забелеет утро
от волны эгейской до волны Ядрана,
залечу я раны, обниму невесту,
сватов-побратимов разодену, Яна!
С партизанской четой, перед всем народом,
с песнями мы двинем буйным хороводом.

Ты вплети фиалки в смоляные косы,
улыбнись глазами, словно день погожий,
шевельни плечами теплой ночью летней!
Загудят волынки, залп ружейный грянет,—
выйди в круг подружек! Пусть народ наш глянет
на твои мониста, на твою повадку.
Праздником всеобщим эта свадьба станет!

БАЛЛАДА О ПРАДЕДОВСКОМ РУЖЬЕ

Под суровым серым камнем, где-то в старой волчьей яме
Прадеда ружье зарыто и лежит-молчит годами.

Закопал его под вечер Янко-атаман, мой прадед:
— Эх, еще бы в бой последний! Час придет, ружье зарядят...

И ушел навек, как солнце, за гору в сиянье рдяном.
Сын нашел оружье в поле, что шумит густым бурьяном.

Лют, как рысь, он вместе с братом шел на битву — стал гайдуком,
Он на ста вершинах бился, добывая счастье внукам.

И с колена на колено, огневое, родовое,
Перешло ружье — служило мне оно во время боя.

Молодой еще, подросток, поднял я оружье мщенья,
Проходя с моим отрядом через грозные сраженья.

В час, когда победы знамя развевается с флагштока,
Вновь ружье зарыл я в землю, пусть оно лежит до срока!

Притаилось наготове. Если только враг нагрянет,
Сын мой, вырывши оружье, за отчизну грудью встанет.

ПЕСНЯ СОЛДАТА, ЛЕЖАЩЕГО НА ДВА МЕТРА ПОД ЗЕМЛЕЙ

Меня уже нет.
Струны гортани моей
стали белыми колоколами.
На закате в них засыпают
ветры.
Доброй ночи, птицы!

Меня уже нет.
Радужки глаз моих
превратились в синюю влагу.
На закате пьют ее жадно
озера.
Доброй ночи, туманы!

Меня уже нет.
Меж пальцев рук моих
трава проросла.
На закате цветы собирают
девушки наши.
Доброй ночи, ночи!

Меня уже нет, нет...
Струны от боли дрожат:
— Ствол маслины! Упрись в небеса,
чтоб они не обрушились!
Синей влагой набрякли глаза:
— Пусть ветви из нас прорастут!
Мы плоды твои!
Пальцы молят, шепча из травы:
— Облеки нас корою твоей,
нам больно, мы мерзнем!

Меня уже нет.
На лбу моем покоится
бесстрастная ночь,
пудовая ночь,
очень долгая ночь.

БЛАЖЕ КОНЕСКИЙ

ИЛИНДЕНСКИЕ МЕЛОДИИ

1

Белая роза, ты цветешь для меня,
и ты, любимая, будешь моей!
Молодость, радуйся ясности дня,
милую сделать счастливой сумей!

2

Бедное сердце, замри и молчи!
Время, назначенное для счастья,
можно в тюрьме запереть на ключи,
душу — на части, металл — на запястья.

3

Вечером вчера во тьме
явор-дерево шумел.
Только лег, уснул я только,
странный сон приснился мне.
Мне приснилась мгла ночная,
и два сокола во мгле
с крыльев стряхивали жемчуг.
— Мама, что все это значит,
что за этой мглой маячит?

— Этот сон, мой сын,
тяжек, словно стон:
в нем ночная тьма — приговор, тюрьма,
а два сокола — два брата,
а жемчуг мелкий — цепь сама.

4

Сидит молодец в остроге
с кандалами на ногах,
с мелкой цепью на руках.
И не видно на дороге,
чтобы кто спешил проведать,
ой, печали!
Утром встанут на пороге,
добра молодца возьмут
и на гибель поведут.
И не слышно на дороге,
чтобы кто спешил спасти,
ой, печали!

5

О черный ворон, жалкий птенчик с черным взором!
Ты — черный вестник с черным приговором!

6

Огромная печаль, страданья сердцевина —
по юности твоей, погубленной безвинно.
Ты сильным был рожден, и, награжденный силой,
ты рабству предпочел свидание с могилой!
Ты вычистил ружье, собрал отряд, который
в зеленые леса ушел с тобой и в горы.
Завистник и злодей тебя охранке предал.
Пора, чтоб он сполна возмездья вкус отведал!

7

Встань, воскресни, явись, Гоце-воевода,
ты достаточно терпел горести народа!
Ждут тебя все:
лес, поле в росе,

крестьянские горбы,
тюремные рабы.
Встань за народ,
дай свет свобод!
Чтоб весна пришла весною,
чтобы нашим стало поле,
чтобы села улыбались,
чтобы радовались воле!

СТИХИ О МАСЛИНАХ

Течет река —
никому не жаль,
что срубили маслины
молчаливые
над водою.

Я помню рассвет:
был час, когда ждешь
неясного чуда
на близкой заре —
но снова
печально блеснули звезды
вверху надо мною...
Лишь ветви маслины,
незаметно придя в движенье,
тихо прошелестели мне в утешенье.

МОЛИТВА

Полночью в лес отправишься
тропкою незаметною.
Темной глубокой полночью
к месту придешь заветному.

Сосны вокруг высокие,
небо вверху молчащее,
травы туманят голову,
словно вино крепчайшее.

Сердце твое наполнится
буйством травы нехоженой,

наземь падешь, растянешься
в мягкой траве некошеной.

Требует юность — радости,
требует все напористей —
врачуй меня, о земля моя,
от бед моих и от горестей!

ВЫШИВАЛЬЩИЦА

1

Как, вышивальщица, вышить словами
песню, звучащую просто и строго,
сердцу вот этому, что так ночами
мучится в невыносимой тревоге?

Нити из сердца возьми две, сплетая
траурно-черную с ниткою красной,
первая нить — то печаль твоя злая,
светит вторая — мечтой твоей страстной.

Ты вышивай так и красным и черным
песню единую грезы и муки,
как рукава с вышиваньем узорным
юной невесте на белые руки.

Видно, от века два цвета нарочно
связаны силой одной роковою,
черный во мрак погружает полночный,
красный же — кровью цветет заревою.

2

Глянь, вышивальщица, в шири небесной
небо зарей золотой расцветает:
на голубом полотне так чудесно
вышивка яркая эта сверкает.

Вечером ты не заметишь заката,
взгляд у тебя как у трепетной серны.
В небе, расшитом так ярко, богато,
два твои цвета пылают, наверно.

Иль не боишься, что меркнет пред ними
самое светлое воспоминанье?
Что ж ты задумалась, глаз не поднимешь,
день твой угаснет, гласит прорицанье.

Память о светлом, сиявшем чудесно,
гаснет пред ними, как цветик, бледнея.
Ты уловил звуки дивные песни
и о судьбе своей спел вместе с нею.

РЕБЕНОК, УСНУВШИЙ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА

Ты, маленький, спишь,
а озеро думает думу,
и в думах его вершится твоя судьба.
Ты спишь, а оно
проникает сейчас в твою душу,
как в залив,
где камешек каждый
отчетливо виден на дне.
Ты спишь,
а в его
в этот час неприметной
волне
вызревают уже те валы,
что родятся однажды,
и заплачут,
и тебя на себе понесут.
Спи, дитя,
это озеро
душу твою сейчас лепит
и все думает думу
о грядущих тревогах твоих.

ПРИСКАЗКА

Когда человек потеряет право смеяться,
и право быть умным,
и право судить по правде,
любить ребенка и женщину
потеряет право —
тогда ему остается

право в тоске пребывать неподдельной,
умирать от муки смертельной,
грустным быть до скончанья века —
право этого человека.

АЦО ШОПОВ

ЛЮБОВЬ

Пусть молния в глазах твоих блещет,
ничто огонь в груди не потушит,
пусть губы горячие пламя сушит,
и перед грозной
твоею силою
враг теряется
и трепещет,
моя подруга, подруга милая!

Не песни любви я тебе слагаю
и не о бессонных ночах мечтаю —
в песне кровь моя бьется, будто
вечно алое знамя бунта.

Там,
где гневный огонь пылает,
долы стонут,
гремят винтовки,
там,
где, чувствуя локоть друга,
парни молча
на смерть уходят —
нас ожидает любовь, подруга!

В горах суровых,
в боях кровавых,

о подруга моя золотая,
идешь ты первой
и будешь первой,
а если пуля тебя настигнет,—
все может статься,
где пули вьются,—
а все ж глаза твои не увянут,
и тысячи новых сердец зажгутся,
и тысячи в строй нерушимый станут.

Пусть молния в глазах твоих блещет,
ничто огонь в груди не потушит,
пусть губы горячие пламя сушит,
и перед грозной
твоею силою
враг теряется
и трепещет,
моя подруга, подруга милая!

ПЕРЕМЕНА

Мудрая игра, пребудь такою,
неизменно ложное свергая.
Жизнь омой широкою рекою,
чистотою праздничной сверкая.
Будешь добродушней год от года,
но угасший свет в зрачке хранится.
Помоги мне, мудрая природа,
с временною правдой не мириться!

ЧУДАК

Да, он достоин удивленья вашего —
здесь трудно удивленье подавить:
он топчется у двери миновавшего,
он прошлое хотел бы подновить.

* * *

Скажи мне: небо. Мое небо.
Скажи мне: тихие небеса.
И я, малая травинка в темном лесу крови,

оторвусь от земли, несмотря на извечную немощь,
и, высоко вознесенный, высóко-высóко,
на высоту человечьего глаза,
я стану небом, твоим небом,
я стану небом рассветного часа.

Но не тверди мне, что я так слаб,
не повторяй мне, что я бессилен,
что впору смотреть мне в глаза травы.
Не говори, что из всех травинок
я самая маленькая, увы.
Побереги эту правду до завтра,
не говори мне ее в глаза.

Скажи мне: небо. Мое небо.
Скажи мне: тихие небеса.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Проснись! Ну, проснись же! Светает! Светает!
Солнце поднялось над ручейками сна.
Словно бы с клавиш ксилофонных слетает
музыка — мелодия ее не ясна.
Ах, знаю, за воротами стоят уже кони —
их ржанье беспокойное за сердце берет.
Ах, кони, ожидающие дикой погони,
что бы там ни сталось, а они — все вперед.
А поле-то, а поле уже пахнет медово,
и в тоненьких прожилках травы луговой
такое кипенье чего-то молодого,
что сам помолодеешь, надышавшись травой.
Да, радости и горести соседствуют в мире,
но здесь одно мгновенье — и уходит тень.

Взгляни. Не удивляйся. Глаза открой пошире.
Ну же, просыпайся! Это день. День.

* * *

Надо сегодня быть добрее.
Надо сегодня быть добрее.
Добрее, чем красное сердце хлеба,

которым пахнет жилище
Солнца, Земли и Голода.
Надо сегодня быть добрее.
Надо сегодня быть добрее.
Добрее, чем белые губы воды,
которые, целуя твои колени,
шепчут о глубоком омуте
и о гло́тке, жаждущей вина.

Надо сегодня быть добрее.
Надо сегодня быть добрее.
Добрее ради ребенка,
которого ждет уже завтрашний день.
Ради того добродушного человека,
который говорит тебе «здравствуйте»
и съедает свой скромный обед.

Надо сегодня быть добрее.
Надо сегодня быть добрее.
Добрее, чем красное сердце хлеба,
добрее, чем белые губы воды,
ради нас,
ради нас,
ради приветливого «здравствуйте»,
ради невинного ребенка,
которого ждет уже завтрашний день.

* * *

Ветер приносит погожие дни.
В нас он гудит и крепчает.
Ветер приносит погожие дни.

Прекрасное и проходит прекрасно.
Остается печаль,
охватывая незаметно,
она наполняет глаза
и взор застилает густой пеленой
не напрасно.
В такие мгновенья что-то до боли тоскливое,
что-то огромное, личное наше, другим
недоступное,
держит нас властно.

Но бывает порой печаль легка, как былинка,
и касается нас, словно облачко над рекою,
у которой стоим мы молча в зябкой тени.

Тогда все кажется нам похожим на сказку,
и мы говорим: — Невероятно прекрасно!
Ветер гудит и крепчает.
Ветер приносит погожие дни.

МОЛИТВА О СЛОВЕ ОБЫКНОВЕННОМ, НО ЕЩЕ НЕ НАЙДЕННОМ

Это молит тебя мое тело:
найди слово простое, как дерево или поленья.
Как шершавые ладони, знающие свое дело.
Целомудренное, пригодное для любого моленья.
О таком слове молит тебя мое тело.

Это молит тебя мое тело:
найди слово, чтоб, если громко крикнуть такое,
слово бы это долго в крови гудело,
в крови, которая не ведает о покое.
О таком слове молит тебя мое тело.

Отыщи такое настоящее слово,
как вода родниковая, очищающая от скверны,
и как ветер, от которого вечером, когда все лилово,
у нас в глазах пробуждаются дикие серны.
Отыщи такое настоящее слово.

Найди слово для грусти и удивленья,
и тогда этот храм, изукрашенный древней резьбою,
храм этот замкнутый от самого сотворенья,
сам распахнется покорно перед тобою.
Найди слово для грусти и удивленья.

ПРИМЕЧАНИЯ

ИЗ АЛБАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Чаюпи Андон, псевдоним Андона Зако (1866—1930) — поэт, драматург и переводчик. Деятель национального Возрождения. Книга стихов — «Отец Томори» (1902) — утвердила тенденции критического реализма в албанской литературе. Чаюпи переводил Лафонтена, Гейне, поэтов санскрита. На русском языке: «Стихотворения». М., 1953.

Мьеда Ндре (1866—1937) — поэт, ученый-лингвист, политический деятель. Доктор философии и богословия. Исключен из ордена иезуитов за патриотическую поэму «Плач соловья» (1887). Автор лирического сборника «Ювенилия» (1917). На русском языке: «Стихотворения и поэмы». М., 1959.

Мидьени, псевдоним Милоша Дьердя Николы (1911—1938) — поэт и прозаик. Первая книга стихов, в которой поэт обличал феодально-буржуазных эксплуататоров,— «Свободные стихи», вышла в 1936 году. Мидьени с теплотой относился к простым труженикам, в его стихах выражены симпатии к Советскому Союзу («Неспетые песни»). На русском языке: «Избранное». М., 1954.

Мусарай Шефтет (р. 1914) — поэт и прозаик. Сатирическую поэму «Эпопея Балы Комбетар» поэт издал нелегально в 1944 году. Дополненное и переработанное издание, с которого делался русский перевод, вышло в Тиране, в 1948 году.

Стафа Кемаль (1921—1942) — поэт, прозаик, один из руководителей национально-освободительного движения. Главные герои стихов и прозы Стафы — революционеры. «Песнь колокольни» — опубликована в 1945 году; «Убитому брату» («Тени моего брата») — опубликовано в 1945 году. Национальный герой.

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Смирненский Христо, псевдоним Христо Димитрова Измирлиева (1898—1923) — революционный поэт романтической и сатирической направленности, печатался с 1915 года. Первая книга стихов — «Да

будет день» — вышла в 1922 году. Значительное место в творчестве Смирненского занимает тема Советской России («Красные эскадроны», «Москва» и др.). В 1921 году Смирненский вступил в ряды коммунистической партии. Умер в расцвете творческих сил от туберкулеза.

Стоянов Людмил, псевдоним Георгия Стоянова Златарова (1888—1973) — поэт, прозаик, публицист, общественный деятель — антифашист, строитель болгарской социалистической культуры, академик, популяризатор русской и советской литературы, переводчик. Выступил в литературе в 1905 году как поэт-символист. Первые книги стихов: «Видения на распутье» (1914) и «Меч и слово» (1917). Октябрьская революция в России оказала на Стоянова и его творчество огромное влияние. Проза и стихи Стоянова испытали на себе воздействие реалистического метода. В 1948 году Советское правительство наградило Л. Стоянова орденом Трудового Красного Знамени. Л. Стоянов был членом Всемирного Совета Мира со дня его основания. Герой Социалистического Труда НРБ. Лауреат Димитровской премии.

Багряна Элисавета, псевдоним Элисаветы Белчевой (р. 1893) — поэт, переводчик и общественный деятель. Первая книга стихов — «Вечная и святая» — вышла в 1927 году. Переводы Багряны на болгарский из Пушкина, Тютчева, Блока, Ахматовой принадлежат к вершинам болгарского переводческого искусства. На русском языке опубликованы: «Сердце человеческое». М., 1959, и др. Лауреат Димитровской премии.

Хрелков Николай (1894—1950) — поэт, переводчик, общественный деятель. Печататься начал с 1919 года. Был под влиянием символизма. Однако уже в написанной в эмиграции революционно-романтической поэме «Полуночный конгресс» (1932) звучат мотивы пролетарского интернационализма. Лауреат Димитровской премии.

Ламар, псевдоним Лалю Маринова (р. 1898) — поэт и прозаик. Печататься начал в 1915 году. Первая книга стихов — «Арена» — вышла в 1921 году. Наиболее значительное произведение довоенной поры —поэма «Мирные-немирные годы», вышла в 1928 году. После Сентябрьской революции 1944 года принял участие в войне против фашистской Германии. На русском языке опубликован сборник «Стихи». М., 1961. Лауреат Димитровской премии (дважды).

Фурнаджиев Никола (1903—1968) — поэт, творчество которого пробудилось в пору революционных событий 1923 года. Печататься начал в 1919 году. Первая книга стихов — «Весенний ветер» — вышла в 1925 году. Сентябрьскую революцию 1944 года поэт принял восторженно, назвав свой первый послевоенный сборник «Великие дни» (1950). На русском языке опубликована книга стихов «Солнце над горами». М., 1963. Лауреат Димитровской премии.

Радевский Христо (р. 1903) — поэт, переводчик, критик, публицист. Вступил в литературу в конце двадцатых годов. Первая книга стихов — «К партии» — вышла в 1932 году. Радевский — известный пере-

водчик русской классической и советской поэзии, автор «Антологии современной русской поэзии» (1938). На русском языке: «Стихи и басни». М., 1957. Лауреат Димитровской премии (дважды).

Далчев Атанас (р. 1904) — поэт, переводчик. Печататься начал с 1923 года, его ранние стихи посвящены исключительно внутреннему миру человека. Но уже в первых своих книгах — «Окно» (1926), «Стихотворения» (1928) — поэт обращается к сфере конфликта между человеком и средой. Гуманистическая направленность, философская глубина, отточенность формы характеризуют все творчество поэта. Взыскательный переводчик, он познакомил своих соотечественников с поэзией Арагона, Лорки, Гильена. На русском языке опубликована книга стихов Далчева «Избранное». М., 1974, в переводе М. Петровых.

Исаев Младен (р. 1907) — поэт, журналист, переводчик, общественный деятель. Сентябрьское восстание 1923 года Исаев встретил комсомольцем. Печататься начал со второй половины двадцатых годов. В тридцатые выходят первые книги стихов: «Пожары» (1932), «Жертвы» (1934), «Ясность» (1936). Социалистический гуманизм, протест против фашизма и войны — основное содержание лирики Исаева. Переводчик «Евгения Онегина», Исаев познакомил своих соотечественников также с творчеством А. Блока, С. Есенина и других русских советских поэтов. На русском языке: «Лирика». М., 1964. Лауреат Димитровской премии.

Вапцаров Никола (1909—1942) — революционный поэт. Родился в семье македонского революционера. Рабочий-металлист. Печататься начал в 1924 году. Первая книга стихов — «Песни мотора» — вышла в 1940 году. Это было единственное при жизни поэта издание. Коммунист-подпольщик, Вапцаров был казнен 23 июля 1942 года. В 1953 году ему присуждается Почетная Международная премия Мира. Социалистическая Болгария провозгласила поэта Национальным героем.

Андреев Веселин (р. 1918) — поэт, прозаик, общественный деятель. С осени 1941 года полностью посвящает себя революционной борьбе. В партизанской бригаде «Чавдар», где поэт был политкомиссаром, создавались его первые произведения, составившие впоследствии сборник «Партизанские песни» (1947), выдержавший около двух десятков изданий. Лауреат Димитровской премии.

Ханчев Веселин (1919—1966) — поэт, публицист, драматург и переводчик. Принадлежит к поколению, выступившему в литературе накануне второй мировой войны. Первая книга стихов — «Испания на кресте» — вышла в 1938 году. После Сентябрьской революции 1944 года и освобождения Болгарии уходит на фронт рядовым солдатом. На русском языке: «Лирика». М., 1963; «Избранная лирика». М., 1970; «Избранные стихотворения». М., 1974. Лауреат Димитровской премии (дважды).

Геров Александр (р. 1919) — поэт, новеллист. Принадлежит к поколению, выступившему в литературе накануне второй мировой войны. Первая книга стихов — «Мы — люди» — вышла в 1942 году. Поэт-лирик,

обладающий обостренным чувством гражданской ответственности. Лауреат Димитровской премии.

Петров Валерий (р. 1920) — поэт, драматург, журналист. Печататься начал перед самой войной, но как своеобразный художник сложился только в Социалистической Болгарии. Первая книга стихов — «Стихотворения» — вышла в 1949 году. В 1944—1945 годах поэт участвовал в войне против гитлеровской Германии в качестве военного корреспондента. Поэтическим достижением Петрова, вошедшим в золотой фонд современной болгарской поэзии, явилась поэма «Погожей осенью» (1960) — исповедь художника, размышляющего о своем современнике и об обществе социалистических идеалов. На русском языке: «Поэмы. Мальчик с пальчик. В пути. Погожей осенью». М., 1965. Лауреат Димитровской премии.

Димитрова Блага (р. 1922) — поэт, прозаик, переводчик. Печататься начала с 1939 года. После Сентябрьской революции 1944 года — участник молодежного строительства. Училась в Литературном институте им. М. Горького в Москве, где защитила диссертацию на тему «Влияние В. Маяковского на болгарскую поэзию». Первые книги стихов: «Песни о Родопах» (1954), «Лиляна» (1959), поэма о болгарской революционерке Л. Димитровой — свойственные для поэтессы отклики на события общественной жизни. Лауреат Димитровской премии.

Методиев Димитр (р. 1922) — поэт, переводчик, общественный и партийный деятель. Первая книга — «Димитровское племя», роман в стихах — вышла в 1951 году. Учился в Москве в Литературном институте им. М. Горького. На русском языке: «Младое поколение». М., 1955. Лауреат Димитровской премии.

Божилов Божидар (р. 1923) — поэт, драматург, общественный деятель. Принадлежит к поколению, начавшему свой путь в канун войны. Первая книга стихов — «Третий класс» — вышла в 1939 году. После Сентябрьской революции 1944 года — на редакционно-издательской работе и в Союзе писателей Болгарии. Лиро-эпическая поэма — излюбленная форма поэта. Лауреат Димитровской премии.

Матев Павел (р. 1924) — поэт, публицист, общественный деятель. Среди поколения, пришедшего в литературу после войны, Матеву принадлежит одно из первых мест. Печататься начал в 1947 году. Первая книга стихов — «В строю» — вышла в 1951 году. Уже в первых стихах утверждался социалистический идеал, воспевался патриотический и гражданский долг строителя новой Болгарии. Со временем образ этого строителя становится сложнее, психологически и интеллектуально глубже. Лауреат Димитровской премии.

Джагаров Георгий (р. 1925) — поэт и драматург, государственный и общественный деятель. Принадлежит к поколению, которое вошло в литературу после освобождения страны от фашизма. Учился в Литературном институте им. М. Горького в Москве. Первая книга стихов — «Мои песни» — вышла в 1954 году. На русском языке опубликованы две книги

поэта: «На колени не падать!» (1970) и «Птицы против ветра» (1972). Лауреат Димитровской премии.

Пенев Пеньо (1930—1959) — комсомольский поэт, работавший последние десять лет рядовым рабочим на строительстве Димитровграда — «болгарского Комсомольска». Первая книга стихов — «Доброе утро, люди!» — вышла в 1956 году, остальные — после гибели поэта («Мы из двадцатого века» и др.) Лауреат Димитровской премии (посмертно).

Германов Андрей (р. 1932) — поэт и переводчик русских и украинских поэтов. Печататься начал с 1951 года. Первая книга стихов — «Ростки» — вышла в 1959 году. Она привлекла подлинным лиризмом, непосредственностью, романтической взволнованностью. В его переводе вышли на болгарском языке сборники избранных произведений А. Твардовского и С. Орлова, М. Бажана и В. Сосюры.

Левчев Любомир (р. 1935) — поэт и общественный деятель. Первая книга стихов — «Звезды — мои» — вышла в 1957 году. Новатор в творчестве, Левчев страстный боец против косности и обывательщины. Лауреат Димитровской премии.

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

Ади Эндре (1877—1919) — поэт, публицист. Первая книга стихов вышла в 1899 году. Поездка в Париж вызвала рост симпатий поэта к демократическому и социалистическому движению. К углублению этих симпатий приводит первая русская революция 1905—1907 годов. В 1906 году Ади издает сборник «Новые стихи», в котором отчетливо слышен призыв к революции. В годы первой мировой войны и в стихах и в публицистике Ади выступает как антимилитарист.

Юхас Дюла (1883—1937) — поэт и журналист. Писать начал рано. Первая книга стихов — «Стихи Дюлы Юхаса» — вышла в 1907 году. Всю жизнь очень нуждался. Венгерскую революцию 1919 года принял восторженно — выступал против контрреволюции и белого террора, писал революционные стихи. В Сегеде, где он жил, руководил театром, выступал перед рабочими. После поражения революции подвергался репрессиям, жил впроголодь. Покончил жизнь самоубийством.

Йожеф Аттила (1905—1937) — поэт. Первая книга стихов — «Попрошайка красоты» — вышла в 1922 году. В ней еще сильно влияние поэтов Ади, Юхаса, Уитмена. Следующие книги: «Не я кричу» (1924) и «Ни отца, ни матери» (1929) — уже самостоятельны, в них чувствуется своеобразная интонация, собственная манера письма, то гротескная, то лирическая. Последняя книга стихов — «Очень больно» (1936),— вышедшая в период разгула фашизма в Европе, отражает настроения подавленности, хотя и в ней прорывается голос протеста. Страдая душевным расстройством, поэт покончил с собой. На русском языке: «Стихотворения». М., 1958; «Стихи». М., 1962.

Кашшак Лайош (1887—1967) — поэт, прозаик, критик и публицист. Был рабочим; после поражения Венгерской революции 1919 года жил в эмиграции в Австрии (1919—1926). Стихи начал писать в 1908 году. Первая книга стихов — «Эпос в маске Вагнера» — вышла в 1915 году. Лауреат премии им. Кошута.

Фодор Йожеф (1898—1973) — поэт, публицист, переводчик. В 1919 году — солдат Венгерской Красной Армии. Первая книга стихов — «Задыхающиеся леса» — вышла в 1927 году. В годы второй мировой войны — участник подпольного коммунистического движения. Лауреат премии им. Кошута.

Гидаш Антал (р. 1899) — поэт, прозаик, переводчик. Первая книга стихов — «На земле контрреволюции» — вышла в 1925 году в Вене. Участник революционного движения; сначала эмигрировал в Чехословакию (1920—1923), затем жил в СССР (1925—1959). Автор большого количества сборников стихов, прозаической трилогии и переводов из Пушкина, Некрасова, Маяковского и других русских и советских поэтов. Многие книги Гидаша — и стихотворные и прозаические — вышли на русском языке («Москва — родина», 1934; «Шандор Петефи», 1949, и др.). Лауреат премии им. Кошута.

Ийеш Дюла (р. 1902) — поэт, прозаик, драматург, публицист. В 1919 году — солдат Венгерской Красной Армии, в 1921—1926 годах находился в эмиграции (Австрия, Германия, Франция). В 1934 году — гость I Съезда советских писателей. Написал книгу «Россия». Первая книга стихов — «Тяжелая земля» — вышла в 1928 году. На русском языке вышел сборник избранных произведений под общим названием «Рукопожатия», М., 1969. Лауреат премии им. Кошута (трижды), лауреат литературной премии им. Аттилы Йожефа.

Зелк Золтан (р. 1906) — поэт, редактор. Стихи пишет с 1925 года. Коммунист-подпольщик. До 1946 года — рабочий. Первая книга стихов — «Кровь проступит на твоих локтях» — вышла в 1930 году. Лауреат премии им. Кошута (дважды), лауреат литературной премии им. Аттилы Йожефа.

Радноти Миклош (1909—1944) — поэт-лирик. Первые стихи опубликовал пятнадцатилетним мальчиком. Первая книга стихов —«Приветствие язычника» — вышла в 1930 году. Следующая книга — «Песнь новых пастухов» — была конфискована «за оскорбление церкви и подстрекательство к бунту». В дальнейшем поэт сближается с левыми журналами, где сотрудничает и печатаст свои стихи. С 1940 по 1944 год находился в концлагере, где и был расстрелян. На русском языке: «Стихи». М., 1968.

Беньямин Ласло (р. 1915) — поэт. Был рабочим, заводским служащим. Выступил со стихами перед второй мировой войной. Опубликовал около двух десятков сборников. Первая книга стихов — «Звезда не появилась» — вышла в 1939 году. На русском языке: «Стихи». М., 1975. Лауреат премии им. Кошута (дважды), лауреат литературной премии им. Аттилы Йожефа.

Чанади Имре (р. 1920) — поэт, журналист. Первая книга стихов — «С грузом лет» — вышла в 1953 году. Лауреат литературной премии им. Аттилы Йожефа.

Ваци Михай (1924—1970) — поэт и журналист. В молодости работал сельским учителем. Печататься начал с 1955 года. Первая книга стихов — «Бузина» — вышла в 1959 году. Лауреат премии им. Кошута, лауреат литературной премии им. Аттилы Йожефа (дважды).

Надь Ласло (р. 1922) — поэт и переводчик. Первая книга стихов — «Исчезни, боль» — вышла в 1949 году. Лауреат премии им. Кошута, лауреат литературной премии им. Аттилы Йожефа (дважды).

Шимон Иштван (1926—1975) — поэт, публицист, критик, общественный деятель. Первая книга стихов — «Все выше» — вышла в 1944 году. Лауреат премии им. Кошута, лауреат литературной премии им. Аттилы Йожефа (дважды).

Юхас Ференц (р. 1928) — поэт, переводчик и публицист. Первая книга стихов — «Крылатый жеребенок» — вышла в 1944 году. Лауреат премии им. Кошута.

Гараи Габор (р. 1929) — поэт и переводчик, журналист и общественный деятель. Долгое время был редактором журнала «Жизнь и литература». Первая книга стихов — «Напряженные дни» — вышла в 1956 году. На русском языке: «В моем сне звезды». М., 1970. Лауреат премии им. Кошута, лауреат литературной премии им. Аттилы Йожефа.

ИЗ ПОЭЗИИ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вайнерт Эрих (1890—1953) — поэт, прозаик, драматург, член немецкой Академии искусства. Литературную деятельность начал в 1921 году. Первый сборник стихов — «Балаган» — вышел в 1925 году. С середины двадцатых годов Вайнерт прочно связывает свое творчество с борьбой немецкого пролетариата, в 1924 году он вступает в коммунистическую партию. После фашистского переворота эмигрирует в Швейцарию, затем в СССР. Политработник Второй интернациональной бригады в Испании. В годы второй мировой войны — председатель комитета «Свободная Германия», награжден медалью «За оборону Сталинграда». Творчество поэта связано с реалистической сатирой Генриха Гейне и Генриха Веерта. На русском языке: «Избранное». М., 1965. Лауреат национальной премии (дважды), лауреат премии им. М. Андерсена-Нексе.

Фюрнберг Луис (1909—1957) — поэт и музыкант, эссеист, один из зачинателей литературы новой Германии. Молодость провел в Чехословакии, где в 1928 году вступил в коммунистическую партию. В 1939 году был арестован, после допросов и пыток остался на всю жизнь глухим. В 1943 году, последовательный интернационалист, Фюрнберг посвятил Советскому

Союзу кантату «Во имя бессмертной человечности», а в 1947 году выходит его автобиографическая поэма «Брат безымянный», переведенная впоследствии (1958) на русский язык. На русском языке: «Избранное». Библиотека литературы Германской Демократической Республики. М., 1974.

Арендт Эрих (р. 1903) — поэт и переводчик. После фашистского переворота эмигрировал из страны. Сражался в рядах Интернациональных бригад в Испании (1936—1938). После поражения был интернирован во Франции, в 1940 году бежал в Латинскую Америку (Колумбию). Стихи Арендта составляют отдельные циклы, посвященные освободительному движению в Латинской Америке, войне в Испании, борьбе за мир и др. После возвращения в 1950 году на родину приобрел известность как поэт-лирик и переводчик латиноамериканской поэзии. Лауреат Национальной премии.

Куба, псевдоним Курта Бартеля (1914—1967) — поэт, драматург, публицист. Автор «Поэмы о человеке» (1948), начатой еще в 1933 году. После 1933 года эмигрировал сначала в Югославию, потом в Чехословакию, где сблизился с коммунистическим движением. В годы войны был интернирован в Англии. Обновил жанр массовой рабочей песни, успешно работал в области социально-философской и политической лирики. На русском языке: «Избранное». М., 1954. Лауреат Национальной премии (дважды), лауреат премии им. Лессинга, награжден медалью Эриха Вайнерта.

Хермлин Стефан, псевдоним Рудольфа Ледерера (р. 1915) — поэт, прозаик, драматург, публицист и переводчик. В годы фашистского режима примкнул к подпольному коммунистическому движению, боец Интербригады в Испании, участник Сопротивления во Франции, узник концлагеря. Первая книга стихов — «Двенадцать баллад о больших городах» — вышла в 1947 году. Поэзия Хермлина носит эпический характер. На русском языке: «Полет голубя». М., 1963; «Избранное». Библиотека литературы Германской Демократической Республики. М., 1974. Лауреат Национальной премии (дважды), премии им. Генриха Гейне и премии им. Ф.-К. Вайскопфа.

Маурер Георг (1907—1971) — поэт, эссеист, переводчик. Родился в Трансильвании (Румыния), с 1928 года жил в Германии. В годы второй мировой войны — солдат вермахта на восточном фронте. Был в плену в Советском Союзе. Первая книга стихов — «Вечные голоса» — вышла в 1936 году. Послевоенные книги — «Сорок два сонета» (1953) и «Стихи» (1955) — свидетельствуют о новой общественной позиции автора. Широкую известность приобрел эпический цикл «Поэтическое путешествие» (1959), состоящий из трех поэм. Переводил произведения румынских писателей XIX—XX веков. Лауреат премии им. Б. Брехта.

Бобровский Иоганнес (1917—1965) — поэт и прозаик, искусствовед и историк. Четыре года находился в плену в Советском Союзе. Первая книга стихов — «Время сарматов» — вышла в ГДР в 1961 году. В 1962 году книга была удостоена австрийской премии им. Анны Иоганны Кениг и премии «Группы 47» (ФРГ). На русском языке: «Избранное». Библиотека литературы Германской Демократической Республики. М., 1970.

Фюман Франц (р. 1922) — поэт, прозаик, очеркист, детский писатель, переводчик. Первая книга стихов — «Гвоздика Никоса» — вышла в 1953 году. Переводит болгарских, венгерских и чешских поэтов. На русском языке: «Избранное». Библиотека литературы Германской Демократической Республики. М., 1973. Лауреат Национальной премии ГДР, премии им. Генриха Манна, им. Иоганнеса Бехера, Союза свободных немецких профсоюзов.

Винс Пауль (р. 1922) — поэт и переводчик, кинодраматург. Печатается с 1951 года. Автор поэмы «Памятник Даше» (1960), переводил Твардовского, Арагона, Хикмета, Маяковского, Маршака. Лауреат Национальной премии ГДР.

Дейке Гюнтер (р. 1922) — поэт, литературный критик, публицист, переводчик. Наиболее известные книги Дейке: «Мечта о счастливом годе» (1959) и «Облака» (1964). На русском языке: «Облака». М., 1968.

Бергер Уве (р. 1928) — поэт. Первый сборник стихов — «Дорога Родины» — вышел в 1955 году. Первый лауреат литературной премии им. Иоганнеса Бехера.

Кунерт Гюнтер (р. 1929) — поэт, прозаик, публицист. Первая книга стихов — «Дорожные указатели» — вышла в 1950 году. Лауреат премии им. Генриха Манна.

Калау Гейнц (р. 1931) — поэт, переводчик, кинодраматург. Первая книга стихов — «Проба» — вышла в 1956 году. Лауреат премии им. Генриха Гейне.

Кирш Сара, псевдоним Ингрид Бернштейн (р. 1935) — поэт, прозаик, журналистка. Первая книга стихов (совместно с мужем Ратнером Киршем) — «Разговор с бронтозавром» — вышла в 1965 году. Переводчица стихов Анны Ахматовой и Новеллы Матвеевой.

Браун Фолькер (р. 1939) — поэт, воспитанник Союза свободной немецкой молодежи, рабочий-шахтер. Первая книга стихов — «Мой дерзкий вызов» — вышла в 1964 году. Лауреат литературной премии Союза свободной немецкой молодежи, премии издательства «Ауфбау».

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Лесьмян Болеслав (1877—1937) — один из самых выдающихся и оригинальных польских поэтов XX века. Печататься начал в 1899 году. Сотрудничал в журнале «Химера» (1901—1907). В эти же годы писал по-русски, выступая на страницах журналов «Золотое руно» и «Весы». Первая книга стихов — «Сад на распутье» — вышла в 1912 году. Однако расцвет творческой деятельности поэта относится к периоду «между войнами». В эти годы вышли три сборника: «Луг» (1920), «Студеное питье» (1936) и «Лесное деяние» (1938). Начиная как символист, Лесьмян тяготел к сказочно-фантастической образности, создавая ее красочностью и богатством своих языковых

средств. Во многих его стихах звучит явная обеспокоенность за судьбу человека, боль за его страдания.

Стафф Леопольд (1878—1957) — поэт, драматург, переводчик. Первая книга стихов — «Сны о могуществе» — вышла в 1901 году. На более чем полувековом творческом пути поэта особое место занимает период сороковых — пятидесятых годов. Тяжелые переживания военных лет, проведенных Стаффом в оккупированной гитлеровцами Польше, запечатлены в книге «Мертвая погода» (1946), послевоенный период — в книге «Камыши» (1954). На русском языке: «Избранная лирика». М., 1971; «Стихи». М., 1973. Многолетний поэтический труд Леопольда Стаффа получил высокую оценку — он был награжден Государственной премией ПНР.

Тувим Юлиан (1894—1953) — один из крупнейших европейских поэтов XX века, переводчик, общественный деятель. Публиковаться начал в 1913 году. Первая книга стихов — «Подстерегаю бога» — вышла в 1918 году. Уже в ней проявились характерные черты творчества Тувима — его демократизм, ненависть к несправедливости и мещанству. В годы, предшествовавшие второй мировой войне, в поэзии Тувима гневно звучит протест против империализма и фашистского мракобесия. После вторжения гитлеровской Германии в Польшу Тувим в эмиграции (Франция, Бразилия, США), где создает свое крупнейшее произведение — поэму «Цветы Польши». В 1946 году Тувим возвращается на родину, где принимает активное участие в культурном строительстве. Выдающийся новатор родной поэзии, Тувим был и выдающимся мастером поэтического перевода. Его переводы русской классической и советской поэзии принадлежат к лучшему, что создано переводческим искусством вообще. На русском языке Тувим издавался неоднократно («Стихи». М., 1965;«Цветы Польши». Фрагменты поэмы. М., 1971, и др.). За свое творчество он был удостоен Государственной премии ПНР.

Ивашкевич Ярослав (р. 1894) — поэт, прозаик, драматург, общественный деятель, публицист. Первая книга стихов —«Восьмистишия» — вышла в 1919 году. Ранний период творчества характерен камерными мотивами. Позднее, в особенности после войны, творчество поэта наполняется серьезным общественным содержанием. Военные годы поэт провел в оккупированной гитлеровцами стране. В Народной Польше он ведет широкую общественно-культурную деятельность, издает трилогию «Хвала и слава» (1956—1958), поэтический цикл «Свиток осени» (1954), многие сборники стихов и рассказов. На русском языке издавался неоднократно. Удостоен Государственной премии ПНР (трижды).

Броневский Владислав (1897—1962) — крупнейший польский революционный поэт XX века, переводчик. Наследник великой традиции польского романтизма, Броневский был выдающимся новатором в польской поэзии. Поэт прошел сложный жизненный путь. Первая книга стихов — «Ветряные мельницы» — вышла в 1925 году. Несмотря на цензурные преследования, поэтическое слово Броневского находит пути к широкому читателю. После второй мировой войны пишет ряд стихотворений и поэм,

посвященных борьбе за мир и социализм: сборник «Надежда» (1951), лирико-философская поэма «Висла. Фрагменты» (1953), героическая поэма «Повесть о жизни и смерти Кароля Вальтер-Сверчевского, рабочего и генерала» (1949). На русском языке: «Избранное». М., 1951; «Стихи». М., 1968. Лауреат Государственной премии ПНР (дважды).

Пшибось Юлиан (1901—1970) — поэт, литературовед, автор книг об искусстве. Дебютировал в 1922 году. Первая книга стихов — «Болты» — вышла в 1925 году. Принадлежал к так называемой группе «Краковского авангарда». Творчество поэта было, однако, шире лозунгов этой группы, ему были свойственны критическое отношение к режиму и интерес к социальной проблематике. В 1939—1941 годах находился во Львове, где сотрудничал в журнале «Нове виднокренги»; в 1941—1944 годах скрывался в родной деревне: там он, работая сельскохозяйственным рабочим, выпустил два сборника — «Тебе обо мне» и «Пока мы живы». После освобождения Польши принимал активное участие в культурном строительстве. Лауреат Государственной премии ПНР.

Яструн Мечислав (р. 1903) — поэт, переводчик и критик, доктор философии. Участник Сопротивления. Печататься начал в 1923 году в журнале «Скамандер». Первая книга стихов — «Встреча во времени» — вышла в 1929 году. Широкую известность принесла поэту патриотическая лирика, появившаяся в годы войны в Варшаве. Впоследствии она составила книгу «Время под стражей» (1944). В своем творчестве поэт стремился к историко-философскому осмыслению человеческого бытия. Переводчик русской и французской поэзии. Лауреат Государственной премии ПНР (дважды), лауреат премии Пен-клуба.

Галчинский Константы Ильдефонс (1905—1953) — поэт, прозаик, театральный деятель. Первые книги — повесть «Ослик Порфирион» и поэма «Конец света» — вышли соответственно в 1929 и 1930 годах. В годы второй мировой войны был в немецком лагере для военнопленных. После войны писал сатирические стихи и фельетоны. В лирической поэзии создал оригинальный стиль, сочетающий вместе с лирикой юмор, иронию и гротеск. Поэма «Вит Ствош» (1952) и цикл лирических миниатюр «Песни» (1953) — лучшее из последних произведений поэта. На русском языке: «Стихи». М., 1967.

Шиманский Эдвард (1907—1943) — поэт и переводчик. Во время гитлеровской оккупации — участник подпольного движения. Первая книга стихов — «Двадцать миллионов» — вышла в 1932 году и тут же была конфискована. Помимо политических стихов, сатирических и интимно-лирических поэм, писал рабочие песни и стихи для детей. Погиб в Освенциме.

Бачинский Кшиштоф Камил (1921—1944) — поэт, прозаик, драматург. Стихи начал писать в 1938 году. До войны опубликовать ничего не успел. При оккупации находился в Варшаве, вступил в ряды Армии Крайовой, выпустил в подполье сборник стихов. Убит в бою на четвертый день Варшавского восстания. Книга избранных стихотворений

«Песнь из огня» вышла в 1947 году. В 1961 году изданы в одном томе все произведения — поэзия и проза — Бачинского.

Ружевич Тадеуш (р. 1921) — поэт, прозаик, драматург. Выразитель взглядов так называемого «поколения уцелевших». Первая книга стихов — «Беспокойство» — вышла в 1947 году, хотя дебютировал поэт еще в подполье, сражаясь в 1943—1944 годах в отряде Армии Крайовой. Опустошение души, нанесенное войной, ответственность за судьбы человечества, поиски выхода из трагического разъединения людей — основные направления творчества. На русском языке: «Беспокойство». М., 1963. Лауреат Государственной премии ПНР (трижды).

Боровский Тадеуш (1923—1951) — поэт и прозаик. Родился на Украине. Аттестат зрелости получил во время оккупации в подпольной школе. Первые книги стихов, изданные в подполье,— «Где только есть земля» и «Поэтическая тетрадь»,— вышли соответственно в 1942 и 1944 годах. Был отправлен гитлеровцами в концлагерь (Освенцим, Дахау). После освобождения писал прозу. Поэзия Боровского развивалась в традициях польских романтиков. Лауреат Государственной премии ПНР.

Шимборская Вислава (р. 1923) — поэт, переводчик. Дебютировала в 1945 году. Первая книга стихов — «Для этого мы живем» — вышла в 1952 году. Поэтессу волнует широкий круг нравственных и философских проблем. Лауреат Государственной премии ПНР.

Гроховяк Станислав (р. 1934) — поэт, прозаик, драматург. Первая книга стихов — «Рыцарская баллада» — вышла в 1956 году. Глава так называемой школы «Турпизма» (культ безобразного), от идей которой поэт довольно быстро отходит в сторону бóльшей классичности и простоты формы («Крыжовник», 1963; «Канон», 1965).

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ

Тома Александру (1875—1954) — поэт, революционно-общественный деятель, переводчик, публицист. Академик. В литературе — с 1894 года, писал стихи о рабочем движении. В 1926 году опубликовал сборник стихов. В годы второй мировой войны — участник движения Сопротивления. Первая книга стихов после освобождения, в которую были включены стихи разных лет, вышла в 1944 году под названием «Под лучами нового времени». Переводил советских поэтов. На русском языке: «Избранное». М., 1954. Лауреат Государственной премии СРР.

Аргези Тудор, псевдоним Йона Теодореску (1880—1967) — поэт и прозаик. Академик. Публиковаться начал с 1896 года, но признание пришло после первой книги стихов — «Нужные слова», которая вышла в 1927 году. Аргези — подлинный новатор в поэзии, он расширил возможности румынского стиха, обогатив его новыми образами и новыми формальными приемами. После освобождения страны от фашизма Аргези создает

знаменитые циклы стихов — «Песнь человеку» (1955) и цикл «1907» (1955), посвященный крестьянскому восстанию в Румынии. На русском языке: «Избранные стихи». М., 1960; «Лирика». М., 1971. Лауреат Государственной премии СРР.

Баковия Джордже, псевдоним Василиу (1881—1957) — поэт, долгое время находившийся под влиянием французских символистов. Публиковаться начал с 1898 года. Первая книга стихов — «Свинец» — вышла в 1916 году. Серые будни, неизбывная тоска обездоленного человека буржуазного общества — основные мотивы творчества. Лауреат Национальной премии.

Станку Захария (1902—1974) — поэт и прозаик, драматург, публицист, журналист. Академик. Видный общественный и государственный деятель. Первая книга стихов — «Простые песни» — вышла в 1927 году. Как прозаик Станку создал ряд произведений, получивших мировое признание,— в частности, роман «Босой» (1948), русский перевод 1957 года. В конце жизни опубликовал два сборника стихов — «Песня шепотом» (1970) и «Сабля Времени» (1972), стихи из которых включены в настоящий том. Лауреат Государственной премии СРР.

Бенюк Михай (р. 1907) — поэт, прозаик, драматург. Видный общественный и политический деятель. Академик. В литературе с начала тридцатых годов. Первая книга стихов — «Песни погибели» — вышла в 1938 году. Это была революционно-романтическая поэзия. После освобождения страны от фашизма выпускает сборник «Человек ждет восхода солнца» (1946), в котором выступает уже как социалистический поэт. На русском языке: «Стихи». М., 1958; «Вечное пламя». М., 1961; «Стихи». М., 1973. Лауреат Государственной премии СРР.

Параскивеску Мирон Раду (1911—1973) — поэт, журналист, переводчик. Печатается с 1934 года. Первая книга стихов — «Цыганские песни» — вышла в 1942 году. Написана была под влиянием убитого фашистами Ф. Гарсиа Лорки и включала переводы из этого испанского поэта. Серьезный интерес представляют переводы из Н. А. Некрасова. За перевод поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» удостоен Государственной премии СРР.

Жебеляну Эуджен (р. 1911) — поэт, журналист. Академик. Печататься начал с 1928 года. Первая книга стихов — «Сердца под саблями» — вышла в 1934 году. После освобождения страны от фашизма поэт активно включается в культурное строительство. В его стихах усиливаются социальные мотивы, звучат публицистические ноты. Лауреат Государственной премии СРР.

Бануш Мария (р. 1914) — поэт, прозаик, драматург. Выступила в литературе накануне второй мировой войны. Первая книга стихов — «Страна девушек» — вышла в 1937 году. В годы второй мировой войны и в особенности после освобождения страны от фашизма в творчестве поэтессы крепнут гражданские мотивы братства между народами, строи-

тельства новой жизни. На русском языке: «Великий день». М., 1954; «Стихи». Бухарест, 1958; «Стихи». М., 1960. Лауреат Государственной премии СРР.

Порумбаку Вероника (р. 1921) — поэт, прозаик и переводчик. В годы второй мировой войны, как комсомолка, была в подполье. Первая книга стихов — «Мечты бабы Докии» — вышла в 1947 году. В ней поэтесса воспела освобождение страны от фашизма. Порумбаку много переводит, ею выпущена уникальная антология «Из женской лирики», в которую включены стихи 181 поэтессы мира. На русском языке: «Мелодия света». М., 1963. Лауреат Государственной премии СРР.

Утан Тибериу (р. 1930) — поэт, переводчик. Первая книга стихов — «Призывы» — вышла в 1955 году. Учился в Москве в Литературном институте им. М. Горького. Лауреат премии Академии СРР.

Стэнеску Никита (р. 1933) — поэт. Первая книга стихов — «Смысл любви» — вышла в 1960 году. Поэт выступает не с отдельными стихами, а с целыми циклами, объединенными и тематически, и в смысловом отношении (сборники: «Земля по имени Румыния», 1969; «В нежном классическом стиле», 1970; «Роман одного чувства», 1973). Лауреат премии Союза писателей СРР (дважды).

Лабиш Николае (1935—1956) — поэт, писать начал в раннем возрасте, публиковался еще в школьные годы. Погиб, оставив две книги стихов: «Смерть лани» (1955) и «Первая любовь» (1956).

Сореску Марин (р. 1936) — поэт, драматург, детский писатель и переводчик. Первая книга стихов-пародий — «Один среди поэтов» — вышла в 1963 году. За сборник «Стихотворения» (1966) поэт удостоен премии Союза писателей СРР.

Бландиана Ана (р. 1942) — поэт-лирик. Первая книга стихов — «Первое лицо множественного числа» — вышла в 1964 году. За книгу стихов «Ахиллесова пята» (1966) поэтесса удостоена премии Союза коммунистической молодежи Румынии. Лауреат премии Союза писателей СРР.

ИЗ ПОЭЗИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЧЕХИЯ

Безруч Петр, псевдоним Владимира Вашека (1867—1958) — поэт. Печататься начал с 1899 года. Первая отдельная книга стихов — «Силезские песни» — вышла в 1909 году. Она принесла поэту большую известность и явилась новой ступенью в развитии чешской реалистической поэзии. На русском языке: «Силезские песни». М., 1955 и 1958. В 1945 году поэту присвоено звание Народного художника.

Волькер Иржи (1900—1924) — поэт, прозаик, теоретик пролетарского искусства. Первая книга стихов — «Гость на порог» — вышла в 1921 году, в год, когда поэт вступил в Коммунистическую партию

Чехословакии. Следующая книга — «Час рожденья» — вышла в 1922 году. В ней поэт рассказал о тяжелом положении рабочего в буржуазном обществе и призвал к революционному преобразованию мира. Умер от туберкулеза.

Нейман Станислав Костка (1875—1947) — поэт, прозаик, журналист. Прошел сложный путь развития от декадентского искусства конца прошлого века, от футуризма, кубизма и экспрессионизма к пролетарскому искусству, к искусству социалистического реализма. На всех этапах творчества неизменно выступал с призывом к борьбе против буржуазного общества («Я — апостол новой жизни», 1896), утверждая идеалы национально-освободительной борьбы («Чешские песни», 1910), стоял за демократизацию искусства и новаторство формы и содержания («Новые песни», 1918), рассматривал искусство как «оружие революции» («Красные песни», 1923). Октябрьскую революцию в России принял с восторгом, перешел на позиции марксизма, был одним из основателей Коммунистической партии Чехословакии. В предвоенные годы призывал к борьбе с фашизмом, к дружбе с СССР. Во время гитлеровской оккупации скрывался в подполье. После освобождения страны был редактором журнала «Творба» («Творчество»). На русском языке: «Избранное». М., 1953 и 1958. Народный художник.

Гора Йозеф (1891—1945) — поэт, прозаик, переводчик. Первая книга стихов — «Стихотворения» — вышла в 1915 году. Гора — один из зачинателей пролетарской поэзии («Трудовой день», 1920). Член Коммунистической партии Чехословакии со дня ее основания. Вершиной творчества явилась книга стихов «Родина» (1938), навеянная тревожным временем кануна войны. Ему принадлежит лучший перевод на чешский язык «Евгения Онегина». Йозефу Горе первому было присуждено звание Народного художника (посмертно).

Библ Константин (1898—1951) — поэт. Первая книга стихов (совместно с А. Ражем) — «Путь к людям» — вышла в 1923 году. Входил в поэтическую организацию «Деветсил». Писал антивоенные стихи (поэма «Новый Икар», 1929). Новый период творчества связан с освобождением страны от фашистской оккупации. Написанные в эти годы и в первые годы строительства народно-демократической республики стихи составили книгу «Без опасений», вышедшую в 1951 году. На русском языке: «Стихи». М., 1965. Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда.

Незвал Витезслав (1900—1958) — один из наиболее крупных европейских поэтов XX века, прозаик, драматург, переводчик, композитор и живописец. В двадцатые годы входил в организацию «Деветсил». В 1924 году вступил в Коммунистическую партию Чехословакии. Первая книга стихов — «Мост» — вышла в 1922 году. Был участником международного антифашистского конгресса писателей в Париже (1938 г.). В 1939 году опубликовал антифашистский цикл «Историческое полотно», дополненный после Освобождения стихами времен оккупации и стихами, в которых воспевалась победа. После 1945 года принял активное участие в строительстве новой жизни. В 1953 году

награждается Золотой медалью Всемирного Совета Мира. Выпустил около ста своих книг. На русском языке: «Избранное». М., 1960; «Лирика». М., 1964; «Стихи и поэмы». Библиотека литературы ЧССР. М., 1972. Неоднократный лауреат Государственной премии им. К. Готвальда. Народный художник.

Галас Франтишек (1901—1949) — поэт, переводчик. Печатался с начала двадцатых годов. Первая книга стихов — «Сепия» — вышла в 1927 году. В ней, как и вообще в ранних стихах, преобладали мотивы смерти и страха перед жизнью. Перелом в творчестве Галаса наметился в книге «Настежь» (1936), в которой поэт осуждает капиталистический мир, приветствует борющуюся Испанию. Вершиной творчества явилась книга «Торс надежды» (1938), в ней Галас выступил как поэт-трибун, призывающий к борьбе против фашизма. В годы оккупации стихи Галаса печатались в подпольной «Руде право» («1 Мая 1942 года» и др.). Победу над фашизмом и строительство новой жизни поэт воспел в книге «В строю», вышедшей в 1948 году. На русском языке: «Стихи». М., 1974.

Сейферт Ярослав (р. 1901) — поэт, переводчик. Начинал как пролетарский поэт. Первая книга стихов — «Город в слезах» — вышла в 1921 году. Затем отошел от пролетарской поэзии к «поэтизму». Мюнхенское предательство вернуло поэта к социальным и патриотическим темам. Освобождению страны посвящена книга стихов «Каска земли» (1945). Переводил А. Блока, Г. Аполлинера и др. Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда. Народный художник.

Голан Владимир (р. 1905) — поэт, переводчик. Первая книга стихов — «Мечтательный веер» — вышла в 1926 году. В книге ощутимо влияние «поэтизма». В конце тридцатых годов под влиянием надвигающейся фашистской агрессии поэт выпускает книгу «Камень, ты придешь...» (1937), в ней выражено сочувствие испанским антифашистам; «Сентябрь, 1938» (1938), «Ответ Франции» (1938) и «Сон» (1939), — книги, в которых преобладает трагический мотив, вызванный национальной катастрофой. После победы поэт приветствовал Советский Союз («Благодарность Советскому Союзу», 1945) и его армию-освободительницу («Красноармейцы», 1947; «Тебе», 1947). Переводил Р.-М. Рильке, М. Ю. Лермонтова и др.

Завада Вилем (р. 1905) — поэт, общественный деятель. Входил в организацию «Деветсил». Первая книга стихов — «Панихида» — вышла в 1927 году. В ней, как и в следующей книге,— «Сирена» (1932),— поэт осуждает социальную несправедливость буржуазного мира. И все же обе книги не лишены чувства пессимизма. Связь с шахтерской Остравой помогает поэту преодолеть это чувство и уверовать в революционные силы народа («Дорога пешком», 1937). После Освобождения поэт посвящает свое творчество трудовому народу, показывает процесс его духовного обновления. На русском языке: «Одна жизнь». Стихи и поэмы. М., 1967. Лауреат премии им. К. Готвальда. Народный художник.

Грубин Франтишек (1910—1971) — поэт, детский писатель, драматург, переводчик. В литературу пришел в начале тридцатых годов. Первая книга стихов — «Пропетое издалека» — вышла в 1933 году. В годы оккупации создает ряд антифашистских произведений, поэму «Сталинград», «Хлеб со сталью» (1945) и др., опубликованные лишь после победы. Антивоенным пафосом пронизаны и последующие сочинения поэта: поэмы «Хиросима» (1948), «Метаморфоза» (1956) и др. На русском языке: «Романс для корнета». М., 1970. Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда. Народный художник.

Кайнар Йозеф (1917—1971) — поэт, драматург, общественный деятель. Первая книга стихов — «Случай и небольшие произведения» — вышла в 1940 году. Переломным моментом в творчестве поэта явилась книга «Первая любовь», вышедшая в 1950 году. В ней поэт декларировал активную поэзию, участвующую в социалистическом строительстве. Большую популярность получил сборник «Чешская мечта» (1953), в которой поэт использовал народно-сказочные мотивы. Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда.

Флориан Мирослав (р. 1931) — поэт-лирик. Первая книга— «Обручальное кольцо» (1948), но началом творчества поэта считают выход книги «Дорога к солнцу» (1953). Однако известность ему принесли три последующих сборника — «Близкий голос» (1955), «Открытый дом» (1957), «Головокружение» (1957), которые в 1959 году были изданы в одной книге «Стихи», получившей премию им. Петра Безруча. После этого вышло около десятка книг, за одну из них — «Инициалы» (1972) — по совокупности с творчеством последних лет ему присуждена Государственная премия им. К. Готвальда. Заслуженный художник.

СЛОВАКИЯ

Есенский Янко (1874—1945) — поэт, прозаик, переводчик, государственный деятель. В первую мировую войну был в плену в России. Печататься начал в девяностых годах XIX века. Первая книга стихов — «Стихи» — вышла в 1905 году. В творчестве Есенского сочетались лиризм и сатирическое обличение. Значительным явлением был сборник «Из плена», вышедший в 1917—1919 годах в России, Америке и Словакии. В тридцатые годы выступал против фашизации Словакии. Переводил русских поэтов (Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина). На русском языке отдельными изданиями вышли прозаические произведения Есенского: «Демократы». М., 1957; «Провинциальные рассказы». М., 1958.

Краско Иван, псевдоним Яна Ботто (1876—1958) — поэт, ученый, государственный деятель. Автор двух поэтических книг — «Ночь и печаль» (1909) и «Стихотворения» (1912),— явившихся важной вехой в истории словацкой поэзии. Народный художник.

Смрек Ян, псевдоним Яна Чиетека (р. 1898) — поэт, переводчик. Первая книга стихов — «Осужденный на вечную жажду» — вышла в 1922 году. Однако известность пришла к поэту со следующей книгой — «Галопом скачущие дни» (1925). На раннем творчестве Смрека лежит печать символизма. В 1930 году поэт поселяется в Праге, где основывает журнал «Подъем», просуществовавший до 1947 года. Во времена марионеточного Словацкого государства журнал был трибуной прогрессивных сил страны. В стихах кануна войны Смрек писал о борьбе с фашизмом, воспевал подвиги Советской Армии. Строительство новой жизни запечатлено в сборниках «Образ мира» (1958) и «Струны» (1962). Переводит венгерских, русских и польских поэтов. За переводы удостоен Государственной премии им. К. Готвальда.

Лукач Эмиль Болеслав (р. 1900) — поэт, переводчик. Первая книга стихов — «Исповедь» — вышла в 1922 году. Основное содержание книги — личные переживания. Однако поэзия Лукача порой приобретает и общественное звучание. Так, сборник «Эликсир» (1934) откликнулся на события, связанные с наступлением фашизма, книга «Молох» (1938) рассказала о судьбах Европы после испанских событий, а сборник «Дьявол» (1944) — о страданиях миллионов простых людей, вызванных второй мировой войной. В послевоенном творчестве гражданская тема усиливается. За книгу «Парижские романсы» (1969) Лукачу присуждена премия Союза словацких писателей.

Поничан Ян, псевдоним Роб (р. 1902) — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Первая книга стихов — «Существую, думаю, чувствую и вижу» — вышла в 1923 году. Это было первое в Словакии произведение пролетарской литературы. Поничан был одним из организаторов марксистского журнала «ДАВ», сыгравшего исключительную роль в строительстве словацкой социалистической культуры. Переводит Маяковского, Блока, Есенина, Пастернака. Народный художник.

Новомеский Лацо, псевдоним Ладислава Михала (р. 1904) — поэт, публицист, общественный и государственный деятель. Активный участник марксистского журнала «ДАВ». Выступал на I Съезде писателей СССР. Делегат Международного конгресса в защиту культуры в Испании (1937). В годы войны был членом подпольного ЦК Словацкой компартии, одним из организаторов Словацкого национального восстания 1944 года. Первая книга стихов — «Воскресение» — вышла в 1927 году. До второй мировой войны поэт выпустил еще три сборника, самый значительный из которых «Открытые окна» (1935). После победы вышел сборник «Запрещенным карандашом» (1946), в котором были собраны стихи, написанные в годы оккупации. В 1963 году вышли две поэмы Новомеского — «До города 30 минут» и «Вилла Тереза». Последняя была посвящена революции и революционному искусству. В 1964 году вышел сборник «Оттуда и другие стихи». Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда. Народный художник. На русском языке: «Избранное». М., 1966.

Плавка Андрей (р. 1907) — поэт и прозаик, общественный деятель. Участник Словацкого национального восстания. Первая книга стихов — «Из ночных и утренних раздумий» — вышла в 1928 году. На русском языке опубликована книга избранных произведений «Стихи и поэмы». М., 1974. Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда. Народный художник.

Кострa Ян (1910—1975) — поэт, переводчик. Печататься начал в конце двадцатых годов. Первая книга стихов — «Гнезда» — вышла в 1937 году. С ростом фашистской угрозы растет и гражданская тема в стихах Костры (сборники «Моя родная», 1939; «Оскалившееся время», 1940, и др.). Новая, социалистическая Чехословакия дала много тем для творчества поэта-лирика. В 1953 году выходит сборник «Кленовый лист», в стихах которого чувствуется биение пульса новой жизни. Сборник «Шиповник и подсолнух» (1958) развивает эти темы и далее, а книга стихов «Стих — твое творение» (1960) говорит о широком диапазоне творческих интересов поэта. На русском языке: «Стихи». М., 1960. Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда. Народный художник.

Горов Павол, псевдоним П. Горовчака (1914—1975) — поэт-лирик. Первые три книги стихов вышли в годы войны: «Предательские воды грунтовые» (1940), «Ниобея, мать наша» (1942), «Возвращения» (1944). Они проникнуты скорбью о человечестве, ввергнутом фашизмом в войну. После победы поэзия Горова освобождается от мрачных красок, в ней раскрывается богатство духовного мира нового человека («Солнце над нами», 1954; «Высокое летнее небо», 1960). Последующие книги — «Корабли из Генуи» (1966) и «Глубинная река» (1972) — явились синтезом всего творчества поэта, раздумьями о судьбе человека в новом обществе. Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда. Народный художник.

Жары Штефан (р. 1918) — поэт и переводчик. Первая книга стихов — «Мозаика сердец» — вышла в 1938 году. Это была книга сюрреалистических стихов. Под влиянием исторических событий, приведших его страну к социализму, Жары приходит к реалистической поэзии: новая мораль, возрождение человеческой личности, философские раздумья над судьбами человечества в космический век. Разрабатывает эпические жанры — баллады, стихотворные повести и пр. Известен как переводчик французских (Рембо, Элюар) и латиноамериканских поэтов (Гильен, Неруда).

Лайчак Милан (р. 1926) — поэт, переводчик, публицист, общественный и государственный деятель. Участник Словацкого национального восстания. Партизан. Первая книга стихов — «Товарищ, моя страна» — вышла в 1949 году. Это была боевая поэзия, исполненная пафоса освобождения. В 1950 году поэт выпускает две книги, проникнутые патриотизмом и любовью к стране социализма: «Ненавижу и люблю» и «Песнь о вечной дружбе». Выпустил много сборников стихов, в которых неизменно звучат страстные призывы к борьбе за новую, социалистическую действительность. На русском языке: «Лирика». М., 1958. Лауреат Государственной премии им. К. Готвальда. Заслуженный художник.

Мигалик Войтех (р. 1926) — поэт, переводчик, государственный и общественный деятель. Первая книга стихов, еще отмеченных религиозной символикой — «Ангелы»,— вышла в 1947 году. Постепенно он освобождается от католических взглядов. Его поэма «Поющее сердце» (1952) славит труд освобожденных людей. В 1955 году выходит сборник «Не умру на соломе». В нем поэт выступает уже подлинным и своеобразным мастером, избравшим путь социалистической поэзии. В 1960 году Мигалик издает самые значительные свои произведения: сборник стихов «Круги Архимеда» и поэму «Иов-бунтарь». В них он говорит о смысле жизни, который видит в созидании, в любви, в научных и эстетических озарениях человека. На русском языке: «Круги Архимеда. Избранное». М., 1964. Лауреат многих премий, в том числе Государственной премии им. К. Готвальда.

Валек Мирослав (р. 1928) — поэт, переводчик, общественный и государственный деятель. Был редактором художественных журналов, руководил Союзом словацких писателей. Первая книга стихов — «Прикосновения» — вышла в 1959 году. Он автор нескольких сборников стихов, в которых раскрывается сложный мир послевоенной Словакии. На русском языке: «Прикосновения». М., 1968. Лауреат многих премий, в том числе Государственной премии им. К. Готвальда. Заслуженный художник.

Руфус Милан (р. 1928) — поэт, общественный деятель. Первая книга стихов — «Пока не станем взрослыми» — вышла в 1956 году. Поэту близки актуальные гражданские темы. В своих стихах он не раз обращался к теме Словацкого национального восстания. В конце шестидесятых годов появилось несколько сборников, написанных в ранние годы («Паренек», «На ничьей земле»), и книги новых стихов — «Колокола» (1968), «Люди в горах» (1969). В 1972 году вышла книга «Стол бедных», ставшая вершиной творчества поэта. Лауреат многих премий, в том числе Государственной премии им. К. Готвальда.

ЮГОСЛАВИЯ

СЕРБИЯ

Шантич Алекса (1868—1924) — поэт-лирик, драматург, общественный деятель: был связан с освободительным движением Герцеговины. Первая книга стихов вышла в 1891 году. Высокий гражданский пафос, реалистичность образов, глубина социального содержания характеризуют творчество поэта. Некоторые стихи Шантича полны предчувствий победы рабочего класса. Отдельные из его стихов стали народными песнями.

Максимович Десанка (р. 1898) — поэт, прозаик, детский писатель, переводчик. Академик. Первая книга стихов вышла в 1924 году. В тридцатые годы в поэзии Максимович крепнут социальные мотивы, растет

гражданское самосознание художника («Новые стихи», 1936). В философских стихах этого времени звучит подлинный патриотизм. Послевоенное творчество поэтессы «приобретает зрелую обобщенность мысли». На русском языке: «Запах земли». М., 1960; «Стихотворения». М., 1971. Лауреат Государственной премии Антифашистского Веча народного освобождения Югославии, Октябрьской премии города Белграда, Премии 7 июля и др.

Давичо Оскар (р. 1909) — поэт, прозаик, публицист, государственный и общественный деятель. Участник народно-освободительной войны. Начинал как сюрреалист. Первая книга стихов вышла в 1938 году. На реалистических в целом стихах этой книги все же еще лежит печать модернизма. Первые годы после освобождения реалистические тенденции в творчестве Давичо укрепляются (поэма «Зренянин», 1947; сборник стихов «Вишня за оградой», 1950). С пятидесятых годов Давичо вновь возвращается к модернизму, поэзия его становится абстрактной, трудной для восприятия. Лауреат многих национальных и международных премий.

Алечкович Мира (р. 1924) — поэт и прозаик. Участница народно-освободительной войны, тогда же возникли ее первые «Звездные баллады» о детях-бойцах, детях, погибших в войну. В 1944 году вышел сборник поэтессы, напечатанный на гектографе. После победы вышли сборники: «Три весны» (1949) и «Невидимые следы» (1952), «Поляна» (1956), «Ночь эта последняя» (1960). В 1963 году на русском языке вышла ее книга стихов для детей «Серебряный поезд», в 1971 году — повесть о войне «Утро».

Раичкович Стеван (р. 1928) — поэт и прозаик, детский писатель. Начал печататься в сороковых годах. Первая книга стихов — «Детство» — вышла в 1950 году. В 1970 году выпустил сборник переводов «Шесть русских поэтов», в который вошли стихи А. Блока, М. Цветаевой, О. Мандельштама, А. Ахматовой, Н. Заболоцкого и Б. Пастернака. Лауреат литературных премий: Октябрьская премия города Белграда, Премия 7 июля.

ЧЕРНОГОРИЯ

Зогович Радован (р. 1907) — поэт, критик, публицист, переводчик, видный деятель партизанского движения. Литературную деятельность начал в прогрессивных журналах в начале тридцатых годов. Первые книги стихов — «Кулак» (1936) и «Огненные голуби» (1939) — были конфискованы полицией. Большое влияние на Зоговича оказало творчество В. Маяковского, лучшим переводчиком которого на сербскохорватский язык является поэт.

Костич Душан (р. 1917) — поэт, детский писатель, публицист, очеркист. Участник народно-освободительной борьбы против фашизма. Первая книга стихов — «Стихотворения» — вышла в 1947 году.

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Сарайлич Изет (р. 1930) — поэт, переводчик, публицист. Печататься начал в 1948 году. Первая книга стихов — «На встрече» — вышла в 1949 году. Переводчик русской советской поэзии («Так велика Россия», 1967). Книги поэта неоднократно награждались общеюгославскими и национальными премиями.

Секулич Дара (р. 1931) — поэт-лирик. Печататься начала в 1956 году. Первая книга стихов — «Я дом свой в мечтах вынашивала» — вышла в 1958 году. Стихи, помещенные в книге, опубликованы в сборниках «Горлом в ягоды» (1963) и «Горькое пристанище» (1970).

ХОРВАТИЯ

Назор Владимир (1876—1949) — поэт, прозаик, публицист, эссеист, общественный и государственный деятель. Участник народно-освободительной борьбы — член Антифашистского Веча народного освобождения Югославии, первый председатель Антифашистского Веча народного освобождения Хорватии. На литературное поприще вступил в девяностых годах прошлого века как представитель «Хорватского модернизма». Первая книга стихов — «Славянские легенды» — вышла в 1900 году. Поэзии Назора свойственны национально-освободительные мотивы, дух борьбы и надежды, с годами усиливается в ней социальная направленность. Новый подъем в творчестве связан с участием в антифашистской борьбе, чему посвящена последняя книга стихов — «Песни партизанки» (1944).

Крлежа Мирослав (р. 1893) — поэт, прозаик, драматург, публицист, общественный деятель. Первые поэтические сборники — «Стихи», тт. I—III, и «Лирика» — вышли в течение 1918—1919 годов. Перед ними публиковались поэмы «Пан» (1917) и «Три симфонии» (1917). Стихи, вышедшие в 1918—1919 годах,— это лирика военных лет, оплакивающая погибших за чуждые интересы, воспевающая революционное очищение мира, это надежда на Советскую Россию. В 1926 году поэт посещает Советский Союз. О своем визите поэт пишет книгу «Поездка в Россию». В 1936 году в Любляне выходит знаменитая книга Крлежы «Баллады Петрицы Керемпуха», книга антиклерикальная, пронизанная ненавистью к насилию и угнетению. В 1937 году издается книга стихов «Стихи во тьме», в нее вошли стихотворения, написанные на протяжении двадцатых — тридцатых годов, разоблачающие имущих и сочувствующие бедному люду.

Горан Ковачич Иван (1913—1943) — поэт, прозаик. В литературу вступил в тридцатые годы. Печатался в прогрессивных журналах. В 1942 году вместе с В. Назором перешел на освобожденную партизанами территорию. Там написал свое самое значительное произведение — поэму «Яма»,— которое было опубликовано в 1944 году после гибели поэта в борьбе

с оккупантами. Позже поэма была опубликована по одному из списков и переведена на ряд европейских языков. Французское издание поэмы иллюстрировал Пабло Пикассо.

Каштелан Юре (р. 1919) — поэт, прозаик, драматург, литературовед. Участник народно-освободительной борьбы. Печататься начал в 1937 году. Первая книга стихов — «Красный конь» — вышла в 1940 году. Широкую известность поэту принесли произведения, написанные в годы войны. После победы над фашизмом выпускает сборники «Петух на крыше» (1950) и «Быть или не быть» (1955), основная тема которых война и мир. Лауреат общеюгославских и национальных литературных премий.

Парун Весна (р. 1922) — поэт, детская писательница. Вступила в литературу после второй мировой войны. Первая книга стихов — «Зори и вихри» — вышла в 1947 году. Через год — сборник «Стихи». Первые книги были наполнены пафосом строительства новой жизни. В последующих книгах появилась изысканная усложненность образов и метафор. В 1970 году вышел сборник «Проклятый дождь».

СЛОВЕНИЯ

Жупанчич Отон (1878—1949) — поэт, детский писатель, общественный и государственный деятель. В 1938 году избран членом словенской Академии наук и искусств. Участник народно-освободительной войны. После Освобождения — депутат Веча народов Союзной скупщины ФНРЮ и член Президиума Народной скупщины Словении. Вступил в литературу в девяностых годах XIX века. Первая книга стихов — «Чаша упоения» — вышла в 1899 году. В поэзии Жупанчича, которая содержит элементы народной песни, нашла отражение тема национального и социального угнетения словенского народа, находившегося до 1918 года под владычеством Австро-Венгрии.

Бор Матей, псевдоним Владимира Павшича (р. 1913) — поэт, драматург, переводчик. Свои первые стихи Бор писал еще до войны, но настоящую известность ему принесли стихи, написанные в партизанском отряде. Его первая книга стихов — «Переборем бурю» — была напечатана в партизанской типографии и вышла в 1942 году. Бор написал несколько драм. Переводит Шекспира.

Дестовник-Каюх Карел (1922—1944) — поэт-партизан. Печататься начал до войны в прогрессивных журналах. Поэт пережил концлагерь, гестаповские застенки. Вырвавшись из них, ушел в партизаны. Первая книга стихов была напечатана на гектографе в 1943 году; вторая — «Стихи» — в 1944 (посмертно). Творчество Каюха пользовалось огромной популярностью, многие его стихи были положены на музыку. В феврале 1944 года Каюх погиб в бою. Был провозглашен Народным героем.

Минатти Иван (р. 1924) — поэт-лирик. Писать начал еще в гимназии, которую кончил в 1943 году. Впервые его стихи увидели свет в партизанских газетах. Первая книга стихов — «С дороги» — вышла в 1947 году.

Кракар Лойзе (р. 1926) — поэт, переводчик. Во время второй мировой войны находился в концлагере. Писать начал после войны. Первая книга стихов — «На подъеме молодости» — вышла в 1949 году. Издал несколько сборников стихов. В 1962 году выпустил книгу документальной прозы — «Оттуда бежали даже птицы» — о фашистских лагерях смерти. В 1963 году выпустил антологию польской поэзии в своем переводе.

Менарт Янез (р. 1929) — поэт, журналист. Впервые опубликовался в сборнике «Стихи четверых» (вместе с тремя другими словенскими поэтами). Первая самостоятельная книга — «Первая осень» — вышла в 1955 году. Автор многих сборников стихов.

МАКЕДОНИЯ

Рацин Кочо, псевдоним Косты Апостолова Солева (1909—1943) — поэт, прозаик, критик, деятель рабочего антифашистского движения, зачинатель революционно-пролетарского направления в македонской литературе. Первая книга стихов, она же первая книга стихов на македонском языке, опубликованных в довоенной Югославии — «Белые рассветы», — вышла в 1939 году. Это книга социальной лирики, в которой поэт впервые создает образ пролетария-революционера. В годы второй мировой войны издавал газету «Илинденский патриот», организовал партизанскую типографию. Создатель нового поэтического языка, разрабатывал жанры элегии и баллады.

Яневский Славко (р. 1920) — поэт, прозаик, основоположник детской македонской литературы, общественный деятель. Участник народно-освободительной войны против фашизма. Первая книга стихов — «Кровавое ожерелье» — вышла в 1945 году. Эта книга, как и ряд последующих, написана в реалистической манере и посвящена прошедшей войне. Начиная со сборника «Хлеб и камень» (1957) в творчестве поэта наметился поворот к сюрреализму. Лауреат Государственной премии Антифашистского Веча народного освобождения Югославии.

Конеский Блаже (р. 1921) — поэт, прозаик, переводчик, историк и лингвист (автор первой научной грамматики македонского литературного языка), общественный деятель. Первое поэтическое произведение — поэма «Мост», вышла в 1945 году, первый сборник стихов — «Земля и любовь» — в 1948 году. В творчестве Конеского преобладает эпическое начало, гражданская и интимная лирика исполнена философской глубины.

Переводит Гейне и Пушкина. За многолетнюю работу по переводу советской поэзии награжден орденом «Знак Почета».

Шопов Ацо (р. 1923) — поэт, переводчик, общественный и государственный деятель. Участник народно-освободительной войны. Первая книга стихов вышла в 1944 году. Переводит Шекспира, Корнеля, Ростана, Крылова, Багрицкого. На русском языке: «Ветер приносит погожие дни». М., 1964. Лауреат Государственной премии Антифашистского Веча народного освобождения Югославии и многих других премий.

Б. Шуплецов

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Слуцкий. Поэзия братских народов 5

ПОЭЗИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ЕВРОПЫ

ИЗ АЛБАНСКОЙ ПОЭЗИИ

Андон Зако Чаюпи
Перевод Д. Самойлова

Отец Томори 23
Албанец 25
Июль 26
Родина 28
«Кто от милой и друзей...» 28
«Когда мы дичками незрелыми были...» 29
«Красота твоя! Солнца светлее чело...» 30

Ндре Мьеда

Плач соловья. IV. *Перевод Д. Самойлова* 31
Мустафа-паша в Бабуне. *Перевод М. Зенкевича* 32

Мидьени
Перевод Д. Самойлова

Неспетые песни 35
Городская баллада 35
Безнадежная музыка 36
Мотивы 37
Бессонная ночь 38
Неразгаданная песня 39
Вступление к вступлениям 39

Шефтет Мусарай

История «Балы Комбетар». *Фрагменты из поэмы. Перевод Д. Самойлова*
«Разбилась шаланда...» 41
«Здесь кровь пролита...» 45

Кемаль Стафа
Перевод Б. Слуцкого

Погибшему брату 48
Песнь колокольни 49

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Христо Смирненский

Красные эскадроны. *Перевод И. Кашежевой* 53
Москва. *Перевод И. Кашежевой* 54
Да будет день! *Перевод С. Городецкого* 55

Людмил Стоянов

Гуслярская. *Перевод М. Цветаевой* 56
Русскому народу. *Перевод Н. Асеева* 57
Великий день. *Перевод А. Глобы* 58

Элисавета Багряна

Вов. *Перевод А. Ахматовой* 60
Правнучка. *Перевод М. Цветаевой* 60
Забытье. *Перевод А. Ахматовой* 61
Безумие. *Перевод А. Ахматовой* 62
Моя песня. *Перевод С. Шервинского* 62
Тревожная весна. *Перевод М. Алигер* 63
Мост. *Перевод М. Алигер* 64
Поэзия. *Перевод Л. Дымовой* 65

Николай Хрелков

Баллада о трех сестрах. *Перевод А. Наймана* 67

Ламар

Гайдуки. *Перевод А. Гатова* 69
Дятел. *Перевод С. Маршака* 70
Старая водяная мельница. *Перевод С. Маршака* 71
Окно. *Перевод Т. Макаровой* 71
Гора. *Перевод Л. Дымовой* 71

Никола Фурнаджиев

Всадники. *Перевод О. Шестинского* 73
Дождь. *Перевод П. Антокольского* 73
Поток. *Перевод В. Соколова* 74
Октябрь. *Перевод И. Кашежевой* 75

Христо Радевский

Письмо. *Перевод А. Гатова* 76
Корень. *Перевод Н. Рыленкова* 77
«Нам яблоня плоды приносит каждый год...» *Перевод Н. Рыленкова* . . 78
Наказанная Лиса. *Перевод С. Маршака* 78
Лиса и Еж. *Перевод С. Маршака* 79

Атанас Далчев
Перевод М. Петровых

Надпись 80
Встреча на станции 80
Молчание 81
К родине 82

Младен Исаев

Баллада. *Перевод Вл. Лифшица* 83
Дорогие гости. *Перевод П. Железнова* 83
Горение. *Перевод С. Кирсанова* 84
Богатство. *Перевод Ю. Левитанского* 85
Человек. *Перевод Ю. Левитанского* 86
«Люблю это небо, где синему цвету...» *Перевод Ю. Левитанского* . . . 86

Никола Вапцаров

Вера. *Перевод Б. Слуцкого* 87
Письмо. *Перевод М. Павловой* 89
Песня о человеке. *Перевод Б. Слуцкого* 92
Прощальное. *Перевод Н. Глазкова* 96
«Борьба так беспощадна и жестока...» *Перевод Н. Тихонова* 97

Веселин Андреев

Гайдуцкие ночи. *Перевод М. Павловой* 98
Раздумье. *Перевод Б. Слуцкого* 99
Баллада о коммунисте. *Перевод М. Зенкевича* 99

Веселин Ханчев

Ленин. *Перевод В. Соколова* 101
Урок бесстрашия *(Хороший ученик). Перевод Л. Мартынова* 103
Баллада о человеке. *Перевод М. Алигер* 105
Не должно! *Перевод М. Алигер* 105

Александр Геров

День. *Перевод А. Ахматовой* 107
Голос. *Перевод Б. Слуцкого* 107
Вера. *Перевод Л. Дымовой* 108

Валерий Петров

Подпольщик. *Перевод А. Гатова* 109
Смена саперов. *Перевод Б. Ирицина* 110
«Мелкий след под ветками...» *Перевод Д. Самойлова* 110
«И снова небосвод похож...» *Перевод Л. Дымовой* 111
Горячая просьба. *Перевод Ю. Левитанского* 112

Блага Димитрова

Родина. *Перевод В. Инбер* 113
Перед весной. *Перевод В. Соколова* 113
Скорость. *Перевод Д. Самойлова* 114
Вьет-нам. *Перевод Л. Дымовой* 115
Болгарская кровь. *Перевод Ю. Левитанского* 115

Димитр Методиев
Перевод М. Павловой

Хлеба 117
Русские глаза 117

Божидар Божилов
Интимное. *Перевод Б. Окуджавы* 119
Искусство. *Перевод Б. Слуцкого* 120
Жажда. *Перевод Б. Окуджавы* 120
Поколение. *Перевод Б. Окуджавы* 121

Павел Матев
Мать коммуниста. *Перевод О. Шестинского* 123
Огонь. *Перевод А. Яшина* 123
Родословная. *Перевод М. Кудинова* 124
Утро. *Перевод Л. Дымовой* 125

Георгий Джагаров
Болгария. *Перевод М. Павловой* 127
Тревога. *Перевод Р. Рождественского* 128
Осенний оптимизм. *Перевод С. Наровчатова* 129

Пеньо Пенев
Перевод Р. Рождественского
«Если б был я энергией, верой...» 131
«Родина, Родина — матушка милая...» 131

Андрей Германов
Вырубка леса. *Перевод Б. Слуцкого* 133
«Я шумный мир опротестую...» *Перевод Р. Рождественского* 134

Любомир Левчев
Перевод Ю. Левитанского
Крыши 136
Баллада об усталых женщинах 138

ИЗ ВЕНГЕРСКОЙ ПОЭЗИИ

Эндре Ади
Перевод Л. Мартынова
Судно, которое продается 141
Несемся в Революцию 142
Песня летописца 1918 года 143

Дюла Юхас
Балалайка. *Перевод Д. Самойлова* 145
Майская ода. *Перевод Л. Мартынова* 146
Бедный солдат. *Перевод Д. Самойлова* 147
Работа. *Перевод Л. Мартынова* 147

Аттила Йожеф
Последний боец. *Перевод Л. Мартынова* 149
«В чем вера и расчет небесных тел...» *Перевод Б. Ахмадулиной* 150
Ars poetica. *Перевод Д. Самойлова* 150

Лайош Кашшак
Мастеровые. *Перевод Б. Слуцкого* 152
Под синими простынями... *Перевод Н. Горской* 153
Крик по весне. *Перевод Ю. Гусева* 153

Перевернутая скрижаль. *Перевод Ю. Гусева* 154
Внутри круга. *Перевод Ю. Гусева* 155
Вводные строки к одной книге. *Перевод Ю. Гусева* 156

Йожеф Фодор
Перевод А. Кушнера

Ответ ветерану 158
Живая статуя 160
Беспокойство 160

Антал Гидаш

Ветви гудели. *Перевод Л. Мартынова* 163
Небо над Москвою. *Перевод Л. Мартынова* 163
В одну из темнейших ночей войны. *Перевод Л. Мартынова* 164
«Зачем же люди плачут по домам...» *Перевод Н. Заболоцкого* 164
«Черные руки вздымают мосты...» *Перевод Н. Заболоцкого* 165
Раздумье. *Перевод Н. Заболоцкого* 165
«На плечах — полсотни годов...» *Перевод Б. Слуцкого* 166
«Я половину хлеба съел...» *Перевод Д. Самойлова* 166
«Утро весеннее, тополь седой...» *Перевод Б. Слуцкого* 166
«Отчий дом порочить никогда не дам...» *Перевод Б. Слуцкого* 167
«Спрашивал закаты...» *Перевод Б. Слуцкого* 167
Навстречу. *Перевод Д. Самойлова* 167
Снегирек. *Перевод Л. Мартынова* 168
Старые строки из пожелтевшей тетради. *Перевод Л. Мартынова* . . . 169

Дюла Ийеш

Крылья. *Перевод Б. Слуцкого* 170
Права. *Перевод Л. Мартынова* 171
Вопрошающий. *Перевод Д. Самойлова* 172
Только не смерть! *Перевод Ю. Левитанского* 173
Ты будешь жить. *Перевод Ю. Левитанского* 174
Плуг идет... *Перевод М. Исаковского* 175
Буда, май 1945 года. *Перевод М. Зенкевича* 176
Чучулига. *Перевод Д. Самойлова* 176
Ars poetica. *Перевод Н. Чуковского* 177
Ветер в конце зимы. *Перевод Юнны Мориц* 177
Гости. *Перевод Д. Самойлова* 179
Рукопожатия. *Перевод Д. Самойлова* 180
Рукояти. *Перевод Д. Самойлова* 181
После полуночи. *Перевод Ю. Левитанского* 181
Птицы. *Перевод Ю. Левитанского* 182

Золтан Зелк

У могилы советского солдата. *Перевод Л. Мартынова* 184
Диалог. *Перевод Л. Мартынова* 185
Кто ждет меня на станции. *Перевод Б. Слуцкого* 186

Миклош Радноти

Вчера и сегодня. *Перевод Д. Самойлова* 188
Федерико Гарсиа Лорка. *Перевод Л. Мартынова* 188
Вторая эклога. *Перевод Н. Чуковского* 189
Подневольное шествие. *Перевод Н. Чуковского* 190

Ласло Беньямин

Весна в Венгрии. *Перевод Л. Мартынова* 191
Остановившиеся часы. *Перевод Ю. Левитанского* 193
Сверху. *Перевод Ю. Левитанского* 194

Имре Чанади

Март. *Перевод Е. Винокурова* 196

Михай Ваци

Запах ивовых прутьев. *Перевод В. Корчагина* 198
Словно притча. *Перевод Д. Сухарева* 199
Ответ на критику. *Перевод В. Корчагина* 200
Метро. *Перевод Ю. Левитанского* 201

Ласло Надь

Гимн для всех эпох. *Перевод Б. Слуцкого* 202
Огонь. *Перевод Б. Слуцкого* 203
Жемчужная юбка. *Перевод Ю. Левитанского* 204
Когда земля дрожит. *Перевод Б. Слуцкого* 207

Иштван Шимон

Перевод О. Чухонцева

Мушт поет 209
Напутствие сыну 211
Цветы на лавке 212
Решето летает 213
После тридцати 215

Ференц Юхас

Крылатый конь. *Перевод Л. Мартынова* 216
Вечерняя песня. *Перевод Ю. Левитанского* 218
Пылающая лилия в ночи. *Перевод Ю. Левитанского* 218

Габор Гараи

Хроника. *Перевод Р. Рождественского* 221
«Как мальчик из стакана — молоко...» *Перевод Р. Казаковой* 222
Доверие. *Перевод Р. Рождественского* 222
Рова. *Перевод Е. Солоновича* 224

ИЗ ПОЭЗИИ ГЕРМАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Эрих Вайнерт

Гроза над Европой. *Перевод Л. Гинзбурга* 227
Будничная баллада. *Перевод Л. Гинзбурга* 228
Бык просит слова. *Перевод Л. Гинзбурга* 229
Имперский поэт. *Перевод Л. Гинзбурга* 230
Сон немецкого солдата. *Перевод И. Снеговой* 232
Долг писателя. *Перевод Л. Гинзбурга* 232

Луис Фюрнберг

Перевод Л. Гинзбурга

22 июня 1941 года 234
«Что делать?» 235
Брат Безымянный. *Отрывки из поэмы* 236

Эрих Арендт
Альбатрос. *Перевод И. Сельвинского* 238
Элегия. Памяти Альберта Эйнштейна. *Перевод В. Куприянова* 240
Песнь любви. *Перевод Д. Самойлова* 242

Куба
Перевод Л. Гинзбурга
Будут говорить про наши дни потомки... 243
Пой на ветру! 244
Хлеб и вино 245
Искусство — зеркало 245
Крестьянская песня 246

Стефан Хермлин
«Аврора». *Перевод Г. Ратгауза* 248
Манифест к штурмующим город Сталинград. *Перевод Л. Гинзбурга* . . 250
Баллада о Даме Надежде. *Перевод Л. Гинзбурга* 252
Современность. *Перевод Г. Ратгауза* 253

Георг Маурер
Все наше. *Перевод В. Куприянова* 254
Молодой Гете. *Перевод С. Ошерова* 255
«Тебя Медведиц поступь золотая...» *Перевод С. Ошерова* 255
«Дай мне в тебя вглядеться...» *Перевод А. Парина* 256
«Ты и пространство слиты, нет границы...» *Перевод А. Парина* . . . 256

Иоганнес Бобровский
И.-С. Бах. *Перевод В. Левандского* 258
Памятный листок. *Перевод Е. Витковского* 259
Путник. *Перевод Г. Ратгауза* 260
Дон. *Перевод В. Куприянова* 260

Франц Фюман
Нибелунги. *Перевод Б. Слуцкого* 262
Дома из старинных сказок. *Перевод К. Богатырева* 263
Дети на взморье. *Перевод Е. Витковского* 264

Пауль Винс
Время мечтать. *Перевод Н. Гребельной* 266
Маяковскому. *Перевод А. Исаевой* 266
Голос города. *Перевод Г. Ратгауза* 267
Они не спят. *Перевод Г. Ратгауза* 268
Запевала. *Перевод И. Грицковой* 269

Гюнтер Дейке
Перевод К. Богатырева
Красные паруса 270
В пути 270

Уве Бергер
Фауст. *Перевод В. Левандского* 273
Гертруда Кольмар. *Перевод В. Микушевича* 273

Гюнтер Кунерт
Нас населяющие *(Седьмой набросок)*. *Перевод К. Богатырева* 275
Незваный гость. *Перевод Г. Ратгауза* 276

Анкета. *Перевод Г. Ратгауза* 277
Только тогда. *Перевод В. Куприянова* 278

Гейнц Калау
Перевод Л. Гинзбурга
Смысл бытия 279
Предостережение 279

Сара Кирш
Легенда о Лиле. *Перевод В. Топорова* 281

Фолькер Браун
Преходящее. *Перевод Б. Слуцкого* 284

ИЗ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

Болеслав Лесьмян
Конь. *Перевод Д. Самойлова* 287
Дедовская баллада. *Перевод Д. Самойлова* 288
Признание. *Перевод Б. Слуцкого* 289
Условленной ночью. *Перевод Д. Самойлова* 290
Романс. *Перевод А. Гелескула* 290
Прохожий. *Перевод М. Петровых* 291
Сестре. *Перевод Б. Пастернака* 292
Тоскующая любовь. *Перевод А. Гелескула* 293

Леопольд Стафф
Поводырь. *Перевод М. Живова* 295
Ваятель. *Перевод А. Гелескула* 295
Трудовой день. *Перевод Л. Цывьяна* 296
Сонет о свободе. *Перевод Н. Астафьевой* 296
Наука. *Перевод А. Гелескула* 297
1914—1917. *Перевод В. Левика* 298
Труд и отдых моря. *Перевод А. Эппеля* 298
Осенний закат. *Перевод А. Эппеля* 298
Ars poetica. *Перевод А. Эппеля* 299
Нике Самофракийская. *Перевод М. Петровых* 299
Ладони разжимаются устало... *Перевод Д. Самойлова* 300
На разрушение памятника Шопену в Варшаве. *Перевод В. Левика* . . 300
Первая прогулка. *Перевод Д. Самойлова* 301
Взгляд в будущее. *Перевод В. Левика* 302
Сказка о маковом зернышке. *Перевод Д. Самойлова* 302

Юлиан Тувим
«Жизнь!..» *Перевод М. Живова* 304
Критикам. *Перевод Д. Самойлова* 304
Лодзь. *Перевод Д. Самойлова* 305
Первое мая. *Перевод А. Суркова* 306
Борьба. *Перевод Б. Слуцкого* 307
К генералам. *Перевод Д. Самойлова* 308
Словом в кровь! *Перевод Д. Самойлова* 309
Штиблеты. *Перевод Б. Слуцкого* 309
Родник. *Перевод Д. Самойлова* 310

Строфы о позднем лете. *Перевод М. Павловой* 310
Посреди дня. *Перевод А. Ахматовой* 312
Commedia Divina. *Перевод И. Сельвинского* 313
Работа. *Перевод Д. Самойлова* 313
Темная ночь. *Перевод А. Ахматовой* 313
Простому человеку. *Перевод Д. Самойлова* 314
Мещане. *Перевод М. Живова* 315
Ветка. *Перевод Л. Мартынова* 316
Я крохи юности собрал... *Перевод К. Симонова* 317
Опечатка. *Перевод К. Симонова* 317
Вздох. *Перевод О. Румера* 317
Exegi monumentum. *Перевод Д. Самойлова* 317
Мать. *Перевод Б. Слуцкого* 318
Политические ямбы *(Отрывок). Перевод Д. Самойлова* 319
Дочери — в Закопане. *Перевод Д. Самойлова* 320
О нас, влюбленных. *Перевод Д. Самойлова* 321

Ярослав Ивашкевич

«Пою о травах и озерах...» *Перевод Ю. Левитанского* 323
Иква и я. *Перевод М. Павловой* 324
«Побудь со мною, песенка...» *Перевод Б. Слуцкого* 326
Метель в Лодзи. *Перевод М. Живова* 327
Мир. *Перевод М. Живова* 327

Из цикла «Свиток осени»

«Вот и скрипки осени запели...» *Перевод М. Павловой* 328
«Рассвет сентябрьский...» *Перевод М. Зенкевича* 328
«Этим скрипочкам весело...» *Перевод А. Эппеля* 329
«Да будет посвящен остаток дней моих...» *Перевод М. Светлова* . 329
«До прихода весны...» *Перевод Б. Слуцкого* 329
«Что здесь останется?..» *Перевод М. Павловой* 330
Такого жребия не минуешь... *Перевод А. Эппеля* 331
«Колосья поникшие...» *Перевод И. Астафьевой* 331
«Счастье — что видишь голубую кружку...» *Перевод Н. Астафьевой* . 331
Поздний вечер. *Перевод Ю. Левитанского* 332
Февраль. *Перевод А. Эппеля* 333
«Поэт, не поддавайся боли...» *Перевод Б. Слуцкого* 334
Старые женщины. *Перевод А. Эппеля* 334

Владислав Броневский

Пионерам. *Перевод М. Живова* 336
Листопады. *Перевод М. Петровых* 336
Товарищу по камере. *Перевод М. Живова* 338
14 апреля. *Перевод Н. Асеева* 338
Друзьям-поэтам. *Перевод Л. Тоома* 339
Честь и граната. *Перевод В. Луговского* 340
Магнитогорск, или Разговор с Яном. *Перевод Р. Казаковой* 340
Оружье к бою! *Перевод Б. Слуцкого* 341
Warum? *Перевод А. Ахматовой* 342
Калине. *Перевод А. Ахматовой* 343
Аноним. *Перевод А. Ахматовой* 343
Счастье. *Перевод А. Ахматовой* 344
Мария. *Перевод А. Ахматовой* 344
Я и стихи. *Перевод Б. Пастернака* 345
Поклон Октябрьской революции. *Перевод С. Кирсанова* 346

Об отцветании. *Перевод Б. Слуцкого* 347
О шуме. *Перевод Б. Слуцкого* 347
Анютины глазки. *Перевод Д. Самойлова* 348
«Бумага белая лучше...» *Перевод Л. Мартынова* 348
«Стихи все короче...» *Перевод М. Живова* 349
Дуб. *Перевод Б. Слуцкого* 349

Юлиан Пшибось

Отъезд. *Перевод Л. Мартынова* 350
Бегство. *Перевод М. Цветаевой* 350
Глаза убитых. *Перевод Л. Мартынова* 351
Пока мы живем. *Перевод Ю. Левитанского* 351
Материк. *Перевод М. Цветаевой* 352
Горизонт. *Перевод М. Цветаевой* 352
Работнице. *Перевод М. Живова* 353
Отчет за день. *Перевод Л. Цывьяна* 353
Майская ночь. *Перевод С. Кирсанова* 354
Сестра. *Перевод Д. Самойлова*. 354

Мечислав Яструн

Лодзь. *Перевод М. Зенкевича* 355
Поэзия и правда. *Перевод М. Живова* 356
Посвящение. *Перевод Б. Слуцкого* 357
Забор. *Перевод Д. Самойлова* 359
Сказка. *Перевод Д. Самойлова* 359
Во времени. *Перевод Ю. Левитанского* 360
Пение в саду. *Перевод Ю. Левитанского* 361
Зима 1945. *Перевод Б. Слуцкого* 361

Константы Ильдефонс Галчинский

Привет, Мадонна. *Перевод Д. Самойлова* 363
Песнь о солдатах с Вестерплятте. *Перевод Д. Самойлова* 364
Письмо из плена. *Перевод Д. Самойлова* 364
Две гитары. *Перевод Д. Самойлова* 365
Реквием? *Перевод Б. Слуцкого* 366
Дифирамб в честь мира. *Перевод Б. Слуцкого* 367
Странное происшествие на углу Нововейской улицы. *Перевод Б. Слуцкого* 368
Пасхальная ночь Иоганна Себастьяна Баха. *Перевод Д. Самойлова* . . 368
Лирический разговор. *Перевод Л. Мартынова* 370
Варшава. *Перевод А. Ревича* 370

Эдвард Шиманский

Грядущее. *Перевод Н. Чуковского* 372
Рапорт. *Перевод А. Наймана* 372

Кшиштоф Камил Бачинский

Элегия о польском парне. *Перевод С. Левицкого* 374

Тадеуш Ружевич

Очищение. *Перевод М. Павловой* 375
Если б кто увидел. *Перевод Д. Самойлова* 376
Признание. *Перевод Б. Слуцкого* 376
Провожаю глазами. *Перевод Д. Самойлова* 377
Слеза. *Перевод Н. Глазкова* 377

Свидетель. *Перевод Л. Тоома* 378
Отец. *Перевод Ю. Левитанского* 379
Корни. *Перевод Б. Слуцкого* 379
Воспоминание сна 1963 года. *Перевод М. Павловой* 380
Два приговора. *Перевод Ю. Левитанского* 381
Смех. *Перевод Ю. Левитанского* 381
Я строю. *Перевод Ю. Левитанского* 382

Тадеуш Боровский

Допрос. *Перевод Л. Тоома* 383
«Вернусь я, мама...» *Перевод С. Левицкого* 383

Вислава Шимборская

Атлантида. *Перевод А. Эппеля* 385
Буффонада. *Перевод А. Эппеля* 386
Увековечение. *Перевод А. Эппеля* 387
Урок. *Перевод А. Эппеля* 388
Голодный лагерь под Яслем. *Перевод А. Ахматовой* 388
Баллада. *Перевод А. Ахматовой* 389
За вином. *Перевод А. Ахматовой* 390
Движение. *Перевод Л. Цывьяна* 391
Всякий случай. *Перевод А. Эппеля* 391

Станислав Гроховяк

Бернс. *Перевод Д. Самойлова* 393
Из дерева выточена грудь королевы. *Перевод Б. Окуджавы* 394
Крыжовник. *Перевод Ю. Левитанского* 395
«У влюбленных те же хлопоты...» *Перевод Б. Слуцкого* 395
Канон. *Перевод Ю. Левитанского* 396
Парикмахер. *Перевод Б. Окуджавы* 396
Приглашение к любви. *Перевод Б. Слуцкого* 397
«Все просится в стих она...» *Перевод Ю. Левитанского* 397
Нежность, или Гулливер. *Перевод Б. Слуцкого* 398

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ

Александру Тома

Песня жизни. *Перевод А. Ахматовой* 401
Скиталец. *Перевод А. Ахматовой* 402
Глоссы. *Перевод Д. Самойлова* 403
Гимн 23 августа. *Перевод М. Зенкевича* 404
Волнение. Два сонета. *Перевод И. Глазкова* 405

Тудор Аргези

Песня. *Перевод Н. Стефановича* 407
Дакское. *Перевод С. Шервинского* 408
Перекресток. *Перевод А. Ахматовой* 409
Вечерняя песня. *Перевод А. Ахматовой* 409
О чем грустить? *Перевод А. Ахматовой* 410
Потерянные листья. *Перевод А. Ахматовой* 411
Неизвестному поэту. *Перевод А. Ахматовой* 411
Доброе утро, весна! *Перевод А. Ахматовой* 412
Грядущим поколениям. *Перевод Д. Самойлова* 412

Джордже Баковия
Перевод Ю. Кожевникова

Пастель . . . 414
Слякоть . . . 414
Весенние нервы . . . 415
Серенада рабочего . . . 415
К весне . . . 416
Арминден . . . 416

Захария Станку

Песнь моему сыну. *Перевод Н. Павлович* . . . 418
Созрели хлеба. *Перевод К. Ковальджи* . . . 418
Пойдем со мною. *Перевод Е. Аксельрод* . . . 419
Перед окнами дождь... *Перевод Юнны Мориц* . . . 420
Воспоминания, самые первые... *Перевод К. Ковальджи* . . . 421
Моя звезда. *Перевод Л. Беринского* . . . 421

Михай Бенюк

Яблоня у дороги. *Перевод М. Петровых* . . . 422
Кровь сердца моего. *Перевод Е. Аксельрод* . . . 423
Христофор Колумб. *Перевод Ю. Кожевникова* . . . 424
Картина с Лениным. *Перевод Ю. Кожевникова* . . . 424
Красная виноградная гроздь. *Перевод Т. Макаровой* . . . 425
В деревьях осени. *Перевод Юнны Мориц* . . . 425
Суть. *Перевод Юнны Мориц* . . . 426
Когда твои стихи... *Перевод М. Алигер* . . . 427
От берега до берега. *Перевод Е. Аксельрод* . . . 427
Берег, оставшийся позади. *Перевод Т. Макаровой* . . . 428
Голос природы. *Перевод К. Ковальджи* . . . 428

Мирон Раду Параскивеску

Ars poetica. *Перевод М. Талова* . . . 430
Ленин. *Перевод Ю. Кожевникова* . . . 430
Плоды света. *Перевод Ю. Кожевникова* . . . 431

Эуджен Жебеляну

Встреча с Хиросимой. *Перевод П. Железнова* . . . 432
Жизнь. *Перевод Л. Лебединской* . . . 433
XX век. *Перевод Ю. Кожевникова* . . . 434

Мария Бануш

Первая коммунистическая книга. *Перевод Арк. Штейнберга* . . . 436
Вера. *Перевод Т. Спендиаровой* . . . 436
Сонет. *Перевод Е. Аксельрод* . . . 437
Поэзия. *Перевод В. Инбер* . . . 438
Причастность. *Перевод К. Ковальджи* . . . 439

Вероника Порумбаку

Дрозд Илие Пинтилие. *Перевод М. Мировой* . . . 441
На страже. *Перевод Ю. Кожевникова* . . . 442
Судьба. *Перевод В. Тушновой* . . . 444

Тибериу Утан

Ленин. *Перевод В. Левика* . . . 445
Песня Дунаю. *Перевод С. Поликарпова* . . . 446

Черешня. *Перевод В. Левика* 447
«Расстелило море под луною влажные шелка...» *Перевод В. Левика* . . 447

Никита Стэнеску

Юность. *Перевод Б. Окуджавы* 448
Не забывайте. *Перевод И. Кашежевой* 449
Поэтическое искусство. *Перевод Ю. Кожевникова* 449
Барельеф с влюбленными. *Перевод Б. Слуцкого* 450
Печальная песня любви. *Перевод Б. Слуцкого* 450
Стертый рисунок. *Перевод Ю. Левитанского* 451
В море плазмы. *Перевод Ю. Левитанского* 451
Старая корчма. *Перевод Ю. Левитанского* 452
Песня. *Перевод Ю. Левитанского* 452
У поэта, как и у солдата... *Перевод Ю. Кожевникова* 453

Николае Лабиш

Перевод Юнны Мориц

Возмужание 455
Клюв 455
Танец 456
Знамя 457
Смерть косули 457

Марин Сореску

Шахматы. *Перевод К. Ковальджи* 460
Двукратно. *Перевод Б. Слуцкого* 461
Вот вещи... *Перевод Ю. Левитанского* 461
Игрушки. *Перевод Ю. Левитанского* 462
Адам. *Перевод Ю. Левитанского* 463
Я завязал глаза. *Перевод Ю. Кожевникова* 464

Ана Бландиана

Заклинание дождя. *Перевод К. Ковальджи* 465
В глубокой тишине. *Перевод И. Кашежевой* 466
Интимный митинг. *Перевод Р. Казаковой* 466
Революция. *Перевод Р. Казаковой* 467
Граница. *Перевод Ю. Кожевникова* 467
Глаза лошади. *Перевод Ю. Кожевникова* 468

ИЗ ПОЭЗИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ

ЧЕХИЯ

Петр Безруч

Маричка Магдонова. *Перевод Б. Слуцкого* 471
Кто на мое место? *Перевод К. Бальмонта* 472

Иржи Волькер

Мостовая. *Перевод Л. Мартынова* 474
Поэт, уйди! *Перевод А. Ахматовой* 475
Гость на порог. *Перевод Д. Самойлова* 475
Час рожденья. *Перевод Л. Мартынова* 476
«И вот я отворил свое окно...» *Перевод Д. Самойлова* 477
Ярмарка. *Перевод Д. Самойлова* 478
На рентгене. *Перевод В. Бурича* 478

«На койку немощного свет упал...» *Перевод С. Кирсанова* 479
Эпитафия. *Перевод М. Светлова* 480

Станислав Костка Нейман

Зимняя ночь. *Перевод А. Ахматовой* 481
Поле боя внутри нас. *Перевод П. Железнова* 481
Благодарность Советскому Союзу. *Фрагменты. Перевод М. Павловой* 483
Не измени! *Перевод М. Павловой* 485
Слава Октябрьской революции. *Перевод П. Глазкова* 485

Йозеф Гора

Мадонна рабочего квартала. *Перевод Б. Лейтина* 487
В Москве. *Перевод Д. Самойлова* 488
Стихи о Праге. *Перевод Б. Лейтина* 488
«Быть свидетелем последнего сраженья...» *Перевод Е. Винокурова* . . 489

Константин Библ

Песня шестеренки. *Перевод Б. Слуцкого* 490
Пролог. *Перевод Л. Мартынова* 491
Посвящение. *Перевод Б. Слуцкого* 492
«Сильней, чем плач воды на перекатах...» *Перевод Н. Матвеевой* . . . 492
В трамвае. *Перевод Б. Слуцкого* 493

Витезслав Незвал

Мотто. *Перевод Д. Самойлова* 497
Альбом. *Перевод Н. Горской* 497
Отдых. *Перевод А. Ахматовой* 498
Реликварий. *Перевод М. Петровых* 499
Котелок. *Перевод И. Инова* 500
Плащ. *Перевод И. Инова* 500
Маяковский в Праге. *Перевод Б. Слуцкого* 501
Приглашение к путешествию. *Перевод Д. Самойлова* 502
С богом — и платочек. *Перевод К. Симонова* 504
Витрины. *Перевод Д. Самойлова* 504
Талисман. *Перевод Б. Ахмадулиной* 506
Когда состаришься. *Перевод Д. Самойлова* 508
«Я тоже ведь деревенский...» *Перевод П. Асеева* 509
Ноктюрн. *Перевод А. Ахматовой* 509
Надпись. *Перевод Б. Слуцкого* 510
Дикие гуси. *Перевод И. Сельвинского* 510
Знамена 9 мая. *Перевод К. Симонова* 511
Когда тебе взгрустнется. *Перевод Д. Самойлова* 511
Судьба, о судьбина! *Перевод Б. Пастернака* 512
Без названия. *Перевод Б. Пастернака* 512
Над Свраткою-рекой. *Перевод Б. Пастернака* 512
Надписи в зале Красной Армии. *Перевод К. Симонова* 513

Франтишек Галас

День поминовения, 1938. *Перевод Б. Слуцкого* 516
Урок сыну. *Перевод В. Корчагина* 517
1 мая 1942 года. *Перевод О. Малевича* 517
1 февраля 1943 года. *Перевод В. Корчагина* 517
Ленин. *Перевод Д. Самойлова* 518
Лидице. *Перевод Б. Слуцкого* 519
Вся осенняя. *Перевод И. Инова* 520

Ярослав Сейферт
На солдатском кладбище. *Перевод Ю. Левитанского* 521
Песня о хлебном запахе. *Перевод Г. Семенова* 522
Мамина песня. *Перевод Л. Тоома* 523
Танец. *Перевод Д. Самойлова* 524
Первое мая 1937 года. *Перевод М. Ярмуша* 526
Ты, война! *Перевод Л. Мартынова* 526

Владимир Голан
Красноармейцы *(Два портрета). Перевод Ю. Левитанского* 528
В мае 1945. *Перевод Б. Слуцкого* 530
Тебе, Красная Армия! *Перевод Б. Слуцкого* 530
Поэзия. *Перевод Г. Плисецкого* 531
Мост через речку Л. *Перевод Ю. Левитанского* 531
Пещера слов. *Перевод О. Малевича* 532
Голос. *Перевод А. Кушнера* 532
У матери, много лет спустя. *Перевод Ю. Левитанского* 533

Вилем Завада
Поэты. *Перевод О. Малевича* 534
Трубочист. *Перевод Ю. Левитанского* 536
Шахтеры. *Перевод Ю. Левитанского* 537
Островское небо. *Перевод Ю. Левитанского* 538
Добрый день. *Перевод Л. Друскина и О. Малевича* 538
Поезд. *Перевод О. Малевича* 539
Дубы. *Перевод Б. Слуцкого* 539
Страда. *Перевод И. Инова* 540
Finisterre. *Перевод Е. Долматовского* 540

Франтишек Грубин
Мой стих. *Перевод О. Малевича* 542
По дороге к реке.
С девушкой у Подлешанского ручья. *Перевод О. Чухонцева* . . . 542
Колокола. *Перевод Б. Слуцкого* 543
Сталинград *(Отрывок). Перевод Вит. Мартынова* 544
Однажды на Сазаве. *Перевод И. Инова* 545
Небеса. *Перевод Ю. Левитанского* 546
Возвращение в родные края. *Перевод О. Чухонцева* 547
Озеро Гетман. *Перевод И. Инова* 548
На окраине Праги. *Перевод Г. Семенова* 549

Йозеф Кайнар
После войны. *Перевод И. Инова* 551
Карманные часы. *Перевод И. Инова* 552
Молодой шофер. *Перевод Л. Друскина и О. Малевича* 553
Краюха. *Перевод Б. Слуцкого* 553
Блюз о ее слезах. *Перевод Т. Глушковой* 554
Снегопад. *Перевод И. Инова* 554

Мирослав Флориан
Сонет мостовым. *Перевод В. Каменской* 556
Бабье лето. *Перевод И. Инова* 556
Осень. *Перевод И. Инова* 557
Прометей. *Перевод О. Малевича* 557
Поэтическое искусство. *Перевод И. Инова* 558

За зеленым столом. *Перевод И. Инова* 558
Встречи. *Перевод В. Каменской* 558
Липы. *Перевод В. Каменской* 559
Модели. *Перевод О. Малевича* 560
«Отзвучали майские громы...» *Перевод В. Каменской* 560
Февральский снег. *Перевод Т. Жирмунской* 561
Дифирамб. *Перевод О. Малевича* 561

СЛОВАКИЯ

Янко Есенский
Перевод Д. Самойлова

Генералам 563
Старый тополь 564
Туман 565
На братиславских кладбищах 565

Иван Краско

«Гей, куда б груди раздаться!..» *Перевод Д. Самойлова* 567
«Лишь к одной-единой...» *Перевод А. Ахматовой* 567
Мои песни. *Перевод А. Ахматовой* 568
Раб. *Перевод В. Корчагина* 569

Ян Смрек
Перевод Г. Корина

Мелодия 1943 года. 570
Декабрь 571

Эмиль Болеслав Лукач

Канатоходцы. *Перевод В. Каменской* 573
Goethehof. *Перевод О. Малевича* 574
Зеркало. *Перевод А. Кушнера* 574
Игра в бабки. *Перевод И. Инова* 575
Весенний ветер. *Перевод А. Кушнера* 575
Волк. *Перевод В. Каменской* 576
Жертва. *Перевод А. Кушнера* 576

Ян Роб Паничан

Ударники. *Перевод Р. Казаковой* 578
Сибирский пейзаж. *Перевод И. Инова* 579
Словацкая песня. *Перевод И. Федорина* 579
Завещание. *Перевод Б. Холопова* 580

Лацо Новомеский

Воскресенье. *Перевод Г. Плисецкого* 581
«На кувыркающихся глядя обезьян...» *Перевод Ю. Левитанского* . . 584
Черное и красное. *Перевод Б. Слуцкого* 585
Дорога. *Перевод И. Инова* 585
Черное и белое. *Перевод Г. Плисецкого* 586
Ночь на косогоре. *Перевод И. Инова* 586
Эпиграф к одной жизни. *Перевод О. Чухонцева* 587
Московский вечер. *Перевод В. Козового* 588
«Когда людей признаешь в людях...» *Перевод Б. Слуцкого* 588
Из путевого блокнота. *Перевод И. Инова* 589
Агитация. *Перевод Б. Слуцкого* 589

Испанское небо. *Перевод Д. Самойлова* 590
Словацкая весна. *Перевод Г. Плисецкого* 591
Хмурый день. *Перевод И. Инова* 591
Прекрасный день. *Перевод Ю. Левитанского* 592
Разговор с птицей, отсчитывающей годы. *Перевод Ю. Левитанского* . . 593
Запрещенным карандашом. *Перевод Г. Семенова* 594
Будешь... *Перевод Г. Плисецкого* 594
Вдруг. *Перевод Юнны Мориц* 595
Мудрость. *Перевод Б. Слуцкого* 596
В сумерках. *Перевод Юнны Мориц* 596
На память. *Перевод Юнны Мориц* 597
Анализ. *Перевод Ю. Левитанского* 598

Андрей Плавка

Возвращение в родные края. *Перевод И. Инова* 601
В такую ночь. *Перевод О. Малевича* 601
Побег. *Перевод Г. Плисецкого* 602
Тоска по красоте. *Фрагмент. Перевод Юнны Мориц* 602
Годы. *Перевод Ю. Левитанского* 603
Вступление в партию. *Перевод В. Корчагина* 604
Прощайте, мои любови. *Перевод Ю. Левитанского* 605
Родная речь. *Перевод Б. Слуцкого* 606
Отлет ласточек. *Перевод И. Инова* 606

Ян Костра

Демобилизация. *Перевод Б. Слуцкого* 608
Наивный. *Перевод О. Ивинской* 608
Метафора. *Перевод Д. Самойлова* 609
На прощание. *Перевод И. Инова* 609
Метаморфозы. *Перевод Б. Слуцкого* 610
Вздох. *Перевод О. Ивинской* 610
Братиславская весна. *Перевод Б. Слуцкого* 611
Телефон, зазвони! *Перевод Д. Самойлова* 611
Заказ. *Перевод Л. Тоома* 612
Доброе слово. *Перевод О. Малевича* 613

Павол Горов

С чем вас сравнить... *Перевод Ю. Стефанова* 615
Наперекор всему. *Перевод И. Инова* 615
После стольких лет. *Перевод А. Голембы* 616
Бабье лето. *Перевод Юнны Мориц* 617
Зрелище с вершины. *Перевод Юнны Мориц* 618
Подснежники. *Перевод Юнны Мориц* 618
Что есть поэт. *Перевод В. Каменской* 620

Штефан Жары

«Вы, люди будущего века...» *Перевод Л. Мартынова* 621
Мыслитель. *Перевод Л. Мартынова* 622
Микромир. *Перевод В. Семенова* 623

Милан Лайчак

По кровавому ручью. *Перевод Б. Слуцкого* 624
У Шивца. *Перевод Д. Самойлова* 627

Войтех Мигалик

Парень и вишня. *Перевод Е. Аронович* 630
Сонет на миннезингерский лад. *Перевод Е. Аронович* 631
Прага. *Перевод Ю. Левитанского* 631
Ржавый пламень. *Перевод Ю. Левитанского* 632
Тринадцатая дверь. *Перевод Е. Аронович* 633

Мирослав Валек

Яблоко. *Перевод Ю. Левитанского* 636
По буковке. *Перевод Б. Окуджавы* 637
Грустный утренний трамвай. *Перевод Ю. Левитанского* 637
Слух. *Перевод Б. Слуцкого* 638
«Все это выдумки, заявил шофер...» 638
Прикосновения. *Перевод А. Ахматовой* 639
Ода вечности. *Перевод Ю. Левитанского* 641

Милан Руфус

Человечество. *Перевод О. Малевича* 643
Стих. *Перевод О. Малевича* 643
Тишина накануне стиха. *Перевод И. Инова* 644
Слова. *Перевод И. Инова* 644
Человек. *Перевод О. Малевича* 644
Попробовать вернуться к прначалу... *Перевод И. Инова* 645
О стихах. *Перевод И. Инова* 645

ИЗ ПОЭЗИИ ЮГОСЛАВИИ

СЕРБИЯ

Алекса Шантич

Останьтесь с нами!.. *Перевод П. Семынина* 649
Весна. *Перевод В. Звягинцевой* 650
Моя отчизна. *Перевод В. Потаповой* 650
Мои колосья. *Перевод В. Звягинцевой* 651

Десанка Максимович

К молодости. *Перевод М. Петровых* 652
Зимним днем. *Перевод А. Ахматовой* 653
Счастье. *Перевод А. Ахматовой* 653
Колыбельная крестьянки. *Перевод М. Петровых* 654
Поэт и отчизна. *Перевод М. Ваксмахера* 654
Смерть крестьянина. *Перевод Б. Слуцкого* 655
Ответ современнику. *Перевод Б. Слуцкого* 656
Песня о порабощенном хлебе. *Перевод Б. Слуцкого* 657
Кровавая сказка. *Перевод Б. Слуцкого* 658
Хлеб месят. *Перевод Б. Слуцкого* 660
«Я здесь, отчизна!» *Перевод Б. Слуцкого* 660
Когда промчится ваша юность, птицы... *Перевод М. Алигер* 661
Детская косичка в Освенциме. *Перевод Б. Слуцкого* 662
Все равно. *Перевод М. Ваксмахера* 663

Оскар Давичо

«Умер дед...» *Перевод Юнны Мориц* 664
«Жизнь уплывает сквозь пальцы...» *Перевод Юнны Мориц* 665

«С черешней за́ ухом...» *Перевод Юнны Мориц* 666
«Глаза твои — словно озера...» *Перевод Юнны Мориц* 666
«Здесь мало любви...» *Перевод Юнны Мориц* 667
«Еще дышу...» *Перевод Юнны Мориц* 667
Письмо из Сербии. *Перевод М. Павловой* 668
Хана. *Перевод Ю. Левитанского* 669

Мира Алечкович

Тише, мама... *Перевод В. Корчагина* 672
Белградская баллада. *Перевод Юнны Мориц* 673
Смятенье. *Перевод Юнны Мориц* 673
И Сербия переменилась... *Перевод Юнны Мориц* 674
Люблю. *Перевод Т. Жирмунской* 675

Стеван Раичкович

Круг нежности. *Перевод А. Кушнера* 676
Далекое. *Перевод Ю. Левитанского* 677
Не закончено. *Перевод О. Чухонцева* 677
Спящие. *Перевод М. Петровых* 677
Двери в ночь отвори. *Перевод Ю. Левитанского* 678
Спасибо солнцу, земле, траве... *Перевод А. Кушнера* 678
Златиборские стихи. *Перевод А. Кушнера* 679
Возвращение к своим дверям. *Перевод А. Кушнера* 680
Люди просыпаются без оружия. *Перевод Ю. Левитанского* 681
Ноябрь. *Перевод О. Чухонцева* 682
Случай в октябре. *Перевод О. Чухонцева* 683
Тиса. I. *Перевод О. Чухонцева* 684
Тиса. II. *Перевод О. Чухонцева* 686
«За униженье наших рук пустых...» *Перевод М. Петровых* 687
О, вернись. *Перевод А. Кушнера* 688
Усталая песнь. *Перевод Ю. Левитанского* 688
«Зову тебя, песня...» *Перевод Ю. Левитанского* 689
«Я не знаю...» *Перевод А. Кушнера* 689
Руки. *Перевод Ю. Левитанского* 689

ЧЕРНОГОРИЯ

Радован Зогович

Упрямые строфы. *Перевод Д. Петровского* 691
Если уж записывать сны... *Перевод Г. Плисецкого* 694
Колокол, у которого отрезали язык. *Перевод Р. Рождественского* . . 696
«Были нежнее, были красивее...» *Перевод М. Ваксмахера* 697
Эти сны, эти сны, Доминика. *Перевод Л. Мартынова* 697
Инструкция маслине. *Перевод Б. Слуцкого* 698

Душан Костич

Село на Неретве. *Перевод М. Зенкевича* 700
Волуяк. *Перевод Л. Тоома* 701
Невысказанное. *Перевод Г. Плисецкого* 702
Откровения. *Перевод Л. Тоома* 702
Соча. *Перевод А. Ревича* 703

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА

Изет Сарайлич

Рожденные в двадцать третьем, расстрелянные в сорок втором. *Перевод И. Ивановой* 705
«Граммофон заведите старинный...» *Перевод И. Инова* 706
Письмо в тысяча девятьсот сорок первый год Тане Савичевой. *Перевод Ю. Левитанского* 707
Говорю о Европе. *Перевод Ю. Левитанского* 708
«Может, кто-то от собственных книг...» *Перевод И. Инова* 709

Дара Секулич
Перевод Т. Вирты

Окраина 710
Дельта Дуная 711
Козий мост 711

ХОРВАТИЯ

Владимир Назор

Ноктюрн. *Перевод Д. Самойлова* 712
Последняя песня товарища Горана. *Перевод М. Зенкевича* 714

Мирослав Крлежа

Великая пятница 1919 года. *Перевод Л. Мартынова* 717
Сумерки на станции провинциального городка. *Перевод Б. Слуцкого* 718
Наши воспоминания. *Перевод М. Петровых* 719
Петрушка и повешенные. *Перевод Л. Мартынова* 719
И среди цветов справедливости нет. *Перевод Д. Самойлова* 721

Иван Горан Ковачич
Перевод П. Семынина

Веселая церковь 724
Тропа 726
Моя могила 726

Юре Каштелан

«Все, что рождается...» *Перевод Юнны Мориц* 728
Всадник. *Перевод Юнны Мориц* 728
Крепость, которая не сдается. *Перевод Ю. Левитанского* 729
Памяти Ивана Горана Ковачича. *Перевод Б. Слуцкого* 729
Колыбельная времени. *Перевод Ю. Левитанского* 731
Река, облако и человек. *Перевод Ю. Левитанского* 732
Ласточки. *Перевод Ю. Левитанского* 732

Весна Парун

Моя родина. *Перевод Ю. Левитанского* 734
«Созрела свобода...» *Перевод Н. Горской* 735
Открытые двери. *Перевод М. Алигер* 735
Река и море. *Перевод Б. Ахмадулиной* 737
Восславься день. *Перевод Д. Самойлова* 737

СЛОВЕНИЯ

Отон Жупанчич

Зимняя песнь. *Перевод Б. Слуцкого* 738
Реквизиция. *Перевод Б. Слуцкого* 739
Изгнаннику. *Перевод М. Зенкевича* 740
Апельсин. *Перевод Л. Мартынова* 740
Вечерний набросок. *Перевод М. Ваксмахера* 741

Матей Бор

Вечерняя мелодия. *Перевод Ю. Левитанского* 742
В мертвом селе. *Перевод М. Павловой* 743
Ночь в немецком лагере. *Перевод Ю. Левитанского* 743

Карел Дестовник-Каюх

Двадцать пять. *Перевод А. Суркова* 748
Песня крестьянина. *Перевод А. Суркова* 748
Матери убитого партизана. *Перевод М. Голодного* 749

Иван Минатти

Поход. *Перевод Б. Слуцкого* 750
Май на Соче. *Перевод Б. Слуцкого* 750
«Кого-то ты должен любить...» *Перевод М. Кудинова* 751

Лойзе Кракар

«Я в трансагентствах задаю вопрос...» *Перевод А. Кушнера* 753
Поэзия. *Перевод А. Кушнера* 753
Рай. *Перевод Ю. Левитанского* 754
Пепел на звездах. *Перевод Б. Слуцкого* 755
Освенцим. *Перевод Б. Слуцкого* 756
В Бухенвальде 1960. *Перевод Б. Слуцкого* 757
«Колумб уплывает...» *Перевод Ю. Левитанского* 758
«О, непростительная радость...» *Перевод А. Кушнера* 759

Янез Менарт

Памятник. *Перевод Юнны Мориц* 760

МАКЕДОНИЯ

Кочо Рацин

Дни. *Перевод Н. Глазкова* 764
Коль имел бы мастерскую в Струге. *Перевод Л. Мартынова* 765
Ленка. *Перевод Н. Глазкова* 766

Славко Яневский

Свадебная песня. *Перевод Арк. Штейнберга* 768
Баллада о прадедовском ружье. *Перевод А. Гатова* 769
Песня солдата, лежащего на два метра под землей. *Перевод Арк. Штейнберга* 770

Блаже Конеский

Илинденские мелодии. *Перевод Юнны Мориц* 772
Стихи о маслинах. *Перевод Ю. Левитанского* 774

Молитва. *Перевод Ю. Левитанского* 774
Вышивальщица. *Перевод М. Зенкевича* 775
Ребенок, уснувший на берегу озера. *Перевод Ю. Левитанского* . . . 776
Присказка. *Перевод Ю. Левитанского* 776

Ацо Шопов
Перевод Ю. Левитанского

Любовь 778
Перемена 779
Чудак 779
«Скажи мне: небо...» 779
Пробуждение 780
«Надо сегодня быть добрее...» 780
«Ветер приносит погожие дни...» 781
Молитва о слове обыкновенном, но еще не найденном... 782

Примечания *Б. Шуплецова* 783

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ТРЕТЬЯ
Том 171

ПОЭЗИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН ЕВРОПЫ

*

Редактор Т. Блантер

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Суперобложка работы
Ю. Коннова.

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
В. Кулагина

Корректор
Т. Кузина

*

Сдано в набор 4/XI 1975 г. Подписано к печати 12/II 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 52 печ. л. 48,516 усл. печ. л. 37,193+8 вкл. = 37,879 уч.-изд. л.
Тираж 303 000 экз. Заказ № 3467.
Цена 1 р. 96 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28